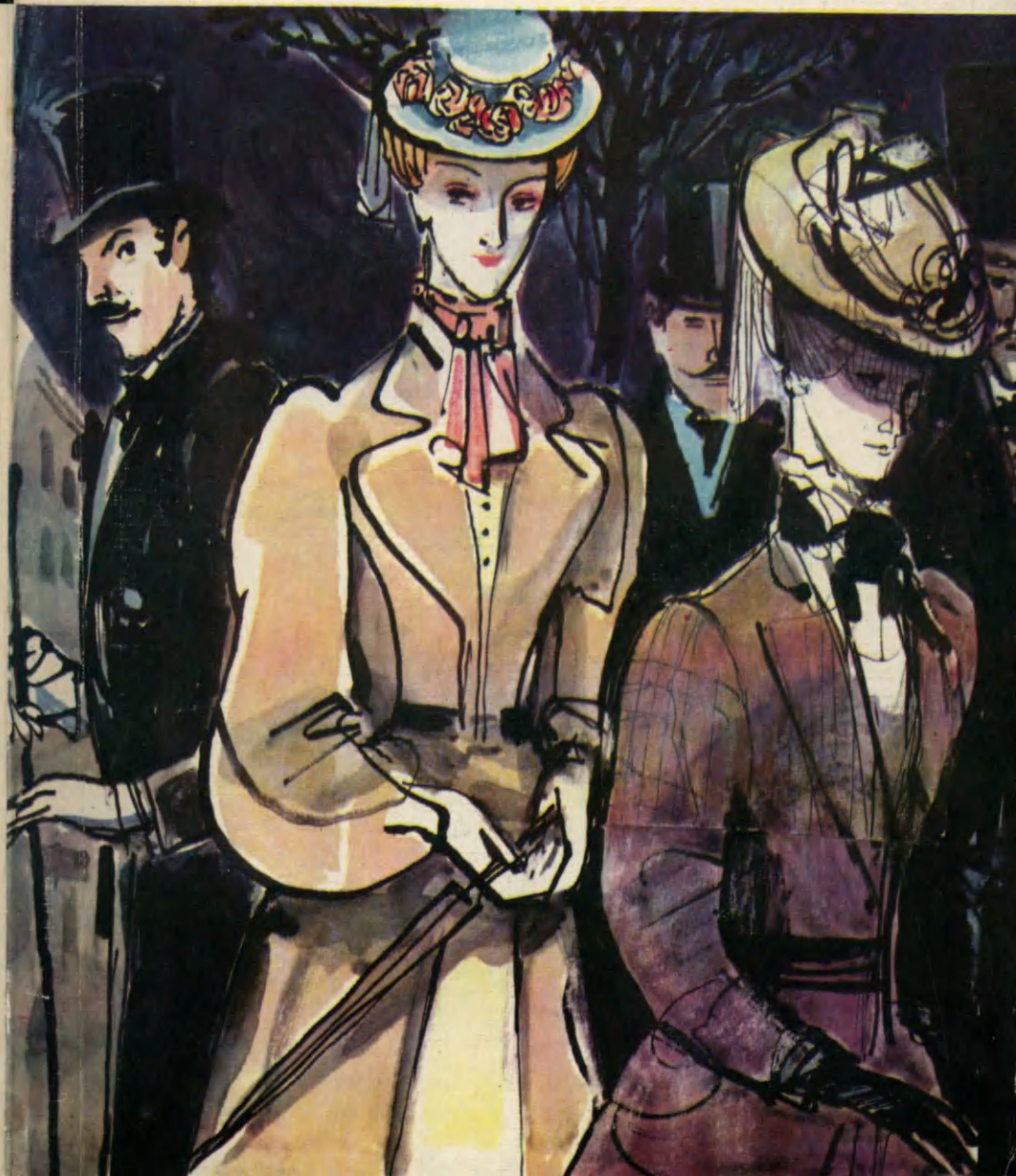


С.Цвейг

НОВЕЛЛЫ

Классики
и
современники



С.Цвейг НОВЕЛЛЫ



С.Цвейг

НОВЕЛЛЫ

Перевод с немецкого



Ленинград
«Художественная литература»
Ленинградское
отделение
1981

ББК 84.34 А
Ц 26

Классики и современники

Зарубежная литература



Текст печатается по изданию:

Стефан Цвейг. Собрание сочинений в 7-ми томах, т. 1.
М., «Правда», 1963

Составление и вступительная статья
А. РУСАКОВОЙ

Примечания
Ю. ШЕЙНИНА

Художник
А. СЛЕПКОВ

Ц 70304-073
028(01)-81 20-81 4703000000

© Состав, вступительная статья, оформление. Издательство «Художественная литература», 1981 г.

НОВЕЛЛЫ СТЕФАНА ЦВЕЙГА

Стефан Цвейг принадлежал к тому поколению европейских писателей, литературная известность которых началась вместе с XX веком. Первый сборник его стихов «Серебряные струны» вышел из печати в 1901 году, когда Стефану Цвейгу было всего девятнадцать лет. Последнее опубликованное им при жизни произведение — «Америго» — датировано 1942 годом. Сорок лет продолжалась активная литературная деятельность австрийского писателя. Каждый год из этих четырех десятков ознаменован выходом в свет сборника стихов или драм, «звена» новелл или романизированной биографии, а иногда и нескольких произведений.

Выходец из состоятельной австрийской семьи, получивший первоклассное образование, страстный путешественник, в молодости избородивший полмира, Стефан Цвейг рано начал видеть в литературе свое истинное и единственное призвание. Он много переводит — Верлена, Верхарна, Рембо, Бодлера, пробует свои силы в разных литературных жанрах — в лирике, драме, новелле.

Формирование художественных вкусов Стефана Цвейга происходило в атмосфере Вены конца XIX—начала XX века, которая в те годы была одним из центров новейшего европейского искусства. Произведения писателей так называемой венской школы (Гуго фон Гофмансталь, Артур Шницлер), окрашенные неверием в творческие силы человека, утверждавшие тщетность борьбы за счастье, наполненные мрачными предчувствиями, властвовали над умами современников будущего новеллиста и над его первыми стихотворениями. Только противопоставив этой литературе великое наследие мастеров европейского критического реализма и русской литературы XIX века, Стефан Цвейг нашел свой собственный путь в искусстве, который сделал его одним из видных представителей реализма XX века. Восхищаясь творчеством европейских реалистов XIX века и русской литературой, Цвейг с грустью отмечает, что он уже не может создать «новую вселенную» в своих произведениях, подобно Бальзаку и Толстому, Тургеневу и Достоевскому. Он видит поэтому задачу современных ему писателей — «добросовестных психологов, проникательных исследователей» — в изучении «нового беспредельного мира — глубин человека». У Стефана Цвейга утрачен стихийный историзм мышления, позволявший великим реалистам прошлого соединять судьбу отдельного человека с судьбой времени и общества. Чаще всего поэтому в произведениях Стефана Цвейга оказываются сдвинутыми пропорции, искажены соотношения между отдельной человеческой личностью и эпохой, в которой она действует. Цвейг искренне пытался верить в прогрессивность и прочность буржуазного мира. Он был достаточно

тонким и вдумчивым художником и не мог не видеть контрастов бедности и богатства, но они воспринимались им как болезни, от которых буржуазный мир может излечиться с помощью гуманности, демократии, сострадания к человеку.

Творчество Цвейга было призывом к гуманности, талантливой, страстной проповедью в защиту страдающих, обиженных судьбой или людьми, искорененных жизнью. Именно это «изумительное милосердие к человеку» покорило в Стефане Цвейге Алексея Максимовича Горького, который неоднократно высказывался об австрийском писателе как об одаренном художнике и страстном гуманисте. Но гуманизм Цвейга был ограничен его ошибочными представлениями о прочности и справедливости порядка, царящего в его «духовной отчизне — Европе». Эта вера Цвейга первый раз подверглась испытанию в годы первой мировой войны, когда он вместе с Ролланом попытался встать «над схваткой». Но если Ромен Роллан пришел потом к отрицанию своего «нейтрализма», убедился в ограниченности буржуазного гуманизма и либерализма, то Стефан Цвейг не сумел это сделать. Надо также иметь в виду, что многое в Стефане Цвейге можно понять только через специфику развития Австро-Венгрии на рубеже веков, поскольку именно здесь очень остро ощущались предчувствия гибели старого мира. Цвейг хотел быть европейцем еще и потому, что все в Австро-Венгрии клонилось к закату, развалу «лоскутной империи», и европейско-космополитические тенденции и настроения должны были заменить трагическое отсутствие или слабую выраженность австрийского патриотизма, что и составило на долгие годы своеобразие судеб многих австрийских художников XX века. Стефан Цвейг продолжал настаивать на «надпартийности» художника, на ложном утверждении, что у «гуманизма... нет врагов»¹, то есть что гуманизм может победить только правотой своих идей. Эти убеждения Цвейга определили и его биографию: антифашист по убеждениям, он хотел остаться вне антифашистского фронта — якобы во имя независимости и свободы духа; последовательный пацифист, «он почти готов был допустить господство зла, если бы благодаря этому можно было предотвратить самое для него ненавистное — войну» (Томас Манн)². Во многом согласный со своим героем Эразмом Роттердамским, он признает только «аристократию духа и культуры в качестве высшего мира и чернь и варварство — в качестве низшего мира»³. В этом кроется причина его грубо ошибочного истолкования фашизма как взрыва извечных разрушительных инстинктов низов. Не поняв социальной природы фашизма, но почувствовав, что то европейское единство, в которое он отчаянно пытался верить многие годы, на самом деле не существует, Стефан Цвейг пришел к трагическому духовному кризису. В «Декларации», написанной им перед самоубийством 23 февраля 1942 года, мы читаем: «Мир моего родного языка погиб для меня, и моя духовная отчизна — Европа уничтожает самое себя... Возможно, они (друзья. — А. Р.) увидят утреннюю зарю после долгой ночи. Я, самый нетерпеливый, уйду раньше их...»⁴

¹ Z w e i g St. Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam. Frankfurt a. M., 1950, S. 107.

² M a n n Th. Gesammelte Werke. Bd. 2. Berlin, 1956, S. 299—300.

³ Z w e i g St. Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam, S. 52.

⁴ Z w e i g St. The world of yesterday. New York, 1945, p. 438.

Цвейг работал во многих литературных жанрах — он выступает и как поэт, и как драматург, как новеллист, эссеист, биограф и историк-романист. Но среди этого многообразия выделяются как своими художественными достоинствами, так и своей многочисленностью романизированные биографии и новеллы. Правда, Стефан Цвейг в своих теоретических работах (особенно в докладе «История как поэт») проводил резкое разграничение между жанром исторического романа, романизированной биографией и «правдивой биографией», по его терминологии. Он отклонял как исторический роман, так и романизированные биографии из-за излишне свободного, по его мнению, обращения художников с документальным материалом, что приводит к бестактной замене исторических персонажей вымышленными и недостоверными литературными героями. Сам Цвейг, как ему казалось, стремился только к точному истолкованию фактов, а не к вымыслу. Цвейг любит говорить о себе как о человеке, «у которого страсть разгадывать психологические загадки перешла в манию»¹, он часто подчеркивает свое неистребимое любопытство исследователя человеческих характеров. В биографиях (особенно ранних) Цвейг редко рисует всю жизнь своего персонажа, он выбирает в ней переломные моменты или находит какую-то одну тему, на которой и строит характеристику героя. Цвейг последовательно и сознательно субъективен: в избранных им людях он ищет только то, что созвучно его настроению, что отвечает его сегодняшним запросам. Эта субъективность становится причиной одностороннего и часто весьма далекого от действительности изображения. Цвейг пропускает нежелательные для него факты, забывает обо всем том, что не согласуется с его концепцией. На жизнь крупной личности Цвейг как бы взирает через увеличительное стекло, на деяния народов — через уменьшительное, и пропорции оказываются резко сдвинутыми, грубо нарушенными. Сказанное относится прежде всего к его циклу «Строители мира». Субъективность Цвейга приводит порой к всеядности. Что общего можно найти между Толстым и Казановой? Что роднит Гёльдерлина и Ницше? Согласно взглядам Цвейга, в основе каждого человеческого характера лежит какая-то страсть. А страсти, по Цвейгу, в существе своем едины. Вопрос о ценности человека решает не направленность воли или страсти, а только степень ее концентрации, говорит он. Поэтому Цвейг ставит в один ряд плоского прожигателя жизни Казанову и великого моралиста Толстого, объединяя их в книге «Три певца своей жизни» (Толстой, Стендаль, Казанова), так как, по Цвейгу, они оба одинаково сильно стремились к самоутверждению, к самовыражению. Односторонность и произвольность этого объяснения очевидны. Так же произволен и абстрактен символ «демона», с которым борются Клейст, Гёльдерлин и Ницше. Увлечшись изображением «трагической непонятости» Ницше, одиночества и перипетий его болезни, Цвейг совсем упустил из виду главное — реакционную философию Ницше, его проповедь насилия, его антигуманные афоризмы.

Особое место в портретной галерее, созданной Цвейгом, занимает «портрет политического деятеля» — «Жозеф Фуше» (1929). Это блестящее и остроумное жизнеописание изворотливого, хитроумного политического дельца, для которого главное — власть, а не принципы, сила, а не последовательность,

¹ Цвейг С. т. Шахматная новелла. М., «Правда», 1956, стр. 10.

который пережил шесть правительств и всегда умел ловить рыбу в мутной воде. Это — «прославленный» мастер политического предательства. Все сильные стороны таланта Цвейга — стилиста, рассказчика, наблюдателя, мастерски использующего исторический материал для психологических экспериментов, — в полной мере раскрываются в этом эссе. И, несмотря на ряд политически и философски наивных и беспомощных заключений и выводов, в целом очерк бесспорно удачен. Беда только в том, что для Цвейга Фуше — это квинтэссенция всякой политической деятельности; абсолютная беспринципность Фуше проистекает, по мысли писателя, не столько из своего рода беспримерной его многоликости и буржуазной деляческой приспособляемости, сколько связана с сущностью политической деятельности, чьи бы интересы она ни выражала. Здесь ненависть Цвейга к буржуазному политиканству, политическому шарлатанству переходит в высокомерное, аристократически презрительное отношение к политике вообще.

Политическая беспомощность Цвейга приводила его иногда к весьма произвольным и неожиданным оценкам. Поэтому не случайно, что после прихода фашистов к власти в Германии, когда происходит поляризация европейской интеллигенции, когда все наиболее прогрессивные деятели европейской культуры объединяются в организациях антифашистского фронта, Стефан Цвейг пишет свою самую спорную и кризисную книгу — своего рода манифест аполитичности и надпартийности — «Торжество и трагедия Эразма Роттердамского» (1934). Крупнейший гуманист, подготовивший своими книгами Реформацию, Эразм выше всего ставил личную свободу и независимость и, дорожа своим кабинетным спокойствием, не желал принимать участия в ожесточенных социальных и религиозных боях своего времени. Энгельс сравнивал его с «благоразумными филистерами, не желающими обжечь себе пальцев»¹. Для Цвейга Эразм Роттердамский оказывается мудрейшим из мудрых, его уклонение от борьбы он прославляет и оправдывает. Цвейг сознательно осовременивает высказывания Эразма, называя его «первым литературным теоретиком пацифизма», приписывая ему понимание извечных фрейдовских темных инстинктов, которые затрудняют будто бы «очеловечивание человека». Главным врагом Эразма Цвейг считает «тупой фанатизм», который служит прежде всего «вечно готовой к насильственным действиям воле масс»². Страх перед волеизъявлением народов, прославление политического компромисса, перепев давно известных мотивов о башне из слоновой кости — все это есть в книге Цвейга об Эразме Роттердамском. Талантливый художник и искренний гуманист, Цвейг запутывается в тенетах распространенных буржуазных иллюзий и, наставив на «надпартийности», закономерно идет к глубокому духовному кризису.

В 1937 году Цвейг пишет книгу о Магеллане. Подзаголовок ее гласит «Человек и его деяние». В этой биографии Цвейг пытается отказаться от созерцательных форм гуманизма, прославляя деяние во славу человеческого прогресса. История путешествия Магеллана, его величия и его безвременной смерти накануне полного торжества написана Цвейгом сильно и драматично. Но вывод, который делает Цвейг в конце книги, утверждает трагическую

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е, т. 14, с. 477.

² Zweig St. Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam, S. 115.

бесплодность даже благороднейших деяний в практической жизни людей. Однако, по Цвейгу, «духовное значение подвига никогда не определяется его практической полезностью. Лишь тот обогащает человечество, кто помогает ему познать себя, кто углубляет его творческое самосознание»¹, — здесь Цвейг возвращается в несколько новой форме к тем мыслям, которые он высказывал в своей книге об Эразме и которые свидетельствуют о том, что преодолеть иллюзии абстрактного гуманизма писатель не сумел.

Первый сборник новелл Цвейга был опубликован в 1911 году — «Первые переживания». За ним последовали: новелла «Страх» (1920), сборник новелл «Амок» (1922), новелла «Незримая коллекция» и сборник новелл «Смятение чувств» (1927). Все эти новеллы составили впоследствии, в 1936 году, знаменитую «Цепь» новелл, состоящую из нескольких «звеньев». Последняя — «Шахматная новелла» — была написана им незадолго до смерти и опубликована посмертно.

Почти в каждой новелле Цвейг ставит перед собой задачу — раскрыть тайну (или тайны) человеческих сердец, проникнуть в «трущобы сердца», как говорит он в одном из своих стихотворений. Этим сходством художественных задач объясняется известная повторяемость повествовательных приемов Цвейга. Большинство его новелл начинается с изображения незначительных событий, ничем не примечательных на первый взгляд людей. Таков рассказ о жизни в пансионе и споре за табльдотом в новелле «Двадцать четыре часа из жизни женщины», повествование о блужданиях по незнакомому французскому городку героя новеллы «Улица в лунном свете», разговор в купе в «Незримой коллекции», коротенькое предисловие к «Фантастической ночи», лаконичная зарисовка, предваряющая «Письмо незнакомки», и морской пейзаж, на фоне которого происходит первая встреча читателя с героем «Амока». Но это спокойное, неторопливое вступление нужно автору для подготовки основной части новеллы, посвященной той или иной страсти, тому или иному интересному психологическому факту. Цвейг пытается показать, что респектабельная, размеренная, холодноватая жизнь светских людей — только прикрытие, только лицемерие, только маска. У людей мелких и ничтожных под этой маской скрываются неблагоприятные маленькие грешки (как у героини новеллы «Страх»), у людей сильных, крупных — под маской спокойствия дремлют могучие страсти, которые дают себя знать в критические часы и минуты. Изображение таких роковых часов в жизни человека, когда загнанные в глубину страсти — безразлично, добрые или злые — прорываются неистовым потоком и ломают жизнь героя, — излюбленная тема новеллиста. «Страсти, как болезни, нельзя ни обвинять, ни прощать: их можно лишь описывать с тем всегда новым удивлением, к которому примешивается легкий ужас перед первичной мощью стихийных сил...»² — писал Цвейг. Оценивать страсти с моральной точки зрения, по мнению Цвейга, такая же бессмыслица, как требовать отчета у грозы или вызывать в суд вулкан. Эти суждения Цвейга отнюдь не случайны. Убеждение в стихийности, а главное — в неподсудности страсти, позаимствованное Цвейгом у Зигмунда Фрейда, приводит

¹ Цвейг Ст. Избр. произв. в 2-х т., т. 2. М., 1956, с. 503.

² Zweig St. Maria Stuart. Wien — Leipzig — Zürich, 1935, S. 223.

его к боязни моральной и политической оценки, служит основой многих его ошибочных выводов.

Центральная часть новеллы Цвейга — почти всегда рассказ от первого лица. Цвейг почти нигде не пользуется внутренними монологами, или так называемой косвенной прямой речью, которые столь характерны для современной немецкой прозы. Он даже несколько старомоден в этом. Но монологи его героев так тонко, так стилистически точно построены, так психологически подготовлены и оправданы, что читатель верит искренности и ненарочитости исповеди героя. Воскрешая те или иные события и переживания, герои Цвейга занимаются кропотливым самоанализом. По-видимому, в логичности и глубине этого психологического анализа, проникающего в хаос страстей и поступков, и заключается главное художественное очарование цвейговских новелл. Во вступлении к новелле почти всегда присутствует намек на тайну, в аналитическом монологе — раскрытие этой тайны.

Герои большинства цвейговских новелл принадлежат к состоятельным слоям общества. Им не приходится вести борьбу за существование, над ними не витает призрак нужды или голода. Они как бы освобождены автором для переживаний, для чувств. Герои Цвейга не борются, но они духовно искалечены обществом, в котором живут. Они одиноки, каждый из них замкнут в своем маленьком мирке, откуда их не может вырвать ни дружба, ни любовь. Страсти, которые описывает Цвейг, не только произвольны и безответственны, но они еще и бессмысленны — Цвейг утверждает, что они не могут разрушить перегородки, разделяющие одно человеческое существо от другого, одну страдающую душу от другой. Чем чище, чем выше, чем самоотверженной страсть, тем она губительнее и несчастнее. В новелле «Двадцать четыре часа из жизни женщины» героиня зачеркивает все свое безупречное прошлое, чтобы спасти от гибели молодого игрока, но жертва ее принесена напрасно. В «Письме незнакомки» речь идет уже не об одних сутках, подаренных безразудной страсти, а о целой жизни, принесенной в жертву безответной любви. Страсть, любовь — все время подчеркивает новеллист — может исковеркать жизнь, но не дает счастья, не объединяет людей. «Кто любит страсть, ее страданье любит», — восклицает Цвейг в одном из своих стихотворений. И в своих новеллах он проникновенно и взволнованно описывает разные страсти: любовь, страстную одержимость искусством, библиофильство, собачью преданность служанки своему господину, страсть к игре. С течением времени мастерство Цвейга совершенствуется, новеллы становятся напряженнее, стройнее и богаче по языку. Но уже в ранних новеллах Цвейга, написанных им в начале века, присутствуют многие мысли и идеи, которые позднее займут центральное место в его новеллистике.

Самые первые новеллы Цвейга были посвящены детям. Это — «Гувернантка» и «Жгучая тайна». Поводом для написания «Гувернантки» послужила краткая газетная заметка. В центре новеллы — банальная история бедной девушки, соблазненной богатым повесой и брошенной им. Но, хотя новелла называется «Гувернантка», главными ее героями не являются ни несчастная «бедная фройлейн», ни ее соблазнитель. Цвейг использует их историю только как повод, как предлог для раскрытия двух детских душ, для взволнованного рассказа о первом грубом вторжении жизненной реальности в золотой сон детства. Маленькие героини новеллы — девочки нарисованы очень смутно

и неопределенно; они почти совсем не индивидуализированы. И не случайно Цвейг называет их все время или «девочки», или «старшая» и «младшая». Автора интересует не особый подход отдельного ребенка к тому или иному факту, Цвейг хочет нарисовать детский ужас — ужас, возникающий оттого, что детские глаза впервые заглядывают в пропасти, впервые открывают в мире вместо любви, добра, красоты, справедливости — ненависть, зло, ложь и бессердечие. Дети все воспринимают обостренно и потому испытывают страх перед будущим, которое их ожидает. Поводом для всех этих размышлений послужила история, объясняемая социальными причинами; но Цвейг переклюкает конфликт в абстрактный, общечеловеческий план — он как бы боится идти до конца, быть последовательным в своих выводах и наблюдениях.

Поведение героя второй новеллы, «Жгучая тайна», похоже на поведение сестер. Эдгар, как и они, пытается раскрыть тайну жизни взрослых, приподнять завесу над будущим. И хотя на этот раз повод для переживаний менее страшен (вместо самоубийства гувернантки — пустой флирт матери), сами переживания зарисованы с большей определенностью и тщательностью — Цвейг словно анатомирует душу мальчика, обнажая перед читателем все переходы в его настроениях, все затаенные чувства. Но, подводя читателя всем развитием новеллы к мысли о подлой, пустой и искусственной жизни светского общества, Стефан Цвейг в конце новеллы побоялся поставить точку над *i* — он прощает мать мальчика и умиротворяет маленького бунтаря, объяснив несколько неожиданно мелкий флирт вечной жадной любви и пообещав своему герою (в отличие от героинь «Гувернантки») золотой сон жизни взамен закончившегося сна детства. В ранних новеллах Цвейга можно наблюдать нередко такую подмену проблемы к концу повествования, смягчение высказанных истин, оправдание героев. Это объяснялось тем жизнеощущением, которое свойственно было Цвейгу до событий первой мировой войны. Он хотел верить в торжество идей добра в собственническом мире. Только этим можно объяснить и конец новеллы «Страх», впервые опубликованной в 1920 году, но написанной в 1910 году.

Маленькая драма маленькой мешаночки, неспособной на сильное чувство, убаюканной сытым буржуазным существованием, превосходно изображена Цвейгом. Единственное ее глубокое переживание — страх — впервые делает из куклы человека; но он же — этот страх — безжалостно вскрывает ее птичий душевный мирок. Фрау Ирена впервые, как Эдгар, как маленькие сестры, сталкивается с реальной жизнью, и, как в детях, это столкновение вызывает в ней настоящий ужас; она неспособна к сопротивлению так же, как неспособна к страсти; она безвольна и ничтожна.

В ранних редакциях новеллы после рассказа о том, как в сознании героини промелькнула «спасительная» мысль о самоубийстве, был абзац, уточнявший, чего же именно боялась фрау Ирена, — она боялась только утраты своего уютного обеспеченного существования, боялась участи разведенной жены. Это разъяснение Цвейг снял впоследствии — и не только потому, видимо, что оно еще больше принижало и без того слабую героиню, но и потому, что тогда главный двигатель действия в новелле — страх, — приобретая конкретность, утрачивал силу. Так же, как в «Жгучей тайне», Цвейг смягчает под конец контрасты и противоречия. Читатель испытывает невольное

разочарование, когда узнает, что никакой вымогательницы не было, что эту роль превосходно сыграла одна отставная актриса. А раз так — значит, не было и столкновения с реальной жизнью, вместо острого конфликта читатель обнаруживает умело проведенный адвокатом допрос собственной жены. И так же, как Эдгару, автор в конце новеллы обещает своей спасенной от порока и обращенной героине «настоящее» семейное счастье. Так, в ранних новеллах писатель постоянно колеблется в оценке действительности; его герои испытывают страх перед жизнью (как девочки в «Гувернантке»). Но, может быть, они напрасно боятся ее, — ведь оказался же страх фрау Ирены спасительным, а не губительным. Либеральный оптимизм Цвейга ясно дает себя чувствовать в этом первом «звене» новелл.

Во второе «звено» новелл вошли лучшие, самые известные новеллы Стефана Цвейга — «Амок», «Письмо незнакомки», «Улица в лунном свете». В «Амоке» и «Письме незнакомки» впервые раскрылся полно и богато талант Цвейга-новеллиста. Все в этих новеллах художественно совершенно, сделано рукой большого мастера, «первоклассного художника» (М. Горький). Композиция «Амока» очень прихотлива и в то же время очень стройна и логична. Писатель начинает и заканчивает новеллу краткой информацией о странном происшествии, случившемся ночью в порту Неаполя. Эти сообщения как бы образуют первую рамку новеллы, простую и скромную. В нее вписана вторая рамка, составляющая одновременно контрастный фон для центрального рассказа, — описание парохода, уверенно везущего пассажиров из тропиков к родным европейским берегам. На палубе целый день царит суета и толчея: слышится нестройный, немелодичный гомон беспрерывно болтающих, беспечных пассажиров. Эта палуба — как бы сама поверхность светской жизни — все мелко, ничтожно и весело; но ночью над пароходом загораются дивным блеском великолепные южные звезды; ослепительный белый свет беспощадно заливают безлюдную палубу; пышная красота природы оттеняет мелкость людских существований. А в трюме корабля тайком от веселящихся, флиртующих праздных пассажиров везут гроб, скрывающий тайну, трагедию, ужас. Эти описания играют очень важную роль в композиции новеллы, помогают уяснить главную ее мысль. Рассказ врача развивается на фоне постепенно гаснущего звездного сияния, которое сменяет несмелый утренний свет. Заканчивается ночь кошмаров и ужасов, трагическое уступает место повседневному, пошлому, будничному. Врач снова скрывается в своей каюте, унося с собой свои страдания и страсти, а на палубе начинается обычная сутолока; торжествует дневной маскарад. В своих ранних новеллах Цвейг только пугал героев трагическими беднами жизни; здесь он приоткрывает перед читателем одну из таких трагедий. Тонкий художник, Цвейг прерывает время от времени напряженный рассказ героя повторяющимся описанием лунного мрака, тлеющей трубки, сверкающих очков. Для врача время как бы застыло — он весь в прошлом; но вместе с его собеседником читатель слышит удары судового колокола, мерные, звучные, неумолимо отбивающие время. Рассказ врача вызван замечанием его собеседника о том, что на каждом человеке лежит долг помочь своему ближнему в беде. «Лежит ли на нас долг помочь?» — то есть нужно ли быть гуманным, человечным, сострадательным, наконец, просто безукоризненно бескорыстным и добрым в буржуазном обществе, где все люди или враги, или просто чужие друг другу? Так ставит вопрос Цвейг,

и ответ на этот вопрос составляет как бы подтекст новеллы. В первой части повествования Цвейг рисует портрет измученного жизнью и людьми, опустившегося врача, тоскующего по родине, где он всем чужд, изнывающего в тропиках, жаждущего любви, человечности, дружбы. Вот почему знатная пациентка, которая не захотела увидеть в нем человека, а заранее оценила и купила его помощь и его самого как вещь, как товар, вызывает в нем злобу и ненависть. Следовательно, в основе столкновения лежат социальные причины — ненависть бедняка к богатой и знатной женщине и высокомерное презрение леди к нищему эскулапу. Но когда врач сделал последнюю попытку отстоять себя и свою гордость (правда, в очень неожиданной и даже извращенной форме) и эта попытка не привела к успеху, гордость врача, его человеческое достоинство были сломлены, уничтожены, смяты. И хотя Цвейг пытается ослабить общественный конфликт введением эротического мотива, в целом поведение врача воспринимается как неудачный бунт, как несостоявшаяся попытка отстоять себя. Но это последнее поражение совершает переворот в душе героя, подобный просветлению героев Достоевского, перед которым Цвейг преклонялся. Вместо ненависти в душе героя возникает слепая бурная страсть к самопожертвованию, к исполнению своего долга врача, целителя, человека. В этой страсти соединилось все: и внезапно возникшая повелительная любовь к прекрасной англичанке, и жгучее сострадание к ее горю, и сладостное самоунижение. В этом потоке страсти растворяются общественные противоречия, снимаются преграды, и обоюдная ненависть сменяется обоюдным уважением и доверием. Стефан Цвейг надеется, что человечность, гуманность, всеобщая доброта могут изменить людей, что человечество познает себя и сможет возвыситься духовно, отказавшись от вражды, ненависти, зла. Но талант художника вступает в этой же новелле в спор с либеральным мыслителем — новелла не случайно заканчивается бессмысленной гибелью героев. Бесплодность жертв только подчеркивает у Цвейга трагический разрыв между высокими идеалами гуманности и действительной жизнью. В начале разговора врач несколько раз с упорством маньяка повторяет фразу: «На нас лежит долг... предложить свою помощь». И затем спрашивает: «До каких пределов нужно помогать?... Вот вы чужой человек, и я для вас чужой, и я прошу вас молчать о том, что вы меня видели... Хорошо, вы молчите, исполняете этот долг... Я прошу вас поговорить со мной, потому что я прямо подыхаю от своего молчания... Вы готовы выслушать меня... Хорошо... Но это ведь легко... А что, если бы я попросил вас взять меня в охапку и бросить за борт?... Тут уж кончается любезность, готовность помочь. Где-то она должна кончаться... там, где дело касается нашей жизни, нашей личной ответственности... где-то это должно кончаться...»¹ Но Цвейг не соглашается с этим высказыванием своего героя; он утверждает благородство самоотверженной готовности помогать, прославляет безграничное сострадание — даже в том случае, если помощь будет бесплодна. Ради восхваления бескорыстной гуманности Цвейг из мелкого, весьма обычного в буржуазном обществе адюльтера делает настоящую трагедию, из высокомерной, расчетливой и холодной светской дамы, желающей сохранить и мужа, и любовника, — трагическую героиню; страстность, напряженность повествования и обостренность чувств врача заставляют забыть о том, что оба героя гибнут

¹ Цвейг С.т. Избр. произв. в 2-х т., т. 1, с. 145—146.

во имя спасения декорума, во имя спасения пропитанной ложью семейной жизни героини, во имя спасения мнимой, а не настоящей ее чести, то-есть во имя мелкой и даже пошлой цели. Но сила таланта Цвейга такова, что читатель видит прежде всего гипертрофированную напряженность страстей и только потом замечает (а иногда и не замечает), на что эти страсти направлены. Но ведь именно это и было характерно для миропонимания Цвейга: важна не направленность страсти, а ее грандиозность, ее мощь.

Как и в «Амоке», в новелле «Двадцать четыре часа из жизни женщины» Цвейг прославляет бескорыстие, готовность помочь, не знающую пределов, восхваляет безрассудную страсть, озаряющую ярким светом жизнь. И, хотя Цвейг упорно утверждал, что страсти бессмысленно оценивать морально, он сам невольно оценивает их именно с моральной точки зрения. В этой новелле сталкиваются две страсти — безумная страсть молодого человека к картежной игре и благородная и великодушная страсть к спасению гибнущего ближнего. Детально анализируя эти страсти, Цвейг восхищается второй и сострадает жертвам первой. И, хотя самоотверженность героини была напрасной и бесплодной, Цвейг дает почувствовать всю красоту ее подвига во имя человечности.

Великолепным и одухотворенным гимном во имя любви прозвучала новелла Цвейга «Письмо незнакомки». Исповедь женщины, бесконечно любящей и бесконечно одинокой в своей любви, звучит как стихотворение в прозе. И снова, как в «Амоке», — резкий контраст: после краткого портрета уверенного в себе, беспечного и избалованного жизнью писателя идет фраза: «Мой ребенок вчера умер...» Эта фраза, несколько видоизменяясь, проходит через всю новеллу, становится как бы лейтмотивом ее; пять раз открывает она новую главу рассказа о любви: то это любовь незаметной девочки, то взволнованная поэтическая любовь девушки, то напоенная страстью любовь возлюбленной, затем более сдержанная, но и более глубокая любовь к отцу своего ребенка и, наконец, безграничное чувство женщины, утратившей в жизни все, кроме своей любви. Именно об этой новелле писал Горький: «Не знаю художника, который умел бы писать о женщине с таким уважением и с такой нежностью к ней»¹. В этой новелле особенно заметна двойственность отношения Стефана Цвейга к жизни: его восхищение перед силой человеческого чувства, его преклонение перед бескорыстной страстью и — одновременно — его печальное признание разобщенности людей, их замкнутости, их трагического и неизбежного одиночества, от которого не спасают самые чистые и красивые чувства, — признание того, что Горький называл процессом «разобществления» человека в буржуазном обществе.

Новелла «Улица в лунном свете» рисует людей искалеченных, опустившихся, живущих извращенными чувствами, жалкой, оплеванной любовью, унижительной и омерзительной ненавистью. Так изломала героя неразрешимая борьба жадности, собственнических чувств и любви к жене, а героиню — презрение к деньгам, инстинктивное вольнолюбие. Она становится уличной женщиной только для того, чтобы отомстить мужу, искалечившему ее юность и ее душу скряжничеством, унижениями, издевательствами. Для него жена была любимой рабыней, и ему было отрадно слышать, что рабыня благодарна ему

¹ Цвейг С. Т. Собр. соч., т. I. Л., «Время», 1927, с. 8.

за состоятельность, за теплый кров. Только ее уход помогает ему понять, что она для него значила. И, хотя жить без нее он не может, хотя он все свое состояние бросил на карту, чтобы вернуть ее,— перемениться, переродиться он не в силах: любовь к деньгам сильнее любви к жене.

В таких новеллах, как «Мендель-букинист», «Лепорелла», «Незримая коллекция», Стефан Цвейг создает яркие, вылепленные почти со скульптурной четкостью образы. В этих новеллах нет ни тайн, ни раскрытия тайн. В них нет монологов, нет самоанализа, нет кропотливого пересматривания прошлых чувств и событий. В «Менделе-букинисте» Цвейг показывает интересную, весьма своеобразную фигуру библиографа-самоучки, обладавшего исключительной, направленной только на книги памятью. Лепорелла, героиня одноименной новеллы, простая и туповатая крестьянка, ставшая городской служанкой, живет однообразной, почти растительной жизнью. Кажется, она не способна чувствовать и страдать. Но в ответ на одно случайное ласковое шутливое слово своего хозяина она отдается служению ему с преданностью собаки, с покорностью рабыни, с понятливостью наперсницы и идет в своем желании угодить ему до конца, до преступления, до убийства. Как и жизнь героя «Амока», ее жизнь разрушена вторжением неожиданных чувств, неожиданной страсти. Вероятно, самым счастливым из всех героев новелл Цвейга был слепой коллекционер из «Незримой коллекции». Трогательная любовь к искусству сделала его жизнь яркой, одухотворенной, светлой, несмотря на слепоту. В этой новелле очень скупыми, но красноречивыми штрихами Стефан Цвейг воссоздает жизнь немецкой провинции времен инфляции. А. М. Горький говорил о том, что «сентиментальность ему (Цвейгу. — А. Р.) незнакома, он, очевидно, органически не склонен к ней, он правдив и мудро прост, как истинный художник». Это было сказано по поводу «Письма незнакомки», но с полным правом может быть отнесено и к «Незримой коллекции». Чтобы очень простую, но трогательную — чуть ли не в духе святочных рассказов — историю обездоленной провинциальной семьи рассказать с такой сдержанностью, таким художественным целомудрием, надо было обладать великолепным чувством языка и большой нежностью к тем людям, о которых повествует новелла. Цвейг достигает большой выразительности в описаниях старика и двух женщин еще и благодаря особому приему: рассказчик-антиквар восхищается больше всего преданностью старого ветерана своей незримой коллекции и сострадает его слепоте, но повествование ведется так, что читатель, сравнивая скромное мужество женщин и красивую иллюзию старика, отдает предпочтение первому, а не второй. Жизнь — важнее искусства: «Надо же было как-то жить... и разве человеческие жизни, разве четверо сирот не дороже картинок...»¹

В некоторых новеллах Стефана Цвейга (в нашем сборнике к ним относится «Летняя новелла») воссоздается кропотливо и, пожалуй, слишком подробно мир курортных уголков старой Европы, мир табльдотов, неспешных прогулок, мир людей, живущих пассивной созерцательной жизнью. Тонкие наблюдатели, скучающие и праздные, они втягиваются в незначительные интриги, подменяют жизнь игрой в жизнь, и мельчайшие переживания становятся желанным поводом для их филигранного психологического анализа и самоанализа.

¹ Цвейг С. т. Избр. произв. в 2-х т., т. 1, с. 399.

В тридцатые годы Цвейг почти не пишет новелл, занятый работой в других жанрах. И его последняя новелла стоит несколько особняком — и по времени написания, и по главной идее. Речь идет о «Шахматной новелле». Обычная краткая рамка в этом произведении приобретает самостоятельное значение, то, что было вводной частью, составляет здесь половину всего текста. В новелле противостоят друг другу два человека, обладающие одним и тем же даром — шахматной талантливостью, но резко различающиеся по своим духовным качествам и по своим судьбам. Используя некоторые факты из жизни Капабланки, Цвейг создает образ некоего шахматного феномена — неграмотного, тупого, грубого Чентовича, поражающего полным отсутствием интеллекта и обладающего только способностью к шахматной игре. Чентович — это сила, лишенная одухотворенности; это варвар в шахматном мире, но варвар победоносный возомнивший себя великим: «...легко считать себя великим человеком, если ваш мозг не отягощен ни малейшим подозрением, что на свете когда-то жили Рембрандт, Бетховен, Данте и Наполеон»¹. Биография Чентовича и история знакомства с ним автора новеллы занимает большую часть повествования. Затем Цвейг вводит еще одного героя — венского юриста, приверженца австрийской монархии, брошенного гестаповцами в тюрьму и проведенного там в полной изоляции несколько месяцев. Человек высоко интеллигентный, тонко чувствующий, впечатлительный и нервный, он в неравном поединке с гестаповцами полностью разрушил свое здоровье, подорвал свою волю и жизнеспособность. Он играет интереснее, талантливее, одухотвореннее и быстрее тяжелодума Чентовича, но он безволен, невыдержан; нервы его расстроены, и он, выиграв одну партию, больше побеждать не может — для этого у него не хватает сил. Цвейг не показывает ни одного гестаповца, мучившего юриста, мы только однажды видим шинели его судей. Но зато читатель присутствует при поединке Чентовича с юристом; и Чентович по отношению к юристу занимает то же положение, что и фашисты: он тоже пытается своего противника и побеждает его не превосходством своего интеллекта или подготовки, а грубой физической силой, тупостью и равнодушием. Цвейгу кажется, что это знамение времени: он видит за миром шахмат «свою духовную отчизну — Европу», а за поединком Чентовича и юриста — борьбу фашистского варварства и европейской цивилизации. В новелле в художественной форме отразились мысли и настроения Цвейга, запечатленные в его предсмертной «Декларации». Новелла очень ясно показывает, в чем причина духовного кризиса Цвейга. Выше уже упоминалось о том, что позиция Цвейга в антифашистском движении была не очень четкой. Поэтому он, подобно Вихерту («Лес мертвых»), Эрнсту Толлеру («Пастор Галль»), Келлерману («Пляска смерти»), выбирает для изображения «нашей прелестной эпохи»² побочный, а не основной конфликт. Как у всех перечисленных писателей, герой, случайно оказавшийся жертвой фашистов, кроме своих страданий, ничего не видит и не замечает и считает их самыми страшными. Но заблуждения Цвейга касаются не только вопроса о «злейших врагах фашистов» (в данном случае для писателя ими являются австрийские монархисты и клерикалы), но — что важнее — и вопроса о самой природе фашизма. В новелле проскальзывает пренебрежительное, высокомерное, даже барское отношение

¹ Цвейг Ст. Шахматная новелла, с. 8.

² Цвейг Ст. Шахматная новелла, с. 21.

к народу, к простым людям. Вероятно, поэтому, излагая карьеру Чентовича, рассказчик новеллы не перестает подчеркивать, что тупость, безнадежная отсталость, низкий лоб, «всеобъемлющее невежество» — все это у чемпиона потому, что он «сын дунайского лодочника», что, несмотря на модный костюм, он все еще остается «тем, кем был,— ограниченным, неотесанным парнем, еще недавно подметавшим кухню пастора». Эти детали подобраны с таким расчетом, чтобы читатель помнил, что Чентович пришел из того же мира, откуда появились, по Цвейгу, и фашистские варвары. Новелла вместе с «Декларацией» приоткрывает завесу над теми вопросами, которые мучили талантливого писателя последние годы и разрешить которые с позиций абстрактного гуманизма и буржуазного индивидуализма было невозможно.

Широко известный уже при жизни, Стефан Цвейг и сейчас пользуется заслуженной популярностью; и его произведения переведены более чем на тридцать языков. Время многое отсеяло в творчестве Стефана Цвейга, многое забыто, но лучшие произведения замечательного австрийского художника, и среди них его новеллы, продолжают служить высоким идеалам человечности и справедливости,

Л. Русакова

НОВЕЛЛЫ

ГУВЕРНАНТКА

Сестры одни в своей комнате. Свет погашен. Между ними темнота, только слабо белеют постели. Почти не слышно их дыхания; можно подумать, что они уснули.

— Послушай,— раздается голос двенадцатилетней девочки; тихо, почти робко, шлет она призыв во мрак.

— Что тебе? — отвечает со своей кровати сестра; она всего годом старше.

— Ты еще не спишь? Это хорошо. Я... мне хочется что-то рассказать тебе.

Молчание. Слышен лишь шорох в постели. Сестра приподнялась, она выжидающе смотрит; можно различить, как блестят ее глаза.

— Знаешь... я хотела сказать тебе... Но раньше ты скажи: ты ничего не заметила в нашей фройлейн?

Другая медлит в раздумье.

— Да,— говорит она,— но я не знаю, что это. Она не такая строгая, как раньше. Недавно я два дня подряд не приготовила урока, и она мне ничего не сказала. И потом она какая-то... не знаю, как это сказать. Я думаю, ей совсем не до нас: она все время сидит в стороне и больше не играет с нами.

— Мне кажется, у нее какое-то горе, но она не хочет этого показать. И на рояле она совсем не играет.

Снова молчание.

Старшая сестра напоминает:

— Ты хотела что-то рассказать.

— Да, но ты никому не скажешь? Ни маме, ни твоей подруге?

— Да нет, не скажу,— сердится та. — Ну, говори!

— Так вот... Сейчас, когда мы ложились спать, я вдруг вспомнила, что забыла сказать фройлейн «спокойной ночи». Башмаки я уже сняла, но все-таки побежала к ней в комнату тихо-тихо — я хотела пошутить, застать ее врасплох. Я осторожно открываю дверь. Сперва мне показалось, что ее нет в комнате. Свет горит, а ее не видно. И вдруг — я так испугалась — слышу, кто-то плачет. Смотрю — а она, одетая, лежит на кровати и уткнулась головой в подушку. Как она плакала! Я даже вся затряслась. Но она меня не заметила. И я тихонечко притворила дверь. Я так дрожала, что не могла двинуться с места. Потом опять услышала через дверь, как она плачет, и поскорее сбежала вниз.

Обе молчат.

— Бедная фройлейн,— говорит одна из них. Трепетный звук ее голоса замирает в темноте.

— Хотела бы я знать, отчего она плакала,— начинает младшая. — Она ведь ни с кем не поссорилась, мама тоже наконец оставила ее в покое, не придирается, а мы-то уж, наверно, ей ничего не сделали. Отчего же она так плачет?

— Я, кажется, понимаю,— говорит старшая.

— Отчего, скажи мне, отчего?

Сестра медлит. Наконец она говорит:

— Я думаю, что она влюблена.

— Влюблена? — Младшая чуть не выскочила из постели. — Влюблена? В кого?

— Ты ничего не заметила?

— Неужели в Отто?

— Конечно. И он в нее влюблен. Ведь он у нас уже три года живет и никогда не гулял с нами, а в последнее время каждый день гуляет. Разве он был когда-нибудь ласков со мной или с тобой, пока не было фройлейн? А теперь он весь день вертится около нас. Мы всегда встречаем его случайно, куда бы ни пошли вместе с фройлейн — в Народный парк, в Городской сад, в Пратер. Ты разве этого не заметила?

Младшая испуганно шепчет:

— Да... да, я это заметила. Только я думала, что...

Голос ей изменяет. Она больше не произносит ни слова.

— Раньше я тоже так думала. Ведь мы, девочки, такие глупые. Но я вовремя поняла, что мы для него только предлог.

Теперь обе молчат. Разговор как будто окончен.

Обе погружены в свои мысли, или, быть может, их уже сморил сон.

Но еще раз из мрака слышится растерянный голос младшей:

— Но отчего же она плачет? Он ведь любит ее. Я всегда думала: как это хорошо — быть влюбленной.

— Не знаю,— говорит старшая сонным голосом,— я тоже думала, что это очень хорошо.

И еще раз, тихо и жалостливо, слетает с губ засыпающей девочки:

— Бедная фройлейн!

В комнате воцаряется тишина.

На другое утро они об этом больше не говорят, но обе чувствуют, что их мысли вертятся вокруг одного и того же. Они обходят друг друга, прячут глаза, но взгляды их невольно встречаются, когда они украдкой посматривают на гувернантку. За столом они наблюдают за кузеном Отто, который уже давно живет у них в доме, как за чужим. Они с ним не разговаривают, но, под опущенными веками, глаза их искоса следят, не подаст ли он знака фройлейн. Они обе встревожены волнующей тайной. После обеда они не играют, как обычно, а хватаются то за одно, то за другое, и все валится у них из

рук. Только вечером одна холодно спрашивает другую, точно это ее мало интересует:

— Ты опять что-нибудь заметила?

— Нет,— отвечает сестра, отворачиваясь. Обе как будто боятся разговора.

Так проходит несколько дней; девочки молчат, они томятся безотчетной тревогой, пытаются разгадать заманчивую тайну. Наконец младшая во время обеда замечает, что гувернантка делает Отто знак глазами. Он отвечает кивком головы. Девочка дрожит от волнения. Под столом она тихонько касается руки старшей сестры и, когда та оборачивается, бросает ей сверкающий взгляд. Та мигом все понимает, волнение сестры передается и ей.

Едва они встали из-за стола, как гувернантка обращается к девочкам:

— Пойдите к себе и займитесь чем-нибудь. У меня болит голова, я хочу отдохнуть полчаса.

Дети опускают глаза. Они тихонько подталкивают друг друга. Как только гувернантка ушла, младшая говорит сестре:

— Вот увидишь, сейчас Отто пойдет к ней в комнату.

— Конечно. Потому-то она нас и уснула.

— Давай подслушивать у двери!

— А вдруг кто-нибудь придет?

— Кто может прийти?

— Мама.

Девочка пугается:

— Да, верно...

— Знаешь что? Я буду подслушивать, а ты останешься в коридоре и подашь мне знак, если кто-нибудь придет. Так нас не поймают.

Младшая хмурится:

— Но ты же мне ничего не расскажешь!

— Расскажу!

— Все расскажешь? Все-все?

— Все расскажу, честное слово. А ты кашляй, если услышишь, что кто-нибудь идет.

Обе ждут в коридоре. У них колотится сердце. Что-то будет? Они дрожат и жмутся друг к другу.

Шаги. Девочки убегают, прячутся в темный угол. Так и есть: это Отто. Он берется за ручку, дверь за ним закрывается. Старшая бросается к двери, прикладывает ухо, прислушивается, затаив дыхание. Младшая с завистью смотрит на сестру. Любопытство мучит ее, она покидает свой пост, подкрадывается к сестре, но та сердито отталкивает ее. Она возвращается на свое место. Проходят две-три минуты, которые кажутся ей вечностью. Ее гложет нетерпение, она приплясывает, как на горячих углях, она готова расплакаться от волнения и злости, что сестра все слышит, а она ничего. Но вот в конце коридора хлопает дверь. Девочка громко кашляет. Обе опрометью кидаются в свою комнату. Там они стоят с минуту, тяжело дыша, с бьющимся сердцем.

Потом младшая торопит сестру:

— Ну, скорей... рассказывай!

Старшая стоит в раздумье. Наконец говорит с недоумением, словно отвечая не сестре, а себе самой:

— Ничего не понимаю.

— Что?

— Это так чудно.

— Что?.. Что?.. — задыхаясь спрашивает младшая.

Старшая пытается объяснить, сестренка крепко прижалась к ней, чтобы не упустить ни одного слова.

— Это так чудно... совсем не так, как я думала. Он вошел в комнату и, должно быть, хотел ее обнять или поцеловать, потому что она сказала: «Оставь, мне нужно поговорить с тобой серьезно». Мне ничего не было видно, ключ торчал изнутри, но я все слышала. «В чем дело?» — спросил Отто, но совсем по-другому, чем всегда. Он ведь всегда говорит громко и нахально, а тут вдруг оробел — я сразу поняла, что он чего-то боится. И она, наверно, заметила, что он притворяется, она сказала тихо-тихо: «Ты же знаешь». — «Нет, — говорит он, — я ничего не знаю.» — «Вот как? — сказала она, а сама чуть не плачет. — Отчего же ты вдруг переменялся ко мне? Вот уже неделя, как ты не говоришь со мною ни слова, убегаешь от меня, не ходишь гулять с детьми, не бываешь в парке. Неужели я сразу стала тебе чужой? О, ты прекрасно знаешь, почему ты стал так холоден». Он помолчал, а потом говорит: «У меня скоро экзамены, я должен много заниматься, и у меня ни для чего другого нет времени. Теперь я не могу иначе». Она заплакала и сказала ему сквозь слезы, но так нежно и ласково: «Отто, зачем ты лжешь? Скажи правду, неужели я этого не заслужила? Я ведь ничего от тебя не требую, но все-таки должны же мы хоть поговорить об этом. Ты же знаешь, что я хочу тебе сказать, по глазам вижу». — «Что же?» — пробормотал он совсем-совсем тихо. И тут она сказала...

Девочка начинает вдруг дрожать от волнения и не может выговорить ни слова. Младшая еще крепче прижимается к ней:

— Что же... что?

— И тут она сказала: «Ведь у меня ребенок от тебя».

Младшая вся вскидывается:

— Ребенок? Ребенок? Этого быть не может!

— Она так сказала.

— Тебе послышалось.

— Нет! Нет! Он тоже, вот как ты, крикнул: «Ребенок?» Она все молчала, а потом говорит: «Что теперь будет?» Ну, и тут...

— Что?

— Тут ты кашлянула, и я убежала.

Младшая растерянно смотрит прямо перед собой:

— Ребенок? Этого быть не может. Где же у нее ребенок?

— Не знаю. Вот этого-то я и не могу понять.

— Может быть, где-нибудь дома... раньше, чем она поступила к нам. Мама, конечно, не позволила ей взять его с собой из-за нас. Потому она такая грустная.

— Чепуха! Ведь тогда она даже не знала Отто.

Они умолкают, долго думают, но не находят разгадки. Это их мучит. Первой заговаривает младшая:

— Ребенок — этого быть не может! Откуда у нее возьмется ребенок? Она ведь не замужем, а только у замужних бывают дети, это я знаю наверно.

— Может быть, она была замужем?

— Не говори глупостей, не за Отто же!

— Но откуда же...

Девочки растерянно глядят друг на друга.

— Бедная фройлейн, — печально говорит одна из них.

То и дело срываются с их уст эти слова со вздохом глубокого страдания. И тут же снова вспыхивает любопытство.

— Как ты думаешь — девочка или мальчик?

— Почему я знаю?

— А если... если бы ее спросить... остороженько?..

— Ты с ума сошла!

— Почему? Она ведь такая добрая.

— Разве это можно? Нам о таких вещах не говорят. От нас все скрывают. Когда мы входим в комнату, они обрывают разговор и начинают болтать всякие глупости с нами, как будто мы маленькие дети, а ведь мне уже тринадцать лет. Зачем же их спрашивать? Нам все равно скажут неправду.

— А как мне хочется узнать!

— А мне, думаешь, не хочется?

— Знаешь... что мне совсем непонятно, это — что Отто ничего не знал. Всякий знает, что у него есть ребенок, как всякий знает, что у него есть родители.

— Он представляется, негодяй, он вечно представляется.

— Но не в таких же делах. Только... только... когда он хочет нас надуть...

Входит фройлейн. Они сразу умолкают и делают вид, что занимаются. Но украдкой они искоса поглядывают на нее. Ее глаза как будто покраснели, голос еще тише, чем обычно, и дрожит. Присмиревшие девочки смотрят на нее с благоговейным трепетом. Их не покидает мысль: «У нее ребенок, потому она такая печальная». И малопомалу ее печаль передается им.

На другой день за обедом они узнают неожиданную новость: Отто оставляет их дом. Он заявил дяде, что экзамены на носу и он должен усиленно готовиться, а тут ему мешают работать. Он снимет себе где-нибудь комнату на один-два месяца, пока не кончатся экзамены.

Девочек охватывает неистовое волнение. Они угадывают тайную связь этого события со вчерашним разговором, своим обостренным инстинктом чувствуют какую-то подлость, трусливое бегство. Когда Отто прощается с ними, они дерзко поворачиваются к нему спиной. Но исподтишка следят за ним, когда он подходит к фройлейн. У фройлейн дрожат губы, но она спокойно, не говоря ни слова, подает ему руку.

За последние дни девочек точно подменили. Они не играют, не смеются, глаза утратили веселый, беззаботный блеск. Ими владеют беспокойство и растерянность, угрюмое недоверие ко всем окружающим. Они больше не верят тому, что им говорят, в каждом слове подозревают ложь или умысел. Целыми днями они высматривают и наблюдают, следят за каждым движением, ловят каждый жест, каждую интонацию. Как тени, они бродят по комнатам, подслушивают у дверей, пытаются что-нибудь узнать; со всей страстью силятся они стряхнуть с себя темную сеть загадок и тайн или бросить хоть один взгляд сквозь нее на мир действительности. Детская вера — эта счастливая, безмятежная слепота — покинула их. А кроме того, они предчувствуют, что это еще не конец, что надо ждать развязки, и боятся упустить ее. С тех пор как дети знают, что они опутаны ложью, они стали придирчивы, подозрительны, сами начали хитрить и притворяться. В присутствии родителей они надевают на себя личину детской простоты и проявляют чрезмерную живость. Они возбуждены, взвинчены, их глаза, прежде светившиеся мягким и ровным блеском, теперь горят лихорадочным огнем, взгляд стал глубже, пытливее. Они так одиноки в своем постоянном выслеживании и подглядывании, что все сильнее привязываются друг к другу. Иногда, повинувшись внезапно вспыхнувшей потребности в ласке, они порывисто обнимаются или, подавленные сознанием своего бессилия, вдруг начинают плакать. Без всякой, казалось бы, причины в их жизни наступил перелом.

Среди многих обид, к которым они стали теперь очень чувствительны, одна особенно задевает их. Точно сговорившись, обе стараются доставлять своей опечаленной фройлейн как можно больше радости. Уроки свои они готовят прилежно и тщательно, помогая друг другу; их не слышно, они не подают никакого повода к жалобам, предупреждают каждое ее желание. Но фройлейн ничего не замечает, и им это очень больно. Она стала совсем другой в последнее время. Часто, когда одна из девочек обращается к ней, она вздрагивает, как будто ее разбудили; взгляд у нее такой, точно он медленно возвращается откуда-то издалека. Часами она сидит не двигаясь, погруженная в раздумье. Девочки ходят на цыпочках вокруг нее, чтобы не мешать ей; они смутно угадывают, что она думает о своем ребенке, который где-то далеко. И все сильнее, все крепче, подымаясь из глубин пробуждающейся женственности, становится их любовь к фройлейн, которая теперь совсем не строгая, а такая милая и ласковая. Ее обычно быстрая и горделивая походка стала смиреннее, движения осторожнее, и во всем этом дети усматривают признаки печали. Слез ее они не видят, но веки ее часто красны. Они замечают, что фройлейн старается скрыть от них свое горе, и они в отчаянии, что не могут ей помочь.

И вот однажды, когда фройлейн отвернулась к окну и провела платком по глазам, младшая, набравшись храбрости, тихонько берет ее за руку и говорит:

— Фройлейн, вы такая грустная последнее время. Это не наша вина, не правда ли?

Фройлейн растроганно смотрит на девочку и проводит рукой по ее мягким волосам.

— Нет, дитя, нет,— говорит она,— конечно, не ваша,— и нежно целует ее в лоб.

Так они выслеживают и наблюдают, не упуская ничего, что попадает в их поле зрения. И вот одна из них, войдя в столовую, уловила несколько слов. Это была всего одна фраза — родители тотчас же оборвали разговор,— но каждое слово вызывает у них теперь тысячу предположений. «Мне тоже что-то показалось,— сказала мать,— я учиню ей допрос». Девочка сначала отнесла это к себе и, полная тревоги, бросилась к сестре за советом и помощью. Но за обедом они замечают, что родители испытующе посматривают на задумчивое лицо фройлейн, а потом переглядываются между собой.

После обеда мать, как бы между прочим, обращается к фройлейн:

— Зайдите, пожалуйста, ко мне в комнату. Мне нужно с вами поговорить.

Фройлейн молча наклоняет голову. Девочки дрожат, они чувствуют: сейчас что-то должно случиться.

И как только фройлейн входит в комнату матери, они бегут вслед за ней. Приникать к замочной скважине, подслушивать и выслеживать стало для них обычным делом. Они уже не чувствуют ни неприличия, ни дерзости своего поведения: у них только одна мысль — раскрыть все тайны, которыми взрослые заслоняют от них жизнь.

Они подслушивают. Но до их слуха доносится только невнятный шепот. Их бросает в дрожь. Они боятся, что все ускользнет от них.

Но вот за дверью раздается громкий голос. Это голос их матери. Он звучит сердито и злобно.

— Что же вы думали? Что все люди слепы и никто этого не заметит? Могу себе представить, как вы исполняли свои обязанности с такими мыслями и с такими нравственными правилами. И вам я доверила воспитание своих дочерей, своих девочек! Ведь вы их совсем забросили!..

Фройлейн, видимо, что-то возражает. Но она говорит слишком тихо, и дети ничего не могут разобрать.

— Отговорки, отговорки! У легкомысленной женщины всегда наготове отговорки. Отдается первому встречному, ни о чем не думая. А там — что бог даст. И такая хочет быть воспитательницей, берется воспитывать девочек! Просто наглость! Надеюсь, вы не рассчитываете, что я вас и дальше буду держать в своем доме?

Дети подслушивают у двери. Они дрожат от страха; они ничего не понимают, но их приводит в ужас негодующий голос матери; а теперь они слышат в ответ тихие, безудержные рыдания фройлейн. По щекам у них текут слезы, но голос матери становится еще более грозным.

— Это все, что вы умеете,— проливать слезы. Меня вы этим не возьмете. К таким женщинам у меня нет жалости. Что с вами теперь будет, меня совершенно не касается. Вы сами знаете, к кому вам

нужно обратиться, я вас даже не спрашиваю об этом. Я знаю только одно: после того как вы так низко пренебрегли своим долгом, вы и дня не останетесь в моем доме.

В ответ — только рыдания, отчаянные, безутешные рыдания, от которых девочек за дверью трясет, как в лихорадке. Никогда они не слышали такого плача. И смутно они чувствуют: кто так плачет, не может быть виноватым. Мать умолкла и, видимо, ждет. Потом она холодно говорит:

— Вот все, что я хотела вам сказать. Уложите сегодня свои вещи и завтра утром приходите за жалованьем. Прощайте!

Дети отскакивают от дверей и спасаются в свою комнату. Что это было? Будто молния ударила в двух шагах от них. Они стоят бледные, трепещущие. Впервые перед ними приоткрылась действительность. И впервые они осмеливаются восстать против родителей.

— Это подло со стороны мамы так говорить с ней! — бросает старшая, кусая губы.

Младшую еще пугает дерзость сестры.

— Но мы ведь даже не знаем, что она сделала, — лепечет она жалобно.

— Наверное, ничего дурного. Фройлейн не сделает ничего дурного. Мама ее не знает!

— А как она плакала! Мне стало так страшно.

— Да, это было ужасно. Но как мама на нее кричала! Это подло, слышишь, подло!

Она топает ногой. Слезы застилают ей глаза. Но вот фройлейн. Она выглядит очень усталой.

— Дети, я занята сегодня после обеда. Вы побудете одни, хорошо? На вас ведь можно положиться? А вечером я к вам приду.

Она уходит, не замечая волнения девочек.

— Ты видела, какие у нее заплаканные глаза? Я не понимаю, как мама могла с ней так обойтись.

— Бедная фройлейн!

Опять прозвучали эти слова, полные сострадания и слез. Девочки подавлены и растеряны. Входит мать и спрашивает, не хотят ли они покататься с ней. Они отказываются. Мать внушает им страх. И они возмущены, что им ничего не говорят об уходе фройлейн. Они предпочитают остаться одни. Как две ласточки в тесной клетке, они снуют взад и вперед, задыхаясь в душной атмосфере лжи и замалчивания. Они раздумывают, не пойти ли им к фройлейн — спросить ее, уговорить остаться, сказать ей, что мама не права. Но они боятся обидеть ее. И потом им стыдно: все, что они знают, они ведь подслушали и высладили. Нужно представляться глупыми, такими же глупыми, какими они были две-три недели тому назад. Они остаются одни, и весь нескончаемо долгий день они размышляют, плачут, а в ушах неотступно звучат два страшных голоса — злобная, бессердечная отповедь матери и отчаянные рыдания фройлейн.

Вечером фройлейн мельком заглядывает в детскую и говорит им «спокойной ночи». Девочки волнуются; им жаль, что она уходит, хочется что-нибудь еще сказать ей. Но вот, уже подойдя к двери,

фройлейн вдруг сама оборачивается — как будто остановленная их немим желанием, — на глазах у нее слезы. Она обнимает девочек, те плачут навзрыд; фройлейн еще раз целует их и быстро уходит.

Дети горько рыдают. Они чувствуют, что это было прощание.

— Мы ее больше не увидим! — говорит одна сквозь слезы. — Вот посмотришь — когда мы завтра придем из школы, ее уже не будет.

— Может быть, мы когда-нибудь навестим ее. Тогда она, наверное, покажет нам своего ребенка.

— Да, она такая добрая.

— Бедная фройлейн! — Горестные слова звучат, как стенание о своей собственной судьбе.

— Как же мы теперь будем без нее?

— Я никогда не полюблю другую фройлейн.

— Я тоже.

— Ни одна не будет так добра к нам. И потом...

Она не решается договорить. Но с тех пор как они знают про ее ребенка, безотчетное женское чутье подсказывает им, что их фройлейн достойна особенной любви и уважения. Обе беспрестанно думают об этом, и теперь уже не с прежним детским любопытством, но с умилением и глубоким сочувствием.

— Знаешь что, — говорит одна из них, — мы...

— Что?

— Знаешь, мне бы хотелось порадовать чем-нибудь фройлейн. Пусть она знает, что мы ее любим и что мы не такие, как мама. Хочешь?

— Как ты можешь спрашивать!

— Я подумала, — она ведь очень любит белую гвоздику. Давай завтра утром, перед школой, купим цветы и поставим ей в комнату.

— Когда поставим?

— В обед.

— Ее, наверное, уже не будет. Знаешь, я лучше сбегаю рано-рано и принесу потихоньку, чтобы никто не видел. И мы поставим их к ней в комнату.

— Хорошо. И встанем пораньше.

Они достают копилки и честно высыпают на стол все деньги. Теперь они повеселели, их радует мысль, что они еще смогут выразить фройлейн свою немую, преданную любовь.

Они встают чуть свет, с душистыми, свежими гвоздиками в дрожащих руках они стучатся в дверь к фройлейн; но ответа нет. Решив, что фройлейн еще спит, они входят на цыпочках. Комната пуста, постель не смята. Вещи разбросаны в беспорядке, на темной скатерти белеют письма.

Дети пугаются. Что случилось?

— Я пойду к маме, — решительно заявляет старшая. И без малейшего страха, с мрачным выражением глаз она появляется перед матерью и спрашивает в упор: — Где наша фройлейн?

— Она, вероятно, у себя в комнате,— отвечает мать, с удивлением глядя на дочь.

— В комнате ее нет, постель не смята. Она, должно быть, ушла еще вчера вечером. Почему нам ничего не сказали?

Мать даже не замечает сердитого, вызывающего тона вопроса. Она побледнела, идет к отцу, тот быстро скрывается в комнате фройлейн.

Он долго не выходит оттуда. Девочка гневными глазами следит за матерью, которая, по-видимому, сильно взволнована и не решается встретиться с нею взглядом.

Отец возвращается. Он очень бледен, у него в руках письмо. Он уводит мать в комнату фройлейн, там они шепчутся о чем-то. Дети стоят за дверью, но подслушивать не решаются. Они боятся отца: таким они его еще никогда не видали.

Мать выходит из комнаты с заплаканными глазами, очень расстроенная. Дети, испуганные и смятенные, невольно подбегают к ней с вопросами. Но она резко останавливает их:

— Идите в школу, вы опоздаете.

И девочки покорно уходят. Как во сне, сидят они на уроках четиры, пять часов, но не слышат ни слова. Потом опрометью бегут домой.

Там все по-старому, только чувствуется, что всех угнетает одна страшная мысль. Никто ничего не говорит, но все, даже прислуга, глядят как-то странно. Мать идет девочкам навстречу. Она, видимо, приготовилась к разговору с ними.

— Дети,— начинает она,— ваша фройлейн больше не вернется, она...

Слова застревают у нее в горле. Сверкающие глаза девочек так грозно впились ей в лицо, что она не осмеливается солгать. Она отворачивается и торопливо уходит, спасается бегством в свою комнату.

После обеда вдруг появляется Отто. Его вызвали, для него оставлено письмо. Он тоже бледен. Растерянно озирается. Никто с ним не заговаривает. Все избегают его. Он видит забившихся в угол девочек и хочет с ними поздороваться.

— Не подходи ко мне! — говорит одна, содрогаясь от отвращения. Другая плюет перед ним на пол. Смущенный, оробевший, он слоняется по комнатам. Потом исчезает.

Никто не разговаривает с детьми. Они сами тоже хранят молчание. Бледные, испуганные, они бродят из комнаты в комнату; встречаясь, смотрят друг на друга заплаканными глазами и не говорят ни слова. Они знают теперь все. Они знают, что им лгали, что все люди могут быть дурными и подлыми. Родителей они больше не любят, они потеряли веру в них. Они знают, что никому нельзя доверять. Теперь вся чудовищная тяжесть жизни ляжет на их хрупкие плечи. Из веселого уюта детства они как будто упали в пропасть. Они еще не могут постигнуть всего ужаса происшедшего, но мысли их прикованы к нему и грозят задушить их. На щеках у них выступили красные пятна, глаза злые, настороженные. Они ежатся, точно от холода, не находя себе места. Никто, даже родители, не решается к ним

подступиться, так гневно они смотрят на всех. Безостановочное блуждание по комнатам выдает терзающее их волнение, и, хотя они не говорят друг с другом, пугающая общность между ними ясна без слов. Это молчание, непроницаемое, ни о чем не спрашивающее молчание, упрямая, замкнувшаяся в себе боль, без криков и слез, внушает страх и отгораживает их от всех остальных. Никто не подходит к ним, доступ к их душам закрыт — быть может, на долгие годы. Все чувствуют в них врагов, врагов беспощадных, которые больше не умеют прощать. Ибо со вчерашнего дня они уже не дети.

В один день они стали взрослыми. И только вечером, когда они остались одни, во мраке своей комнаты, пробуждается в них детский страх — страх перед одиночеством, перед призраком умершей, и еще другой, вещий страх — перед неизвестным будущим. Среди общего смятения позабыли вытопить их комнату. Дрожа от холода, они ложатся в одну постель, тонкими детскими руками крепко обнимают друг друга, прижимаются друг к другу своими худенькими, еще не расцветшими телами, как бы ища защиты от охватившего их страха. Они все еще боятся заговорить. Наконец младшая раздражается слезами, и старшая горько рыдает вместе с ней. По их лицам, мешаясь, текут горячие слезы — сперва медленно, потом все быстрее и быстрее. Сжимая друг друга в объятиях, грудь с грудью, они горько плачут и содрогаются от рыданий. Обе они — одна боль, одно тело, плачущее во мраке. Они оплакивают уже не свою фройлейн, не родителей, которые потеряны для них, ими владеет ужас — страх перед тем, что их ждет в неведомом мире, в который они бросили сегодня первый испуганный взгляд. Их страшит жизнь, таинственная и грозная, как темный лес, через который они должны пройти.

Мало-помалу чувство страха туманится, сменяется дремотой, утихают рыдания. Их ровное дыхание сливается воедино, как сливались только что их слезы, и наконец они засыпают.

ЛЕТНЯЯ НОВЕЛЛА

Август прошлого года я провел в Каденаббии, одном из тех местечек на берегу озера Комо, что так укромно притаились среди белых вилл и темных деревьев. Даже в самые шумные весенние дни, когда толпы туристов из Белладжио и Менаджио наводняют узкую полосу берега, в городке царят мир и покой, а теперь, в августовский зной, это была сама тишина, солнечная и благоухающая. Отель был почти пуст, — немногочисленные обитатели его с недоумением взирали друг на друга, не понимая, как можно избрать местом летнего отдыха этот заброшенный уголок, и каждое утро, встречаясь за столом, изумлялись, почему никто до сих пор не уехал. Меня особенно удивлял один немолодой человек, чрезвычайно представительный и элегантный, нечто среднее между английским лордом и парижским щеголем. Он не занимался водным спортом и целые дни просиживал на одном месте, задумчиво провожая глазами струйку дыма своей сигареты или перелистывая книгу. Два несносно скуп-

ных, дождливых дня и явное дружелюбие этого господина быстро придали нашему знакомству оттенок сердечности, которой почти не мешала разница в годах. Лифляндец по рождению, воспитывавшийся во Франции, а затем в Англии, человек, никогда не имевший определенных занятий и вот уже много лет — постоянного места жительства, он — в высоком смысле — не знал родины, как не знают ее все рыцари и пираты красоты, которые носятся по городам мира, алчно вбирая в себя все прекрасное, встретившееся на пути. По-дилетантски он был сведущ во всех искусствах, но сильнее любви к искусству было аристократическое нежелание служить ему; он взял у искусства тысячу счастливых часов, не дав ему взамен ни одной секунды творческого огня. Жизнь таких людей кажется ненужной, ибо никакие узы не привязывают их к обществу, и все накопленные ими сокровища, которые слагаются из тысячи неповторимых и драгоценных впечатлений, — никому не завещанные, обращаются в ничто с их последним вздохом.

Однажды вечером, когда мы сидели перед отелем и смотрели, как медленно темнеет светлое озеро, я заговорил об этом. Он улыбнулся:

— Быть может, вы не так уж не правы. А впрочем, я не дорожу воспоминаниями. Пережитое пережито в ту самую секунду, когда оно покидает нас. Поэзия? Да разве она тоже не умирает через двадцать, пятьдесят, сто лет? Но сегодня я расскажу вам кое-что; на мой взгляд, это послужило бы недурным сюжетом для новеллы. Давайте пройдемся. О таких вещах лучше говорить на ходу.

Мы пошли по чудесной дорожке вдоль берега. Вековые кипарисы и развесистые каштаны осеняли ее, а в просветах между ветвями беспокойно поблескивало озеро. Вдалеке, словно облако, белело Белладжио, мягко оттененное неуловимыми красками уже скрывшегося солнца, а высоко-высоко над темным холмом в последних лучах заката алмазным блеском сверкала кровля виллы Сербелони. Чуть душноватая теплота не тяготила нас; будто ласковая женская рука, она нежно обнимала тень, наполняя воздух ароматом невидимых цветов.

Мой спутник нарушил безмолвие:

— Начну с признания. До сих пор я умалчивал о том, что уже был здесь в прошлом году, именно здесь, в Каденаббии, в это же время года, в этом же отеле. Мое признание, вероятно, удивит вас, особенно после того, как я рассказывал вам, что всю жизнь избегал каких бы то ни было повторений. Так слушайте. В прошлом году здесь было, конечно, так же пусто, как и сейчас: тот же самый господин из Милана целыми днями ловил рыбу, а вечером бросал ее обратно в воду, чтобы снова поймать утром; затем две старые англичанки, тихого и растительного существования которых никто не замечал; потом красивый молодой человек с очень милой бледной девушкой — я до сих пор не верю, что они муж и жена, уж слишком они любили друг друга. И, наконец, немецкое семейство, явно с севера Германии: пожилая, ширококостая особа с волосами соломенного цвета, некрасивыми, грубыми движениями, колючими стальными глазами и узким — словно его ножом прорезали — злым ртом.

С нею была ее сестра — да, бесспорно сестра, — те же черты, но только расплывшиеся, размякшие, одутловатые. Они проводили вместе весь день, но не разговаривали между собой, а молча склонялись над рукодельем, вплетая в узоры всю свою бездумность, — немолчимые парки душевного мира скуки и ограниченности. И с ними была молоденькая девушка лет шестнадцати, дочь одной из них, не знаю, чья именно; угловатая незавершенность ее лица и фигуры уже сменялась женственной округлостью. В сущности, она была некрасива — слишком худа, слишком незрела и, конечно, безвкусно одета, но в ней угадывалось какое-то трогательное, беспомощное томление; большие глаза, полные темного огня, испуганно прятались от чужого взгляда и поблескивали мерцающими искорками. Она тоже повсюду носила с собой рукоделье, но руки ее часто медлили, пальцы замирали над работой, и она сидела тихо-тихо, устремив на озеро мечтательный, неподвижный взгляд. Не знаю, почему это так хватало меня за душу. Быть может, мне просто приходила на ум банальная, но неизбежная мысль, которая всегда приходит на ум при виде увядшей матери рядом с цветущей дочерью — человека и его тени, — мысль о том, что в каждом юном лице уже таятся морщины, в улыбке — усталость, в мечте — разочарование. А может быть, меня просто привлекало это неосознанное, смятенное, быющее через край томление, та неповторимая, чудесная пора в жизни девушки, когда взгляд ее с жадностью устремляется на все, ибо нет еще того единственного, к чему она прилепится, как водоросли к плавучему бревну. Я мог без устали наблюдать ее мечтательный, влажный взгляд, бурную порывистость, с которой она ласкала каждое живое существо, будь то кошка или собака, беспокойство, которое заставляло ее браться сразу за несколько дел и ни одно не доводить до конца, лихорадочную поспешность, с которой она по вечерам проглатывала жалкие книжонки из библиотеки отеля или перелистывала два растрепанных, привезенных с собой томика стихов, Гете и Баумбаха... Почему вы улыбаетесь?

Я извинился и объяснил:

— Видите ли, меня рассмешило это сопоставление — Гете и Баумбах.

— Ах, вот что! Конечно, это несколько смешно. А с другой стороны — ничуть. Поверьте, молодым девушкам в этом возрасте совершенно безразлично, какие стихи они читают — плохие или хорошие, искренние или лживые. Стихи — лишь сосуды, а какое вино — им безразлично, ибо хмель уже в них самих, прежде чем они пригубят вино. Так и эта девушка была полна смутной тоски, это чувствовалось в блеске глаз, в дрожании рук, в походке, робкой, скованной и в то же время словно окрыленной. Видно было, что она изнывает от желания поговорить с кем-нибудь, поделиться чрезмерной полнотой чувств, но вокруг не было никого — одно лишь одиночество, да стрекотание спиц слева и справа, да холодные, бесстрастные взгляды обеих женщин. Бесконечное сострадание охватывало меня. И все же я не решался подойти к ней. Во-первых, что для молодой девушки в подобные минуты такой старик, как я? Во-вторых, мой непрео-

долимый ужас перед всякими семейными знакомствами и особенно с пожилыми мещанками исключал всякую возможность сближения. И тут мне пришла в голову довольно странная мысль — я подумал: вот передо мной молодая, неопытная, неискушенная девушка; наверно, она впервые в Италии, которая, благодаря англичанину Шекспиру, никогда здесь не бывавшему, считается в Германии родиной романтической любви, страной Ромео, таинственных приключений, оброненных весров, сверкающих кинжалов, масок, дуэний и нежных писем. Она, конечно, мечтает о любви, а кто может постичь девичьи мечты, эти белые, легкие облака, которые бесцельно плывут в лазури и, как все облака, постепенно загораются к вечеру более жаркими красками — сперва розовеют, потом вспыхивают ярко-алым огнем. Ничто не покажется ей неправдоподобным или невозможным. Поэтому я и решил изобрести для нее таинственного возлюбленного.

В тот же вечер я написал ей длинное письмо, исполненное самой смиренной и самой почтительной нежности, туманных намеков и... без подписи. Письмо, ничего не требовавшее и ничего не обещавшее, пылкое и в то же время сдержанное — словом, настоящее любовное письмо из романтической поэмы. Зная, что, гонимая смутным волнением, она всегда первой выходит к завтраку, я засунул письмо в ее салфетку. Настало утро. Я наблюдал за ней из сада, видел ее недоверчивое удивление, внезапный испуг, видел, как яркий румянец залил ее бледные щеки и шею, как она беспомощно оглянулась по сторонам, как она поспешно, воровским движением спрятала письмо и сидела растерянная, почти не прикасаясь к еде, а потом выскочила из-за стола и убежала подальше, куда-нибудь в тенистую, безлюдную аллею, чтобы прочесть таинственное послание... Вы хотели что-то сказать?

Очевидно, я сделал невольное движение, которое мне и пришлось объяснить:

— А не было ли это слишком рискованно? Неужели вы не подумали, что она попытается разузнать или, наконец, просто спросит у кельнера, как попало письмо в салфетку. А может быть, покажет его матери?

— Ну конечно, я об этом подумал. Но если бы вы видели эту девушку, это боязливое милое существо, видели, как она со страхом озиралась по сторонам, стоило ей случайно заговорить чуть громче, — у вас отпали бы все сомнения. Есть девушки, чья стыдливость настолько велика, что с ними можно поступать как вам заблагорассудится, ибо они совершенно беспомощны и скорее снесут все, что угодно, чем доверятся кому-нибудь. Я с улыбкой наблюдал за ней и радовался тому, что моя игра удалась. Но вот она вернулась — и кровь застучала у меня в висках. Это была другая девушка, другая походка. Она шла смятенно и взволнованно, жаркий румянец заливал ее лицо, очаровательное смущение сковывало шаги. И так весь день. Ее взгляд устремлялся к каждому окну, словно там ждала ее разгадка, провожал каждого, кто проходил мимо, и однажды упал на меня, однако я от него уклонился, боясь выдать себя даже движением век; но и в это кратчайшее мгновение я почувствовал такой

жгучий вопрос, что почти испугался и снова, как много лет назад, понял, что нет соблазна сильнее, губительней и заманчивей, чем зажечь первый огонь в глазах девушки. Потом я видел, как она сидела между матерью и теткой, видел ее сонные пальцы, видел, как она по временам судорожно прижимала руку к груди — без сомнения, она спрятала там письмо. Игра увлекла меня. Вечером я написал ей второе письмо, и так все последующие дни; мне доставляло своеобразное удовольствие описывать в своих посланиях чувства влюбленного юноши, изображать нарастание выдуманной страсти; это превратилось для меня в увлекательный спорт, — то же самое, вероятно, испытывают охотники, когда расставляют силки или заманивают дичь под выстрел. Успех мой превзошел всякие ожидания и даже напугал меня; я уже хотел прекратить игру, но искушение было слишком велико. Походка ее стала легкой, порывистой, танцующей, лицо озарилось трепетной, неповторимой красотой, самый сон ее, должно быть, стал лишь беспокойным ожиданием письма, потому что по утрам черные тени окружали ее тревожно горящие глаза. Она даже начала заботиться о своей наружности, вкалывала в волосы цветы; беспредельная нежность ко всему на свете исходила от ее рук, в глазах стоял вечный вопрос; по тысяче мелочей, разбросанных в моих письмах, она догадывалась, что их автор где-то поблизости — незримый Ариэль, который наполняет воздух музыкой, парит рядом с ней, знает ее самые сокровенные мечты и все же не хочет явиться ей. Она так оживилась в последние дни, что это превращение не ускользнуло даже от ее туповатых спутниц, и они не раз, с любопытством посматривая на ее подвижную фигурку и расцветающие щеки, украдкой переглядывались и обменивались добродушными усмешками. Голос ее обрел звучность, стал громче, выше, смелей, в горле у нее что-то трепетало, словно песня хотела вырваться ликующей трелью, словно... Я вижу, вы опять улыбаетесь.

— Нет, нет, продолжайте, пожалуйста. Я только подумал, что вы прекрасно рассказываете. Прошу прощения, но у вас просто талант, и вы смогли бы выразить это не хуже, чем любой из наших писателей.

— Вы, очевидно, хотите осторожно и деликатно намекнуть мне, что я рассказываю, как ваши немецкие новеллисты, напыщенно, сентиментально, растянуто, скучно. Вы правы, постараюсь быть более кратким. Марионетка плясала, а я уверенной рукой дергал за нитки. Чтобы отвести от себя малейшее подозрение — ибо иногда я чувствовал, что ее взгляд испытующе останавливается на мне, — я дал ей понять, что автор письма живет не здесь, а в одном из соседних курортов и ежедневно приезжает сюда на лодке или пароходом. И после этого, как только раздавался колокол прибывающего парохода, она под любым предлогом ускользала из-под материнской опеки, забивалась в какой-нибудь уголок на пристани и, затаив дыхание, следила за приезжающими.

И вдруг однажды — стоял серый, пасмурный день, и я от нечего делать наблюдал за ней — произошло нечто неожиданное. Среди других пассажиров с парохода сошел красивый молодой человек, оде-

тый с той броской элегантностью, которая отличает молодых итальянцев; он огляделся вокруг, и взгляд его встретился с отчаянным, зовущим взглядом девушки. И тут же ее робкую улыбку затопила яркая краска стыда. Молодой человек приостановился, посмотрел на нее внимательнее — что, впрочем, вполне понятно, когда тебя встречают таким страстным взглядом, полным тысячи невысказанных признаний, — и, улыбнувшись, направился к ней. Уже не сомневаясь в том, что он и есть тот, кого она так долго ждала, она обратилась в бегство, потом пошла медленней, потом снова побежала, то и дело оглядываясь: извечный поединок между желанием и боязнью, страстью и стыдом, поединок, в котором слабое сердце всегда одерживает верх над сильной волей. Он, явно осмелев, хотя и не без удивления, поспешил за ней, почти догнал ее — и я уже со страхом предвидел, что сейчас все смешается в диком хаосе, как вдруг на дороге показались ее мать и тетка. Девушка бросилась к ним, как испуганная птичка, молодой человек предусмотрительно отстал, но она обернулась, и они еще раз обменялись призывными взглядами. Это происшествие чуть не заставило меня прекратить игру, но я не устоял перед соблазном и решил воспользоваться этим так кстати подвернувшимся случаем; вечером я написал ей особенно длинное письмо, которое должно было подтвердить ее догадку. Меня забавляла мысль ввести в игру вторую марионетку.

Наутро я просто испугался — все ее черты выражали сильнейшее смещение. Счастливая взволнованность уступила место непонятной мне нервозности, глаза покраснели от слез, какая-то тайная боль терзала ее. Само ее молчание казалось подавленным криком, скорбно хмурился лоб, мрачное, горькое отчаяние застыло во взгляде, в котором именно сегодня я ожидал увидеть ясную, тихую радость. Мне стало страшно. Впервые в мою игру вкралось что-то неожиданное, марионетка отказалась повиноваться и плясала совсем иначе, чем я того хотел. Игра начала пугать меня, я даже решил уйти на весь день, чтобы не видеть упрека в ее глазах. Вернувшись в отель, я понял все: их столик не был накрыт, они уехали. Ей пришлось уехать, не сказав ему ни слова, она не могла открыться своим домашним, вымолить у них еще один день, хотя бы один час; ее вырвали из сладких грез и увезли в какую-нибудь жалкую провинциальную глушь. Об этом я и не подумал. До сих пор тяжким обвинением пронизывает меня этот ее последний взгляд, этот взрыв гнева, муки, отчаяния и горчайшей боли, которым я — и, быть может, надолго — потряс ее жизнь.

Он умолк. Ночь шла за нами, и полускрытый облаками месяц изливал на землю странный, мерцающий свет. Казалось, что и звезды, и далекие огоньки, и бледная гладь озера повисли между деревьями. Мы безмолвно шли дальше. Наконец, мой спутник нарушил молчание:

— Вот и все. Ну чем не новелла?

— Не знаю, что вам сказать. Во всяком случае, это интересная история, я сохраняю ее в памяти вместе со многими другими. Очень вам благодарен за ваш рассказ. Но назвать его новеллой? Это только

превосходное вступление, которое, пожалуй, могло бы побудить меня на дальнейшее. Ведь эти люди — они едва только успевают соприкоснуться, характеры их не определились, это предпосылки к судьбам человеческим, но еще не сами судьбы. Их надо бы дописать до конца.

— Мне понятна ваша мысль. Дальнейшая жизнь молодой девушки, возвращение в захолустный городок, глубокая трагедия будничного прозябания.

— Нет, даже и не это. Героиня больше не занимает меня. Девушки в этом возрасте мало интересны, как бы значительны они ни казались себе, все их переживания надуманны и потому однообразны. Девица в свое время выйдет замуж за добропорядочного обывателя, а это происшествие останется самой яркой страницей ее воспоминаний. Нет, она меня не занимает.

— Странно. А я не пнимаю, чем вас мог заинтересовать молодой человек. Такие мимолетные пламенные взоры выпадают в юности на долю каждого; большинство этого просто не замечает, другие — скоро забывают. Надо состариться, чтобы понять, что это, быть может, и есть самое чистое, самое прекрасное из всего, что дарит жизнь, что это святое право молодости.

— А меня интересует вовсе не молодой человек.

— А кто же?

— Я изменил бы автора писем, пожилого господина, дописал бы этот образ. Я думаю, что ни в каком возрасте нельзя безнаказанно писать страстные письма и вживаться в воображаемую любовь. Я попытался бы изобразить, как игра становится действительностью, как он думает, что сам управляет игрой, хотя игра уже давно управляет им. Расцветающая красота девушки, которую он, как ему кажется, наблюдает со стороны, на самом деле глубоко волнует и захватывает его. И в эту минуту, когда все выскальзывает у него из рук, им овладевает мучительная тоска по прерванной игре и по... игрушке.

Меня увлекло бы в этом чувстве то, что делает страсть пожилого человека столь похожей на страсть мальчика, ибо оба не чувствуют себя достойными любви; я заставил бы старика томиться и робеть, он у меня лишился бы покоя, поехал бы следом за ней, чтобы снова увидеть ее,— и в последний момент все-таки не осмелился бы показаться ей на глаза; я заставил бы его на другой год снова приехать на старое место в надежде встретиться с ней, вымолить у судьбы счастливый случай. Но судьба, конечно, окажется неумолимой. В таком плане я представляю себе новеллу. И это получилось бы...

— Надуманно, неверно, невозможно!

Я вздрогнул от неожиданности. Резко, хрипло, почти с угрозой перебил меня его голос. Я еще никогда не видел своего спутника в таком волнении. И тут меня осенило: я понял, какой раны нечаянно коснулся. Он круто остановился, и я с болью увидел, как серебрятся его седые волосы.

Я хотел как можно скорее переменить тему, но он уже заговорил снова, сердечно и мягко, своим спокойным и ровным голосом, окрашенным легкой грустью.

— Может быть, вы и правы. Это, пожалуй, было бы гораздо интересней. «L'amour coûte cher aux vieillards»¹ — так, кажется, озаглавил Бальзак самые трогательные страницы одного из своих романов, и это заглавие пригodiлось бы еще для многих историй. Но старые люди, которые лучше всех знают, как это верно, предпочитают рассказывать о своих победах, а не о своих слабостях. Они не хотят казаться смешными, а ведь это всего лишь колебания маятника извечной судьбы. Неужели вы верите, что «случайно затерялись» именно те главы воспоминаний Казановы, где описана его старость, когда из соблазнителя он превратился в рога носца, из обманщика в обманутого? Может быть, у него просто духу не хватило написать об этом.

Он протянул мне руку. Голос его снова звучал ровно, спокойно, бесстрастно.

— Спокойной ночи! Я вижу, молодым людям опасно рассказывать такие истории, да еще в летние ночи. Это впускает им сумасбродные мысли и пустые мечты. Спокойной ночи.

Он повернулся и ушел в темноту своей упругой походкой, на которую, однако, успели наложить печать годы. Было уже поздно. Но усталость, обычно рано овладевавшая мною в мягкой духоте ночи, не приходила сегодня из-за волнения, которое поднимается в крови, когда столкнешься с чем-нибудь необычным или когда в какое-то мгновение переживаешь чужие чувства, как свои.

Я дошел по тихой и темной дороге до виллы Карлотта — ее мрачная лестница спускается к самой воде — и сел на холодные ступени. Ночь была чудесная. Огни Белладжио, которые раньше, словно светлячки, мерцали между деревьями, теперь казались бесконечно далекими и один за другим медленно падали в густой мрак. Молчало озеро, сверкая, как черный алмаз, оправленный в прибрежные огни. Плещущие волны с легким рокотом набегали на ступени — так белые руки легко бегают по светлым клавишам. Бледная даль неба, усеянная тысячами звезд, казалась бездонной, звезды сияли в торжественном молчании, лишь изредка одна из них стремительно покидала искрящийся хоровод и низвергалась в летнюю ночь, в темноту, в долины, ущелья, в дальние глубокие воды, низвергалась, не ведая куда, словно человеческая жизнь, брошенная слепой силой в неизмеримую глубину неизведанных судеб.

СТРАХ

Когда фрау Ирена вышла из квартиры своего возлюбленного и начала спускаться по лестнице, ее охватил уже знакомый бессмысленный страх. Перед глазами замелькали черные круги, колени вдруг точно окоченели, перестали сгибаться, и ей пришлось ухватиться за перила, чтобы не упасть. Не впервые отваживалась она на это рискованное приключение, и такая внезапная дрожь тоже была ей не в

¹ Любовь дорого обходится старикам (фр.).

новинку, но всякий раз, возвращаясь домой, она не могла совладать с беспричинным приступом глупого и смешного страха. Идя на свидание, она не испытывала ничего похожего. Экипаж она отпускала за углом, торопливо, не глядя по сторонам, проходила несколько шагов до подъезда, взбегала по лестнице, и первый прилив страха, к которому примешивалось и нетерпение, растворялся в жарком приветственном объятии. Но когда она собиралась домой, дрожь иного, необъяснимого ужаса поднималась в ней, лишь смутно сочетаясь с чувством вины и нелепым опасением, будто каждый прохожий на улице с одного взгляда угадает, откуда она идет, и дерзко ухмылнется при виде ее растерянности. Уже последние минуты близости были отравлены нарастающей тревогой; она торопилась уйти, от спешки у нее тряслись руки, она не вникала в слова возлюбленного, нетерпеливо пресекала прощальные вспышки страсти, все в ней уже рвалось прочь, прочь из его квартиры, из его дома, от этого похождения, обратно в свой спокойный, устоявшийся мирок. Не понимая от волнения тех ласковых слов, которыми возлюбленный старался ее успокоить, она на секунду замирала за спасительной дверью, прислушиваясь, не идет ли кто-нибудь вверх или вниз по лестнице. А снаружи уже караулил страх, чтобы сейчас же накинуться на нее, властной рукой останавливал биение ее сердца, и она спускалась по этой пологой лестнице, едва переводя дух.

С минуту она простояла, закрыв глаза, жадно вдыхая прохладу полутемного вестибюля. Где-то сверху хлопнула дверь. Фрау Ирена испуганно встрепенулась и сбежала с последних ступенек, а руки ее сами собой еще ниже натянули густую вуаль. Теперь оставалось еще самое жестокое испытание — необходимость выйти из чужого подъезда. Она пригнула голову, как будто готовясь к прыжку с разбега, и решительно устремилась к полуоткрытой двери.

И тут она лицом к лицу столкнулась с какой-то женщиной, которая, очевидно, шла в этот дом.

— Простите, — смущенно пробормотала она и собралась обойти незнакомку. Но та заслонила собой дверь и устоялась на фрау Ирену злобным и наглым взглядом.

— Вот я вас и накрыла! — сразу же заорала она грубым голосом. — Ну, ясно, из порядочных! У нее и муж есть, и деньги, и всего вдоволь. Так нет, ей еще понадобилось сманить любовника у бедной девушки...

— Ради бога... что вы?.. Вы ошибаетесь, — лепетала фрау Ирена и сделала неловкую попытку проскользнуть мимо, но женщина всей своей громоздкой фигурой загородила проход и пронзительно заверещала:

— Как же, ошибаюсь... Нет, я вас знаю. Вы от моего дружка, от Эдуарда идете. Наконец-то я вас застукала; теперь понятно, почему для меня у него времени нет. Из-за вас, подлянка вы этакая.

— Ради бога, не кричите так, — еле слышно выдавила из себя фрау Ирена и невольно отступила назад, в вестибюль. Женщина насмешливо смотрела на нее. Этот трепет и ужас, эта явная беспомощность были ей, видимо, приятны, потому что теперь она разгля-

дывала свою жертву с самодовольной, торжествующе-презрительной улыбкой. А в голосе от злобного удовлетворения появились даже фальшарно-благодушные нотки.

— Вон они какие, замужние дамочки: гордые да благородные. Под вуалью ходят чужих мужчин отбивать. А как же без вуали? Надо же потом разыгрывать порядочную женщину.

— Ну, что... что вам от меня нужно? Ведь я вас даже не знаю... Пустите...

— Ага, пустите... Домой, к супругу, в теплую комнату... Чтоб разыгрывать важную барыню и помыкать прислугой... А что мы тут с голоду дышаем, до этого благородным дамам дела нет... Они у нас последнее норовят украсть...

Ирена усилием воли овладела собой, по какому-то наитию схватилась за кошелек и вытащила оттуда все бумажные деньги.

— Вот... вот... берите. Только пропустите меня... Я больше никогда сюда не приду... даю слово...

Свирепо блеснув глазами, женщина взяла деньги и при этом прошипела:

— Стерва.

Фрау Ирена вся вздрогнула от такого оскорбления, но, увидев, что противница посторонилась, выбежала на улицу, не помня себя и задыхаясь, как самоубийца бросается с башни. В глазах у нее темнело, лица прохожих казались ей уродливыми масками. Но вот наконец она добралась до наемного автомобиля, стоявшего на углу, без сил упала на сиденье, и сразу все в ней застыло, замерло. Когда же удивленный шофер спросил наконец странную пассажирку, куда ехать, она несколько мгновений тупо смотрела на него, пока до ее ошеломленного сознания дошли его слова.

— На Южный вокзал,— выговорила она, но вдруг у нее мелькнула мысль, что та тварь может броситься ей вдогонку. — Скорее, пожалуйста, скорее!

Только по дороге она поняла, каким потрясением была для нее эта встреча. Она ощутила холод своих безжизненно повисших рук и вдруг начала дрожать, как в ознобе. К горлу подступила горечь, и вместе с тошнотой в ней поднялась безудержная, слепая ярость, от которой выворачивалось все внутри. Ей хотелось кричать, молотить кулаками, избавиться от ужаса этого воспоминания, засевшего у нее в мозгу, точно заноза, забыть мерзкую рожу с наглой ухмылкой, противную вульгарность, которой так и разило от несвежего дыхания незнакомки, развратный рот, с ненавистью выплевывавший прямо ей в лицо грубые слова, угрожающе занесенный над ней красный кулак. Все сильнее становилась тошнота, все выше подкатывала к горлу, а вдобавок машину от быстрой езды швыряло во все стороны; Ирена хотела уже сказать шоферу, чтобы он ехал медленнее, но вовремя спохватилась, что ей нечем будет заплатить ему — ведь она отдала вымогательнице все крупные деньги. Она поспешила остановить машину и, к вящему удивлению шофера, вышла на полдороге. К счастью, денег ей хватило. Зато она очутилась в совершенно незнакомом районе, среди деловито сновавших людей, каждое слово,

каждый взгляд которых причиняли ей физическую боль. При этом ноги у нее были как ватные и не желали двигаться, но она понимала, что надо попасть домой, и, собрав всю свою волю, с невероятным напряжением тащилась из улицы в улицу, словно пробиравась по болоту или глубокому снегу. Наконец она дошла до дому и устремилась вверх по лестнице с лихорадочной поспешностью, но сейчас же сдержала себя, чтобы волнение ее не показалось подозрительным.

Лишь после того как горничная сняла с нее пальто и она услышала из соседней комнаты голос сына, игравшего с младшей сестренкой, а успокоенный взгляд ее увидел кругом все свое, родное и надежное, к ней вернулось внешнее самообладание, между тем как откуда-то из глубины еще накатывали волны тревоги и болезненно бились в стесненной груди. Она сняла вуаль, заставила себя придать лицу выражение беспечности и вошла в столовую, где ее муж, сидя за накрытым к ужину столом, читал газету.

— Поздно, поздно, мой друг,—ласково пожурил он жену, поднялся и поцеловал ее в щеку, отчего в ней, помимо волн, проснулось щемящее чувство стыда. Они сели за стол, и муж равнодушным тоном, не отрываясь от газеты, спросил: — Где ты была так долго?

— У... у Амелии... ей надо было кое-что купить... и я пошла с ней,—проговорила она и тут же рассердилась на себя за то, что не подготовилась к ответу и так неумело солгала. Обычно она заранее изобретала тщательно продуманную ложь, способную выдержать любую проверку, но сегодня от страха все позабыла и принуждена была прибегнуть к такой беспомощной импровизации. А что, если муж, как в той пьесе, которую они недавно видели, вздумает позвонить по телефону и проверить?..

— Что с тобой? Ты какая-то рассеянная... Отчего ты не снимешь шляпу?

Уже во второй раз она обнаруживает сегодня свое волнение! Вздвогнув, Ирена встала, пошла в спальню снять шляпу и до тех пор смотрела в зеркало, пока беспокойный взгляд ее не стал снова твердым и уверенным. Только после этого она вернулась в столовую.

Горничная подала ужин, и вечер прошел, как обычно, пожалуй молчальнее, менее оживленно, чем обычно, вялый, скудный разговор то и дело прерывался. Мысли Ирены неустанно возвращались к событиям этого дня, но всякий раз, дойдя до грозной минуты враждебной встречи, отшатывались в испуге; тогда она поднимала взгляд, чтобы ощутить себя в безопасности, среди дружественных предметов, связанных с дорогими воспоминаниями, нежно притрагивалась к ним и понемногу успокаивалась. А стенные часы, невозмутимо шагая в тишине своим стальным шагом, незаметно сообщали и ее сердцу свой равномерный, беспечно-уверенный ритм.

На следующее утро, когда муж ушел к себе в контору, а дети отправились гулять и она наконец-то осталась наедине с собою, вчерашняя встреча при ярком утреннем свете стала казаться ей менее устрашающей. Прежде всего фрау Ирена рассудила, что вуаль у нее

очень густая и шантажистка никак не могла разглядеть ее лицо, а значит, ни в коем случае в другой раз не узнает ее. Спокойно продумала она, как обезопасить себя впредь. Она ни за что больше не пойдет на квартиру к своему возлюбленному — таким образом возможность вторичного наскока отпадет сама собой. Остается угроза случайной встречи, тоже маловероятная, ведь она уехала в автомобиле, и, значит, та не могла выследить ее. Ни ее имя, ни адрес вымогательнице не известны, а по общему облику трудно наверняка узнать человека. Но и на такой крайний случай фрау Ирена была вооружена. Избавившись от тисков страха, ничего не стоит, решила она, держать себя спокойно, от всего отпираться, невозмутимо утверждать, что это ошибка; ведь доказать, что она была у возлюбленного, невозможно иначе, как застигнув ее на месте преступления, — значит, в случае чего можно привлечь эту тварь к ответу за шантаж. Недаром фрау Ирена была женой одного из самых известных столичных адвокатов; из его разговоров с коллегами она усвоила, что шантаж должен быть пресечен немедленно и с полным хладнокровием, потому что малейшее колебание, малейший признак тревоги со стороны жертвы дают в руки противника лишний козырь.

Первой мерой предосторожности была короткая записка, в которой она извещала любовника, что не может прийти в условленный час ни завтра, ни в ближайшие дни. Ее гордость была уязвлена тягостным открытием, что она заменила в милостях возлюбленного такую низменную, недостойную соперницу, и теперь, с неприязненным чувством подбирая слова, она испытывала мстительную радость, что холодный тон записки ставит их свидания в зависимость от ее прихоти.

Этого молодого человека, пианиста с именем, она встретила на вечере у кого-то из знакомых и очень скоро, сама того не желая и не отдавая себе ни в чем отчета, стала его любовницей. Он, в сущности, почти не волновал ее кровь, у нее не было к нему ни чувственного, ни особо духовного тяготения; она отдалась ему не потому, что он был нужен, желанен ей, а просто из-за недостаточного решительного сопротивления его воле и еще из-за какого-то беспокойного любопытства. Ничто — ни удовлетворенная супружеским счастьем кровь, ни столь частое у женщин чувство духовного оскудения — не вызывало у нее потребности в любовнике; она была вполне счастлива, имея состоятельного, умственно превосходящего ее мужа и двоих детей; она лениво нежилась в своем уютном, обеспеченном, укрытом от бурь существовании. Но бывает в воздухе такое затишье, которое будит чувственность не меньше, чем духота и грозы, такая равномерная температура счастья, которая взвинчивает сильнее всякого несчастья. Сытость раздражает так же, как голод, и от надежной, устоявшейся жизни Ирену потянуло к приключению.

Вот в такую полосу полного довольства, которому сама она не умела придать новые краски, молодой пианист вошел в ее уравновешенный мирок, где обычно мужчины лишь пресными шутками и невинными любезностями почтительно отдавали дань ее красоте, по-настоящему не ощущая в ней женщины, и тут впервые с девических

времен что-то всколыхнулось в ее душе. В нем самом ее привлек, пожалуй, лишь налет печали, подчеркивавший и без того нарочитую томность его лица. Ирене, привыкшей видеть кругом только довольных жизнью людей, эта печаль говорила об ином, высшем мире, и ее невольно потянуло за пределы повседневных чувств, чтобы заглянуть в этот мир. Похвала, вызванная минутным умилением от его игры, быть может чересчур горячая с точки зрения приличий, заставила сидевшего у рояля музыканта взглянуть на молодую женщину, и уже в этом первом взгляде было что-то зовущее. Она испугалась и вместе с тем ощутила сладостную жуть, сопутствующую всякому страху, а дальнейшая беседа, вся словно пронизанная и опаленная скрытым пламенем, разожгла ее и без того настороженное любопытство, так что она не уклонилась от новой беседы, когда встретилась с ним в концерте. Дальше они стали видаться часто и уже не случайно. Ей льстило, что для него, настоящего артиста, она так много значит как ценительница и советчица, в чем он не раз уверял ее, и всего через несколько недель их знакомства она опрометчиво согласилась на его предложение — ей, одной ей сыграть свою новую вещь у себя дома; возможно, что у него отчасти и были такие благие намерения, но они потонули в поцелуях и страстных объятиях. Первым ощущением Ирены, после того как она, неожиданно для себя, отдалась ему, был испуг перед этим поворотом в их отношениях; таинственное очарование развеялось в один миг, и чувство вины за измену мужу лишь отчасти умерялось тщеславным сознанием, что она, как ей казалось, добровольно, впервые отринула свой respectable мирок.

В первые дни она ужасалась собственной порочности, но мало-помалу, повинаясь голосу тщеславия, стала даже гордиться ею. Впрочем, все эти сложные чувства волновали ее очень недолго. Что-то бессознательно отталкивало ее в этом человеке, главным образом то новое, непривычное, что собственно и пленило ее. Страстность, которая увлекала ее в его музыке, становилась тягостной в минуты близости, его порывистые властные объятия были ей даже неприятны, она невольно сравнивала его себялюбивую необузданность с робким, после стольких лет супружества, благоговейным пылом мужа. Но, согрешив однажды, она вновь и вновь возвращалась к любовнику, без восторга и без разочарования, из своеобразного чувства долга и еще потому, что ей лень было побороть эту новую привычку. Прошло немного времени, и она уже отвела своему возлюбленному определенное местечко в жизни, назначила для него, как для родителей мужа, определенный день в неделе; но эта связь ничуть не изменила обычного течения ее жизни и только что-то добавила к ней. Вскоре возлюбленный вошел в благоустроенный механизм ее существования, как некий довесок равномерного счастья, как третий ребенок или новый автомобиль, и запретное любовное приключение уже ничем не отличалось от дозволенных радостей.

И вот впервые, когда ей надо было заплатить за это приключение настоящей ценой — опасностью, она принялась мелочно вычислять его истинную стоимость. Она была так избалована судьбой и

заласкана близкими, так привыкла благодаря богатству почти не иметь желаний, что первое же затруднение оказалось ей не под силу. Она не пожелала поступиться хотя бы в малейшей степени душевной безмятежностью и, почти не задумываясь, сразу же решила пожертвовать возлюбленным ради своего покоя.

В тот же день к вечеру посыльный принес в ответ от возлюбленного испуганное, бессвязное письмо. Это письмо, наполненное растерянными мольбами, жалобами и упреками, слегка поколебало ее решимость покончить с приключением — очень уж льстила ее тщеславию пылкость любовника и его страстное отчаяние. Он настойчиво просил ее хоть о мимолетной встрече, чтобы оправдаться, если он чем-нибудь невольно обидел ее, и теперь ее уже манила новая игра — подольше сердиться на него, чтобы стать ему еще желаннее. Поэтому она велела ему прийти в ту кондитерскую, где, как ей вдруг вспомнилось, у нее в девические годы было свидание с одним актером, свидание настолько почтительное и невинное, что теперь оно казалось ей ребячеством. Забавно, с улыбкой подумала она, что романтика, совсем заглохшая за время супружеской жизни, вновь распускается пышным цветом. И она уже готова была радоваться вчерашнему столкновению, оказавшему на нее такое сильное, живительное действие, что нервы ее, обычно легко приходившие в равновесие, тут все еще продолжали вибрировать.

На этот раз она надела темненькое, незаметное платье и другую шляпу, чтобы, на случай новой встречи, сбить с толку вымогательницу. Она собралась было закрыть лицо, но из какого-то внезапно охватившего ее задора отложила вуаль. Неужели ей, достойной, уважаемой женщине, нельзя спокойно показаться на улице из страха перед какой-то тварью?

Только в первую минуту, когда она вышла из дому, ее пронизало мимолетное чувство страха, нервный озноб, какой бывает, когда пробуешь воду кончиками пальцев, прежде чем окунуться в море. Но эта холодная дрожь через секунду сменилась уверенностью в себе, непривычным для нее самолюбованием; ей нравилось, что она такая легкая, гибкая, сильная, а такой упругой, стремительной походки у нее не было никогда. Ей даже стало жаль, что кондитерская так близко — что-то неудержимо влекло ее навстречу неизведанным и заманчивым приключениям. Но время свидания приближалось, и фрау Ирене приятно было думать, что возлюбленный уже ждет ее. Он сидел в углу и, увидев ее, вскочил с неподдельным волнением, которое и льстило ей, и тяготило ее. Ей пришлось попросить, чтобы он говорил потише, таким вихрем вопросов и упреков прорвалась его душевная тревога. Ни слова не сказав об истинной причине своего отказа от условленного свидания, она играла намеками, загадочность которых лишь сильнее раззадоривала его. Она не сдалась на его просьбы, чувствуя, как взвинчивает его эта необъяснимая, внезапная неприступность.

Когда после бурного получасового разговора Ирена ушла, не позволив молодому человеку ни малейшей нежности и даже ничего не пообещав на будущее, она вся трепетала от того особенного возбуждения, какое испытывала только девушкой. Ей казалось, что где-то там, в глубине, горит обжигающий огонек и только ждет, чтобы ветер раздул его в пламя, которое охватит ее всю. Идя по улице, она жадно ловила каждый брошенный на нее взгляд, это дружное и откровенное мужское восхищение было для нее непривычно, и ей вдруг так захотелось посмотреть на себя, что она остановилась перед зеркалом в витрине цветочного магазина, чтобы увидеть собственную красоту в рамке из красных роз и обрызганных росой фиалок. С девических времен не чувствовала она себя такой легкой, окрыленной; ни в первые дни замужества, ни от объятий любовника по телу ее не пробегали такие, как сейчас, электрические искры, и ей стало нестерпимо досадно, что вся эта удивительная легкость, все сладостное опьянение будет зря растрчено на однообразную повседневность. Вяло побрела она домой. У подъезда она замешкалась, чтобы еще раз полной грудью вдохнуть знойный пьянящий воздух запретного приключения, чтобы его последняя, иссякающая волна прихлынула к самому сердцу.

Тут кто-то тронул ее за плечо. Она обернулась.

— Это вы... вы? Что вам опять надо? — в смертельном испуге пролепетала она, увидев перед собой ненавистное лицо, и еще сильнее испугалась своих собственных неосторожных слов. Ведь она же твердо решила не признать эту женщину, если им случится встретиться, все отрицать, дать резкий отпор вымогательнице... Но теперь уже было поздно.

— Я битых полчаса дожидалась вас тут, фрау Вагнер.

Ирена вздрогнула, услышав свою фамилию. Значит, этой твари известны и адрес, и имя. Теперь все погибло, теперь она полностью в ее власти.

— Да, фрау Вагнер, я вас дожидаясь битых полчаса, — укоризненно и угрожающе повторила женщина.

— Что... что же вам нужно от меня?

— Сами знаете, фрау Вагнер. — Ирена снова вздрогнула, услышав свое имя. — Отлично знаете, зачем я пришла.

— Я больше ни разу с ним не виделась и никогда больше не увижусь... Только оставьте меня... Никогда больше...

Женщина невозмутимо подождала, пока у Ирены от волнения пресекся голос. А затем резко оборвала ее, словно подчиненную:

— Бросьте врать! Я за вами шла до самой кондитерской, — и, увидев, что Ирена отшатнулась, насмешливо добавила: — Делать-то мне нечего. Со службы меня уволили. Говорят, тяжелые времена, работы мало. Ну как же не попользоваться свободным временем. Чем мы хуже благородных дам, нам тоже хочется погулять.

Это было сказано с холодной злобой, уязвившей Ирену в самое сердце. Она чувствовала себя безоружной перед такой неприкрытой, вульгарной низостью, а в голове мутилось от страха, что эта тварь сейчас опять закричит во весь голос или мимо пройдет муж, и тогда

все будет кончено. Торопливо нащупала она в муфте серебряную сумочку и выгребла оттуда все деньги, какие ей попались.

Но нагло протянутая рука не опустилась смиренно, едва ощутив деньги, как в тот раз, а застыла в воздухе, словно растопыренная когтистая лапа.

— Давайте заодно и сумочку, а то как бы мне деньги не потерять,— с утробным смешком выговорили презрительно вздернутые губы.

Ирена посмотрела шантажистке прямо в глаза, но тотчас отвела взгляд. Эта наглая, грубая насмешка была нестерпима. Отвращение, точно жгучая боль, пронизало ее. Только бы скорее уйти, только бы не видеть этого лица! Отвернувшись, она торопливо сунула вымогательнице драгоценную сумочку и, подгоняемая страхом, взбежала по лестнице.

Мужа еще не было дома; упав на диван, Ирена долго лежала неподвижно, словно ее оглушили обухом. Лишь услышав в передней голос мужа, она с величайшим усилием встала и машинально поплелась в соседнюю комнату.

Теперь ужас водворился у нее в доме и не отступал ни на шаг. В долгие, ничем не занятые часы, когда подробности страшной встречи одна за другой вставали в ее памяти, она совершенно ясно поняла безвыходность своего положения. Эта тварь, непонятно каким образом, узнала и ее адрес, и фамилию, и, раз первые попытки шантажа оказались так успешны, она, без сомнения, ничем не погнущается, лишь бы побольше выжать из своей осведомленности. Год за годом будет она тяготеть над ее жизнью, как кошмар, который не стряхнешь даже самым отчаянным усилием, потому что, несмотря на собственные и мужнины средства, фрау Ирена не могла бы без ведома мужа собрать достаточно крупную сумму, чтобы раз и навсегда откупиться от этой твари. Да и кроме того, она знала из случайных рассказов мужа и из тех дел, которые он вел, что любые договоры и соглашения с такими отпетыми мошенниками ничего не стоят. В лучшем случае ей удастся на месяц, на два отсрочить беду, а там непрочное здание ее семейного счастья неизбежно рухнет, а если она увлечет за собой и свою мучительницу — радости ей от этого будет мало. С ужасающей ясностью видела она, что беда неотвратима, выхода нет. Но как... как именно это произойдет — с утра до ночи решала она роковой вопрос. Наступит день, когда мужу принесут письмо; она ясно представляла себе, как он войдет, бледный, нахмуренный, схватит ее за руку, начнет допрашивать... Но потом... что произойдет потом? Как он поступит? На этом ее воображение иссякало — все тонуло в мрачном сумбуре жестокого страха. Она не могла додумать до конца, от беспочвенных догадок у нее голова шла кругом. За эти долгие часы мучительного раздумья она с ужасающей ясностью поняла лишь одно: что очень плохо знает своего мужа и потому не может предугадать, как он поступит, что он решит. Она вышла за него по желанию родителей, но без неохоты, чувствуя

к нему расположение, оправдавшее себя с годами; прожила бок о бок с ним восемь благополучных, мирно размеренных лет, все у них было общее — дети, дом, бесчисленные часы близости, и только сейчас, стараясь представить себе, как он поступит, она поняла, каким чуждым и незнакомым остался он для нее. Лишь теперь она перебирала всю их жизнь, стараясь по отдельным поступкам разгадать его характер. В страхе своем она судорожно цеплялась за каждое ничтожное воспоминание, надеясь найти ключ к заповедным тайникам его сердца.

Так как словами он не выдавал своих затаенных помыслов, то теперь, когда он с книгой сидел в кресле, ярко освещенный электрической лампой, она пытливо вглядывалась в него. Как в чужое лицо, старалась она проникнуть взглядом в лицо мужа и по этим знакомым чертам, ставшим вдруг чужими, узнать его характер, который не раскрылся перед ее равнодушием за восемь лет совместной жизни. Лоб был ясный и благородный, как будто вылепленный мощным и деятельным умом, зато рот выражал строгую непреклонность. Все в его мужественных чертах дышало энергией и силой. Неожиданно для нее самой ей вдруг открылась красота этого волевого лица, с удивлением созерцала она его вдумчивую сосредоточенность и ясно выраженную твердость. Но глаза, в которых таилась главная разгадка, были опущены в книгу и недоступны ее наблюдению. Ей оставалось только испытующе смотреть на профиль мужа, как будто в его смелых очертаниях было запечатлено слово прощения или проклятия, на этот незнакомый профиль, пугавший ее своей суровостью и привлекавший своеобразной красотой, которую она впервые почувствовала в его энергичном складе. Внезапно она осознала, что смотрит на него с удовлетворением и гордостью. Тут он поднял глаза, а она торопливо отшатнулась в темноту, чтобы не пробудить подозрения своим страстно вопрошающим взглядом.

Три дня она не показывалась на улицу и уже стала с беспокойством замечать, что окружающим бросается в глаза ее домошество,— обычно она редкий день безвыходно просиживала у себя.

Первыми заметили эту перемену дети, особенно старший мальчуган, не замедливший выразить простодушное удивление, что мама так много бывает дома, меж тем как прислуга только шушукалась и делилась своими догадками с бонной. Тщетно пыталась она доказать, что ее присутствие необходимо по самым разнообразным, большей частью удачно придуманным причинам, но во что бы она ни вмешивалась, она только нарушала заведенный порядок, каждая ее попытка помочь вызвала недоумение. При этом она не умела стесняться, тактично уединиться и сидеть в своей спальне за книгой или работой; нет, внутренняя тревога, выражавшаяся у нее, как всякое сильное переживание, в нервном возбуждении, гнала ее из комнаты в комнату. При каждом звонке по телефону или на парадном она вздрагивала, чувствуя, как от малейшего толчка обрывается и превращается в ничто ее безмятежное существование; она сразу же па-

дала духом, и ей уже мерещилась безвозвратно загубленная жизнь. Эти три дня, которые она просидела в своих комнатах, как в темнице, показались ей длиннее восьми лет замужества.

Но на третий вечер ей пришлось выйти из дому: они с мужем давно уже были приглашены в гости, и отказаться без достаточно веских причин не представлялось возможным. Да и нужно же, наконец, чтобы не сойти с ума, сломать этот незримый частокол ужаса, которым была теперь обнесена ее жизнь. Ей хотелось видеть людей, на несколько часов отдохнуть от себя, прервать самоубийственное одиночество страха. И кроме того, где может она чувствовать себя в большей безопасности от невидимого неотступного преследования, чем в чужом доме, среди друзей? Только один миг, тот короткий миг, когда она впервые после тягостной встречи ступила на улицу, ей стало страшно, что шантажистка караулит где-то тут, поблизости. Она невольно схватила руку мужа, зажмурилась и пробежала несколько шагов по тротуару до ожидавшего их автомобиля, но когда, сидя в машине под защитой мужа, она мчалась по обезлюдевшим в этот поздний час улицам, тяжесть мало-помалу свалилась с ее сердца, и, поднимаясь по лестнице чужого дома, она уже чувствовала себя вне опасности. На несколько часов она могла снова стать такой же беззаботной и веселой, какой была много лет до того, и даже радоваться более глубокой, сознательной радостью узника, который вырвался из стен тюрьмы на солнечный свет. Здесь она была ограждена от преследования, ненависть не могла проникнуть сюда, здесь вокруг нее были люди, любившие и уважавшие ее, восхищавшиеся ею, нарядные, беспечные, люди, окруженные искристым розовым ореолом легкомыслия, и этот хоровод наслаждения наконец-то снова сомкнулся вокруг нее. Ибо в первую же минуту взгляды присутствующих сказали ей, что она хороша, и она стала еще лучше от давно не испытанного чувства уверенности в себе.

Из соседнего зала неслись призывные звуки музыки и проникали в ее разгоряченную кровь. Начались танцы, и не успела она опомниться, как очутилась в самой гуще толпы. Так она не танцевала ни разу в жизни. Этот кружащийся вихрь сделал ее невесомой, ритм проникал в каждую частицу тела, окрыляя его огненным движением. Как только музыка прекращалась, Ирена болезненно ощущала тишину, беспокойный огонь пробегал по ее напряженным мышцам, и, как в охлаждающую, успокаивающую, баюкающую воду, окунулась она снова в этот круговорот. Обычно она танцевала довольно посредственно, рассудочная сдержанность делала ее движения угловатыми, чересчур осторожными, но дурман вырвавшейся на волю радости уничтожил внутреннюю скованность. Порвалась железная узда, в которой рассудок и стыд держали самые ее буйные страсти, и теперь Ирене казалось, что она тает и растворяется в бездумном блаженстве. Она ощущала объятия чьих-то рук, мимолетные касания, слова, точно вздохи, волнующий смех, музыку, звеневшую в крови; все ее тело трепетало как натянутая струна, платье жгло ее, ей хотелось сбросить все покровы, чтобы нагой глубже впитывать в себя этот дурман.

— Ирена, что с тобой? — Она обернулась, пошатываясь, блестя глазами, вся еще разгоряченная объятиями партнера. И тут ее прямо в сердце поразил холодный, жесткий взгляд удивленно, в упор смотревшего на нее мужа. Она испугалась: может быть, она слишком дала себе волю и что-то выдала своим иступлением?

— Почему ты спрашиваешь, Фриц? — пролепетала она, растерявшись от его разящего взгляда, который впивался в нее все глубже и глубже, так что она ощущала его теперь в самом сердце. Ей хотелось кричать от этого беспощадного инквизиторского взгляда.

— Очень странно, — после долгого молчания вымолвил он. В голосе его слышалось недоумение. Она не осмелилась спросить, что он хочет этим сказать, но по ее телу прошла дрожь, когда он отвернулся, не добавив ни слова, и она увидела его плечи, широкие, крепкие, массивные, а над ними упрямый, словно выкованный из железа затылок. Такой бывает у убийц, подумала Ирена и тут же отмахнулась от этой чепелой мысли. Только сейчас она как будто впервые увидела собственного мужа и с содроганием поняла, как он силен и опасен.

Снова заиграла музыка. Какой-то господин подошел к Ирене, она машинально оперлась на его руку. Но теперь все в ней отяжелело и веселая мелодия не могла вдохнуть жизнь в ее словно налитые свинцом ноги. Гнетущая тяжесть шла от сердца к ногам, и каждый шаг причинял ей страдание. Она принуждена была просить кавалера, чтобы он извинил ее. Возвращаясь на свое место, она невольно оглянулась, нет ли поблизости мужа, и вся задрожала: он стоял вплотную за ней, как будто поджидая ее, и снова его холодный взгляд скрестился с ее взглядом. Что с ним? Что он уже знает? Она машинально запахнулась, словно желая защитить от него обнаженную грудь. Его молчание было так же упорно, как и взгляд.

— Может быть, уедем? — робко спросила она.

— Да. — Голос звучал жестко и неласково. Он пошел вперед. И она опять увидела массивный, угрожающий затылок. На нее надели шубку, но ее по-прежнему пробирал озноб. Молча ехали они бок о бок. Ирена боялась заговорить. Смутно чуяла она новую опасность. Теперь ей нигде не было прибежища.

В эту ночь ей привиделся страшный сон. Музыка гремела в высоком и светлом зале. Она вошла, и ее окружила пестрая толпа. Вдруг к ней протиснулся какой-то молодой человек, она как будто знала его, но не могла вспомнить, кто он. Он взял ее под руку, и они пошли танцевать. Ей было отрадпо и сладко, волна музыки подняла ее и понесла над землей. Так они танцевали через анфиладу зал, где высоко под потолком золоченные люстры, точно звезды, сияли огоньками свечей, а стенные зеркала возвращали Ирене ее собственную улыбку и передавали ее дальше в бесчетные отражения. Все стремительней становился танец, все зажигательнее играла музыка. Ирена чувствовала, что юноша все теснее прижимается к ней, пальцы его глубже вонзаются в ее обнаженное плечо. Она за-

стонала от сладостной боли и, встретившись с ним взглядом, вспомнила, кто он. Это был актер, которого она еще совсем девочкой обожала издали, и только она собралась в упоении произнести его имя, как он заглушил ее возглас жгучим поцелуем. И так, уста к устам, слившись воедино в жарком объятии, мчались они по залам, точно уносимые благодатным ветром. Мимо скользнули стены. Ирена уже не видела над собой потолка, не ощущала ни времени, ни своего освобожденного от пут тела. Вдруг кто-то дотронулся до ее плеча. Она остановилась, и с ней остановилась музыка, погасли огни, черные стены обступили ее, а спутник исчез. «Отдай мне его, воровка!» — закричала страшная незнакомка так, что отозвались стены, и впились ледяными пальцами ей в руку. Она рванулась и сама услышала свой крик, безумный, пронзительный крик ужаса; завязалась борьба, незнакомка взяла верх, сорвала с нее жемчужное ожерелье, а заодно и половину платья, так что из-под ключевых ткани выглянули обнаженные плечи и грудь. И вдруг откуда-то опять появились люди, шум нарастал, люди сбегались отовсюду и насмешливо глазели на нее и на страшную тварь, а та визжала во весь голос: «Развратница, потаскуха! Отняла его у меня!» Она не знала, куда спрятаться, куда смотреть, а ослабленные рожи подступали все ближе, любопытные взгляды ощупывали ее наготу, и вот, когда ее помутившийся взгляд, ища спасения, устремился вдаль, она внезапно увидела в дверях неподвижную фигуру мужа, его правая рука была спрятана за спиной. Она вскрикнула и бросилась бежать от него через всю анфиладу зал, алчная толпа ринулась за ней, а она чувствовала, что платье сползает с нее все ниже и ниже и скоро упадет совсем. Вдруг перед ней распахнулась дверь, она стремглав сбежала по лестнице, надеясь спастись, но внизу уже ждала гнусная тварь в своей замызанной шерстяной юбке и тянулась к ней цепкими когтями. Ирена шарахнулась в сторону и, не помня себя, кинулась вперед, та за ней, и так они долго бежали в темноте по длинным, безмолвным улицам, а фонари, скалясь, нагибались к ним. Она все время слышала, как топчут за ее спиной деревянные башмаки той твари, но стоило ей повернуть за угол, как та же тварь выскакивала ей навстречу; она караулила за каждым углом, в каждом подъезде справа и слева; она была повсюду, она множилась с ужасающей быстротой, ее нельзя было обогнать, всякий раз она оказывалась впереди и пыталась схватить Ирену, у которой уже подгибались колени. Вот наконец-то дом, она бросилась туда, распахнула дверь, но на пороге стоял муж с ножом в руке и смотрел на нее все тем же испытующим взглядом. «Где ты была?» — сурово спросил он. «Нигде», — услышала она собственный голос, а за спиной уже звучал пронзительный хохот. «Я видела, видела!» — визжала та тварь, хохоча, как безумная. Тут муж взмахнул ножом. «Спасите! Спасите!» — закричала Ирена.

Она открыла глаза, и ее испуганный взгляд встретился со взглядом мужа. Что это... что такое? Она у себя в спальне, под потолком тускло горит фонарик, она дома, в своей постели, а то был только сон. Но почему у постели сидит муж и смотрит на нее, как на

больную? Кто зажег свет, и почему это муж сидит так неподвижно, с таким суровым видом? Ей стало очень страшно. Невольно взглянула она на его руку: нет, ножа не видно. Медленно рассеивался гнетущий кошмар с зарницами сонных видений. Значит, все это ей приснилось, она кричала со сна и разбудила мужа. Но почему он смотрит на нее таким строгим, таким сверлящим, неумолимо строгим взглядом?

Она попыталась улыбнуться.

— Что ты? Почему ты так смотришь на меня? Кажется, мне при-
виделся страшный сон.

— Да, ты кричала очень громко. Я услышал из соседней комнаты.

«Что же я кричала, о чем проговорилась,— с ужасом думала она,— о чем он догадался?» Она боялась поднять на него глаза. А он смотрел на нее очень серьезно и при этом удивительно спокойно.

— Что с тобой творится, Ирена? Ты стала неузнаваема за последние дни — дрожишь как в лихорадке, нервничаешь, чем-то озабочена. А тут еще зовешь на помощь со сна...

Она опять попыталась улыбнуться.

— Нет, ты что-то от меня скрываешь,— настаивал он. — Может, у тебя какие-то неприятности или огорчения? Все в доме уже заметили, как ты переменялась. Не бойся, скажи мне, что тебя мучает.

Он подошел к ней ближе, она чувствовала, как его пальцы ласкают и гладят ее обнаженную руку, а глаза светятся каким-то особенным светом. Ее неудержимо потянуло прильнуть к его сильному телу, прижаться, все рассказать ему и не отпускать его, пока он не простит. Ведь он только что видел, как она страдает. Но фонарик бросал свой тусклый свет на ее лицо, и ей стало стыдно. Она побоялась выговорить страшное слово.

— Не беспокойся, Фриц,— пыталась она улыбнуться, меж тем как по всему ее телу до кончиков пальцев пробежала дрожь ужаса. — Это просто нервы. Все пройдет.

Рука, протянувшаяся для объятия, мгновенно отодвинулась. Ирена посмотрела на мужа и содрогнулась — он был очень бледен в этом искусственном свете, лоб хмурился от мрачных мыслей. Медленно поднялся он с места.

— А мне все эти дни казалось, что тебе нужно о чем-то поговорить. О чем-то, что касается нас двоих. Мы сейчас одни, Ирена.

Она лежала не шевелясь, словно загипнотизированная этим серьезным, загадочным взглядом. Как бы все сразу могло стать хорошо, думалось ей, если бы она сказала одно только слово, единственное словечко «прости», и он не стал бы спрашивать — за что. Но зачем горит свет, нескромный, наглый, любопытствующий свет? Она чувствовала, что в темноте могла бы заговорить. Но свет парализовал ее волю.

— Значит, тебе нечего, совсем нечего мне сказать?

Как велико искушение, как мягок его голос! Никогда он не говорил с ней так. Ах, если бы не свет фонарика, этот желтый, жадный свет!

Ирена встряхнулась.

— Что ты сочиняешь? — рассмеялась она, и сама же испугалась своего звящего голоса. — Оттого что я тревожно сплю, у меня непременно должны быть тайны? Чего доброго, даже любовные похождения?

Она с содроганием чувствовала, как наигранно и лживо звучат ее слова, ей до глубины души стала противна собственная фальшь, и она невольно отвела взгляд.

— Что ж, спи спокойно. — Он произнес это отрывисто и даже резко. Тон его голоса совсем изменился и звучал как угроза или как злая, жестокая насмешка.

Он погасил свет. Она увидела, как удаляется его бледная тень, безмолвная, полустертая, точно ночной призрак, а когда захлопнулась дверь, у нее было такое чувство, будто закрывается крышка гроба. Весь мир, казалось ей, вымер, и только в ее оцепеневшем теле гулко и бурно билось сердце и каждый удар болью отдавался в груди.

На следующий день, когда вся семья сидела за обедом — дети только что поссорились, и их едва удалось унять, — вошла горничная и подала Ирене письмо. Ждут ответа. Недоумевая, посмотрела Ирена на незнакомый почерк и торопливо вскрыла конверт. С первой же строчки она смертельно побледнела, вскочила на ноги и еще сильнее испугалась, увидев, какое единодушное удивление вызвала ее опрометчивая горячность.

Письмо было короткое. Всего три строчки: «Прошу немедленно вручить подателю сего сто крон». Ни подписи, ни числа под этими нарочитыми каракулями, только ужасающе наглый приказ. Ирена побежала за деньгами в спальню, но она куда-то запрятала ключ от шкатулки и теперь лихорадочно выдвигала ящик за ящиком, пока не нашла его. Дрожащими руками вложила она бумажки в конверт и сама отдала письмо дождавшемуся на парадном посыльному. Все это она проделала бессознательно, в каком-то трансе, не позволив себе ни секунды колебания. Затем она вернулась в столовую — ее отсутствие длилось не больше двух минут.

Все молчали. Она смущенно села на свое место и собралась наспех сочинить какое-то объяснение, как вдруг рука ее так задрожала, что ей пришлось спешно поставить поднятый стакан, — в страшном испуге она заметила, что от волнения оставила распечатанное письмо около своего прибора. Она украдкой скомкала листок, но, засовывая его в карман, подняла глаза и встретилась с пристальным взглядом мужа, пронизывающим, суровым и страдальческим взглядом, какого никогда не видела у него. Именно в эти последние дни его взгляд так внезапно загорался недоверием, что все обрывалось у нее внутри, но дать отпор она была неспособна. От такого взгляда у нее тогда на балу оцепенели ноги, и такой же взгляд вчера ночью как кинжал сверкнул над ней в полусне. И пока она тщетно силилась что-то сказать, у нее в памяти

внезапно всплыло давно забытое воспоминание — муж как-то рассказывал ей, что ему в качестве адвоката пришлось столкнуться с одним следователем, у которого был свой особый прием: во время допроса он по большей части сидел уткнувшись в бумаги и, только задав решающий вопрос, мгновенно вскидывал глаза, точно нож вонзал взгляд в растерявшегося преступника, а тот, ослепленный этой яркой вспышкой пронизательности, терял самообладание и, почувствовав свое бессилие, переставал отпираться. А вдруг он сам теперь решил поупражняться в этом опасном искусстве и избрал ее жертвой? Ей стало страшно, тем более что она знала, какую страстность психолога, далеко превосходящую требования юриспруденции, вкладывал он в свою профессию. Выследить, раскрыть преступление, вынудить признание — все это увлекало его так же, как других игра в карты или в любовь, и в те дни, когда он бывал занят такой психологической слежкой, он весь внутренне горел. Жгучее беспокойство, заставлявшее его ночи напролет рыться в старых, давно забытых делах, для постороннего взгляда было скрыто за железной непроницаемостью. Он мало ел и пил, только курил непрерывно и почти не говорил, словно все свое красноречие берег к выступлению на суде. Ирена только раз присутствовала при его защите и ни за что не пошла бы вторично, так ее напугала мрачная страстность, почти что яростный пыл его речи и что-то угрюмое, жестокое в выражении лица, что, казалось ей, она видела теперь в его пристальном взгляде из-под грозно нахлупленных бровей.

Все эти далекие воспоминания разом нахлынули на нее в этот короткий миг и не давали ей вымолвить хотя бы слово. Она молчала, и чем дольше молчала, тем сильнее волновалась, понимая, как опасно это молчание. К счастью, обед скоро кончился, дети выскочили из-за стола и побежали в соседнюю комнату с громким, веселым щебетом, а бонна тщетно старалась утихомирить их. Муж тоже поднялся и, не оглядываясь, тяжелой поступью пошел к себе в кабинет.

Едва оставшись одна, Ирена достала роковое письмо, еще раз прочла: «Прошу немедленно вручить подателю сего сто кроп», а затем яростно разорвала его на мелкие клочки и собралась было выбросить в корзинку для бумаг, но одумалась, нагнулась к печке и бросила бумажки в огонь. Когда белое пламя жадно пожрало эту угрозу, Ирене стало покойнее на душе.

В это мгновение она услышала шаги мужа — он был уже на пороге. Она вскочила, вся красная от жара печки и оттого, что ее застигли врасплох. Печная дверца была еще предательски открыта, и Ирена неловко пыталась заслонить ее собой. Муж подошел к столу, зажег спичку, намереваясь закурить сигару, и, когда он поднес огонек к лицу, Ирене показалось, что у него дрожат ноздри, — признак гнева. Затем он спокойно взглянул на нее.

— Я хочу только подчеркнуть, что ты вовсе не обязана показывать мне свои письма. Если тебе угодно иметь от меня тайны — воля твоя.

Она молчала, не смея поднять на него глаза. Он подождал минуту, потом с силой выдохнул сигарный дым и, грузно ступая, вышел из комнаты.

Она решила жить, ни о чем не думая, забыться, отвлечь себя пустыми, никчемными занятиями. Дома ей стало нестерпимо, ее потянуло снова на улицу, в толпу, а иначе, казалось ей, она сойдет с ума от страха. Она надеялась, что этой сотней крон хоть на несколько дней откупились от вымогательницы, и потому отважилась совершить небольшую прогулку, тем более что надо было кое-что купить, а главное, она видела, как удивляет домашних ее непривычное поведение.

Она выработала себе особые приемы бегства из дому. С самого подъезда она, как с трамплина, закрыв глаза, бросалась в людскую гущу. Почувствовав под ногами плиты тротуара, а кругом теплый людской поток, она устремлялась куда-то наугад с такой лихорадочной поспешностью, какая только допустима для дамы, если она не хочет обратить на себя внимание; глаз она не поднимала, вполне естественно боясь встретить знакомый угрожающий взгляд. Если за ней следят, так лучше хоть не знать об этом. И все-таки ни о чем другом она думать не могла и болезненно вздрагивала, когда кто-нибудь случайно задевал ее. Каждый нерв ее дрожал от малейшего возгласа, от звука шагов за спиной, от мелькнувшей мимо тени; только в экипаже или в чужом доме могла она вздохнуть свободно.

Какой-то господин поклонился ей. Подняв глаза, она узнала давнего друга своей семьи, приветливого, болтливового старичка, от которого она всегда старалась улизнуть, потому что он имел обыкновение часами рассказывать о своих мелких, может быть даже воображаемых, недугах. Но теперь она пожалела, что ограничилась ответным поклоном; лучше бы он пошел провожать ее — ведь такой спутник был надежной защитой от неожиданного посягательства шантажистки. Она хотела уже вернуться и окликнуть его, как вдруг ей почудились сзади чьи-то торопливые шаги, и она инстинктивно ринулась вперед. Но обостренным от ужаса чутьем она уловила, что шаги за спиной тоже ускоряются, и шла все быстрее и быстрее, хоть и понимала, что все равно не уйдет от преследования. Ее плечи вздрагивали, уже ощущая руку, которая сейчас, сию минуту, — шаги слышались все ближе, — дотронется до них, и чем скорее старалась она бежать, тем меньше повиновались ей ноги. Преследователь был уже совсем близко.

— Ирена! — тихо, настойчиво окликнул ее сзади чей-то голос; она не сразу поняла чей, знала только, что не тот, которого она боялась, не голос страшной вестницы несчастья.

Со вздохом облегчения она обернулась: это был ее любовник; она остановилась так резко, что он чуть не налетел на нее. Лицо его было бледно и выражало явное смятение, а под ее безумным взглядом он окончательно смутился. Нерешительно протянул он руку и снова опустил, потому что она не подала ему руки. Она только смотрела на

него секунду, две,—его она никак не ожидала увидеть. Именно о нем она позабыла в эти мучительные дни. Но сейчас, когда перед ней очутилось его бледное, недоумевающее лицо с пустыми глазами, признаком внутренней неуверенности, волна бешеной злобы неожиданно затопила ее. Дрожащие губы силились что-то выговорить, а лицо было искажено таким волнением, что он в испуге пролепетал:

— Ирена, что с тобой? — И, увидев ее гневный жест, добавил уже совсем смиренно: — Что я тебе сделал?

Она смотрела на него с нескрываемой злобой.

— Что? Ничего! Ровно ничего! — насмешливо захохотала она. — Одно только хорошее! Самое что ни на есть приятное!

Он уставился на нее растерянным взглядом и даже рот раскрыл от удивления, отчего лицо у него стало до смешного бессмысленным.

— Что ты, что ты, Ирена!

— Не поднимайте шума, — резко оборвала она, — и не прикидывайтесь дурачком. Ваша миленькая подружка, наверно, уж подглядывает из-за угла и только ждет, чтобы на меня накинуться...

— Кто? О ком вы?

Ей неудержимо хотелось размахнуться и ударить по этому застывшему в глупой гримасе лицу. Рука ее невольно стиснула зонтик. Никогда еще никто не был ей так противен и ненавистен.

— Что ты, что ты, Ирена, — все растерянное лепетал он. — Что я тебе сделал?.. Ты вдруг перестала приходить... Я жду тебя дни и ночи... Сегодня я целый день простоял у твоего подъезда, чтобы хоть минуту поговорить с тобой.

— Ах, ждешь! Ты тоже! — Она чувствовала, что от злобы у нее ум мутится. Вот ударить бы его по лицу — какое это было бы облегчение! Но она сдержалась, еще раз с жгучей ненавистью посмотрела на него, чуть не поддавшись соблазну излить всю накопившуюся ярость в оскорбительных словах, а вместо этого вдруг повернулась и, не оглядываясь, вновь нырнула в людской поток. А он так и застыл на месте, растерянный, испуганный, с умоляюще протянутой рукой, пока уличная суета не подхватила и не понесла его, как несет река опавший лист, а он противится, трепеща и кружась, пока безвольно не покорится течению.

Но Ирене, видимо, не нужно было предаваться утешительным надеждам. На следующий же день новая записка, как новый удар бича, подхлестнула ее ослабевший было страх. На сей раз у нее требовали двести крон, и она безропотно отдала эти деньги. Ее ужасало это стремительное нарастание требований, она понимала, что скоро не в силах будет удовлетворить их, ибо хотя она и принадлежала к состоятельной семье, но не могла незаметно урывать такие значительные суммы. Да и к чему это приведет? Она не сомневалась, что завтра с нее потребуют четырехста крон, а немного погодя целую тысячу, и чем больше она даст, тем больше у нее будут вымогать, когда же ее средства иссякнут, все это кончится анонимным письмом, катастрофой. Она оплачивала только время, только передышку, два-три дня, самое большее — неделю отсрочки. Но при этом сколько

ничем не окупаемых часов мучительного ожидания!.. Она была не в силах ни читать, ни чем-либо заниматься, страх, точно злой демон, не давал ей покоя. Она чувствовала себя по-настоящему больной. Временами у нее начиналось такое сердцебиение, что она не могла держаться на ногах, тревога точно расплавленным свинцом наливалась ее тело, но, несмотря на мучительную усталость, спать она тоже не могла. И, хотя каждый нерв ее дрожал, ей надо было улыбаться, притворяться беспечной, и никто даже представить себе не мог, какого несказанного напряжения стоила эта мнимая веселость, сколько подлинного героизма было в этом повседневном и бесцельном насилии над собой.

Из всех ее окружающих только один человек, казалось ей, смутно догадывался о том, каково у нее на душе, догадывался лишь потому, что следил за ней. Она чувствовала, что он непрерывно занят ею, как она — им, и эта уверенность заставляла ее быть постоянно настороже. Так они день и ночь выслеживали и подкарауливали друг друга, и каждый старался выведать тайну другого и понадежнее скрыть свою. Муж тоже изменился за последнее время. Грозная следовательская суровость первых дней уступила место любовному вниманию, невольно напоминавшему Ирене ту пору, когда он был женихом. Он обращался с ней, словно с больной, смущая ее своей заботливостью. У нее сердце замирало, когда она видела, как он чуть не подсказывает ей спасительное слово, как старается сделать признание заманчиво легким; она понимала его намерение, была ему благодарна и радовалась его доброте. Но вместе с теплым чувством росло и чувство стыда, которое сковывало ей уста сильнее, чем прежнее недоверие.

В один из этих дней он заговорил открыто, глядя ей прямо в глаза. Она вернулась домой и уже из передней услышала громкий разговор; резкий, решительный голос мужа и ворчливая скороговорка бонны перемежались с всхлипываниями. Сначала она испугалась. Стоило ей услышать дома громкий, взволнованный разговор, как она вся съеживалась. На все выходящее за пределы обыденности она теперь отзывалась страхом, щемящим страхом, что письмо уже пришло и тайна разоблачена. Открыв дверь, она прежде всего бросала на лица домашних торопливый взгляд, жадно вопрошающий, не случилось ли чего в ее отсутствие, не разразилась ли уже катастрофа. Но тут она почти сразу же успокоилась, что это просто детская ссора и нечто вроде импровизированного судебного разбирательства. Как-то на днях одна из теток подарила мальчику пеструю игрушечную лошадку, что вызвало зависть у младшей сестренки, получившей подарки похуже. Она пыталась предъявить свои права на лошадку, да так настойчиво, что брат запретил ей вообще трогать игрушку; тогда она сперва раскричалась, а потом затаилась в злобном, упрямом молчании. Но наутро лошадки вдруг не стало; как ни искал ее мальчуган, она бесследно исчезла, пока пропажу случайно не обнаружили в печке: деревянные части ее были разломаны, пестрая шкурка содрана, а внутренности выпотрошены. Подозрение естественным

образом пало на девочку — мальчуган с ревом бросился к отцу жаловаться на обидчицу, и только что начался допрос.

Суд длился недолго. Девчурка сперва запиралась, правда с конфузливо опущенными глазками и предательской дрожью в голосе: бонна свидетельствовала против нее, она слышала, как девочка в пылу досады грозилась выбросить лошадку за окно, что малютка тщетно пыталась отрицать, потом произошла маленькая сценка со слезами ребячьего отчаяния. Ирена неотступно смотрела на мужа; у нее было такое чувство, что он правит суд не над дочкой, а решает собственную ее судьбу, ведь завтра уже она сама, быть может, будет стоять перед ним с таким же трепетом и отвечать таким же срывающимся голосом. Муж держался строго, пока девочка лгала и отрицала свою вину, но постепенно, шаг за шагом он сломил ее упорство, ни разу не выказав раздражения. Когда же на смену лжи пришло упрямое молчание, он стал ласково уговаривать ее, доказывать чуть не естественность такого дурного побуждения и до некоторой степени извинял ее гадкий поступок тем, что в порыве злости она не подумала, как огорчит брата. Он так тепло и убедительно объяснил девочке ее выходку как нечто вполне понятное и все же достойное порицания, что малютка постепенно размякла и наконец заревела навзрыд. И тут же сквозь слезы призналась во всем.

Ирена бросилась обнимать плачущую дочку, но та сердито оттолкнула мать. Муж в свою очередь упрекнул ее за неуместную жалость, — он не собирался оставлять проступок безнаказанным и назначил ничтожную, но для ребенка чувствительную кару: девочке было запрещено идти завтра на детский праздник, которому она радовалась уже давно. С ревом выслушала малютка приговор, а мальчуган шумно выразил свое торжество, оказавшееся преждевременным: за такое злорадство ему тоже не позволили пойти на завтрашний праздник. Опечаленные дети в конце концов удалились, только общность наказания немного утешила их, а Ирена осталась наедине с мужем.

Вот подходящий случай, почувствовала она, отбросить всякие намеки, связанные с виной и признанием ребенка, и прямо заговорить о собственной вине. Если муж благосклонно примет ее заступничество за дочку, это будет ей знаком, что она может отважиться заговорить о себе.

— Скажи, Фриц, — начала она, — неужели же ты действительно непустишь детей на праздник? Это будет для них ужасное огорчение — особенно для малютки. К чему такая строгая кара? Ведь ничего особенно страшного она не сделала. И тебе не жаль ее?

Он посмотрел на жену.

— Ты спрашиваешь: неужели мне ее не жаль? Сегодня уже нет. После того как ее наказали, ей стало гораздо легче, хоть она сейчас и огорчена. По-настоящему несчастна она была вчера, когда злополучная лошадка лежала в печке. Весь дом разыскивал ее, а малютка непрерывно дрожала от страха, что пропажу вот-вот обнаружат. Страх хуже наказания. В наказании есть нечто определенное. Велико ли оно, или мало, все лучше, чем неопределенность, чем нескончае-

мый ужас ожидания. Едва только она узнала, как ее накажут, ей стало легко. Пусть тебя не смущают слезы — сейчас они только вырвались наружу, раньше они скоплялись внутри. А таить их внутри куда больше.

Ирена посмотрела на мужа. Ей казалось, что каждое слово метит прямо в нее. Но он как будто и не думал о ней.

— Верь мне, это именно так. Я это наблюдал и в суде, и во время следствия. Больше всего обвиняемые страдают от утаивания правды, от угрозы ее раскрытия. Как мучительна необходимость защищать ложь от множества скрытых нападок! Страшно смотреть, как извивается и корчится обвиняемый, когда из него клещами приходится вырывать признание. Иногда оно уже совсем на языке, непреодолимая сила подняла его из самых сокровенных тайников, оно душит преступника, оно уже готово претвориться в слова — и вдруг какая-то злая воля овладевает им, непостижимая помесь упрямства и страха, он подавляет признание, загоняет его внутрь. И борьба начинается сызнова. Судьи иногда страдают от этого больше, чем жертвы. А обвиняемые видят в судьях врагов, хотя на самом деле судьи — их помощники. А мне, как их адвокату, как защитнику, следовало бы предостерегать моих подопечных от признаний, поддерживать и поощрять их ложь, но у меня часто все внутри противится этому — слишком уж они страдают от необходимости запереться, гораздо больше, чем от признания и последующей кары. Мне, собственно, до сих пор непонятно, как можно совершить проступок, сознавая всю связанную с ним опасность, а потом не иметь мужества признаться в нем. Малодушный страх перед решительным словом, на мой взгляд, постыднее всякого преступления.

— Ты думаешь... по-твоему... только страх удерживает людей? А может... не страх... а стыд мешает человеку раскрыться... разоблачить себя... перед посторонними?

Муж удивленно взглянул на нее. Он не привык слышать от нее возражения. Но высказанная ею мысль поразила его.

— Ты говоришь — стыд, да ведь это... как бы сказать... это тоже своего рода страх... только высшего порядка... страх не перед наказанием, а... ну да, я понимаю...

Он вскочил, явно взволнованный, и зашагал по комнате. Эта мысль, по-видимому, задела в нем самые чувствительные струны, сильно расстрожила его. Вдруг он остановился.

— Допускаю... можно стыдиться посторонних... толпы, которая выуживает из газет чужую беду, смакует ее и облизывается... Но ведь близким-то можно признаться...

— А что, если... — она отвернулась; он смотрел на нее очень пристально, и она чувствовала, что у нее срывается голос. — Что, если... самым близким особенно стыдно признаться...

Он остановился перед ней, явно пораженный.

— Так, по-твоему... по-твоему... — голос его сразу стал другим, мягким, глубоким, — по-твоему, Ленхен легче было бы рассказать о своем проступке кому-нибудь другому... например... бонне, а то ей...

— Я в этом уверена... Она так долго отпиралась перед тобой именно поэтому... ну, потому, что твое мнение ей важнее всего, что тебя она любит больше всех...

Он задумался на миг.

— Пожалуй, ты права, да, наверняка права. Как странно... мне это не приходило в голову. Но, конечно, ты права, и я не хочу, чтобы ты думала, что я не могу простить... Нет, именно ты не должна так думать, Ирена...

Он смотрел на нее, и она чувствовала, что краснеет под его взглядом. Умышленно он так говорит, или это случайность, коварная, опасная случайность? Все та же мучительная нерешимость тяготела над ней.

— Приговор кассирован. — Он заметно повеселел. — Ленхен свободна, я сам сейчас ей об этом объявлю. Ну, ты довольна мною? Или тебе еще чего-нибудь хочется... Видишь... я сегодня настроен благодушно... может быть, от радости, что вовремя спохватился, понял, что был несправедлив. Это большое облегчение, Ирена, очень большое...

Она, казалось ей, поняла, что именно он хочет подчеркнуть. Инстинктивно она потянулась к нему, слово уже готово было сорваться с ее губ. И он тоже приблизился к ней, как будто хотел поскорее снять с нее то, что ее угнетало. Но тут она встретила его взгляд, горящий алчным нетерпением, жаждой услышать ее признание, проникнуть в ее тайну, и в ней словно что-то оборвалось. Она уронила протянутую руку и отвернулась. Все напрасно, думала она, никогда не хватит у нее сил произнести то единственное спасительное слово, которое жжет ее, лишает покоя. Как раскаты близкой грозы прозвучало предупреждение, но Ирена знала, что ей все равно не спастись, и в тайниках души уже хотела того, чего до сих пор так боялась: чтобы скорее сверкнула очистительная молния, чтобы все стало известно.

Ее желанию, видимо, суждено было исполниться скорее, чем она предполагала. Борьба длилась уже две недели, Ирена дошла до полного изнеможения. Последние четыре дня шантажистка не подавала признаков жизни, но страх прочно въелся в плоть и кровь Ирены, — при каждом звонке на парадном она вскакивала, чтобы перехватить новые вымогательские требования. Она ждала их нетерпеливо, чуть не страстно, — ведь, удовлетворив эти требования, она покупала себе целый вечер покоя, несколько мирных часов в обществе детей, прогулку.

И на этот раз, услышав звонок, она бросилась к парадной двери, открыла и в первую минуту удивилась при виде пышно разодетой дамы, но тут же испуганно шарахнулась, узнав под новомодной шляпкой ненавистную физиономию вымогательницы.

— А, вы дома, фрау Вагнер. Меня к вам важное дело. — Не дожидаясь ответа растерянной Ирены, которая дрожащей рукой ухватила за дверь, вымогательница вошла и прежде всего положила зонтик, кричащий красный зонтик, очевидно первый плод ее грабительских набегов. Двигалась она с необычайной уверенностью, точно в своей собственной квартире; окинув изящное убранств

во одобрительным и явно удовлетворенным взглядом, она без приглашения проследовала к полуотворенной двери в гостиную. — Сюда, не правда ли? — спросила она с затаенной насмешкой и, когда онемевшая от потрясения Ирена жестом попыталась остановить ее, успокоительно добавила: — Если вам неприятно, я не задержусь, дело минутное.

Ирена беспрекословно пошла за ней. Вторжение шантажистки в ее дом, своей наглостью превзошедшее все самые страшные ожидания, совершенно ошеломило ее. Ей казалось, будто это сон.

— И-да, ничего не скажешь, богато живете, — с нескрываемым удовольствием заметила шантажистка, усаживаясь в кресло. — Мягко-то как. А сколько картин! Тут только и понимаешь наше убожество. Богато вы живете, фрау Вагнер, очень богато.

При виде преступницы, удобно расположившейся у нее в комнатах, несчастная женщина не выдержала и дала волю возмущению.

— Что вам от меня надо, подлая вы шантажистка! Как вы смели прийти ко мне домой! Не думайте, я не позволю так измываться над мной. Я вас...

— Говорите потише, — прервала та с оскорбительной фамильярностью. — Дверь открыта, прислуга услышит. Мне-то что! Я ведь не скрываюсь. Господи боже мой! Не все ли мне равно — в тюрьме ли сидеть или бедствовать на воле. А вам бы следовало быть поосторожнее, фрау Вагнер. Давайте я прежде всего закрою дверь, на случай если вы бы вздумали опять погорячиться. Только знайте заранее, бранью меня не проймешь.

На короткое мгновение гнев придал Ирене силы, но теперь она снова почувствовала себя беспомощной перед невозмутимой наглостью противницы. Как ребенок, ожидающий, какой ему зададут урок, стояла она испуганно и почти смиренно.

— Ну вот, значит, незачем нам волюнку разводить. Живется мне не сладко, я ведь вам говорила. Я уж давно задолжала за квартиру. Да и, кроме того, мне кое-что нужно. Хочется когда-нибудь вздохнуть свободно. Вот я к вам и пришла за помощью. Дайте мне... ну, скажем, четыреста крон.

— Я не могу, — пролепетала Ирена, испугавшись размеров суммы, которой у нее и в самом деле не было в наличности, — у меня нет таких денег. За этот месяц я уже дала вам триста крон.

— Ну, как-нибудь наскребите, подумайте хорошенько. Как такой богачке не найти денег? Стоит только захотеть. Подумайте хорошенько, авось найдете.

— Да нет у меня таких денег. Я бы охотно дала вам, но у меня нет. Вот сто крон я бы могла...

— А мне нужно четыреста, — отрезала та, как будто даже оскорбленная таким предложением.

— Поймите, у меня их нет! — в отчаянии воскликнула Ирена. «А вдруг сейчас придет муж, — думала она, — он каждую минуту может прийти». — Даю вам слово, нет...

— Ну, так достаньте где-нибудь...

— Не могу.

.. Шантажистка оглядела Ирену с головы до ног, словно прикидывая ее возможности.

— Ну, вот, например, кольцо... Если его заложить, оно все окупит. Правда, я не больно-то разбираюсь в драгоценностях... у меня их сроду не бывало... но четыреста крон, по-моему, за него дадут...

— Как! Кольцо? — вскрикнула Ирена. Это кольцо муж подарил ей в день помолвки, она носила его не снимая; кольцо было очень дорогое, с крупным ценным камнем.

— А почему бы и нет? Я пришлю вам ломбардную квитанцию, можете его выкупить, когда захотите. Я ведь не навовсе его беру, на что бедной женщине такое богатое кольцо.

— За что вы меня преследуете и мучаете? Я не могу... Поймите же, не могу... Я делала все, что могла. Поймите это! Пожалейте меня!

— А меня никто не пожалел. Пусть, мол, подышает с голоду. Отчего же это я должна жалеть такую богачку?

Ирена хотела ответить резкостью, но тут она услышала, как хлопнула входная дверь, и кровь застыла у нее в жилах. Должно быть, это муж вернулся из конторы. Не помня себя она сорвала с пальца кольцо и сунула вымогательнице, а та не замедлила его припрятать.

— Не бойтесь, я сейчас смоюсь, — успокоительно заметила посетительница, увидев, какой невыразимый ужас написан на лице Ирены и как напряженно она прислушивается к мужским шагам, явно доносившимся из передней. Отворив дверь, шантажистка поклонилась мужу Ирены, который бросил на нее рассеянный взгляд, и удалилась.

— Эта дама приходила кое о чем узнать, — собрав последние силы, пояснила Ирена, как только за той захлопнулась дверь. Самое страшное миновало. Муж ничего не ответил и невозмутимо прошел в столовую, где уже было накрыто к обеду.

Ирене казалось, будто у нее горит то место на пальце, которое обычно охлаждал золотой обручик кольца, и будто каждый непременно обратит внимание на это оголенное место, как на позорное клеймо. За обедом она все время старалась прятать руку, но при этом какое-то небывалое обостренное чутье нашептывало ей, что муж не спускает глаз с ее руки, следит за каждым ее движением. Она пыталась отвлечь его и непрерывными вопросами поддерживала беседу. Она обращалась к мужу, к детям, к бонне, всеми силами оживляла еле тлеющий разговор, но силы ей изменяли, и разговор то и дело иссякал. Она старалась казаться веселой и развеселить остальных, поддразнивала детей, натравливала их друг на дружку, но они не ссорились и не смеялись: она и сама сознавала, что в веселости ее чувствовалось притворство, коробившее всех. Как она ни изощрялась, все ее усилия были напрасны. Наконец она утомилась и замолчала. Остальные тоже молчали; она слышала только позвякивание посуды да нарастающий внутренний голос страха.

— А куда ты дела кольцо? — спросил вдруг муж.

Она вздрогнула. Внутренний голос внятно произнес: кончено! Но что-то в ней еще не желало сдаваться. Надо взять себя в руки, найти

силы для одной только фразы, одного слова. Придумать одну только последнюю ложь.

— Я... я отдала его почистить.

И, ободренная собственной выдумкой, она решительно добавила:

— Послезавтра оно будет готово.

Послезавтра. Теперь она связала себя. Если ей ничего не удастся сделать, ложь будет разоблачена, и тогда всему конец. Она сама назначила себе срок, и сквозь хаос страха вдруг пробилося новое чувство, чувство радости, что развязка так близка. Послезавтра: срок указан, и из этой непреложности родилось необычайное спокойствие, заглушившее страх. Изнутри подымалось что-то новое, новая сила. Сила жить и сила умереть.

Твердая уверенность в близкой развязке неожиданным образом прояснила все в ее душе. Смятение как по волшебству сменилось четкостью мышления, страх уступил место непривычному ей прозрачному покою, сквозь призму которого она вдруг ясно увидела истинную цену того, что составляло ее существование. Она поняла, что жизнь не окончательно утратила для нее значение, и, если ей дано сохранить эту жизнь и сделать еще значительнее в том новом высоком смысле, который открылся ей за эти дни мучительного страха, и если можно начать жизнь сызнова без грязи, без боязни, без лжи, — она к этому готова. Но жить разведенной женой, опозоренной прелюбодейкой — для этого у нее нет сил, как и нет сил продолжать опасную игру, покупая себе спокойствие на определенный срок. Сопротивление бесполезно — это она понимала, развязка близка, гибель грозит ей и от мужа, и от детей, и от нее самой. Бегство немыслимо, когда враг оказывается вездесущим. А самый верный выход — признание — для нее недоступен, в этом она убедилась. Значит, ей открыт лишь один-единственный путь, путь без возврата.

Утром она сожгла свою переписку, привела в порядок разные мелкие дела, но при этом избегала смотреть на детей и вообще на все то, что было ей дорого. Она боялась, как бы жизнь не поманила ее вновь радостями и соблазнами и как бы бесцельные колебания не затруднили ей и без того тяжелое решение. Затем она еще раз вышла на улицу, чтобы напоследок испытать судьбу и встретить вымогательницу. Не останавливаясь, шагала она из улицы в улицу, но без прежней лихорадочной настороженности. Она уже внутренне устала от борьбы и чувствовала, что дальше бороться не может. Точно по обязанности проходила она целых два часа, но нигде не встретила своего недруга и даже не огорчилась этим. Она настолько обессилела, что почти не желала встречи. Она вглядывалась в лица прохожих, и они казались ей чуждыми, ненужными и неживыми. Все это уже отошло куда-то, было для нее безвозвратно потеряно.

Только один раз она опять испугалась. Ей почудился в толпе на той стороне улицы устремленный на нее взгляд мужа, тот странный,

суровый, колющий взгляд, который появился у него с недавних пор. Она стала судорожно всматриваться, но знакомая фигура тут же исчезла за проезжавшим экипажем, и Ирена успокоила себя тем, что в это время муж всегда бывает в суде. От нервного напряжения она утратила чувство времени и опоздала к обеду. Но и муж изменил своей обычной пунктуальности и пришел спустя две минуты; ей показалось, что он чем-то взволнован.

Она стала считать часы, оставшиеся до вечера, и ей сделалось страшно, что их осталось так много, а для прощания надо так мало времени и так мало все имеет цены, когда знаешь, что с собой ничего не возьмешь. Ею овладела какая-то сонливость. Машинально спустилась она опять на улицу и пошла наугад, не оглядываясь, ни о чем не думая. На перекрестке кучер едва успел сдержать лошадей, иначе дышло непременно сбило бы ее с ног. Кучер грубо выругался, а Ирена даже не обернулась — это могло быть спасением или отсрочкой. Случай избавил бы ее от необходимости решиться. Медленно побрела она дальше — хорошо было идти без мыслей, с одним только смутным ощущением конца, который, точно легким туманом, незаметно сгущаясь, обволакивал все.

Случайно подняв взгляд, чтобы прочесть название улицы, она вся задрожала: в своем беспцельном блуждании она незаметно добрела почти до самого дома своего бывшего любовника. А что, если это перст судьбы? Вдруг он чем-нибудь может помочь ей, ведь он, надо полагать, знает адрес той твари. Ее охватило радостное возбуждение. Как она не подумала об этом? Сразу же шаги стали стремительнее; подстегнутые надеждой, закружились в голове бессвязные мысли. Она заставит его пойти вместе с ней к той негодной твари и навсегда положить этому конец. Пусть пригрозит ей судом, если она не прекратит шантажа, а может, достаточно будет сунуть ей какие-то деньги и удалить ее из города. Ирене стало вдруг жаль, что она при встрече так неласково обошлась с беднягой, но все равно, он обязательно поможет ей. Как странно, что спасение является сейчас, в самую последнюю минуту.

Стремительно взбежала она наверх и позвонила. Никто не открыл. Она прислушалась; ей померещились за дверью осторожные шаги. Она позвонила еще раз. Снова ни звука. И снова какой-то шорох за дверью. Тогда она, потеряв терпение, стала звонить и звонить без перерыва — ведь для нее это был вопрос жизни.

Наконец внутри кто-то закопошился, щелкнул замок, и дверь приотворилась.

— Это я, — торопливо шепнула Ирена.

Он открыл дверь в явном замешательстве.

— Ах, это ты... вы, сударыня, — растерянно лепетал он. — Простите... я никак не ожидал... вашего прихода... простите мой вид, — он был без пиджака и без галстука, с растегнутым воротом рубашки.

— Мне необходимо с вами поговорить, вы должны мне помочь, — произнесла она раздраженным тоном, потому что он все еще держал ее на пороге, как попрошайку. — Впустите меня, я задержу вас на одну минуту.

— Пожалуйста,— смущенно пробормотал он, оглядываясь с опаской.— Только я сейчас... мне не очень удобно...

— Вы обязаны меня выслушать. Все это по вашей вине. Ваш долг мне помочь... Вы обязаны, слышите, обязаны добыть мое кольцо. В крайнем случае, скажите мне адрес... Она все время не дает мне покоя, а теперь она куда-то исчезла. Вы обязаны, да, да, обязаны.

Он недоумевающе уставился на нее. Только теперь она сообразила, что из ее отрывистых выкриков ничего нельзя понять.

— Ах, вы не знаете... Так вот, ваша любовница... ну, словом... прежняя ваша пассия, выследила меня, когда я уходила от вас. С тех пор эта женщина преследует меня, шантажирует... мучает до полусмерти... А теперь она взяла у меня кольцо, но я без него не могу, мне надо его вернуть не позже, чем сегодня вечером, я так и сказала... не позже, чем сегодня вечером... Ну вот, так помогите мне.

— Но я... я...

— Вы отказываетесь?

— Но я не знаю никакой женщины. Мне непонятно, о чем вы говорите. Я никогда не имел дела с шантажистками.— Он говорил почти грубо.

— Ах так... не знаете... Она все это сочинила! Откуда же она знает и ваше имя, и мой адрес? По-вашему, она и не думает меня шантажировать? По-вашему, мне это все пригрезилось?

Она пронзительно захохотала. Ему сделалось жутко. У него мелькнула мысль, что она помешалась, так лихорадочно горели ее глаза, так странно она себя вела и при этом плела какой-то вздор. Он испуганно поглядел по сторонам.

— Ради бога, успокойтесь... сударыня. Уверю вас, вы ошибаетесь... Должно быть... да нет, это невозможно... я ничего не понимаю. С такими женщинами я не встречаюсь. Ведь вы знаете, я здесь совсем недавно, и те две связи, которые у меня были, исключают... Не буду называть имена, но даже смешно подумать... уверю вас, это какая-то ошибка...

— Значит, вы отказываетесь мне помочь?

— Нет, что вы, если я только могу...

— Тогда идемте. Мы вместе пойдем к ней.

— Но к кому же... к кому? — Когда она схватила его за рукав, он опять с испугом подумал, что она не в своем уме.

— Да к ней же... Пойдете вы или нет?

— Конечно... Конечно, пойду,— ее лихорадочная настойчивость явно подтверждала зародившееся у него подозрение,— конечно... конечно...

— Так пойдемте же... это для меня вопрос жизни!

Он еле сдержал улыбку. Потом сразу же перешел на официальный тон.

— Прошу меня извинить, сударыня, но в данный момент я занят... У меня урок музыки... Я не могу его прервать.

— Так! Так! — Она презрительно засмеялась ему в лицо. — Вы даете уроки без пиджака... Лгун вы, вот кто! — И вдруг ее осенила

догадка. Она ринулась в комнаты, как он ни пытался ее удержать. — Значит, она здесь, у вас, эта шантажистка! Чего доброго, вы с ней заодно. Может, вы делитесь тем, что вымогаете у меня. Но я с ней расправлюсь. Теперь мне ничего не страшно. — Она кричала во весь голос. Он держал ее, но она боролась с ним, вырвалась и распахнула дверь в спальню.

Кто-то, должно быть слушавший под дверью, отскочил в глубь комнаты. Ирена в полной растерянности посмотрела на полуодетую незнакомую даму, которая поспешила отвернуть лицо. Молодой музыкант бросился вслед за Иреной, считая ее сумасшедшей и боясь, как бы она не натворила бед, но она тут же вышла из спальни.

— Извините меня, — с трудом выдавила она. В голове у нее все перепуталось. Она ничего уже не понимала, ей было только противно; бесконечно противно, ужасная усталость овладела ею. — Извините меня, — повторила она. — Завтра... да, завтра вам все станет ясно, впрочем, я... я и сама ничего не понимаю. — Она говорила с ним, как с чужим, ничто не напоминало ей о том, что она когда-то принадлежала этому человеку, да она и сама себя не помнила. Все теперь запуталось окончательно, ей было ясно только, что где-то здесь кроется ложь. Но она слишком устала, чтобы думать, слишком устала, чтобы рассуждать. Закрыв глаза, шла она по лестнице, как осужденный идет на эшафот.

Когда она вышла на улицу, уже совсем стемнело. А вдруг, мелькнула у нее мысль, та тварь, караулит напротив, вдруг в последнюю минуту явится спасение. Ей захотелось молитвенно сложить руки и воззвать к забытому богу. Ах, только бы вымолить себе отсрочку на несколько месяцев, до лета, а потом спокойно пожить среди полей и лугов, где шантажистка не настигнет ее, пожить спокойно всего одно лето. Жадно вглядывалась она в темноту улицы. Ей почудилось, будто у дома напротив стоит какая-то фигура, но, когда она подошла поближе, фигура скрылась в подъезде. На миг Ирена как будто уловила в ней сходство с мужем. Второй раз за этот день пугалась она его внезапно мелькнувшего на улице силуэта и взгляда. Она остановилась, выжидая. Но фигура бесследно исчезла в темноте. Тогда она пошла дальше, с тягостным ощущением чьего-то обжигающего взгляда у себя за спиной. Один раз она обернулась, но никого не увидела.

Аптека была недалеко. С легким содроганием вошла туда Ирена. Провизор стал готовить то, что было указано в рецепте. За это короткое мгновение Ирена отчетливо увидела все — и никелированные весы, и миниатюрные гирьки, и этикетки, а наверху на полках ряды склянок с какими-то жидкостями, незнакомые латинские названия, которые она машинально принялась читать. Она услышала тиканье часов, ощутила особый аптечный запах, маслянисто-приторный запах лекарств, и вдруг вспомнила, что в детстве всегда вызывалась исполнять поручения матери в аптеке, потому что ей нравился этот запах, нравилось смотреть на таинственные блестящие тигельки. И тут же она с ужасом подумала, что позабыла проститься с матерью, и ей

стало мучительно жаль бедную старушку. Как она испугается, в смятении думала Ирена... но провизор уже отсчитывал прозрачные капли в темную склянку. Не отрываясь смотрела она, как смерть переливается из пузатой бутылки в маленькую бутылочку, откуда она скоро заструится по ее жилам, и ее обдало холодом. Тупо, словно заворуженная, смотрела она на пальцы аптекаря: вот он затыкает пробкой полный пузырек, вот обклеивает горлышко бумагой. Все чувства Ирены были скованы, подавлены страшной мыслью.

— С вас две кроны,— сказал аптекарь. Она встрепенулась и растерянно огляделась по сторонам. Потом автоматическим движением достала деньги. Еще не вполне очнувшись, разглядывала она монеты и долго не могла отсчитать то, что нужно.

В этот миг она почувствовала, что ее руку резко отстранили, и услышала, как звякнули деньги о стеклянную подставку. Чья-то протянутая рука перехватила у нее пузырек.

Она невольно обернулась и замерла на месте: рядом стоял ее муж. Лицо у него было мертвенно-бледно, губы стиснуты, на лбу выступили капельки пота.

Она почувствовала, что сейчас потеряет сознание, и схватилась за прилавок. Сразу же ей стало ясно, что именно его она видела днем на улице, именно он караулил ее в подъезде; внутреннее чутье уже тогда подсказывало ей, что это он, а теперь все вместе всплыло в ее смятенном мозгу.

— Идем,— сказал он глухим, сдавленным голосом. Она бессмысленно посмотрела на него и где-то в самых глубоких тайниках своего сознания удивилась, что повинуется ему. Но все-таки машинально пошла за ним.

Бок о бок, не глядя друг на друга, шагали они по улице. Он все еще держал в руках пузырек. Один раз он остановился и отер влажный лоб. Сама того не сознавая и не желая, она тоже замедлила шаги. Но взглянуть на него не смела. Никто не говорил ни слова, уличный шум заполнял молчание.

На лестнице он пропустил ее вперед. И как только она почувствовала, что его нет рядом, ноги ее ослабели, она остановилась, держась за перила. Тогда он взял ее под руку. Она вздрогнула от его прикосновения и торопливо взбежала наверх.

Она вошла в спальню, он последовал за ней. Стены тускло мерцали в темноте, едва виднелись очертания мебели. Оба все еще не произнесли ни слова. Муж сорвал бумагу с пузырька, вынул пробку, вылил содержимое, а пузырек резким движением швырнул в угол. Ирена вздрогнула, услышав звон разбитого стекла.

Оба молчали. Ирена, не глядя, чувствовала, что он старается овладеть собой. Наконец он сделал шаг по направлению к ней. Шаг и еще шаг, пока не очутился совсем рядом. Она слышала его тяжелое дыхание и своим застывшим, затуманенным взглядом видела, как сверкают в темноте его глаза. Вот сейчас разразится его гнев, вот сейчас его рука железной хваткой вопьется в ее дрожащую руку. Сердце у нее замерло, и только нервы трепетали, как туго натянутые струны. Всем своим существом ждала она кары и почти желала,

чтобы он скорее дал волю гневу. Но он по-прежнему молчал, а когда заговорил, она с невыразимым изумлением услышала в его голосе не гнев, а нежность.

— Ирена,— начал он удивительно мягко,— до каких пор мы будем мучить друг друга?

И тут внезапно, судорожно, с сокрушительной силой, как протяжный, бессмысленный, звериный вопль, прорвались долго сдерживаемые, подавляемые рыдания. Точно злобная рука рванула ее изнутри и стала яростно трясти — она зашаталась, как пьяная, и упала бы, если б муж не поддержал ее.

— Ирена,— пытался он успокоить ее,— Ирена, Ирена,— все тише, все ласковее шептал он ее имя, словно думая нежным звучанием этого слова расправить конвульсивно сведенные нервы, но только рыдания, только буйные порывы отчаяния, сотрясавшие все тело, были ему ответом. Он подхватил, понес ее и бережно уложил на диван. Однако рыдания не унимались. Руки и ноги судорожно дергались, как будто от электрического тока, трепещущее истерзанное тело, по видимому, бросало то в жар, то в холод. Напряженные до предела нервы не выдержали, и накопившаяся за все эти недели боль безудержно бушевала в обессиленном теле.

Не помня себя от волнения, он старался унять эту дрожь, сжимал ледяные руки жены, сперва бережно, а потом все пламеннее, со страхом и страстно целовал ее платье, ее шею, но Ирена по-прежнему вздрагивала, сжавшись в комок, а из груди все накатывали рыдания, наконец-то прорвавшиеся наружу. Муж коснулся ее лица, оно было холодно и влажно от слез, жилки на висках набухли и трепетали. Невыразимый страх овладел им. Он опустил на колени и заговорил у самого ее лица, все время пытаясь удержаться, успокоить ее.

— Не плачь, Ирена... Ведь все... все прошло. Не убивайся так... Тебе уже нечего бояться. Она не придет больше никогда, слышишь — никогда.

Ирена снова рванулась в судорожном рыдании, хотя муж держал ее обеими руками. При виде отчаяния, сотрясавшего измученную женщину, ему стало страшно, как будто он — ее убийца. Он целовал ее, несвязными словами молил о прощении.

— Да, больше не придет... клянусь тебе... Я не ожидал, что ты так испугаешься... Я хотел только вернуть тебя... напомнить о твоём долге... чтобы ты ушла от него навсегда... и вернулась к нам... Когда я об этом узнал случайно, я ничего другого не мог придумать... не мог же я прямо сказать тебе... Я все надеялся... все надеялся, что ты вернешься, и потому подослал эту бедную женщину. Думал, она подтолкнет тебя. Она — незадачливая актриса, без ангажемента. Она отказывалась, а я настаивал... теперь я вижу — это было нехорошо... Но я хотел тебя вернуть. Неужели ты не видела, что я готов, что я рад простить? Как ты не понимала?.. Но до этого я не думал тебя довести... Мне самому еще тяжелее было все это видеть... следить за каждым твоим шагом. Ради детей, пойми, только ради детей я должен был заставить тебя... Но теперь все это прошло... Все будет хорошо...

Голос звучал совсем близко, но слова долетали до нее откуда-то издалека, и она не понимала их. Все заглушал шум волн, набегавших изнутри, сознание было помрачено полным смятением чувств. Она ощущала ласковые прикосновения, поцелуи и свои собственные слезы, но внутри, звеня и гудя, проталкивалась по венам кровь, и в ушах стоял неистовый гул, точно перезвон колоколов. Потом все исчезло в тумане. Очнувшись от обморока, она смутно почувствовала, что ее раздевают, как сквозь густую пелену увидела ласковое и озабоченное лицо мужа. И сразу же погрузилась в черную пучину глубокого благодетельного сна без сновидений.

Когда она на другое утро открыла глаза, в комнате было уже светло. И в ней самой тоже просветлело, пронесшаяся буря словно очистила и освежила кровь. Она пыталась вспомнить, что с ней произошло, но все казалось еще сном. Она ощущала такую неправдоподобную легкость и свободу, с какой паришь по воздуху во сне, и, чтобы убедиться, что это смутное ощущение — явь, она дотронулась одной рукой до другой.

Вдруг она вздрогнула: на пальце блестело кольцо. И сразу же сна как не бывало. Те бессвязные слова, которые она и слышала и не слышала на грани сознания, и те прежние неясные догадки, которые она не смела претворить в мысль и подозрение, теперь вдруг слились в стройное целое. Все сразу стало ей понятно — и вопросы мужа, и недоумение любовника; петля за петлей развернулись перед ней страшные сети, которыми она была опутана. Гнев и стыд овладели ею, нервы вновь болезненно затрепетали, и она уже готова была пожалеть, что пробудилась от этого сна без грез и без страхов.

Но тут в соседней комнате послышался смех. Дети встали и, как проснувшиеся птенцы, гомонили навстречу новому дню. Ирена ясно различала голос сына и впервые с удивлением заметила, как он похож на отцовский голос. Улыбка неприметно тронула ее губы и задержалась на них. Ирена лежала с закрытыми глазами, чтобы лучше насладиться тем, что было ее жизнью, а отныне и ее счастьем. Внутри еще тихонько щемило что-то, но это была благотворная боль — так горят раны, прежде чем зарубцеваться навсегда.

АМОК

В марте 1912 года в Неаполе, при разгрузке в порту большого океанского парохода, произошел своеобразный несчастный случай, по поводу которого в газетах появились подробные, но весьма фантастические сообщения. Хотя я сам был пассажиром «Океании», но, так же как и другие, не мог быть свидетелем этого необыкновенного происшествия: оно случилось в ночное время, при погрузке угля и выгрузке товаров, и мы, спасаясь от шума, съехали все на берег, чтобы провести время в кафе или театре. Все же я лично думаю, что некоторые мои догадки, которых я тогда публично не высказывал, содержат

в себе истинное объяснение той трагической сцены, а давность события позволяет мне использовать доверие, оказанное мне во время одного разговора, непосредственно предшествовавшего странному эпизоду.

Когда я хотел заказать в пароходном агентстве в Калькутте место для возвращения в Европу на борту «Океании», клерк только с сожалением пожал плечами: он не знает, можно ли еще обеспечить мне каюту, так как теперь, перед самым наступлением дождливого времени, все места бывают распроданы уже в Австралии, и он должен сначала дожидаться телеграммы из Сингапура. Но на следующий день он сообщил мне, что еще может занять для меня одну каюту, правда не особенно комфортабельную, под палубой и в средней части парохода. Я с нетерпением стремился домой, поэтому, не долго думая, попросил закрепить за мной место.

Клерк правильно осведомил меня. Пароход был переполнен, а каюта плохая — тесный четырехугольный закуток недалек от машинного отделения, освещенный только тусклым глазом иллюминатора. В душном, застоявшемся воздухе пахло маслом и плесенью; ни на миг нельзя было уйти от электрического вентилятора, который, как обезумевшая стальная летучая мышь, вертелся и визжал над самой головой. Внизу машина кряхтела и стонала, точно грузчик, без конца взбирающийся с кулем угля по одной и той же лестнице; наверху непрерывно шаркали шаги гуляющих по палубе. Поэтому, сунув чемодан в этот затхлый гроб меж серых шпангоутов, я поспешил на палубу и, поднимаясь по трапу, вдохнул, как амбру, мягкий, сладостный воздух, доносимый к нам береговым ветром.

Но и наверху царил сутолока и теснота: тут было полно людей, которые с нервозностью, порожденной вынужденным бездействием, без умолку болтая, расхаживали по палубе. Щебетание и трескотня женщин, безостановочное кружение по тесным закоулкам палубы, назойливая болтовня пассажиров, скопившихся перед креслами, — все это почему-то причиняло мне боль. Я только что увидел новый для меня мир, передо мной пронеслись пестрые, мелькающие с бешеной быстротой картины. Теперь я хотел подумать, привести в порядок свои впечатления, воссоздать воображением то, что воспринял глаз, но здесь, на этой шумной, похожей на бульвар палубе, не было ни минуты покоя. Строчки в книге расплывались от мелькания теней проходивших мимо пассажиров. Невозможно было остаться наедине с собой на этой залитой солнцем и полной движения пароходной улице.

Три дня я крепился — смотрел на людей, на море, но море было всегда одинаковое, пустынное и синее, и только на закате вдруг загоралось всеми цветами радуги; а людей я уже через трое суток знал наперечет. Все лица были мне знакомы до тошноты; резкий смех женщин больше не раздражал меня, и не сердили вечные споры двух голландских офицеров, моих соседей. Мне оставалось только бегство; но в каюте было жарко и душно, а в салоне английские

мисс непрерывно барабанили на рояле, выбирая для этого самые затасканные вальсы. Кончилось тем, что я решительно изменил порядок дня и нырнул в каюту сразу после обеда, предварительно оглушив себя стаканом-другим пива; это давало мне возможность проспать ужин и вечерние танцы.

Как-то раз я проснулся, когда в моем маленьком гробу было уже совсем темно и тихо. Вентилятор я выключил, и воздух полз по вискам, липкий и влажный. Чувства были притуплены, и мне потребовалось несколько минут, чтобы сообразить, где я и который может быть час. Очевидно, было уже за полночь, потому что я не слышал ни музыки, ни неустанного шарканья ног. Только машина — упрямое сердце левиафана, — пыхтя, толкала поскрипывающее тело корабля вперед, в необозримую даль.

Ощупью выбрался я на палубу. Она была пуста. И когда я поднял взор над дымящейся башней трубы и призрачно мерцающим рангоутом, мне вдруг ударил в глаза яркий свет. Небо сияло. Оно казалось темным рядом с белизной пронизывавших его звезд, но все-таки оно сияло, словно бархатный полог застал какую-то ярко светящуюся поверхность, а искрящиеся звезды — только отверстия и прорези, сквозь которые просвечивает этот неописуемый блеск. Никогда не видел я неба таким, как в ту ночь, таким сияющим, холодным как сталь и в то же время переливчато-пенистым, залитым светом, излучаемым лунной и звездами, и будто пламенеющим в какой-то таинственной глубине. Белым лаком блестели в лунном свете очертания парохода, резко выделяясь на темном бархате неба; канаты, реи, все контуры растворялись в этом струящемся блеске. Словно в пустоте висели огни на мачтах, а над ними круглый глаз на марсе — земные желтые звезды среди сверкающих небесных.

Над самой головой стояло таинственное созвездие Южного Креста, мерцающими алмазными гвоздями прибитое к небу; казалось, оно колышется, тогда как движение создавал только ход корабля, пловца-гиганта, который, слегка дрожа и дыша полной грудью, то поднимаясь, то опускаясь, подвигался вперед, рассекая темные волны. Я стоял и смотрел вверх. Я чувствовал себя как под душем, где сверху падает теплая вода; только это был свет, белый и теплый, изливавшийся мне на руки, на плечи, нежно струившийся вокруг головы и, казалось, проникавший внутрь, потому что все смутное в моей душе вдруг прояснилось. Я дышал свободно, легко и с восторгом ощущал на губах, как прозрачный напиток, мягкий, словно шипучий, пьянящий воздух, напоенный дыханием плодов и ароматом дальних остров. Только теперь, впервые с тех пор, как я ступил на сходни, я испытал священную радость мечтания и другую, более чувственную: предаться, словно женщина, окружающей меня неге. Мне хотелось лечь и устремить взоры вверх, на белые нероглифы. Но кресла были все убраны, и нигде на всей пустынной палубе я не видел удобного местечка, где можно было бы отдохнуть и помечтать.

Я начал ощупью пробираться вперед, подвигаясь к носовой части парохода, совершенно ослепленный светом, все сильнее изливавшимся на меня со всех сторон. Мне было почти больно от этого резко белого

звездного света, мне хотелось укрыться куда-нибудь в тень, растянуться на циновке, не чувствовать блеска на себе, а только над собой и на залитых им предметах, — так смотрят на пейзаж из затемненной комнаты. Спотыкаясь о канаты и обходя железные лебедки, я добрался наконец до бака и стал смотреть, как форштевень рассекает мрак и расплавленный лунный свет вскипает пеной по обе стороны лезвия. Неустанно поднимался плуг и вновь опускался, врезаясь в струящуюся черную почву, и я ощущал всю муку побежденной стихии, всю радость земной мощи в этой искрометной игре. И в созерцании я утратил чувство времени. Не знаю, час ли я так простоял или несколько минут; качание огромной колыбели корабля унесло меня за пределы земного. Я чувствовал лишь, что мной овладевает блаженная усталость. Мне хотелось спать, грезить, но жаль было уходить от этих чар, спускаться в мой гроб. Бессознательно я нащупал ногой бухту каната. Я сел, закрыл глаза, но в них все-таки проникал струившийся отовсюду серебристый блеск. Под собой я чувствовал тихое журчание воды, вверху — неслышимый звон белого потока вселенной. И мало-помалу это журчание наполнило все мое существо — я больше не сознавал самого себя, не отличал, мое ли это дыхание или биение далекого сердца корабля; я словно растворился в этом неумолчном журчании полуночного мира.

Тихий сухой кашель послышался возле меня. Я вздрогнул и сразу очнулся от своего опьянения. Глаза, ослепленные белым блеском, проникавшим даже сквозь закрытые веки, с трудом открылись: как раз против меня, в тени борта, сверкало что-то похожее на отблеск от очков; потом вспыхнула большая круглая искра, несомненно огонек трубки. Очевидно, любясь пеной у носа корабля и Южным Крестом вверху, я не заметил этого соседа, неподвижно сидевшего здесь все время. Невольно, не придя еще в себя, я сказал по-немецки:

— Простите!

— О, пожалуйста... — по-немецки же ответил голос из темноты.

Не могу передать, как странно и жутко было сидеть безмолвно во мраке возле человека, которого я не видел. Я чувствовал, что он смотрит на меня так же напряженно, как и я на него; струящийся и мерцающий белый свет над нами был так ярок, что каждый из нас видел в тени только контур другого. Но мне казалось, что я слышу, как дышит этот человек и как он посасывает свою трубку.

Молчание стало невыносимым. Охотнее всего я ушел бы, но это было бы уж слишком неучтиво. В смущении я достал папиросу. Вспыхнула спичка, и трепетный огонек на секунду осветил наш тесный угол. За стеклами очков я увидел чужое лицо, которого ни разу не замечал на борту — ни за обедом, ни на палубе, — и не знаю, резнула ли мне глаза внезапная вспышка, или то была галлюцинация, но лицо показалось мне мрачным, страшно искаженным, нечеловеческим. Однако, прежде чем я мог отчетливо разглядеть его, темнота опять поглотила осветившиеся на миг черты; я видел лишь контур

фигуры, темной на темном фоне, и время от времени круглое огненное кольцо трубки. Мы оба молчали, и это молчание угнетало, как душный тропический воздух.

Наконец я не выдержал. Вскочив на ноги, я вежливо сказал:

— Спокойной ночи!

— Спокойной ночи,— ответил из мрака хриплый, жесткий, словно заржавленный, голос.

Я побрел, спотыкаясь о стойки и такелаж. Вдруг позади раздались шаги, торопливые и нетвердые. Это был все тот же незнакомец. Я невольно остановился. Он не подошел вплотную ко мне, и я сквозь мрак ощутил какую-то робость и удрученность в его походке.

— Простите,— поспешно заговорил он,— что я обращаюсь к вам с просьбой. Я... я,— он запнулся и от смущения не сразу мог продолжать,— я... у меня есть личные... чисто личные причины искать уединения... тяжелая утрата... я избегаю общества пассажиров... Вас я не имею в виду... нет, нет... Я хотел только попросить вас... вы меня очень обяжете, если никому на борту не сообщите о том, что видели меня здесь... На это есть... так сказать, личные причины, мешающие мне быть в настоящее время на людях... Да... так вот... мне было бы чрезвычайно неприятно, если бы вы упомянули о том, что кто-то здесь ночью... что я...

Слова опять застряли у него в горле. Я поспешил вывести его из замешательства, тотчас же обещав ему исполнить его просьбу. Мы пожали друг другу руки. Потом я вернулся в свою каюту и уснул тяжелым, тревожным сном, полным причудливых видений.

Я сдержал слово и никому не рассказал о странной встрече, хотя искушение было велико. Во время морского путешествия всякая мелочь — событие, будь то парус на горизонте, взметнувшийся над водой дельфин, завязавшийся новый флирт или случайная шутка. Кроме того, меня мучило желание узнать что-нибудь об этом необыкновенном пассажире. Я просмотрел судовые списки в поисках подходящего имени, присматривался к людям, стараясь отгадать, не имеют ли они к нему отношения; целый день я был во власти лихорадочного нетерпения и ждал вечера в надежде снова встретиться с незнакомцем. Психологические загадки неодолимо притягивают меня; они волнуют меня до безумия, и я не успокаиваюсь до тех пор, пока мне не удастся проникнуть в их тайну: люди со странностями одним своим присутствием могут зажечь во мне такую жажду заглянуть им в душу, которая не многим отличается от страстного влечения к женщине. День показался мне бесконечно долгим. Я рано лег в постель, я знал, что в полночь проснусь, что какая-то сила разбудит меня.

И действительно, я проснулся в тот же час, что и вчера. На светящемся циферблате часов стрелки, перекрывая одна другую, слились в единую полосу света. Я поспешно поднялся из душной каюты в еще более душную ночь.

Звезды сверкали, как вчера, и обливали дрожавший пароход рассеянным светом; в вышине горел Южный Крест. Все было как вчера,—

в тропиках дни и ночи более похожи на близнецов, чем в наших широтах,—только во мне не было вчерашнего нежного, баюкающего, мечтательного опьянения. Что-то влекло меня, тревожило, и я знал, куда меня влечет: туда, к черной путанице снастей на носу,—узнать, не сидит ли он там, неподвижный и таинственный. Сверху раздался удар корабельного колокола. Меня словно что-то толкнуло. Шаг за шагом я подвигался вперед, нехотя уступая какой-то притягательной силе. Не успел я еще добраться до места, как впереди что-то вспыхнуло, точно красный глаз,—его трубка. Значит, он там.

Я невольно вздрогнул и остановился. Еще миг, и я повернул бы обратно, но что-то зашевелилось в темноте, кто-то встал, сделал два шага, и вдруг я услышал его голос.

— Простите,—вежливо и как-то виновато сказал он,—вы, очевидно, хотите пройти на ваше место, но мне показалось, что вы раздумали, когда увидели меня. Прошу вас, садитесь, я сейчас уйду.

Я, со своей стороны, поспешил ответить, что прошу его остаться и что я отошел, чтобы не помешать ему.

— Мне вы не мешаете,—не без горечи возразил он,—напротив, я рад поговорить с кем-нибудь. Уже десять дней, как я не произнес ни слова... собственно, даже несколько лет... И мне тяжело, я задыхаюсь — верно, оттого, что должен нести свое бремя молча... Я больше не могу сидеть в каюте, в этом... в этом гробу... я больше не могу... и людей я тоже не переносу, потому что они целый день смеются... Я не могу этого выносить теперь... я слышу это даже в каюте и затыкаю уши... правда, никто ведь не знает, что... они ничего не знают, а потом, какое дело до этого чужим...

Он снова запнулся и вдруг неожиданно и поспешно сказал:

— Но я не хочу стеснять вас... простите мою болтливость.

Он поклонился и хотел уйти. Но я стал настойчиво удерживать его.

— Вы несколько не стесняете меня. Я тоже рад побеседовать здесь, в тишине... Не хотите ли?

Я протянул ему портсигар, и он взял папиросу. Я зажег спичку. Снова в колеблющемся свете появилось его лицо, оторвавшееся от черного фона; на этот раз оно было прямо обращено ко мне. Глаза из-за очков впились в мое лицо жадно и с какой-то безумной силой. Мне стало жутко. Я чувствовал, что этот человек хочет говорить, что он должен говорить. И я знал, что мне нужно молчать, чтобы облегчить ему это.

Мы снова сели. В его углу стояло второе кресло, которое он и предложил мне. Мы курили, и по тому, как беспокойно прыгало в темноте световое колечко от его папиросы, я видел, что его рука дрожит. Но я молчал, молчал и он. Потом вдруг его голос тихо спросил:

— Вы очень устали?

— Нет, несколько.

Голос во мраке снова на минуту замер.

— Мне хотелось бы спросить вас кое о чем... то есть я хотел бы вам кое-что рассказать. Я знаю, я прекрасно знаю, как нелепо обращаться к первому встречному, однако... я... я нахожусь в тяжелом психическом состоянии... Я дошел до предела, когда мне во что бы то

ни стало нужно с кем-нибудь поговорить... не то я погибну... Вы поймете меня, когда я... да, когда я вам расскажу. Я знаю, что вы не можете помочь мне... но я прямо болен от этого молчания... а больной всегда смешон в глазах других...

Я прервал его и просил не терзаться напрасно. Пусть он, не стесняясь, расскажет мне все... Конечно, я не могу ему ничего обещать, но на всяком человеке лежит долг предложить свою помощь. Когда мы видим ближнего в беде, то, естественно, наш долг помочь ему.

— Долг... предложить свою помощь... долг сделать попытку... Так и вы, значит, думаете, что на нас лежит долг... долг предложить свою помощь?

Трижды повторил он эти слова. Мне стало страшно от этого тупого, упорного повторения. Не сумасшедший ли этот человек? Не пьян ли он?

Но, совершенно точно угадав мою мысль, как будто я произнес ее вслух, он вдруг сказал совсем другим голосом:

— Вы, может быть, принимаете меня за безумного или за пьяного? Нет, этого нет, пока еще нет. Только сказанное вами странно поразило меня... поразило потому, что это как раз то, что меня сейчас мучит.— лежит ли на нас долг... долг...

Он снова начал запинаться. Потом умолк и немного погодя опять заговорил:

— Дело в том, что я врач. В нашей практике часто бывают такие случаи, такие роковые... Ну, скажем, неясные случаи, когда не знаешь, лежит ли на тебе долг... долг ведь не один — есть долг перед ближним, есть еще долг перед самим собой, и перед государством, и перед наукой... Нужно помогать, конечно, для этого мы и существуем... но такие правила хороши только в теории... До каких пределов нужно помогать?.. Вот вы чужой человек, и я для вас чужой, и я прошу вас молчать о том, что вы меня видели... Хорошо, вы молчите, исполняете этот долг... Я прошу вас поговорить с мной, потому что я прямо подыхаю от своего молчания... Вы готовы выслушать меня. Хорошо... Но это ведь легко. А что, если бы я попросил вас взять меня в охапку и бросить за борт?.. Тут уж кончается любезность, готовность помочь. Где-то она должна кончаться.... там, где дело касается нашей жизни, нашей личной ответственности... где-то это должно кончаться... где-то должен прекращаться этот долг... или, может быть, как раз у врача он не должен кончаться? Неужели врач должен быть каким-то спасителем, каким-то всесветным помощником только потому, что у него есть диплом с латинскими словами; неужели он действительно должен исковеркать свою жизнь и подлить себе воды в кровь, когда какая-нибудь... когда какой-нибудь пациент является и требует от него благородства, готовности помочь, добра-нравия? Да, где-нибудь кончается долг... там, где предел нашим силам, именно там...

Он снова приостановился и затем продолжал:

— Простите, я говорю с таким возбуждением, но я не пьян... пока еще не пьян... впрочем, не скрою от вас, что и это со мной теперь часто бывает в этом дьявольском одиночестве... Подумайте — я семь

лет прожил почти исключительно среди туземцев и животных... тут можно отучиться от связной речи. А как начнешь говорить, так сразу и хлынет через край... Но подождите... да, я уже вспомнил... я хотел вас спросить, хотел рассказать вам один случай... лежит ли на нас долг помочь... с ангельской чистотой, бескорыстно помочь... Впрочем, я боюсь, что это будет слишком длинная история. Вы в самом деле не устали?

— Да нет же, нисколько.

— Я... я очень признателен вам... Не угодно ли?

Он пошарил где-то за собой в темноте. Звякнули одна о другую две, три, а то и больше бутылок, которые он, видимо, поставил возле себя. Он предложил мне виски; я только пригубил свой стакан, но он разом опрокинул свой. На миг между нами воцарилось молчание. Громко ударил колокол: половина первого.

— Итак... я хочу рассказать вам один случай. Предположите, что врач в одном... в маленьком городке... или, вернее, в деревне... врач, который... врач, который...

Он снова запнулся. Потом вдруг, вместе с креслом, рванулся ко мне.

— Так ничего не выйдет. Я должен рассказать вам все напрямик с самого начала, а то вы не поймете... Это нельзя изложить в виде примера, в виде отвлеченного случая... я должен рассказать вам свою историю. Тут не должно быть ни стыда, ни игры в прятки... передо мной ведь тоже люди раздеваются донага и показывают мне свои язвы... Если хочешь, чтобы тебе помогли, то нечего вилить и утаивать... Итак, я не стану рассказывать вам про случай с неким воображаемым врачом... я раздеваюсь перед вами догола и говорю: «я»... Стыдиться я разучился в этом собачьем одиночестве, в этой проклятой стране, которая выедаёт душу и высасывает мозг из костей.

Вероятно, я сделал какое-то движение, так как он вдруг остановился.

— Ах, вы протестуете... понимаю. Вы в восторге от тропиков, от храмов и пальм, от всей романтики двухмесячной поездки. Да, тропики полны очарования, если видеть их только из вагона железной дороги, из автомобиля, из колясочки рикши: я сам это испытал, когда семь лет назад впервые приехал сюда. О чем я только не мечтал — я хотел овладеть языками и читать священные книги в подлинниках, хотел изучать местные болезни, работать для науки, изучать психику туземцев, как говорят на европейском жаргоне, — стать миссионером человечности и цивилизации. Всем, кто сюда приезжает, грезится тот же сон. Но за невидимыми стеклами этой оранжереи человек теряет силы, лихорадка — от нее ведь не уйти, сколько ни глотать хинина — подтачивает нервы, становишься вялым и ленивым, рыхлым, как медуза. Европейец невольно теряет свой моральный облик, когда попадает из больших городов в такую проклятую болотистую дыру. Рано или поздно пристукнет всякого: одни пьянствуют, другие курят опиум, третьи звереют и свирепствуют — так или иначе, но дуреют

все. Тоскуешь по Европе, мечтаешь о том, чтобы когда-нибудь опять пройти по городской улице, посидеть в светлой комнате каменного дома, среди белых людей; год за годом мечтаешь об этом, а наступит срок, когда можно бы получить отпуск,— уже лень двинуться с места. Знаешь, что всеми забыт, что ты чужой, как морская ракушка, на которую всякий наступает ногой. И остаешься, завязнув в своем болоте, и погибаешь в этих жарких, влажных лесах. Будь проклят тот день, когда я продал себя в эту вонючую дыру...

Впрочем, сделал я это не так уж добровольно. Я учился в Германии, стал врачом, даже хорошим врачом, и работал при лейпцигской клинике. В медицинских журналах того времени много писали о новом впрыскивании, которое я первый ввел в практику. Тут я влюбился в одну женщину, с которой познакомился в больнице; она довела своего любовника до иступления, и он выстрелил в нее из револьвера; вскоре и я безумствовал не хуже его. Она обращалась со мной высокомерно и холодно, это и сводило меня с ума — властные и дерзкие женщины всегда умели прибрать меня к рукам, а эта так скрутила меня, что я совсем потерял голову. Я делал все, что она хотела, я.. да что там, отчего мне не сказать всего, ведь прошло уже семь лет... я растратил из-за нее больничные деньги, и, когда это выплыло наружу, разыгрался скандал. Правда, мой дядя внес недостающую сумму, но моя карьера погибла. В это время я узнал, что голландское правительство вербует врачей для колоний и предлагает подъемные. Я сразу подумал, что это, верно, не сахар, если предлагают деньги вперед! Я знал, что могильные кресты на этих рассадниках малярии растут втрое быстрее, чем у нас; но когда человек молод, ему всегда кажется, что болезнь и смерть грозят кому угодно, но только не ему. Ну, что же, выбора у меня не было, я поехал в Роттердам, подписал контракт на десять лет и получил внушительную пачку банкнот. Половину я отослал домой, дяде, а другую выудила у меня в портовом квартале одна особа, которая сумела обобрать меня дочиста только потому, что была удивительно похожа на ту проклятую кошку. Без денег, без часов, без иллюзий покидал я Европу и не испытывал особой грусти, когда наш пароход выбирался из гавани. А потом я сидел на палубе, как сидите вы, как сидят все, и видел Южный Крест и пальмы. Сердце таяло у меня в груди. Ах, леса, одиночество, тишина! — мечтал я. Ну, одиночества-то я получил довольно. Меня назначили не в Батавию или Сурабайю, в город, где есть люди, и клубы, и гольф, и книги, и газеты, а — Впрочем, название не играет никакой роли — на один из глухих постов в восьми часах езды от ближайшего города. Два-три скучных, иссохших чиновника, несколько полувропейцев из туземных жителей — это было все мое общество, а, кроме него, вширь и вдаль только лес, плантации, заросли и болота.

Вначале еще было сносно. Я много занимался научными наблюдениями. Однажды, когда опрокинулась машина, в которой вице-резидент совершал инспекционную поездку, и он сломал себе ногу, я один, без всяких помощников, сделал ему операцию — об этом много тогда говорили. Я собирал яды и оружие туземцев, занимался миди-

жеством мелочей, лишь бы не опуститься. Но все это оказалось возможным только до тех пор, пока во мне жила привезенная из Европы сила; потом я завял. Европейцы наскучили мне, я прервал общение с ними,пил и отдавался думам. Мне оставалось ведь всего три года, потом я мог выйти на пенсию, вернуться в Европу, сызнова начать жить. Собственно говоря, я уже ровно ничего не делал и только ждал, лежал в своей берлоге и ждал. И так я торчал бы там и по сей день, если бы не она... если бы не случилось все это...

Голос во мраке умолк. И трубка больше не тлела. Стало так тихо, что я опять услышал плеск воды, пенившейся под носом парохода, и отдаленный глухой стук машины. Мне хотелось курить, но я боялся зажечь спичку, боялся резкой вспышки огня и отвста на его лице. Он все молчал. Я не знал, кончил ли он, дремлет ли или спит, таким мертвым казалось мне его молчание.

Вдруг прозвучал отрывистый, сильный удар колокола: час. Он встрепенулся, и я снова услышал звон стакана. Очевидно, его рука ощупью искала виски. Стало слышно, как он глотает, затем вдруг его голос раздался снова, но на этот раз он заговорил более напряженно и страстно.

— Да, так вот... постойте... да, вот как это было. Сиж у там, в своей проклятой дыре, сижу неподвижно, как паук в паутине, уже целые месяцы. Это было как раз после ливней. Неделю за неделей дождь барабанил по крыше, ни одна душа не заглядывала ко мне, ни один европеец; изо дня в день сидел я дома со своими желтолицыми женщинами и своим шотландским виски. Я тогда очень хандрил, я был просто болен Европой: когда я читал в каком-нибудь романе про светлые улицы и белых женщин, у меня начинали дрожать пальцы. Я не могу в точности описать вам это состояние, это особого рода тропическая болезнь: яростная, лихорадочная и в то же время бессильная тоска по родине.

Так я сидел тогда, кажется, с географическим атласом в руках, и мечтал о путешествиях. Вдруг раздается тревожный стук в дверь, и я увидел своего боя и одну из женщин. Лица обоих выражают крайнее изумление. Они докладывают, перебивая друг друга и вытаращив глаза: меня спрашивает какая-то дама, леди, белая женщина.

Я вскакиваю. Я не слышал шума экипажа или автомобиля. Белая женщина здесь, в этой глуши?

Я готов уже сбежать с лестницы, но делаю над собой усилие и останавливаюсь. Смотрю мельком в зеркало, наскоро привожу себя немного в порядок. Я нервничаю, чувствую беспокойство, меня мучит дурное предчувствие, так как я не знаю никого на свете, кто по дружбе пришел бы ко мне. Наконец я спускаюсь вниз.

В передней ждет дама. Увидев меня, она поспешно направляется мне навстречу. Густая дорожная вуаль закрывает ее лицо. Я хочу поздороваться с ней, но она сама начинает говорить.

— Добрый день, доктор,— начинает она по-английски. (Ее речь кажется мне слишком плавной и как бы наперед заученной.) — Про-

стите, что я врываюсь к вам. Но мы были как раз на станции, наш автомобиль остался там. — «Почему она не подъехала к дому?» — молнией промелькнуло у меня в голове. — И вот я вспомнила, что вы живете здесь. Я так много слышала о вас, с вице-резидентом вы проделали прямо чудо, его нога отлично зажила, он опять уже играет в гольф. Да, да, у нас все говорят об этом, и мы охотно отдали бы нашего ворчливого военного врача и обоих других в придачу, если бы вы переехали к нам. Вообще, почему вас никогда не видно? Вы живете, точно йог...

И так она тараторит без конца, торопится и не дает мне вставить ни слова. Что-то нервное и беспокойное чувствуется в этой пустой болтовне, и я сам заражаюсь беспокойством своей гостью. Почему она так много говорит, задаю я себе вопрос, почему не называет себя? Почему не снимает вуали? Лихорадка у нее, что ли? Больна она? Сумасшедшая? Я все сильнее волнуясь, чувствую себя в смешном положении, стоя так перед ней под неиссякаемым потоком ее болтовни. Наконец она на миг останавливается, и я прошу ее наверх. Она делает своему бою знак остаться и первая поднимается по лестнице.

— Как у вас мило, — говорит она, осматривая мою комнату. — О, какая прелесть, книги! Я хотела бы их все прочесть! — Она подходит к полке и рассматривает названия книг. В первый раз с тех пор, как я вышел к ней, она на минуту умолкает.

— Разрешите предложить вам чаю? — спрашиваю я.

Она, не оборачиваясь, продолжает рассматривать корешки книг.

— Нет, спасибо, доктор... нам нужно сейчас же ехать дальше... у меня мало времени... это была ведь просто прогулка... Ах, у вас есть и Флобер, я его так люблю... чудесная, удивительная вещь его «Education sentimentale»...¹ Я вижу, вы читаете и по-французски. Чего только вы не знаете!.. Да, немцы... их всему учат в школе... Право, удивительно — знать столько языков!.. Вице-резидент бредит вами и всегда говорит, что вы единственный хирург, к кому он лег бы под нож... Наш старый доктор годится только для игры в бридж... Кстати, знаете ли (она все еще говорит не оборачиваясь), сегодня мне самой пришлось в голову, что хорошо было бы посоветоваться с вами... а мы как раз проезжали мимо, и я подумала... Ну, вы сегодня, может быть, заняты... я лучше заеду в другой раз.

«Наконец-то ты равкрыла карты!» — сейчас же подумал я. Но я и виду не подал и заверил ее, что сочту за честь быть полезным ей теперь или когда ей угодно.

— У меня ничего серьезного, — сказала она, полуобернувшись ко мне и в то же время перелистывая книгу, снятую с полки, — ничего серьезного, пустяки... женские неполадки, головокружение, обмороки. Сегодня утром, во время езды, на повороте мне вдруг стало дурно, я упала без чувств... бой должен был поднять меня и принести воды... Ну, может быть, шофер слишком быстро ехал... как вы думаете, доктор?

¹ «Воспитание чувств» (фр.).

— Так трудно сказать. У вас часто бывают подобные обмороки?

— Нет... то есть да... в последнее время... именно в самое последнее время... да... обмороки и тошнота.

Она уже опять повернулась к книжному шкафу, ставит книгу на место, вынимает другую и начинает перелистывать. Удивительно, почему это она все перелистывает... так нервно, почему не подымает глаз из-под вуали? Я намеренно ничего не говорю. Мне хочется заставить ее ждать. Наконец она снова начинает тоном легкой болтовни:

— Не правда ли, доктор, в этом нет ничего серьезного? Это не какая-нибудь опасная тропическая болезнь?

— Я должен сначала посмотреть, нет ли у вас жара. Позвольте ваш пульс...

Я направляюсь к ней, но она слегка отстраняется.

— Нет, нет, у меня нет жара... безусловно, безусловно нет... я измеряю температуру каждый день, с тех пор... с тех пор, как начались эти обмороки. Жара нет, всегда тридцать шесть и четыре. И желудок в порядке.

Я медлю. Во мне все растет подозрение: я чувствую, что эта женщина чего-то от меня хочет, в такую глушь ведь не приезжают, чтобы поговорить о Флобере. Я заставляю ее ждать минуту, другую.

— Простите,— говорю я затем,— разрешите мне задать вам несколько вопросов?

— Конечно, вы ведь врач! — отвечает она, но тут же опять поворачивается ко мне спиной и начинает перебирать книги.

— У вас есть дети?

— Да, сын.

— А было ли у вас... было ли у вас раньше... я хочу сказать — тогда... были ли у вас подобные явления?

— Да.

Ее голос стал теперь совсем другим, отчетливым, без всякого жеманства и нервности.

— А возможно ли, чтобы вы... простите за вопрос... возможно ли, чтобы сейчас была та же причина?

— Да.

Резко, словно острым ножом, отрезала она это. Ничто не дрогнуло в ее лице, которое я видел в профиль.

— Лучше всего, сударыня, если я осматрю вас... вы разрешите попросить вас... перейти в другую комнату?

Тут она вдруг оборачивается. Сквозь вуаль я чувствую ее холодный, решительный взгляд, устремленный на меня.

— Нет... в этом нет надобности... я вполне уверена в причине моего недомогания.

Голос на мгновение умолк. В темноте снова блеснул наполненный стакан.

— Итак, слушайте... но сначала постарайтесь вдуматься во все это: к человеку, погибающему от одиночества, вторгается женщина, впервые за много лет белая женщина переступает порог его комнаты... И вдруг я чувствую присутствие в комнате чего-то зловещего, какой-то опасности. Я весь похолодел: мной овладел страх перед железной решимостью этой женщины, начавшей с беспечной болтовни, а потом вдруг обнажившей свое требование, словно сверкнувший клинок. Я знал ведь, чего она от меня хотела, угадал это сразу — не в первый раз женщина обращалась ко мне с такой просьбой, но они приходили не так, приходили пристыженные и умоляющие, плакали и заклинали спасти их. Но тут была... тут была железная, чисто мужская решимость... с первой секунды почувствовал я, что эта женщина сильнее меня... что она может подчинить меня своей воле... Однако... однако... во мне поднималась какая-то злоба... гордость мужчины, обида, потому что... я сказал уже, что с первой секунды, даже раньше, чем я увидел эту женщину, я почувствовал в ней врага.

Сначала я молчал. Молчал упорно и ожесточенно. Я чувствовал, что она смотрит на меня из-под вуали, смотрит прямо, требовательно и хочет заставить меня говорить. Но я не уступал. Я заговорил, но... уклончиво... невольно переняв ее болтливый, равнодушный тон. Я притворялся, что не понял ее, потому что — не знаю, можете ли вы понять это, — я хотел заставить ее высказаться яснее, я не хотел предлагать, наоборот... хотел, чтобы она попросила... именно она, явившаяся с таким повелительным видом... И, кроме того, я знал, какую власть надо мной имеют такие высокомерные, холодные женщины.

Я ходил вокруг да около, говорил, что ей нечего опасаться, что такие обмороки в порядке вещей, более того, они даже являются залогом нормального развития беременности. Я приводил случаи из медицинских журналов... Я говорил, говорил спокойно и легко, рассматривая ее недоумение как нечто весьма обычное, и... все ждал, что она меня остановит. Я знал, что она не выдержит.

И, действительно, она резким движением прервала меня, словно отменяя все эти успокоительные разговоры.

— Меня, доктор, не это тревожит. В тот раз, когда я носила первого ребенка, мое здоровье было в лучшем состоянии.. но теперь я уж не та... у меня бывают сердечные припадки...

— Вот как, сердечные припадки? — повторил я, изображая на лице беспокойство. — Сейчас послушаем! — Я сделал вид, что встаю, чтобы достать трубку. Но она мгновенно остановила меня. Голос ее звучал теперь резко и повелительно, как команда.

— У меня бывают припадки, доктор, и я попрошу вас верить моим словам. Я не хотела бы терять время на исследования — вы могли бы, думается, оказать мне немного больше доверия. Я со своей стороны достаточно доказала свое доверие к вам.

Теперь это была уже борьба, открыто брошенный вызов. И я принял его.

— Доверие требует откровенности, полной откровенности. Говорите ясно, я ведь врач. И первым делом снимите вуаль, садитесь сюда, оставьте книги и все эти уловки. К врачу не приходят под вуалью.

Гордо выпрямившись, она окинула меня взглядом. Минуту помедлила. Потом села и подняла вуаль. Я увидел лицо — такое, какое боялся увидеть: непроницаемое, свидетельствующее о твердом, решительном характере, отмеченное не зависящей от возраста красотою, с серыми глазами, какие часто бывают у англичанок, — очень спокойные, но скрывающие затаенный огонь. Эти тонкие сжатые губы умели хранить тайну. Она смотрела на меня повелительно и испытующе, с такой холодной жестокостью, что я не выдержал и невольно отвел взгляд.

Она слегка постукивала пальцами по столу. Значит, и она нервничала. Затем она вдруг сказала:

— Знаете вы, доктор, чего я от вас хочу, или не знаете?

— Кажется, знаю. Но лучше поговорим начистоту. Вы хотите освободиться от вашего состояния... хотите, чтобы я избавил вас от обмороков и тошноты, устранив... устранив причину. В этом все дело?

— Да.

Как нож гильотины, упало это слово.

— А вы знаете, что подобные эксперименты опасны... для обеих сторон?

— Да.

— Что закон запрещает их?

— Бывают случаи, когда это не только не запрещено, но, напротив, рекомендуется.

— Но это требует заключения врача.

— Так вы дайте это заключение. Вы врач.

Ясно, твердо, не мигая, смотрели на меня ее глаза. Это был приказ, и я, малодушный человек, дрожал, пораженный демонической силой ее воли. Но я еще корчился, не хотел показать, что уже раздавлен. «Только не спешить! Всячески оттягивать! Принудить ее просить», — нашептывало мне какое-то смутное вожделение.

— Это не всегда во власти врача. Но я готов... посоветоваться с коллегой в больнице...

— Не надо мне вашего коллеги... я пришла к вам.

— Позвольте узнать, почему именно ко мне?

Она холодно взглянула на меня.

— Не вижу причины скрывать это от вас. Вы живете в стороне, вы меня не знаете, вы хороший врач, и вы... — она в первый раз запнулась, — вероятно, недолго пробудете в этих местах, особенно если... если вы сможете увезти домой значительную сумму.

Меня так и обдало холодом. Эта сухая, чисто коммерческая расчетливость ошеломила меня. До сих пор губы ее еще не раскрылись для просьбы, но она давно уже все вычислила и сначала выследила меня, как дичь, а потом начала травлю. Я чувствовал, как проникает в меня ее демоническая воля, но сопротивлялся с ожесточением. Еще раз заставил я себя принять деловитый, почти иронический тон.

— И эту значительную сумму вы... вы предоставили бы в мое распоряжение?

— За вашу помощь и немедленный отъезд..

— Вы знаете, что я, таким образом, теряю право на пенсию?

— Я возьму вам ее.

— Вы говорите очень ясно... Но я хотел бы еще большей ясности. Какую сумму имели вы в виду в качестве гонорара?

— Двенадцать тысяч гульденов, с выплатой по чеку в Амстердаме.

Я задрожал... задрожал от гнева и... от восхищения. Все она рассчитала — и сумму, и способ платежа, принуждавший меня к отъезду, она меня оценила и купила, не зная меня, распорядилась мной, уверенная в своей власти. Мне хотелось ударить ее по лицу... Но когда я поднялся (она тоже встала) и посмотрел ей прямо в глаза, взглянул на этот плотно сжатый рот, не желавший просить, на этот надменный лоб, не желавший склониться, мной вдруг овладела... овладела... какая-то жажда мести, насилия. Должно быть, и она это почувствовала, потому что высоко подняла брови, как делают, когда хотят осадить навязчивого человека; ни она, ни я уже не скрывали своей ненависти. Я знал, что она ненавидит меня, потому что нуждается во мне, а я ее ненавидел за то... за то, что она не хотела просить. В эту секунду, в эту единственную секунду молчания мы в первый раз заговорили вполне откровенно. Потом, словно липкий гад, впилась в меня мысль, и я сказал... сказал ей...

Но постойте, так вам не понять, что я сделал... что сказал... мне нужно сначала объяснить вам, как... как зародилась во мне эта безумная мысль...

Опять тихонько звякнул во тьме стакан. И голос продолжал с еще большим волнением:

— Не думайте, что я хочу умалять свою вину, оправдываться, обелять себя... Но вы без этого не поймете... Не знаю, был ли я когда-нибудь хорошим человеком... но, кажется, помогал я всегда охотно... А там в моей собачьей жизни это была ведь единственная радость: пользуясь горсточкой знаний, вколоченных в мозг, сохранить жизнь живому существу... Я чувствовал себя тогда господом богом... Право, это были мои лучшие минуты, когда приходил этакий желтый парнишка, посиневший от страха, с змеиным укусом на вспухшей ноге, слезно умоляя, чтобы ему не отрезали ногу, и я умудрялся спасти его. Я ездил в самые отдаленные места, чтобы помочь лежавшей в лихорадке женщине; случалось мне оказывать и такую помощь, какой ждала от меня сегодняшняя посетительница,— еще в Европе, в клинике. Но тогда я чувствовал, что я кому-то нужен, тогда я знал, что спасаю кого-то от смерти или от отчаяния, а это и нужно самому помогающему — сознание, что ты нужен другому.

Но эта женщина — не знаю, сумею ли я объяснить вам, — она волновала, раздражала меня с той минуты, как вошла, словно мимо-

ходом, в мой дом. Своим высокомерием она вызывала меня на сопротивление, будила во мне все... как бы это сказать... будила все подавленное, все скрытое, все злое. Меня сводило с ума, что она разыгрывает передо мной леди и с холодным равнодушием предлагает мне сделку, когда речь идет о жизни и смерти. И потом... потом... в конце концов, от игры в гольф не рождаются дети... я знал... то есть я вдруг с ужасающей ясностью подумал — это и была та мысль, — с ужасающей ясностью подумал о том, что эта спокойная, эта неприступная, эта холодная женщина, презрительно поднявшая брови над своими стальными глазами, когда прочла в моем взгляде отказ... почти негодование, — что она два-три месяца назад лежала в постели с мужчиной и, может быть, стонала от наслаждения, и тела их впивались друг в друга, как уста в поцелуе... Вот это, вот это и была пронзившая меня мысль, когда она посмотрела на меня с таким высокомерием, с такой надменной холодностью, словно английский офицер... И тогда, тогда у меня помутилось в голове... я обезумел от желания унижить ее... С этого мгновения я видел сквозь платье ее голое тело... с этого мгновения я только и жил мыслью овладеть ею, вырвать стон из ее жестоких губ, видеть эту холодную, эту гордую женщину в угаре страсти, как тот, другой, которого я не знал. Это... это я и хотел вам объяснить... Как я ни опустил, я никогда еще не злоупотреблял своим положением врача... но здесь не было влечения, не было ничего сексуального, поверьте мне... я ведь не стал бы отпираться... только страстное желание победить ее гордость... победить как мужчина... Я, кажется, уже говорил вам, что высокомерные, по виду холодные женщины всегда имели надо мной особую власть... но теперь, теперь к этому прибавлялось еще то, что я уже семь лет не знал белой женщины, что я не встречал сопротивления... Здешные женщины, эти щебечущие милые создания, с благоговейным трепетом отдаются белому человеку, «господину»... Они смиренны и покорны, всегда доступны, всегда готовы угождать вам с тихим гортанным смехом... Но именно из-за этой покорности, из-за этой рабской угодливости чувствуешь себя свиньей... Понимаете ли вы теперь, понимаете ли вы, как ошеломляюще подействовало на меня внезапное появление этой женщины, полной презрения и ненависти, наглухо замкнутой и в то же время дразнящей своей тайной и напоминанием о недавней страсти... когда она дерзко вошла в клетку такого мужчины, как я, такого одинокого, изголодавшегося, отрезанного от всего мира полузверя... Это... вот это я хотел вам сказать, чтобы вы поняли все остальное... поняли то, что произошло потом. Итак... полный какого-то злого желания, отравленный мыслью о ней, обнаженной, чувственной, отдающейся, я внутренне весь подобрался и разыграл равнодушие. Я холодно произнес:

— Двенадцать тысяч гульденов?.. Нет, на это я не согласен.

Она взглянула на меня, немного побледнев. Вероятно, она уже догадывалась, что мой отказ вызван не алчностью. Все же она спросила:

— Сколько же вы хотите?

Но я не желал продолжать разговор в притворно равнодушном тоне.

— Будем играть в открытую. Я не делец... не бедный аптекарь из «Ромео и Джульетты», продающий яд за corrupted gold;¹ может быть, я меньше всего делец... этим путем вы своего не добьетесь.

— Так вы не желаете?

— За деньги — нет.

На миг между нами воцарилось молчание. Было так тихо, что я в первый раз услышал ее дыхание.

— Чего же вы еще можете хотеть?

Тут меня прорвало:

— Прежде всего я хочу, чтобы вы... чтобы вы не обращались ко мне, как к торгашу, а как к человеку... Чтобы вы, если вам нужна помощь, не... свалили сразу же ваши гнусные деньги... а попросили... попросили меня, как человека, помочь вам, как человеку... Я не только врач, у меня не только приемные часы... у меня бывают и другие часы... может быть, вы пришли в такой час...

Она минуту молчит. Потом ее губы слегка кривятся, дрожат, и она быстро произносит:

— Значит, если бы я вас попросила... тогда вы бы это сделали?

— Вот вы уже опять торгуетесь! Вы согласны попросить только в том случае, если я сначала обещаю! Сначала вы должны меня попросить, тогда я вам отвечу.

Она вскидывает голову, как норовистый конь. С гневом смотрит на меня.

— Нет, я не стану вас просить. Лучше погибнуть!

Тут мною овладевает гнев, неистовый, безумный гнев.

— Тогда требую я, раз вы не хотите просить. Я думаю, мне не нужно выражаться яснее — вы знаете, чего я от вас хочу. Тогда... тогда я вам помогу.

Она с изумлением посмотрела на меня. Потом — о, я не могу, не могу передать, как ужасно это было, — на миг ее лицо словно окаменело, а потом... потом она вдруг расхохоталась... с неописуемым презрением расхохоталась мне прямо в лицо... с презрением, которое уничтожило меня... и в то же время еще больше опьянило... Это было похоже на взрыв, внезапный, раскатистый, мощный... Такая огромная сила чувствовалась в этом презрительном смехе, что я... да, я готов был пасть перед ней ниц и целовать ее ноги. Это продолжалось одно мгновение... словно молния огнем опалила меня... Вдруг она повернулась и быстро пошла к двери.

Я невольно бросился за ней... хотел объяснить ей... умолять ее о прощении... моя сила ведь окончательно сломлена... но она еще раз оглянулась и проговорила... нет, приказала:

— Посмейте только идти за мной или отслеживать меня... Пожалеете!

В тот же миг за ней захлопнулась дверь.

¹ Презренное золото (англ.).

Снова пауза. Снова молчание... Снова неумолчный шелест, словно от струящегося лунного света. И наконец опять его голос:

— Хлопнула дверь... но я стоял, не двигаясь с места... Я был словно загипнотизирован ее приказом... я слышал, как она спускалась по лестнице, как закрылась входная дверь... я слышал все и всем существом рвался к ней... чтобы ее... я не знаю что... чтобы вернуть ее, или ударить или задушить... но только бежать за ней... за ней... Но я не мог это сделать, не мог шевельнуться, словно меня парализовало электрическим током... я был поражен, поражен в самое сердце убийственной молнией ее взора... Я знаю, что этого не объяснить и не рассказать... Это может показаться смешным, но я всё стоял и стоял... Прошло несколько минут, может быть пять, может быть десять, прежде чем я мог оторвать ногу от земли...

Но как только я сделал шаг, я уже весь горел и готов был бежать... Вмиг слетел я с лестницы... Она ведь могла пойти только к станции... Я бросаюсь в сарай за велосипедом, вижу, что забыл ключ, срываю засов, бамбук трещит и разлетается в щепы, и вот я уже на велосипеде и несусь ей вдогонку... я должен... я должен догнать ее, прежде чем она сядет в автомобиль... я должен поговорить с ней...

Я мчусь по пыльной улице, теперь только я вижу, как долго я простоял в оцепенении... Но вот... на повороте к лесу, перед самой станцией, я вижу ее, она идет торопливым твердым шагом в сопровождении боя... Но и она, очевидно, заметила меня, потому что говорит что-то бою, и тот останавливается, а она идет дальше одна... Что она задумала? Почему хочет быть одна? Может быть, она хочет поговорить со мной наедине, чтобы он не слышал?.. Яростно нажимаю на педали... Вдруг кто-то кидается мне наперерез на дорогу... ее бой... я едва успеваю рвануть велосипед в сторону и лечу на землю...

Поднимаюсь с бранью... невольно заносу кулак, чтобы дать болвану тумака, но он увертывается... Встряхиваю велосипед, собираюсь снова вскочить на него... Но подлец опять тут как тут, хватается за велосипед и говорит на ломаном английском языке: «You remain here»¹.

Вы не жили в тропиках... Вы не знаете, какая это дерзость, когда туземец хватается за велосипед белого «господина» и ему, «господину», приказывает оставаться на месте. В ответ на это я бью его по лицу... он шатается, но все-таки не выпускает велосипеда... Его узкие глаза широко раскрыты и полны страха... но он держит руль, держит его дьявольски крепко... «You remain here», — бормочет он еще раз.

К счастью, при мне не было револьвера, а то я непременно пристрелил бы наглеца.

— Прочь, каналья! — прорычал я.

Он глядит на меня, весь съежившись, но не отпускает руль. Я снова бью его по голове, он все еще не отпускает. Тогда я при-

¹ Вы останетесь здесь (англ.).

хожу в ярость... я вижу, что ее уже нет — может быть, она уже уехала... Я закатываю ему настоящий боксерский удар под подбородок, сшибающий его с ног... Теперь велосипед опять в моем распоряжении... Вскрываю в седло, но машина не идет... во время борьбы погнулась спица... Дрожащими руками я пытаюсь выпрямить ее... ничего не выходит... Тогда я швыряю велосипед на дорогу рядом с негодеем, тот встает весь в крови и отходит в сторону... И тогда — нет, вы не можете понять, какой это позор там, если европеец... но я уже не понимал, что делаю... у меня была только одна мысль: за ней, догнать ее... и я побежал, побежал, как сумасшедший, по деревенской улице, мимо лачуг, где туземцы в изумлении теснились у дверей, чтобы посмотреть, как бежит белый человек, как бежит доктор.

Обливаясь потом, примчался я к станции. Мой первый вопрос был:

— Где автомобиль?..

— Только что уехал... — С удивлением смотрели на меня люди — я должен был показаться им сумасшедшим, когда прибежал весь в поту и грязи, еще издали выкрикивая свой вопрос... На дороге за станцией я вижу клубящийся вдали белый дымок автомобиля... Ей удалось уехать... удалось, как должны удаваться все ее твердые, жестокие намерения...

Но бегство ей не помогло... В тропиках нет тайн между европейцами... все знают друг друга, всякая мелочь вырастает в событие... Не напрасно простоял ее шофер целый час перед правительственным бунгало... через несколько минут я уже знаю все... Знаю, кто она... что живет она в... ну, в главном городе района, в восьми часах езды отсюда по железной дороге... что она... ну, скажем, жена крупного коммерсанта, страшно богата, из хорошей семьи, англичанка... Знаю, что ее муж пробыл пять месяцев в Америке и в ближайшие дни... должен приехать, чтобы увезти ее в Европу...

А она — и эта мысль, как яд, жжет меня, — она беременна не больше двух или трех месяцев...

— До сих пор я еще мог все объяснить вам... может быть, только потому, что до этой минуты сам еще понимал себя... сам, как врач, ставил диагноз своего состояния. Но тут мной словно овладела лихорадка... я потерял способность управлять своими поступками... то есть я ясно сознавал, как бессмысленно все, что я делаю, но я уже не имел власти над собой... я уже не понимал самого себя... я как одержимый бежал вперед, видя перед собой только одну цель... Впрочем, подождите... я все же постараюсь объяснить вам... Знаете вы, что такое амок?

— Амок?.. Что-то припоминаю... Это род опьянения... у малайцев...

— Это больше, чем опьянение... это бешенство, напоминающее собачье... припадок бессмысленной, кровожадной мономании, которую нельзя сравнить ни с каким другим видом алкогольного отравления...

Во время своего пребывания там я сам наблюдал несколько случаев — когда речь идет о других, мы всегда ведь очень рассудительны и деловиты! — но мне так и не удалось выяснить причину этой ужасной и загадочной болезни... Это, вероятно, как-то связано с климатом, с этой душной, насыщенной атмосферой, которая, как гроза, давит на нервную систему, пока наконец она не взрывается... О чем я говорил? Об амоке?.. Да, амок — вот как это бывает: какой-нибудь малаец, человек простой и добродушный, сидит и тянет свою настойку... сидит, отупевший, равнодушный, вялый... как я сидел у себя в комнате... и вдруг вскакивает, хватается за нож, бросается на улицу... и бежит все вперед и вперед... сам не зная куда... Кто бы ни попался ему на дороге, человек или животное, он убивает его своим крисом, и вид крови еще больше разжигает его... Пена выступает у него на губах, он воет, как дикий зверь... и бежит, бежит, бежит, не смотрит ни вправо, ни влево, бежит с истошными воплями, с окровавленным ножом в руке, по своему ужасному, неуклонному пути... Люди в деревнях знают, что нет силы, которая могла бы остановить гонимого амоком... они кричат, предупреждая других, при его приближении: «Амок! Амок!», и все обращаются в бегство... а он мчится, не слыша; не видя, убивая встречающих... пока его не пристрелят, как бешеную собаку, или он сам не рухнет на землю...

Я видел это раз из окна своего дома... это было страшное зрелище... но только потому, что я это видел, я понимаю самого себя в те дни... Точно так же, с тем же ужасным, неподвижным взором, с тем же иступлением ринулся я... вслед за этой женщиной... Я не помню, как я все это проделал, с такой чудовищной, безумной быстротой это произошло... Через десять минут, нет, что я говорю, через пять, через две... после того как я все узнал об этой женщине, ее имя, адрес, историю ее жизни, я уже мчался на одолженном мне велосипеде домой, швырнул в чемодан костюм, захватил денег и помчался на железнодорожную станцию... уехал, не предупредив окружного чиновника... не назначив себе заместителя, бросив дом и вещи на произвол судьбы... Вокруг меня столпились слуги, изумленные женщины о чем-то спрашивали меня, но я не отвечал, даже не обернулся... помчался на железную дорогу и первым поездом уехал в город... Прошло не больше часа с того мгновения, как эта женщина вошла в мою комнату, а я уже поставил на карту всю свою будущность и мчался, гонимый амоком, сам не зная зачем...

Я мчался вперед очертя голову... В шесть часов вечера я приехал... в десять минут седьмого я был у нее в доме и велел доложить о себе... Это было... вы понимаете... самое бессмысленное, самое глупое, что я мог сделать... но у гонимого амоком незрячие глаза, он не видит, куда бежит... Через несколько минут слуга вернулся... сказал вежливо и холодно... госпожа плохо себя чувствует и не может меня принять...

Я вышел шатаясь... Целый час я бродил вокруг дома в безумной надежде, что она пошлет за мной... лишь после этого я занял номер в Странд-отеле и потребовал себе в комнату две бутылки виски... Виски и двойная доза веронала помогли мне... я наконец уснул...

и навалившийся на меня тяжелый, мутный сон был единственной передышкой в этой скачке между жизнью и смертью.

Прозвучал колокол — два твердых, полновесных удара, долго вибрировавших в мягком, почти неподвижном воздухе и постепенно угасших в тихом, неумолчном журчании воды, которое неотступно сопровождало взволнованный рассказ человека, сидевшего во мраке против меня; мне показалось, что он вздрогнул, речь его оборвалась. Я опять услышал, как рука нащупывает бутылку, услышал тихое бульканье. Потом, видимо, успокоившись, он заговорил более ровным голосом:

— То, что последовало за этим, я едва ли сумею вам описать. Теперь я думаю, что у меня была лихорадка, во всяком случае, я был в состоянии крайнего возбуждения, граничившего с безумием, — человек, гонимый амоком. Но не забудьте, что я приехал во вторник вечером, а в субботу, как я успел узнать, должен был прибыть пароходом из Йокогамы ее муж; следовательно, оставалось только три дня, три коротких дня, чтобы спасти ее. Поймите: я знал, что должен оказать ей немедленную помощь, и не мог говорить с ней. Именно эта потребность просить прощения за мое смешное, необузданное поведение и разжигала меня. Я знал, как драгоценно каждое мгновение, знал, что для нее это вопрос жизни и смерти, и все-таки не имел возможности шепнуть ей словечко, подать ей какой-нибудь знак, потому что именно мое неистовое и нелепое преследование испугало ее. Это было... да, постойте... как бывает, когда один бежит предостеречь другого, что его хотят убить, а тот принимает его самого за убийцу и бежит вперед, навстречу своей гибели... Она видела во мне только безумного, который преследует ее, чтобы унижить, а я... в этом и была вся ужасная бессмыслица... я больше и не думал об этом... я был вконец уничтожен, я хотел только помочь ей, услужить... Я пошел бы на преступление, на убийство, чтобы помочь ей... Но она, она этого не понимала. Утром, как только я проснулся, я сейчас же побежал опять к ее дому; у дверей стоял бой, тот самый бой, которого я ударил по лицу, и, заметив меня — несомненно, он меня поджидал, — проворно юркнул в дверь. Быть может, он это сделал только для того, чтобы предупредить о моем приходе... ах, эта неизвестность, как мучит она меня теперь!.. быть может, тогда все было уже подготовлено для моего приема... но в тот миг, когда я его увидел и вспомнил о своем позоре, у меня не хватило духу сделать еще одну попытку... У меня дрожали колени. Перед самым порогом я повернулся и ушел... ушел в ту минуту, когда она, может быть, ждала меня и мучилась не меньше моего.

Теперь я уже совсем не знал, что делать в этом чужом городе, где улицы, казалось, жгли мне подошвы... Вдруг у меня блеснула мысль; в тот же миг я окликнул экипаж, поехал к тому самому вице-резиденту, которому я оказал помощь, и велел доложить о себе... В моей внешности было, вероятно, что-то странное, потому что он посмотрел на меня как-то испуганно, и в его вежливости сквозило

беспокойство... может быть, он тогда уже угадал во мне человека, гонимого амоком... Я решительно заявил ему, что прошу перевести меня в город, так как не могу больше выдержать на моем посту... я должен переехать немедленно. Он взглянул на меня... не могу вам передать, как он на меня взглянул... ну, примерно так, как смотрит врач на больного...

— У вас не выдержали нервы, милый доктор,— сказал он,— я это прекрасно понимаю. Ну, это можно будет как-нибудь устроить, подождите только немного... Скажем, недели четыре... мне нужно сначала подыскать вам заместителя.

— Не могу ждать ни единого дня,— ответил я.

Он опять окинул меня странным взглядом.

— Нужно потерпеть, доктор,— серьезно сказал он,— мы не можем оставить пост без врача. Но обещаю вам, что сегодня же займусь этим.

Я стоял перед ним, стиснув зубы, в первый раз ясно ощущая, что я продавшийся человек, раб. Во мне уже закипало негодование, но он, со светской любезностью, опередил меня:

— Вы отвыкли от людей, доктор, а это тоже своего рода болезнь. Мы тут все удивлялись, почему вы никогда не приезжаете, никогда не берете отпуска. Вы нуждаетесь в обществе, в развлечениях. Приходите по крайней мере сегодня вечером — сегодня прием у губернатора, там будет вся наша колония. Многие давно уже хотят познакомиться с вами, спрашивают о вас и высказывают желание, чтобы вы перебрались сюда.

Последние его слова поразили меня. Спрашивают обо мне? Не она ли? Я сразу словно переродился и, поблагодарив вице-резидента самым вежливым образом за приглашение, обещал быть точным. И я был точен, даже слишком точен. Нужно ли говорить, что, гонимый нетерпением, я первый явился в огромный зал правительственного здания; безмолвные желтокожие слуги сновали взад и вперед, мягко ступая босыми ногами, и, как мерещилось моему помраченному сознанию, посмеивались за моей спиной. В течение четверти часа я был единственным европейцем среди этой бесшумной толпы и настолько одинок, что слышал тиканье часов в своем жилетном кармане. Наконец пришли два-три чиновника со своими семьями, а затем появился и сам губернатор, вступивший со мною в продолжительную беседу; я внимательно слушал его и, как мне казалось, удачно отвечал, пока мной не овладело вдруг какое-то необъяснимое нервное беспокойство. Я потерял самообладание и стал отвечать невпопад. Я стоял спиной к входной двери зала, но сразу почувствовал, что вошла она, что она уже здесь. Я не мог бы объяснить вам, как возникла во мне эта смутившая меня уверенность, но, говоря с губернатором и прислушиваясь к его словам, я в то же время ощущал где-то за собой ее присутствие. К счастью, губернатор вскоре окончил разговор — мне кажется, если бы он не отпустил меня, я все равно, пренебрегая вежливостью, обернулся бы, так сильно было это странное напряжение моих нервов, так мучительна была эта потребность. И действительно, не успел я обернуть-

ся, как увидел ее на том самом месте, где мысленно представил себе ее. На ней было желтое бальное платье с низким вырезом, матово поблескивали, как слоновая кость, ее прекрасные узкие плечи; она разговаривала, окруженная группой гостей. Она улыбалась, но я уловил в ее лице какую-то напряженность. Я подошел ближе — она не видела или не хотела меня видеть — и вгляделся в эту улыбку, любезную и холодно-вежливую, игравшую на тонких губах. И эта улыбка снова опьянила меня, потому что она... потому что я знал, что это ложь, лицемерие, виртуозное умение притворяться. Сегодня среда, мелькнуло у меня в голове, в субботу приходит парход, на котором едет ее муж... Как может она так улыбаться, так... так уверенно, так беззаботно улыбаться и небрежно играть веером, вместо того чтобы ожимать его от волнения? Я... я, чужой... я уже два дня дрожу в ожидании того часа... я, чужой, мучительно переживаю за нее ее страхи, ее отчаяние... а она явилась на бал и улыбается, улыбается...

Где-то позади заиграла музыка. Начались танцы. Пожилой офицер пригласил ее; она, извинившись перед своими собеседниками, прошла под руку с ним мимо меня в другой зал. Когда она заметила меня, внезапная судорога пробежала по ее лицу — но только на секунду, потом она вежливо кивнула мне, как случайному знакомому, сказала «добрый вечер, доктор!» — и скрылась, прежде чем я успел решить, поклониться ей или нет.

Никто не мог бы разгадать, что тайлось во взгляде этих серо-зеленых глаз, и я, я сам этого не знал. Почему она поклонилась... почему вдруг узнала меня?... Было ли это самозащитой, или шагом к примирению, или просто замешательством? Не могу вам выразить, в каком я был волнении, во мне все всколыхнулось и готово было вырваться наружу. Я смотрел на нее, спокойно вальсирующую в объятиях офицера, с невозмутимым и беспечным выражением лица, а я ведь знал, что она... что она, так же, как и я, думает только об одном... только об одном... что только нам двоим в этой толпе известна ужасная тайна... а она танцевала... В эти минуты мои муки, страстное желание спасти ее и восхищение достигли апогея. Не знаю, наблюдал ли кто-нибудь за мной, но, несомненно, я своим поведением мог выдать то, что так искусно скрывала она, — я не мог заставить себя смотреть в другую сторону, я должен был... да, должен был смотреть на нее, я пожирал ее глазами, издали впивался в ее невозмутимое лицо — не спадет ли маска хотя бы на миг. Она, должно быть, чувствовала на себе этот упорный взгляд, и он тяготил ее. Возвращаясь под руку со своим кавалером, она сверкнула на меня глазами повелительно, словно приказывая уйти. Уже знакомая мне складка высокомерного гнева снова прорезала ее лоб...

Но... но... я ведь уже говорил вам... меня гнал амок, я не смотрел ни вправо, ни влево. Я мгновенно понял ее — этот взгляд говорил: «Не привлекай внимания! Возьми себя в руки!» Я знал, что она... как бы это выразить?... что она требует от меня сдержанности здесь, в большом зале... я понимал, что, уйдя я теперь домой, я мог

бы завтра с уверенностью рассчитывать быть принятым ею... Она хотела только избавиться от моей назойливости здесь... я знал, что она — и с полным основанием — боится какой-нибудь моей неловкой выходки... Вы видите... я знал все, я понял этот повелительный взгляд, но... но это было свыше моих сил, я должен был говорить с нею. Итак, я поплелся к группе гостей, среди которых она стояла, разговаривая, и присоединился к ним, хотя знал лишь немногих из них... Я хотел слышать, как она говорит, но каждый раз съеживался, точно побитая собака, под ее взглядом, изредка так холодно скользившим по мне, словно я был холщовой портьерой, к которой я прислонился, или воздухом, который слегка эту портьеру колыхал. Но я стоял в ожидании слова от нее, какого-нибудь знака примирения, стоял столбом, не сводя с нее глаз, среди общего разговора. Безусловно, на это уже обратили внимание... безусловно... потому что никто не сказал мне ни слова; и она, наверно, страдала от моего нелепого поведения.

Сколько бы я так простоял, не знаю... может быть, целую вечность... я не мог разбить чары, сковывавшие мою волю... Я был словно парализован яростным своим упорством... Но она не выдержала... Со свойственной ей восхитительной непринужденностью она внезапно сказала, обращаясь к окружавшим ее мужчинам:

— Я немного утомлена... хочу сегодня пораньше лечь... Спокойной ночи!

И вот она уже прошла мимо меня, небрежно и холодно кивнув головой. Я успел еще заметить складку на ее лбу, а потом видел уже только спину, белую, гордую, обнаженную спину. Прошла минута, прежде чем я понял, что она уходит... что я больше не увижу ее, не смогу говорить с ней в этот вечер, в этот последний вечер, когда еще возможно спасение... и так я простоял целую минуту, окаменев на месте, пока не понял этого... а тогда... тогда...

Однако погодите... погодите... Так вы не поймете всей бессмысленности, всей глупости моего поступка... сначала я должен описать вам место действия... Это было в большом зале правительственного здания, в огромном зале, залитом светом и почти пустом... пары ушли танцевать, мужчины — играть в карты... только по углам беседовали небольшие кучки гостей... Итак, зал был пуст, малейшее движение бросалось в глаза под ярким светом люстр... и она неторопливой легкой походкой шла по этому просторному залу, изредка отвечая на поклоны... шла с тем великолепным, высокомерным, невозмутимым спокойствием, которое так восхищало меня в ней... Я... я оставался на месте, как я вам уже говорил. Я был словно парализован, пока не понял, что она уходит... а когда я это понял, она была уже на другом конце зала у самого выхода. Тут... о, до сих пор мне стыдно вспоминать об этом!.. тут что-то вдруг толкнуло меня, и я побежал — вы слышите: я побежал... я не пошел, а побежал за ней, и стук моих каблуков громко отдавался от стен зала... Я слышал свои шаги, видел удивленные взгляды, обращенные на меня... я сгорал со стыда... я уже во время бега сознавал свое безумие... но я не мог... не мог остановиться... Я догнал ее у две-

рей... Она обернулась... ее глаза серой сталью вонзились в меня, ноздри задрожали от гнева... Я только открыл было рот... как она... вдруг громко рассмеялась... звонким, беззаботным, искренним смехом и сказала... громко, чтобы все слышали:

— Ах, доктор, только теперь вы вспомнили о рецепте для моего мальчика... уж эти ученые!..

Стоявшие вблизи добродушно засмеялись... Я понял, я был поражен — как мастерски спасла она положение!.. Порывшись в бумажнике, я второпях вырвал из блокнота чистый листок... она спокойно взяла его и... ушла... поблагодарив меня холодной улыбкой... В первую секунду я обрадовался... я видел, что она искусно загладила неловкость моего поступка, спасла положение... но тут же я понял, что для меня все потеряно, что эта женщина ненавидит меня за мою нелепую горячность... ненавидит больше смерти... понял, что могу сотни раз подходить к ее дверям, и она будет отгонять меня, как собаку.

Шатаясь, шел я по залу и чувствовал, что на меня смотрят... у меня был, вероятно, очень странный вид... Я пошел в буфет, выпил подряд две, три... четыре рюмки коньяку... Это спасло меня от обморока... нервы больше не выдерживали, они словно оборвались... Потом я выбрался через боковой выход, тайком, как злоумышленник... Ни за какие блага в мире не прошел бы я опять по тому залу, где стены еще хранили отзвук ее смеха... Я пошел... точно не знаю, куда я пошел... в какие-то кабаки... и напился, напился, как человек, который хочет все забыть... но... но мне не удалось одурманить себя... ее смех отдавался во мне, резкий и злобный... этого проклятого смеха я никак не мог заглушить... Потом я бродил по гавани... револьвер я оставил в отеле, а то непременно бы застрелился. Я больше ни о чем и не думал и с одной этой мыслью пошел домой... с мыслью о левом ящике комода, где лежал мой револьвер... с одной этой мыслью.

Если я тогда не застрелился...! клянусь вам, это была не трусость... для меня было бы избавлением спустить уже взведенный холодный курок... Но, как бы объяснить это вам... я чувствовал, что на мне еще лежит долг... да, тот самый долг помощи, тот проклятый долг... Меня сводила с ума мысль, что я могу еще быть ей полезен, что я нужен ей. Было ведь уже утро четверга, а в субботу... я ведь говорил вам... в субботу должен был прийти пароход, и я знал, что эта женщина, эта надменная, гордая женщина не переживет своего унижения перед мужем и перед светом. О, как мучили меня мысли о безрассудно потерянном драгоценном времени, о моей безумной опрометчивости, сделавшей невозможной своевременную помощь... Часами, клянусь вам, часами ходил я взад и вперед по комнате и ломал голову, стараясь найти способ приблизиться к ней, исправить свою ошибку, помочь ей... Что она больше не допустит меня к себе, было для меня совершенно ясно... я всеми своими нервами ощущал еще ее смех и гневное вздрагивание ноздрей... Часами, часами метался я по своей тесной комнате... был уже день, время приближалось к полудню...

И вдруг меня толкнуло к столу... я выхватил пачку почтовой бумаги и начал писать ей... я все написал... я скулил, как побитый пес, я просил у нее прощения, называл себя сумасшедшим, преступником... умолял ее довериться мне... Я обещал исчезнуть в тот же час из города, из колонии, умереть, если бы она пожелала... лишь бы она простила мне, и поверила, и позволила помочь ей в этот последний, роковой час... Я исписал двадцать страниц... Вероятно, это было безумное, невысказанное письмо, похожее на горячечный бред. Когда я поднялся из-за стола, я был весь в поту... комната плыла перед глазами, я должен был выпить стакан воды... Я попытался перечитать письмо, но мне стало страшно первых же слов... дрожащими руками сложил я его и собирался уже сунуть в конверт... и вдруг меня осенило. Я нашел истинное, решающее слово. Еще раз схватил я перо и приписал на последнем листке: «Жду здесь, в Странд-отеле, вашего прощения. Если до семи часов не получу ответа, я застрелюсь!»

После этого я позвонил бою и велел ему отнести письмо. Наконец-то было сказано все!

Возле нас что-то зазвенело и покатилося,— неосторожным движением он опрокинул бутылку. Я слышал, как его рука шарила по палубе и наконец схватила пустую бутылку; сильно размахнувшись, он бросил ее в море. Несколько минут он молчал, потом заговорил еще более лихорадочно, еще более возбужденно и торопливо.

— Я больше не верую ни во что... для меня нет ни неба, ни ада... а если и есть ад, то я его не боюсь — он не может быть ужаснее часов, которые я пережил в то утро, в тот день. Вообразите маленькую комнату, нагретую солнцем, все более накаляемую полуденным зноем... комнату, где только стол, стул и кровать... На этом столе — ничего, кроме часов и револьвера, а у стола — человек... не сводящий глаз с секундной стрелки... человек, который не ест, не пьет, не курит, не двигается, который все время... слышите, все время, три часа подряд смотрит на белый круг циферблата и на маленькую стрелку, с тиканьем бегущую по этому кругу... Так... так провел я этот день, только ждал, ждал... но так, как гонимый amoком делает все — бессмысленно, тупо, с безумным, прямолинейным упорством.

Не стану описывать вам эти часы... это не поддается описанию... я и сам ведь не понимаю теперь, как можно было это пережить, не... не сойдя с ума... И... в двадцать две минуты четвертого... я знаю точно, потому что смотрел ведь на часы... раздался внезапный стук в дверь... Я вскакиваю... вскакиваю, как тигр, бросающийся на добычу, одним прыжком я у двери, распахиваю ее... в коридоре маленький китайчонок робко протягивает мне записку. Я выхватываю сложенную бумажку у него из рук, и он сейчас же исчезает.

Разворачиваю записку, хочу прочесть... и не могу... перед глазами красные круги... Подумайте об этой муке... наконец, наконец я получил от нее ответ... а тут буквы прыгают и пляшут... Я окунаю голову в воду... становится лучше... Снова берусь за записку и читаю:

«Поздно! Но ждите дома. Может быть, я вас еще позову».

Подписи нет. Бумажка измятая, оторванная от какого-нибудь старого проспекта... слова нацарапаны карандашом торопливо, кое-как, не обычным почерком... Я сам не знаю, почему эта записка так потрясла меня... Какой-то ужас, какая-то тайна была в этих строках, написанных словно во время бегства, где-нибудь на подоконнике или в экипаже... Каким-то неописуемым страхом и холодом повеяло на меня от этой тайной записки... и все-таки... и все-таки я был счастлив... она написала мне, я не должен был еще умирать, она позволяла мне помочь ей... может быть... я мог бы... о, я сразу исполнился самых несбыточных надежд и мечтаний... Сотни, тысячи раз перечитывал я клочок бумаги, целовал его... рассматривал, в поисках какого-нибудь забытого, незамеченного слова... Все смелее, все фантастичнее становились мои грезы, это был какой-то лихорадочный сон наяву... оцепенение, тупое и в то же время напряженное, между дремотой и бодрствованием, длившееся не то четверть часа, не то целые часы...

Вдруг я встрепенулся... Как будто постучали? Я затаил дыхание... минута, две минуты мертвой тишины... А потом опять тихий, словно мышиный шорох, тихий, но настойчивый стук... Я вскочил — голова у меня кружилась, — рванул дверь, за ней стоял бой, ее бой, тот самый, которого я тогда побил... Его смуглое лицо было пепельного цвета, тревожный взгляд говорил о несчастье. Мной овладел ужас...

— Что... что случилось? — с трудом выговорил я.

— Come quickly ¹, — ответил он... и больше ничего...

Я бросился вниз по лестнице, он за мной... Внизу стояло «садо», маленькая коляска, мы сели...

— Что случилось? — еще раз спросил я...

Он молча взглянул на меня, весь дрожа, стиснув зубы... Я повторил свой вопрос, но он все молчал и молчал... Я охотно еще раз ударил бы его, но... меня трогала его собачья преданность ей... и я не стал больше спрашивать... Колясочка так быстро мчалась по оживленным улицам, что прохожие с бранью отскакивали в сторону. Мы оставили за собой европейский квартал, берегом проехали в нижний город и врезались в шумливую сутолоку китайского квартала... Наконец мы свернули в узкую улочку, где-то на отлете... остановились перед низкой лачугой... Домишко был грязный, вросший в землю, со стороны улицы — лавчонка, освещенная сальной свечой... одна из тех лавчонок, за которыми прячутся курильни опиума и публичные дома, воровские притоны и склады краденых вещей... Бой поспешно постучался... Дверь приотворилась, из щели послышался силпый голос... он спрашивал и спрашивал... Я не выдержал, выскочил из экипажа, толкнул дверь... Старуха китайка, испуганно вскрикнув, убежала... Бой вошел вслед за мной, провел меня узким коридором... открыл другую дверь... в темную комнату,

¹ Идите скорее (англ.).

где стоял запах водки и свернувшейся крови... Оттуда слышались стоны... Я ошупью стал пробираться вперед...

Снова голос пресекался. Потом заговорил — но это была уже не речь, а почти рыдание.

— Я... я нащупывал дорогу... и там... там, на грязной циновке... корчась от боли... лежало человеческое существо... лежала она...

Я не видел ее лица.. Мои глаза еще не привыкли к темноте... ошупью я нашел ее руку... горячую... как огонь. У нее был жар, сильный жар... и я содрогнулся... я сразу понял все... Она бежала сюда от меня... дала искалечить себя... первой попавшейся грязной старухе... только потому, что боялась огласки... дала какой-то ведьме убить себя, лишь бы не довериться мне... Только потому, что я, безумец... не пощадил ее гордости, не помог ей сразу... потому что смерти она боялась меньше, чем меня...

Я крикнул, чтобы дали свет... Бой вскочил, старуха дрожащими руками внесла коптившую керосиновую лампу. Я едва удержался, чтобы не схватить старую каргу за горло... Она поставила лампу на стол... желтый свет упал на истерзанное тело... И вдруг... вдруг с меня точно рукой сняло всю мою одурь и злобу, всю эту нечистую накипь страстей... теперь я был только врач, помогающий, исследующий, вооруженный знаниями человек... Я забыл о себе... мое сознание прояснилось, и я вступил в борьбу с надвигающимся ужасом... Нагое тело, о котором я грезил с такою страстью, я ощущал теперь только как... ну, как бы это сказать... как материю, как организм... я не чувствовал, что это она, я видел только жизнь, борющуюся со смертью, человека, корчившегося в убийственных муках... Ее кровь, ее горячая священная кровь текла по моим рукам, но я не испытывал ни волнения, ни ужаса... я был только врач... я видел только страдание и видел... видел, что все погибло, что только чудо может спасти ее... Она была изувечена неумелой, преступной рукой и истекала кровью... а у меня в этом гнусном вертепе не было ничего, чтобы остановить кровь... не было даже чистой воды... Все, до чего я дотрагивался, было покрыто грязью...

— Нужно сейчас же в больницу,— сказал я. Но не успел я это произнести, как больная судорожным усилием приподнялась.

— Нет... нет... лучше смерть... чтобы никто не узнал... никто не узнал... Домой... домой!..

Я понял... только за свою тайну, за свою честь боролась она... не за жизнь... И я повиновался. Бой принес носилки... мы уложили ее, обессиленную, в лихорадке... и словно труп понесли сквозь ночную тьму домой. Отстранили недоумевающих, испуганных слуг... как воры, проникли в ее комнату... заперли двери. А потом... потом началась борьба, долгая борьба со смертью...

Внезапно в мое плечо судорожно впилась рука, и я чуть не вскрикнул от испуга и боли. Его лицо вдруг приблизилось к моему,

и я увидел белые оскаленные зубы и стекла очков, мерцавшие в отблеске лунного света, точно два огромных кошачьих глаза. И он уже не говорил — он кричал в пароксизме гнева:

— Знаете ли вы, вы, чужой человек, спокойно сидящий здесь в удобном кресле, совершающий прогулку по свету, знаете ли вы, что это значит, когда умирает человек? Бывали вы когда-нибудь при этом, видели вы, как корчится тело, как посиневшие ногти впи-ваются в пустоту, как хрипит гортань, как каждый член борется, каждый палец упирается в борьбе с неумолимым призраком, как глаза вылезают из орбит от ужаса, которого не передать словами? Случалось вам переживать это, вам, праздному человеку, туристу, вам, рассуждающему о долге оказывать помощь? Я часто видел все это, наблюдал как врач... Это были для меня клинические случаи, некая данность... я, так сказать, изучал это — но пережил только один раз... Я вместе с умирающей переживал это и умирал вместе с нею в ту ночь... в ту ужасную ночь, когда я сидел у ее постели и терзал свой мозг, пытаясь найти что-нибудь, придумать, изобрести против крови, которая все лилась и лилась, против лихорадки, сжигавшей эту женщину на моих глазах... против смерти, которая подходила все ближе и которую я не мог отогнать. Понимаете ли вы, что это значит — быть врачом, знать все обо всех болезнях, чувствовать на себе долг помочь, как вы столь основательно заметили, и все-таки сидеть без всякой пользы возле умирающей, знать и быть бессильным... знать только одно, только ужасную истину, что помочь нельзя... нельзя, хотя бы даже вскрыв себе все вены... Видеть беспомощно истекающее кровью любимое тело, терзаемое болью, считать пульс, учащенный и прерывистый... затухающий у тебя под пальцами... быть врачом и не знать ничего, ничего... только сидеть и то бормотать молитву, как дряхлая старушонка, то грозить кулаком жалкому богу, о котором ведь знаешь, что его нет. Понимаете вы это? Понимаете?.. Я... я только... одного не понимаю, как... как можно не умереть в такие минуты... как можно, поспав, проснуться на другое утро и чистить зубы, завязывать галстук... как можно жить после того, что я пережил... чувствуя, что это живое дыхание, что этот первый и единственный человек, за которого я так боролся, которого хотел удерживать всеми силами моей души, ускользает от меня куда-то в неведомое, ускользает все быстрее с каждой минутой и я ничего не нахожу в своем воспаленном мозгу, что могло бы удержать этого человека...

И к тому же еще, чтобы удвоить мои муки, еще вот это... Когда я сидел у ее постели — я дал ей морфий, чтобы успокоить боли, и смотрел, как она лежит с пылающими щеками, горячая и истомленная, — да... когда я так сидел, я все время чувствовал за собой глаза, устремленные на меня с неистовым напряжением... Это бой сидел там на корточках, на полу, и шептал какие-то молитвы... Когда наши взгляды встречались, я читал в его глазах... нет, я не могу вам описать... читал такую мольбу, такую благодарность, и в эти минуты он протягивал ко мне руки, словно заклинал меня спасти ее, вы понимаете — ко мне, ко мне простирали руки, как к богу...

ко мне... а я знал, что я бессилен, знал, что все потеряно и что я здесь так же нужен, как ползающий по полу муравей... Ах, этот взгляд, как он меня мучил... эта фанатическая, слепая вера в мое искусство... Мне хотелось крикнуть на него, ударить его ногой, такую боль причинял он мне... и все же я чувствовал, что мы оба связаны нашей любовью к ней... и тайной... Как притаившийся зверь, сидел он, сжавшись клубком, за моей спиной... Стоило мне сказать слово, как он вскакивал и, бесшумно ступая босыми ногами, приносил требуемое и, дрожа, исполненный ожидания, подавал мне приносимую вещь, словно в этом была помощь... спасение... Я знаю, он вскрыл бы себе вены, чтобы ей помочь... такова была эта женщина, такую власть имела она над людьми, а я... у меня не было власти спасти каплю ее крови... О, эта ночь, эта ужасная, бесконечная ночь между жизнью и смертью.

К утру она еще раз очнулась... открыла глаза... теперь в них не было ни высокомерия, ни холодности... они горели влажным, лихорадочным блеском, и она с недоумением оглядывала комнату. Потом она посмотрела на меня; казалось, она задумалась, стараясь вспомнить что-то, вглядываясь в мое лицо... и вдруг... я увидел... она вспомнила... Какой-то испуг, негодование, что-то... что-то... враждебное, гневное исказило ее черты... она начала двигать руками, словно хотела бежать... прочь, прочь от меня... Я видел, что она думает о том... в том часе, когда я... Но потом к ней вернулось сознание... она спокойно взглянула на меня, но дышала тяжело... Я чувствовал, что она хочет говорить, что-то сказать... опять ее руки пришли в движение... она хотела приподняться, но была слишком слаба... Я стал ее успокаивать, наклонился над ней... тут она посмотрела на меня долгим, полным страдания взглядом... ее губы тихо шевельнулись... это был последний угасающий звук... Она сказала:

— Никто не узнает?.. Никто?

— Никто,— сказал я со всей силой убеждения,— обещаю вам.

Но в глазах ее все еще было беспокойство... Невянятно, с усилием она пролепетала:

— Поклянитесь мне... никто не узнает... поклянитесь!

Я поднял руку, как для присяги. Она смотрела на меня неизъяснимым взглядом... нежным, теплым, благодарным... да, поистине, поистине благодарным... она хотела еще что-то сказать, но ей было слишком трудно... Долго лежала она, обессиленная, с закрытыми глазами. Потом начался ужас... ужас... еще долгий, мучительный час боролась она. Только к утру настал конец...

Он долго молчал. Я заметил это только тогда, когда в тишине раздался колокол — один, два, три сильных удара — три часа. Лунный свет потускнел, но в воздухе уже дрожала какая-то новая желтизна, и изредка налетал легкий ветерок. Еще полчас, час, и наступит день, и весь этот кошмар исчезнет в его ярком свете. Теперь я яснее видел черты рассказчика, так как тени были уже не так густы и черны в нашем углу. Он снял шапочку, и я увидел его голый че-

реп и измученное лицо, показавшееся мне еще более страшным. Но вот сверкающие стекла его очков опять уставились на меня, он выпрямился, и в его голосе зазвучали резкие, язвительные нотки.

— Для нее настал конец — но не для меня. Я был наедине с трупом — один в чужом доме, один в городе, не терпевшем тайн, а я... я должен был оберегать тайну... Да, вообразите себе мое положение: женщина из высшего общества колонии, совершенно здоровая, танцевавшая накануне на балу у губернатора, лежит мертвая в своей постели... При ней находится чужой врач, которого будто бы позвал ее слуга... никто в доме не видел, когда и откуда он пришел... Ночью внесли ее на носилках и потом заперли дверь... а утром она уже мертва... Тогда лишь зовут слуг и весь дом вдруг оглашается воплями... В тот же миг об этом узнают соседи, весь город... и только один человек может все это объяснить... это я, чужой человек, врач с отдаленного поста... Приятное положение, не правда ли?

Я знал, что мне предстояло. К счастью, подле меня был бой, надежный слуга, который читал малейшее желание в моих глазах; даже этот полудикарь понимал, что борьба здесь еще не кончена. Мне достаточно было сказать ему: «Госпожа желает, чтобы никто не узнал, что произошло». Он посмотрел мне в глаза влажным, преданным, но в то же время решительным взглядом: «Yes, sir»¹. Больше он ничего не сказал. Но он вытер с пола следы крови, привел все в полный порядок — и эта решительность, с какой он действовал, вернула самообладание и мне. Никогда в жизни не проявлял я подобной энергии и уж, конечно, никогда больше не проявлю. Когда человек потерял все, то за последнее он борется с остервенением — и этим последним было ее завещание, ее тайна. Я с полным спокойствием принимал людей, рассказывал им всем одну, и ту же басню, о том, как посланный за врачом бой случайно встретил меня по дороге. Но в то время как я с притворным спокойствием рассказывал все это, я ждал... ждал решительной минуты... ждал освидетельствования тела, без чего нельзя было заключить в гроб ее — и вместе с ней ее тайну... Не забудьте, был уже четверг, а в субботу должен был приехать ее муж.

В девять часов мне наконец доложили о приходе городского врача. Я посылал за ним — он был мой начальник и в то же время соперник, — тот самый врач, о котором она так презрительно отзывалась и которому, очевидно, была уже известна моя просьба о переводе. Я почувствовал это, как только он взглянул на меня, — он был моим врагом. Но именно это и придало мне силы.

Уже в передней он спросил:

— Когда умерла госпожа?.. — он назвал ее имя.

— В шесть часов утра.

— Когда она послала за вами?

— В одиннадцать вечера.

— Вы знали, что я ее врач?..

¹ Да, сэр (англ.).

— Да, но медлить было нельзя.. и потом... покойная пожелала, чтобы пришел именно я. Она запретила звать другого врача.

Он уставился на меня; краска появилась на его бледном, несколько оплывшем лице,— я чувствовал, что его самолюбие уязвлено. Но мне только это и нужно было — я всеми силами стремился к быстрой развязке, зная, что долго мои нервы не выдержат. Он хотел ответить какой-то колкостью, но раздумал и с небрежным видом сказал:

— Ну что же, если вы считаете, что можете обойтись без меня... Но все-таки мой служебный долг — удостоверить смерть и... от чего она наступила.

Я ничего не ответил и пропустил его вперед. Затем вернулся к двери, запер ее и положил ключ на стол.

Он удивленно поднял брови:

— Что это значит?

Я спокойно стал против него.

— Речь идет не о том, чтобы установить причину смерти, а о том, чтобы скрыть ее. Эта женщина обратилась ко мне после... после неудачного вмешательства... Я уже не мог ее спасти, но обещал ей спасти ее честь и исполню это. И я прошу вас помочь мне.

Он широко раскрыл глаза от изумления.

— Вы предлагаете мне,— проговорил он с запинкой,— мне, должностному лицу, покрыть преступление?

— Да, предлагаю, я должен это сделать.

— Чтобы я за ваше преступление...

— Я уже сказал вам, что я и не прикасался к этой женщине, а то... а то я не стоял бы перед вами и давно бы уже покончил с собой. Она искупила свое прегрешение — если угодно, назовем это так,— и мир ничего не должен об этом знать. И я не потерплю, чтобы честь этой женщины была запятнана.

Мой решительный тон вызвал в нем еще большее раздражение.

— Вы не потерпите! Так... Ну, вы ведь мой начальник... или по крайней мере собираетесь стать им... Попробуйте только приказывать мне!.. Я сразу подумал, что тут какая-то грязная история, раз вас вызывают из вашего угла... Недурной практикой вы тут занялись... недурной образец для начала... Но теперь я приступаю к осмотру, я сам, и вы можете быть уверены, что свидетельство, под которым я поставлю свое имя, будет соответствовать истине. Я не подпишусь под ложью.

Я спокойно ответил ему:

— На этот раз вам придется все-таки это сделать. Иначе вы не выйдете из этой комнаты.

При этом я сунул руку в карман — револьвера при мне не было. Но он вздрогнул. Я на шаг приблизился к нему и в упор посмотрел на него.

— Послушайте, что я вам скажу... чтобы избежать крайностей. Моя жизнь не имеет для меня никакой цены... чужая — тоже... я дошел уже до такого предела... Единственное, чего я хочу, это выполнить свое обещание и сохранить в тайне причину этой смерти...

Слушайте: даю вам честное слово — если вы подпишете свидетельство, что смерть вызвана... какой-нибудь случайностью, то я через несколько дней покину город, страну... и, если вы этого потребуете, застрелюсь, как только гроб будет опущен в землю и я буду уверен в том, что никто... вы понимаете — никто не сможет расследовать дело. Это, я надеюсь, вас удовлетворит.

В моем голосе было, вероятно, что-то угрожающее, какая-то опасность, потому что, когда я невольно сделал шаг к нему, он отскочил с тем же выражением ужаса, с каким... ну, с каким люди спасаются от гонимого амоком, когда он мчится, размахивая крисом... И он сразу стал другим... каким-то пришибленным и робким, от его уверенного тона не осталось и следа. В виде слабого протеста он пробормотал еще:

— Не было случая в моей жизни, чтобы я подписал ложное свидетельство... но так или иначе что-нибудь придумаем... мало ли что бывает... Однако не мог же я так, сразу...

— Конечно, не могли,— поспешил я поддакнуть ему. — («Только скорее!.. только скорее!..» — стучало у меня в висках),— но теперь, когда вы знаете, что вы только причинили бы боль живому и жестоко поступили бы с умершей, вы, конечно, не станете колебаться.

Он кивнул. Мы подошли к столу. Через несколько минут удостоверение было готово (оно было опубликовано затем в газетах и вполне правдоподобно описывало картину паралича сердца). После этого он встал и посмотрел на меня:

— Вы уедете на этой же неделе, не правда ли?

— Даю вам честное слово.

Он снова посмотрел на меня. Я заметил, что он хочет казаться строгим и деловитым.

— Я сейчас же закажу гроб,— сказал он, чтобы скрыть свое смущение. Но что-то, видимо, было во мне, какое-то безмерное страдание: он вдруг протянул мне руку и с неожиданной сердечностью потряс мою. — Желаю вам справиться с этим,— сказал он.

Я не понял, что он имеет в виду. Был ли я болен? Или... сошел с ума? Я проводил его до двери, отпер и, сделав над собой последнее усилие, запер за ним. Потом опять у меня застучало в висках, все закачалось и завертелось передо мной, и у самой ее постели я рухнул на пол... как... как падает в изнеможении гонимый амоком в конце своего безумного бега.

Он опять умолк. Меня знобило — оттого ли, что первый порыв утреннего ветра легкой волной пробегал по кораблю? Но на измученном лице, которое я уже ясно различал во мгле рассвета, снова отразилось усилие воли, и он заговорил опять:

— Не знаю, долго ли пролежал я так на циновке. Вдруг кто-то тронул меня за плечо. Я вздрогнул. Это был бой, с робким и почти-тельным видом стоявший передо мной и тревожно заглядывавший мне в глаза.

— Сюда хотят войти... хотят видеть ее...

— Не впускать никого!

— Да... но...

В его глазах был испуг. Он хотел что-то сказать и не решался. Его явно что-то мучило.

— Кто это?

Он, дрожа, посмотрел на меня, словно ожидая удара. Потом сказал — он не назвал имени... откуда берется вдруг в таком первобытном существе столько понимания? Почему в иные мгновения необыкновенную чуткость проявляют совсем темные люди?.. Бой сказал... тихо и боязливо:

— Это он.

Я вскочил... я сразу понял, и меня охватило жгучее, нетерпеливое желание увидеть этого незнакомца. Дело в том, видите ли, что, как это ни странно... но среди всей этой муки, среди этих лихорадочных волнений, страхов и сумятицы я совершенно забыл о нем... Забыл, что здесь замешан еще один человек — тот, которого любила эта женщина, кому она в пылу страсти отдала то, в чем отказала мне... Двенадцатью часами, сутками раньше я ненавидел бы этого человека, мог бы разорвать его на куски... Но теперь... Я не могу, не могу передать вам, как я жаждал увидеть его... полюбить за то, что она его любила.

Одним прыжком я очутился у двери. Передо мной стоял юный, совсем юный офицер, светловолосый, очень смущенный, очень бледный. Он казался почти ребенком, так... так трогательно молод он был, и невыразимо потрясло меня, как он старался быть мужчиной, показать выдержку... скрыть свое волнение. Я сразу заметил, что у него дрожит рука, когда он поднес ее к фуражке... Мне хотелось обнять его... потому что он был именно таким, каким я хотел видеть человека, обладавшего этой женщиной... не соблазнитель, не гордец... Нет, полуребенку, чистому, нежному созданию подарила она себя.

В крайнем смущении стоял передо мною молодой человек. Мой жадный взор и порывистые движения еще более смутили его. Усики над его губой предательски вздрагивали... этот юный офицер, этот мальчик едва удерживался, чтобы не расплакаться.

— Простите,— сказал он наконец,— я хотел бы еще раз... увидеть... госпожу...

Невольно, сам того не замечая, я обнял его, чужого человека, за плечи и повел, как ведут больного. Он посмотрел на меня изумленным и бесконечно благодарным взглядом... уже в этот миг, между нами вспыхнуло сознание какой-то общности. Я подвел его к мертвой... Она лежала, белая на белых простынях... Я почувствовал, что мое присутствие все еще стесняет его, поэтому я отошел в сторону, чтобы оставить его наедине с ней. Он медленно приблизился к постели неверными шагами, волоча ноги... по тому, как дергались его плечи, я видел, какая боль разрывает ему сердце... он шел... как человек, идущий навстречу чудовищной буре... И вдруг упал на колени перед постелью... так же, как раньше упал я.

Я подскочил к нему, поднял его и усадил в кресло. Он больше не стыдился и заплакал навзрыд. Я не мог произнести ни слова и толь-

ко бессознательно проводил рукой по его светлым, мягким, как у ребенка, волосам. Он схватил меня за руку... с каким-то страхом... и вдруг я почувствовал на себе его пристальный взгляд.

— Скажите мне правду, доктор,— проговорил он,— она наложила на себя руки?

— Нет,— ответил я.

— А... кто-нибудь... кто-нибудь... виноват в ее смерти?

— Нет,— повторил я, хотя у меня уже готов был вырваться крик: «Я! Я! Я!.. И ты! Мы оба! И ее упрямство, ее злосчастное упрямство!» Но я удержался и повторил еще раз:

— Нет... никто не виноват... Судьба!

— Просто не верится,— простонал он,— не верится. Позавчера только она была на балу, улыбалась, живнула мне. Как это мыслимо, как это могло случиться?

Я начал плести длинную историю. Даже ему не выдал я тайны покойной. Все эти дни мы были как два брата, словно озаренные связывавшим нас чувством... Мы не веряли его друг другу, но оба знали, что вся наша жизнь принадлежала этой женщине... Иногда запретное слово готово было сорваться с моих уст, но я стискивал зубы — и он не узнал, что она носила под сердцем ребенка от него... что она хотела, чтобы я убил этого ребенка, его ребенка... и что она увлекла его с собой в пропасть. И все же мы говорили только о ней в эти дни, пока я скрывался у него... потому что — я забыл вам сказать — меня разыскивали... Ее муж приехал, когда гроб был уже закрыт... он не хотел верить официальной версии... ходили темные слухи... и он искал меня... Но я не мог решиться на встречу с ним... увидеть его, человека, заставлявшего, как я знал, ее страдать... Я прятался... четыре дня не выходил из дому, четыре дня мы оба не покидали квартиры... Ее возлюбленный купил для меня под чужим именем место на пароходе, чтобы я мог бежать... Словно вор, прокрался я ночью на палубу, чтобы никто меня не узнал...

Я бросил там все, что имел... свой дом и работу, на которую потратил семь лет жизни. Все мое добро брошено на произвол судьбы, а начальство, вероятно, уже уволило меня со службы, так как я без разрешения оставил свой пост... Но я больше не мог жить в этом доме, в этом городе... в этом мире, где все напоминало мне о ней... Как вор, бежал я ночью, только чтобы уйти от нее... забыть...

Но... когда я взшел на борт... ночью... в полночь... мой друг был со мной... тогда... тогда... как раз поднимали что-то краном... что-то продолговатое, черное... это был ее гроб... вы слышите: ее гроб!.. Она преследовала меня, как раньше я преследовал ее... и я должен был стоять тут же, с безучастным видом, потому что он, ее муж, тоже был тут... он везет тело в Англию... может быть, он хочет произвести там вскрытие... Он овладел ею... теперь она опять принадлежит ему... уже не нам... нам обоим... Но я еще здесь... Я пойду за ней до конца... он не узнает, он не должен узнать... я сумею защитить ее тайну от любого посягательства... от этого негодяя, из-за которого она пошла на смерть... Ничего, ничего ему не узнать... ее тайна принадлежит мне, только мне одному...

Понимаете вы теперь... понимаете... почему я не могу видеть людей... не выношу их смеха... когда они флиртуют и жаждут сближения?.. Потому что там, внизу... внизу, в трюме, между тюками с чаем и кокосовыми орехами, стоит ее гроб... Я не могу пробраться туда, там заперто... но я сознаю, ощущаю это всем своим существом, ощущаю каждую секунду... и тогда, когда здесь играют вальсы или танго... Это ведь глупо, на дне моря лежат миллионы мертвецов; под любой пядью земли, на которую мы ступаем ногой, гнет труп, и все-таки я не могу, не могу вынести, когда устраивают здесь маскарады и так плотоядно смеются. Я чувствую, что она здесь, и знаю, чего она от меня хочет... я знаю, на мне еще лежит долг... еще не конец... ее тайна еще не погребена... Покойная еще не отпустила меня.

На средней палубе зашаркали шаги, зашлепали мокрые швабры — матросы начинали уборку. Он вздрогнул, как человек, застигнутый на месте преступления; на его бескровном лице отразился испуг. Он встал и пробормотал:

— Пойду... пойду уж.

Тяжело было смотреть на него — страшен был пустой взгляд его опухших глаз, красных от виски или от слез. Его стесняло мое участие; я ощущал во всей его сгорбленной фигуре стыд, мучительный стыд за откровенность со мной в эту долгую ночь. Невольно я сказал:

— Вы позволите мне зайти днем к вам в каюту?

Он посмотрел на меня, — жесткая усмешка искривила его губы, с какой-то злобой выдавливал он из себя каждое слово.

— А-а... ваш пресловутый долг... помогать... этим самым словом вы и подбили меня на болтовню. Ну нет, сударь, спасибо! Пожалуйста, не воображайте, что мне теперь легче, после того как я перед вами вывернул наружу все свои внутренности, вплоть до кишок. Жизнь свою я исковеркал, и никто мне ее не починит. Вышло так, что я даром потрудился для почтенного голландского правительства... Пенсия — тютю, бездомным псом возвращаюсь я в Европу... псом, с воем плетущимся за гробом... Безнаказанно не бегут в бреду амока: рано или поздно меня подкосит, и я надеюсь, что конец уже близок... Нет, спасибо, сударь, за любезное желание меня посетить... Я уже завел приятелей в своей каюте... две-три бутылки доброго старого виски... они меня иногда утешают, а затем — мой старинный друг, к которому я, к сожалению, своевременно не обратился, — мой славный браунинг... он-то уж поможет лучше всякой болтовни... Прошу вас, не утруждайте себя... у человека всегда остается его единственное право — околоть, как ему вздумается... и без непрошеной помощи.

Он еще раз насмешливо, даже вызывающе посмотрел на меня, но я чувствовал — в нем говорил только стыд, бесконечный стыд. Потом он втянул голову в плечи, повернулся и, не прощаясь, пошел кривой и шаркающей походкой по уже светлой палубе к каютам. Больше я его не видел. Напрасно искал я его в ближайшие две ночи на обыч-

ном месте. Он исчез, и я мог бы предположить, что все это был сон или галлюцинация, если бы мое внимание не было привлечено одним пассажиром с траурной повязкой на рукаве. Это был крупный голландский коммерсант, и мне рассказали, что он только что потерял жену, скончавшуюся от какой-то тропической болезни. Я видел, как он шагал взад и вперед по палубе в стороне от других, видел замкнутое, скорбное выражение его лица, и мысль о том, что я знаю его сокровенные думы, смущала меня; я всегда сворачивал с дороги, когда встречался с ним, боясь даже взглядом выдать, что знаю о его судьбе больше, чем он сам.

В порту Неаполя произошел потом тот загадочный несчастный случай, объяснение которому нужно, мне кажется, искать в рассказе незнакомца. Большинство пассажиров вечером съехало на берег — я сам отправился в оперу, а оттуда в кафе на Виа Рома. Когда мы в шлюпке возвращались на пароход, мне бросилось в глаза, что несколько лодок с факелами и ацетиленовыми фонарями кружили и искали что-то вокруг корабля, а наверху в темноте расхаживали по палубе карabinеры и жандармы. Я спросил у одного из матросов, что случилось. Он уклонился от ответа, и было ясно, что команде приказано молчать. На следующий день, когда пароход мирно и без всяких происшествий шел дальше, в Геную, на борту по-прежнему ничего нельзя было узнать, и лишь в итальянских газетах я потом прочел романтически разукрашенное сообщение о том, что случилось в Неаполе. В ту ночь, писали газеты, в поздний час, чтобы не обеспокоить печальным зрелищем пассажиров, с борта парохода спускали в лодку гроб с останками знатной дамы из голландских колоний. Матросы, в присутствии мужа, сходили по веревочной лестнице, а муж покойной помогал им. В этот миг что-то тяжелое рухнуло с верхней палубы и увлекло за собой в воду и гроб, и мужа, и матросов. Одна из газет утверждала, что это был какой-то сумасшедший, бросившийся сверху на веревочную лестницу. По другой версии, лестница оборвалась сама от чрезмерной тяжести. Как бы то ни было, пароходная компания приняла, очевидно, все меры, чтобы скрыть истину. С большим трудом спасли матросов и мужа покойной, но свинцовый гроб тотчас же пошел ко дну, и его не удалось найти. Появившаяся одновременно короткая заметка о том, что в порту прибило к берегу труп неизвестного сорокалетнего мужчины, не привлекла к себе внимания публики, так как, по-видимому, вовсе не стояла в связи с романтически описанным происшествием; но передо мною, как только я прочел эти беглые строки, еще раз призрачно выступило из-за газетного листа иссиня-бледное лицо со сверкающими стеклами очков.

• ФАНТАСТИЧЕСКАЯ НОЧЬ

Нижеследующие заметки были найдены в запечатанном конверте в письменном столе барона Фридриха Микаэля фон Р... после того, как он, обер-лейтенант запаса одного из драгунских полков, пал

в сражении при Раве-Русской осенью 1914 года. Родные покойного, по заглавию и после беглого просмотра этих листков, решили, что это всего лишь литературный опыт; они предложили мне ознакомиться с ними и, если я сочту нужным, опубликовать. Я же, со своей стороны, отнюдь не считаю это вымышленной повестью, а до мольчайших подробностей правдивой исповедью усопшего и, скрыв его имя, предаю ее гласности без всяких изменений и добавлений.

Сегодня утром мне вдруг пришло в голову, что хорошо бы для меня самого записать события той фантастической ночи, в их реальной последовательности, чтобы наконец разобраться в них. И с этой минуты меня неудержимо тянет изложить письменно мое приключение, хотя я сильно сомневаюсь, удастся ли мне даже приблизительно описать все то необычайное, что произошло со мной. Я совершенно лишен так называемого художественного дара, нимало не искушен в литературе и, если не считать нескольких шуточных школьных опусов, никогда не пробовал писать. Я, например, не знаю даже, существует ли особая техника, которой можно выучиться, техника, позволяющая правильно сочетать изложение внешних событий с описанием чувств и мыслей, вызываемых ими; я задаюсь также вопросом, сумею ли я наделить слово надлежащим смыслом, смысл — надлежащим словом, добьюсь ли того равновесия, которое всегда безотчетно ощущаю при чтении хороших книг. Но я ведь пишу эти строки только для себя, и они вовсе не предназначены объяснять другим нечто такое, что я с трудом понимаю сам. Это всего лишь попытка наконец-то в какой-то мере отделаться от одного происшествия, которое непрестанно занимает мои мысли, волнует и терзает меня, а для этого я должен закрепить его на бумаге, вникнуть в него и рассмотреть со всех сторон

Я не рассказал об этом ни одному из своих приятелей именно потому, что не сумел бы объяснить им самое существенное, да и как-то стыдно было сознаться, что столь случайное происшествие так меня потрясло и перевернуло. Ведь речь-то в конце концов идет о пустяке. Но вот я написал это слово и уже замечаю, как трудно без подготовки выбирать слова надлежащего веса и как двусмысленно, маловразумительно может оказаться любое, самое простое обозначение. Ибо если я называю свое приключение «пустяком», то понимаю это, разумеется, только в относительном смысле, противопоставляя его великим историческим драмам, в которых решаются судьбы целых народов; кроме того, я имею в виду малую протяженность во времени — все произошло за каких-нибудь шесть часов. На меня же этот «пустяк» — этот, с общей точки зрения, мелкий, маловажный и незначительный случай — оказал столь огромное влияние, что еще и теперь, спустя четыре месяца после той фантастической ночи, я им горю и должен напрягать все свои силы, чтобы сохранить его в тайне. Ежедневно, ежечасно перебираю я в памяти все подробности, ибо он стал как бы точкой опоры всей моей жизни. Все, что я делаю, что говорю, помимо моей воли определяется им, мысли мои заняты только тем,

что снова и снова воспроизводят его и тем самым утверждают меня во владении им. И теперь я вдруг понял, чего не сознавал десять минут тому назад, когда взялся за перо: что я для того лишь пишу черным по белому об этом происшествии, чтобы иметь его перед собой, так сказать, в осязательном, вещественном виде, чтобы еще раз все пережить сердцем и в то же время охватить умом. Я только что сказал, что хочу от него отделаться — это неверно, это ложь: напротив, я хочу вдохнуть еще больше жизни в слишком быстро пережитое, наделять его теплым и живым дыханием, чтобы я мог постоянно к нему возвращаться. О, я не боюсь забыть хотя бы одно мгновение того знойного дня, той фантастической ночи; мне не надобно ни примет, ни вех, чтобы шаг за шагом снова пройти в воспоминаниях путь этих часов: в любое время, среди дня, среди ночи, я, словно лунатик, безошибочно нахожу этот путь и вижу каждую подробность с той зоркостью, какую знает только сердце, а не зыбкая память. Я мог бы и сейчас уверенно нанести на бумагу очертания каждого листка в зеленеющем весеннем ландшафте, я еще теперь, осенью, ощущаю нежный, пыльный аромат каштанов в цвету; и если я все же описываю эти часы, то не из боязни их утратить, а потому, что мне радостно снова обрести их. И теперь, излагая в точной последовательности перипетии той ночи, я принужден буду ради стройности рассказа держать себя в узде, ибо стоит мне вспомнить о ней, как мною овладевает какой-то экстаз, своего рода дурман, и отдельные картины, встающие в памяти, грозят смешаться в едином пестром хаосе. Я и сейчас еще так же пылко переживаю пережитое — тот день 8 июня 1913 года, когда я в полдень сел в фиакр...

Но я уже чувствую, что мне нужно опять остановиться, потому что я вновь с испугом замечаю, как обоюдоостро, как многозначнее может быть любое слово. Только теперь, когда мне впервые предстоит изложить нечто в связном виде, я вижу, как трудно заключить в сжатую форму то зыбкое и ускользающее, что составляет путь всего живого. Только что я написал слово «я», сообщил, что 8 июня 1913 года, в полдень, я сел в фиакр. Но уже одно это слово ведет к неясности, потому что тем «я», каким я был 8 июня, я уже давно перестал быть, хотя прошло только четыре месяца, хотя я продолжаю жить в квартире своего бывшего «я» и пишу за его столом, его пером и его собственной рукой. От этого человека, и как раз под влиянием той ночи, я отрешился совершенно, я гляжу на него теперь со стороны, бесстрастно и трезво, я могу его описать как товарища, сверстника, друга, о котором знаю много существенного, но которым сам я отнюдь уже не являюсь. Я мог бы о нем говорить, порицать его, строго осуждать и при этом вообще не чувствовать, что когда-то он был мною.

Человек, каким я был в ту пору, внешне и внутренне мало отличался от большинства людей того социального слоя, который принято, в частности у нас, в Вене, без особой гордости, но с полным убеждением, называть «хорошим обществом». Мне шел тридцать шестой год, родители мои умерли рано и оставили мне, незадолго до моего совершеннолетия, состояние, оказавшееся достаточно значительным, чтобы навсегда избавить меня от забот о заработке и карьере. Таким образом

я неожиданно освободился от необходимости принять какое-либо решение, что меня в это время очень беспокоило. Я только что окончил университет и стоял перед выбором дальнейшего поприща; в силу наших семейных связей и моей рано обнаружившейся склонности к спокойной жизни мне, вероятно, предстояла государственная служба. И тут, получив, как единственный наследник, все состояние родителей, я неожиданно обрел возможность вести независимое и праздное существование, не отказывая себе даже в дорогостоящих прихотах. Честолюбием я никогда не страдал, поэтому решил сначала, в течение нескольких лет, понаблюдать жизнь, пока сам не почувствую потребности найти себе какое-нибудь поле деятельности. Но я так и остался наблюдателем жизни, ибо не стремился ни к чему такому, что выходило бы за узкий круг моих легко исполнимых желаний; ни один город в мире так не располагает к неге и праздности, как Вена, где искусство гулять без цели, созерцать в бездействии, быть образцом изящества доведено до поистине художественного совершенства и для многих составляет весь смысл существования. Отложив всякое попечение о сколько-нибудь серьезной деятельности, я предавался всем развлечениям, доступным знатному, богатому, приятной внешности молодому человеку, лишенному вдобавок честолюбия; умеренно увлекался азартными играми, охотой, участвовал в пикниках, путешествовал и вскоре начал все более обдуманно и усердно всячески украшать свою бездеятельную жизнь. Я собирал редкое стекло, не столько из пристрастия, сколько ради удовольствия без особого труда приобрести знания в большой, ограниченной области; я повесил в своей квартире гравюры итальянского барокко и пейзажи в манере Каналетто; разыскивать все это у антикваров или на аукционах было для меня приятным развлечением, без примеси опасного азарта; я предавался самым разнообразным занятиям, соответственно своим склонностям и вкусам, редко пропускал концерты и выставки картин. У женщин я имел успех и в этой области тоже проявил тайную страсть коллекционера, которая до некоторой степени всегда указывает на вялость духовной жизни; много памятных и драгоценных мгновений выпало мне на долю, и постепенно я из обыкновенного сластолюбца превратился в знатока и ценителя. Итак, я заполнял свои дни приятными пустяками, в твердой уверенности, что живу богатой, многогранной жизнью, и эта мягкая, тепличная атмосфера, в которой протекала моя отнюдь не скучная, но и не бурная молодость, правилась мне все сильнее; каких-либо новых желаний я почти уже не знал, — в этом неподвижном воздухе любая безделица превращалась в радостное событие. Удачно выбранный галстук мог явиться причиной прекрасного настроения, прогулка на автомобиле, хорошая книга или свидание с женщиной — дать ощущение полного счастья. Особенно был мне приятен такой образ жизни тем, что он ни с какой стороны — совсем как безупречно сшитый костюм английского покроя — никому не бросался в глаза. Думается мне, что в обществе на меня смотрели как на симпатичного молодого человека, меня любили и охотно принимали, и большинство знакомых называло меня счастливецом.

Теперь уже мне трудно сказать, действительно ли чувствовал себя счастливым тот прежний человек, которого я стараюсь представить себе; ибо ныне, когда я, под влиянием пережитого, требую от каждого чувства несравненно более полного и глубокого содержания, мне кажется почти невозможным судить о тогдашнем моем самочувствии. Но я могу с уверенностью утверждать, что, во всяком случае, не чувствовал себя несчастным: ведь почти все мои желания, все мои требования к жизни удовлетворялись. Однако как раз то обстоятельство, что я привык получать от судьбы все, чего хотел, и вне этого никаких притязаний к ней не иметь, мало-помалу породило некоторое притупление интереса, какую-то мертвенность в самой жизни. В иные минуты я испытывал безотчетную тоску; не то чтобы я чего-нибудь желал — это было желание желаний, потребность хотеть сильнее, необузданнее, упорней, жить горячее, может быть даже узнать страдание.

Я устранил из своего существования, посредством чрезмерно разумной тактики, всякое противодействие, и это отсутствие сопротивления расслабляло мою жизнеспособность. Я замечал, что желаю все меньше, все слабее, что какое-то оцепенение овладевает моими чувствами, что я — пожалуй, будет правильнее всего так выразиться — страдаю духовным бессилием, неспособностью к страстному обладанию жизнью. Сначала я стал догадываться об этом по мелким признакам. Я обратил внимание на то, что все реже бываю в театре, в обществе, что, покупая книги, которые мне хвалили, я оставляю их в течение целых недель неразрезанными на столе, что хоть и продолжая по привычке собирать старинное стекло и другие древности, но уже не располагаю их в определенном порядке и не радуюсь, как бывало, неожиданной находке после долгих поисков какой-нибудь редкой вещи.

Осознал же я вполне это медленное и постепенное угасание своей духовной энергии только благодаря одному случаю, отчетливо сохранившемуся в моей памяти. Я остался на лето в Вене — также под влиянием этой странной вялости, не поддававшейся никаким приманкам новизны, и вдруг получил из одного курорта письмо от женщины, с которой я уже три года находился в связи и в любви к которой был даже искренне уверен. Она взволнованно писала мне на четырнадцать страницах, что познакомилась там с одним человеком и он стал для нее всем в жизни, осенью она выйдет за него замуж и наши отношения должны прекратиться. Она без раскаянья, больше того — с радостью вспоминает прожитое со мною время; вступая в новый брак, хранит память обо мне, как о самом дорогом ее сердцу в ее прежней жизни, и надеется, что я прощу ей это неожиданное решение. Вслед за этим деловым сообщением следовали трогательные заклинания, чтобы я не очень сердился на нее и не слишком страдал от этого внезапного разрыва; чтобы я не пытался насильно удержать ее или сделать что-нибудь над собой. Все стремительнее и пламенней становились строки письма: она умоляла меня найти утешение у более достойной женщины и сейчас же ей написать, потому что она с трепетом думает о том, как я приму это известие. И в виде пост-

скриптума, карандашом, было еще приписано: «Не делай ничего безрассудного, пойми меня, прости меня».

Читая это письмо, я сначала опешил от неожиданности, а потом, когда я его перелистал и начал читать вторично, то ощутил стыд, который быстро превратился в тайный страх, как только я понял, почему мне стыдно. Ибо ни одно из тех сильных и вполне понятных чувств, которые, естественно, предвидела моя любовница, даже в слабой мере не шевельнулось во мне. Ее сообщение не причинило мне боли, не вызвало во мне гнева, и уж, во всяком случае, ни на мгновение не пришло мне на ум какое-либо насилие над нею или над собою; и этот мой душевный холод был уж слишком странен, чтобы не испугать меня самого. Ведь от меня уходила женщина, несколько лет бывшая спутницей моей жизни, женщина, чье теплое, гибкое тело прижималось к моему, чье дыхание в долгие ночи сливалось с моим, — и ничто во мне не шевельнулось, я не возмущился, не пытался завоевать ее снова; ничего не произошло в моей душе из того, чего чистосердечно ожидала от меня эта женщина, как от любого живого человека. В эту минуту я впервые по-настоящему понял, как далеко во мне подвинулся процесс окостенения: я скользил по жизни, словно по быстро текущей зеркальной воде, нигде не задерживаясь, не пуская корней, и очень хорошо знал, что в этом холоде есть что-то от мертвеца, от трупа — пусть еще без гнилостного запаха тления, но это душевное окаменение, эта жуткая, ледяная бесчувственность уже словно предварили подлинную, зримую смерть.

С тех пор я начал внимательно наблюдать себя и это странное притупление чувств во мне — так больной следит за своей болезнью. Вскоре после этого умер мой друг, и когда я шел за его гробом, то напряженно прислушивался к самому себе: не пробудится ли во мне скорбь, не причинит ли мне боль грустная мысль о том, что я навеки утратил близкого мне с детских лет человека? Но ничто не шевельнулось во мне, я сам себе казался каким-то стеклянным колпаком, сквозь который все просвечивает, никогда не проникая внутрь, и как я ни силился на похоронах друга, да и при многих подобных обстоятельствах, что-нибудь почувствовать или хоть доводами рассудка возбудить в себе чувство, я не слышал отклика в своей душе. Друзья покидали меня, женщины приходили и уходили — я ощущал это почти так же, как человек, сидящий в комнате, ощущает дождь, который барабанит в окно. Между мной и окружающим миром была какая-то стеклянная преграда, а разбить ее усилием воли у меня не хватало мужества.

Я вполне отдавал себе отчет в своем состоянии, однако это открытие не вызвало во мне подлинной тревоги, ибо, как я уже говорил, я равнодушно относился даже к тому, что касалось меня самого. Я уже потерял способность испытывать огорчения. Я довольствовался тем, что этот духовный изъян так же не заметен для посторонних, как неполноценность мужчины, которая обнаруживается только в интимные мгновения; и часто, на людях, я нарочно разыгрывал возмущенность, повышенную восприимчивость, чтобы скрыть, до какой степени я внутренне безучастен и мертв. Внешне я по-прежнему жил

в свое удовольствие, не зная ни забот, ни препятствий, не сходя с одной избранной пути; недели, месяцы не приметно скользили мимо; медленно превращаясь в годы. Однажды утром я увидел в зеркале седую прядь у себя на виске и понял, что моя молодость уже готовится отойти в прошлое. Но то, что другие называют молодостью, для меня давно миновало. Поэтому прощаться с нею было не очень больно; я ведь и собственную молодость любил недостаточно. Даже по отношению ко мне самому мое строптивое сердце молчало.

Из-за этой внутренней неподвижности дни мои становились все более однообразными, несмотря на пестроту занятий и мелких происшествий; одинаково тусклые, они следовали друг за другом, появлялись и блекли, как листья на дереве. И так же обыденно, ничем не выделяясь, без всякого предзнаменования, начался и тот единственный день, который я хочу самому себе описать.

В тот день, 8 июня 1913 года, я встал немного позднее обычного, безотчетно повинуясь сохранившемуся со школьных лет ощущению воскресного утра; принял ванну, прочел газету, полистал книги; затем пошел гулять, прельстившись теплым летним солнцем, участливо заглядывавшим в мою комнату; как всегда, прошелся по Грабену, где царило обычное праздничное оживление; любовался потоком экипажей, обменивался поклонами с приятелями и знакомыми, перекидывался кое с кем из них несколькими словами. Потом отправился обедать к своим друзьям. Я ни с кем не уславливался о дальнейшем времяпрепровождении, потому что именно по воскресеньям я любил полностью располагать самим собою, отдаваясь на волю случая или какой-нибудь внезапной прихоти. Возвращаясь после обеда по Рингштрассе, я любовался красотой залитого солнцем города, его ярким летним убранством. Все люди казались веселыми и словно влюбленными в праздничную пестроту улицы, многое радовало глаз, и прежде всего — пышный зеленый наряд деревьев, росших прямо посреди асфальта. Хотя я здесь проходил почти ежедневно, эта воскресная сутолока вдруг восхитила меня, мне захотелось зелени, ярких, сочных красок. Я невольно вспомнил о Пратере, где в эту пору, когда весна переходит в лето, густолиственные деревья, как исполинские слуги в зеленых ливреях, стоят по обе стороны главной аллеи, по которой тянется вереница экипажей, и протягивают свои белые цветы нарядной, праздничной толпе. Привыкнув тотчас же уступить каждому, даже самому мимолетному, желанию, я остановил первый встретившийся мне фиакр и велел кучеру ехать в Пратер.

— На скачки, господин барон? — почтительно сказал он, как нечто само собой разумеющееся.

Тут только я вспомнил, что на этот день назначены традиционные скачки, предшествующие розыгрышу дерби, на которых бывает все феешенебельное венское общество. «Странно, — подумал я, садясь в фиакр, — еще несколько лет тому назад было бы просто нелепо, чтобы я пропустил такой день, а тем более забыл о нем». По этой забывчивости я снова, точно раненый, неосторожным движением разбредивший свою рану, ощутил всю глубину овладевшего мной равнодушия.

Главная аллея была уже довольно пустынна, когда мы выехали на нее; скачки, должно быть, уже давно начались, потому что обычного потока пышных выездов не было видно, только единичные фиакры под громкий стук копыт мчались мимо нас, точно в погоне за невидимой целью. Кучер обернулся ко мне и спросил, не подогнать ли и ему коней, но я сказал, чтобы он не торопился,— мне было совершенно безразлично, опоздаю я или нет. Слишком часто бывал я на скачках и наблюдал публику на ипподроме, чтобы бояться опоздать, и в моем ленивом настроении мне больше нравилось мягко покачиваться в коляске, ощущать нежный шелест голубеющего воздуха, словно рокот моря на палубе корабля, и мирно созерцать каштаны в цвету, бросающие вкрадчиво-теплому ветру свои лепестки, которые он, играя, подхватывал и, покружив немного, снежинками ронял на землю. Приятно было покачиваться, как в люльке, вдыхать весну с закрытыми глазами, чувствовать, что без малейших усилий с твоей стороны тебя уносит куда-то; в сущности, я был недоволен, когда фиакр подъехал к воротам в Фройденау. Я охотно повернул бы обратно, чтобы еще насладиться ясным, теплым днем раннего лета. Но уже было поздно — фиакр остановился перед ипподромом.

Глухой гул неся мне навстречу. Словно море бушевало за ступенчатыми трибунами, где шумела, скрытая от моих глаз, возбужденная толпа, и мне невольно припомнилось, как в Остенде, когда узкими проулками идешь из города на пляж, тебя уже обдаёт резким соленым ветром и слышится глухой рев еще прежде, чем взору открывается пенистый серый простор, по которому ходят гремящие валы. Очередной заезд, видимо, начался, но между мною и кругом, по которому скакали теперь лошади, теснилась пестрая, гудящая, словно потрясаемая бурей, толпа игроков и зрителей; сам я не видел дорожки, но все перипетии скачки отражались на поведении окружающих, и я мог свободно следить за ней. Лошади, очевидно, давно были пущены и уже вытянулись в ряд, две-три вырвались вперед и боролись за лидирующее место, потому что из толпы, остро переживавшей незримое для меня состязание, уже неслись крики и ободряющие возгласы. Все взгляды были устремлены в одну точку, и я понял, что скачка достигла поворота; толпа словно обратилась в одну-единственную вытянутую шею, и тысячи отдельных звуков, вырываясь, казалось, из одной-единственной гортани, сливались в ревущий, kloкочущий прибой. И этот прибой вздымался выше и выше, он уже заполнил все пространство, вплоть до безмятежного синего неба. Я вгляделся в несколько ближайших лиц. Они были искажены как бы внутренней судорогой, горящие глаза выпучены, губы прикушены, подбородок алчно выставлен вперед, ноздри раздуты, точно у лошади. И смешно и жутко было мне, трезвому, смотреть на этих не владеющих собой, пьяных от азарта людей. Рядом со мною стоял на стуле мужчина, шегольски одетый и, вероятно, приятной наружности; теперь же, одержимый незримым дьяволом, он неистовствовал, размахивал тростью, словно кого-то подхлестывая, и безотчетно подражал движениям жокея, подгоняющего скачущую лошадь, что для стороннего наблюдателя было невыразимо комично; точно упираясь

встремена, он непрерывно переступал с каблука на носок, правой рукой непрерывно рассекал воздух, работая тростью, словно хлыстом, левой судорожно сжимал афишу. Таких белых афиш кругом мелькала множество. Как брызги пены взлетали они над этим яростно бурлящим человеческим морем. Теперь, по-видимому, несколько лошадей шли на кривой почти голова в голову, потому что сразу многоголосый рев раздробился на два, три, четыре, имени, которые, как боевой клич, выкрикивали отдельные группы, и иступленные вопли служили, казалось, отдушинами для их горячего бреда.

Я стоял среди этих бесноватых невозмутимый, как скала среди волн океана, и отчетливо помню, что испытывал в ту минуту. Меня сместили нелепые телодвижения, перекошенные лица, и я с презрительной иронией поглядывал на столь плебейскую несдержанность, но вместе с тем — и я лишь нехотя признавался себе в этом — я слегка завидовал такому возбуждению, такой одержимости, жизненной силе, таившейся в этом бешеном азарте. Что могло бы случиться, чтоб до такой степени взволновать меня, думал я, привести в такое иступление, чтобы я весь горел как в огне, а из горла против воли вырывались дикие крики? Я не представлял себе такой денежной суммы, которой бы я так пламенно жаждал обладать, или женщины, к которой я так страстно воспылал бы. Не было ничего, ничего, что могло бы разжечь меня! Перед дулом внезапно направленного на меня пистолета сердце мое, за миг до смерти, не колотилось бы так бешено, как колотились вокруг меня, из-за горсточки золота, сердца десятка тысяч людей.

Но, видимо, одна из лошадей уже подходила к финишу, потому что над толпой вдруг взвилось одно имя, повторяемое тысячью голосов, и этот слитый пронзительный крик становился все громче, пока сразу не оборвался — словно лопнула слишком сильно натянутая струна. Заиграл оркестр, толпа поредела. Заезд был окончен, исход борьбы решился, волнение улеглось, оставив после себя легкую зыбь. Толпа, только что являвшая собой единый плотно сбитый ком страстей, раскололась на множество гуляющих, смеющихся, беседующих людей. Из-за масок безумия снова показались спокойные лица; сплошная расплавленная масса, в которую на несколько мгновений превратил всех этих людей игорный азарт, уже опять начала расслаиваться; люди расходились или собирались группами соответственно своему общественному положению; были здесь знакомые между собой, которые обменивались поклонами, были и чужие, с холодной учтивостью посматривающие друг на друга. Женщины ревниво оглядывали наряды своих соперниц, мужчины бросали на них нежные взоры; то праздное любопытство, которое составляет, по существу, главное занятие светских людей, было пущено в ход; разыскивали друзей, приятелей, проверяли, все ли в сборе, кто как одет. Едва очнувшись от опьянения, все эти люди уже и сами не знали, зачем они пришли — ради скачек или ради перерывов между скачками.

Я лениво расхаживал в этой праздной толпе, раскланивался, отвечал на поклоны, с удовольствием вдыхал столь привычный запах духов и аромат изыщества, которым веяло от этого пестрого людского

калейдоскопа; но еще приятнее был легкий ветерок, долетавший с согретых летним солнцем лужаек и рош, ласково игравший белой кисеей женских платьев. Несколько раз знакомые пытались заговорить со мною, Диана, известная своей красотой актриса, приветливо кивнула мне, приглашая в свою ложу, но я ни к кому не подходил. Мне не хотелось разговаривать с этими людьми, мне было скучно видеть в них, точно в зеркале, самого себя; только зрелище прельщало меня, только возбуждение, царившее в толпе (ибо чужое возбуждение для равнодушного человека самое увлекательное зрелище). Когда мне встречались красивые женщины, я дерзко, но очень холодно смотрел на их бюст, полуприкрытый прозрачным газом, и про себя забавлялся их смущением, в котором было столько же стыдливости, сколько удовлетворенного тщеславия. Я не испытывал никакого волнения, мне просто нравилась эта игра, нравилось вызывать у них нескромные мысли, раздевать их взглядом и подмечать в их глазах ответный огонек; я, как всякий равнодушный человек, черпал подлинное наслаждение не в собственной страсти, а в смятении чувств, вызванном мною. Только теплое дуновение, которым обдаёт нашу чувственность присутствие женщины, любил я ощущать, а не подлинный жар, мне нужен был не пламень, а созерцание его. Так я прогуливался и сейчас, ловил женские взгляды, легко отражая их, словно мячики, ласкал, не прикасаясь, упивался, не ощущая, лишь слегка разгоряченный привычной игрой.

Но и это мне скоро наскучило. Все те же люди попадались навстречу, я знал уже наизусть их лица и движения. Поблизости оказался свободный стул. Я уселся. Вокруг меня опять началась сутолока, люди толпились, бежали, натыкались друг на друга; очевидно, предстоял новый заезд. Я не двинулся с места и, откинувшись на спинку, задумчиво следил за струйкой дыма, белыми завитками поднимавшейся к небу от моей папиросы и таявшей, как крохотное облачко в весенней лазури.

И тут началось то необычайное и неповторимое, что и теперь направляет мою жизнь. Я могу совершенно точно указать время, потому что случайно в ту минуту посмотрел на часы. Было три минуты четвертого, а день — 8 июня 1913 года. Итак, с папиросой в руке я смотрел на белый циферблат, совершенно уйдя в это ребячливое и бессмысленное созерцание, как вдруг услышал за спиной женский смех; женщина смеялась громко, тем возбужденным, резким смехом, который мне нравится у женщин, тем смехом, который внезапно вырывается у них в угаре любовной страсти. Я уже хотел было повернуть голову, чтобы взглянуть на женщину, так дерзко и вызывающе вторгшуюся в мои беспечные мечтания, словно ослепительно белый камень, брошенный в заросший тиной пруд, но удержался. Остановило меня нередко уже овладевавшее мною странное желание позавидовать безобидной игрой — проделать маленький психологический опыт. Мне захотелось дать волю своему воображению и, не глядя на нее, представить себе эту женщину — ее лицо, рот, шею, затылок, грудь, — словом, воплотить ее смех в живой, реальный, законченный образ.

Она, очевидно, стояла теперь вплотную за моей спиной. Смех сме-
нился болтовней. Я напряженно прислушивался. Она говорила с лег-
ким венгерским акцентом, очень быстро и живо, растягивая гласные,
точно пела. Я забавлялся тем, что присочинял к ее говору весь облик,
и старался вообразить себе как можно больше подробностей. Я при-
дал ей темные волосы, темные глаза, большой чувственный рот, бе-
лоснежные крепкие зубы, тонкий нос с подвижными широкими
ноздрями. К левой щеке я приклеил мушку, в руку вложил этек, ко-
торым она, смеясь, похлопывала себя по ноге. А она все говорила.
И каждое слово прибавляло новую черту к молниеносно возникше-
му в моей фантазии образу: узкие девические плечи, темно-зеленое
платье с наискосок приколотой бриллиантовой пружкой, светлая
шляпá с белым эспри. Все яснее становилась картина, и мне уже
казалось, что эта чужая женщина, стоявшая позади меня, отражается
в моих зрачках, как на фотографической пластинке. Но я не обер-
нулся, мне хотелось продолжить игру, какое-то запретное очарова-
ние таилось для меня в этом смелом полете фантазии; я закрыл гла-
за, ничуть не сомневаясь, что, когда я открою их и наконец обер-
нусь, воображаемый облик в точности совпадет с реальным.

Тут она вышла вперед. Я невольно открыл глаза — и рассердился.
Я ровно ничего не угадал: все было иначе; мало того — словно на-
рочно, она оказалась полной противоположностью тому, что я насо-
чинял. Она была не в зеленом, а в белом платье, не стройная, а пол-
ная, с пышными бедрами, на пухлой щеке не видно было мушки, на
рыжеватых, а не черных волосах сидел шлемообразный ток. Ни
одна из моих примет не соответствовала ее облику; но женщина бы-
ла красива, вызывающе красива, хотя я, уязвленный в своем тща-
нии психолога, не желал этого признавать. Почти враждебно
взглянул я на нее; но даже в самом сопротивлении я ощущал чув-
ственное обаяние, исходившее от этой женщины, призывную животную
страстность ее упругого полного тела. Она уже снова громко смея-
лась, показывая белые ровные зубы, и, несомненно, этот откровенно
дразнящий смех вполне гармонировал с ее пышной красотой; все в
ней было ярко и вызывающе — высокая грудь, выставленный вперед
подбородок, когда она смеялась, острый взгляд, нос с горбинкой, ру-
ка, крепко опирающаяся на зонтик. Здесь было женское начало, пер-
вобытная сила, искусное, настойчивое прельщение — воплощенный
соблазн.

Рядом с ней стоял изящный, немного потасканный офицер и что-
то с увлечением говорил ей. Она слушала, улыбалась, смеялась, от-
вечала, но все это только мимоходом, потому что ноздри ее беспокойно
вздрагивали и глаза зорко поглядывали по сторонам; она вбира-
ла в себя знаки внимания, улыбки, взоры всех и каждого из прохо-
дивших мимо мужчин. Взгляд ее все время блуждал — то по трибу-
нам, где она вдруг обнаруживала знакомое лицо и радостно отве-
чала на поклон, то влево, то вправо, между тем как она по-прежнему
с тщеславной улыбкой слушала офицера. Только я, заслоненный ее
спутником, оставался вне поля ее зрения. Это злило меня. Я под-
нялся — она меня не видела. Я подошел поближе — она опять

смотрела на трибуны. Тогда я решительно стал перед нею, поклонился ее спутнику и предложил ей стул. Она удивленно взглянула на меня, глаза задорно блеснули, губы изогнулись в приветливой улыбке. Однако поблагодарила она меня сдержанно и хоть и взяла стул, но не села. Она мягко оперлась полной, обнаженной до локтя рукой на спинку, приняв позу, выгодно подчеркивающую ее пышные формы.

Досада, вызванная моим неудачным психологическим опытом, рассеялась, меня занимала только игра с этой женщиной. Я немного отступил к стене трибуны, откуда мог свободно и все же незаметно для других смотреть на нее, оперся на свою трость и стал искать ее взгляда. Она это заметила, слегка повернулась в сторону моего наблюдательного поста, но все же так, что это движение казалось совершенно случайным, не избегала моего взгляда, даже иногда отвечала на него, не подавая, однако, надежд. Глаза ее по-прежнему блуждали, ни на чем не задерживаясь. Только ли при встрече с моими в них вспыхивала улыбка, или она дарила ее каждому — этого я никак не мог решить, и именно эта неопределенность злила меня. Когда взгляд ее, словно луч светового сигнала, падал на меня, он казался полным обещания, но тем же холодным блеском он без разбора отражал все устремленные на нее взоры; этой игрой она явно только тешила свое тщеславие и притом ни на минуту не прерывала кокетливой болтовни с офицером, притворяясь чрезвычайно заинтересованной. Что-то неслыханно дерзкое было в ее поведении — виртуозность кокетства или быющая через край чувственность. Невольно я приблизился на шаг: ее невозмутимая наглость передалась и мне. Я уже не глядел ей в глаза, а со знанием дела рассматривал ее с головы до ног, взглядом срывал с нее одежду и мысленно видел ее обнаженной. Она следила за моим взглядом, нисколько не оскорбленная, улыбалась углами рта своему собеседнику, но в этой понимающей усмешке я прочел одобрение. А когда я стал смотреть на ее маленькую изящную ступню, выглядывавшую из-под белого платья, она скользнула взглядом по своему платью и, немного помедлив, как бы случайно поставила ногу на нижнюю перекладину стула, так что я сквозь ажурную юбку видел чулки до колен, и в то же время на ее улыбающемся лице, обращенном к спутнику, появилось выражение насмешливого лукавства. Очевидно, она заигрывала со мной так же бесстрастно, как я с ней, и я со злобой должен был признать, что она в совершенстве владеет техникой этой рискованной игры; ибо, как бы невзначай разжигая мое любопытство, она в то же время внимательно слушала нашептывание своего спутника, но делала и то, и другое с полным равнодушием. Меня это возмущало, потому что это холодное, злостно-расчетливое кокетство было мне ненавистно в других, так как я чувствовал его столь кровосмесительно-близкое родство с моею собственной бесчувственностью. Но все же я загорелся, быть может в большей мере от ненависти, чем от влечения к этой женщине. Я подошел к ней и нагло посмотрел ей прямо в глаза. «Я хочу тебя, красивое животное», — недвусмысленно говорил мой взгляд, и, вероятно, губы мои невольно шевельнулись, потому что она улыбнулась чуть презрительной улыбкой и, отвернувшись,

оправила платье. И тут же ее черные глаза опять оживленно забегали по сторонам. Было совершенно ясно, что она так же холодна, как и я, что она достойный меня партнер и что каждый из нас играет пылом другого, который тоже всего лишь бутафорский огонь, однако радует глаз и помогает убить время.

Но вдруг оживление исчезло с ее лица, блеск в глазах погас, досадливая складка легла около только что улыбавшегося рта. Я проследил за ее взглядом: невысокого роста толстый господин, в мешковатом костюме, торопливо шел к ней, вытирая на ходу вспотевшее лицо. Из-под шляпы, второпях надетой набекрень, видна была сбоку большая плешь (я невольно подумал, что под шляпой его лысина, должно быть, усеяна крупными каплями пота, и почувствовал отвращение к этому человеку). Его униженные перстнями пальцы сжимали целую пачку билетов, и, отдуваясь от волнения, он тотчас же, не взглянув на жену, громко заговорил по-венгерски с офицером. Я сразу угадал в нем страстного любителя конного спорта; вероятно, это был какой-нибудь крупный барышник, для которого весь смысл жизни заключался в тотализаторе. Его жена, видимо, сделала ему замечание (его присутствие явно стесняло ее, и она утратила свою дерзкую самоуверенность), ибо он поправил шляпу, потом добродушно рассмеялся и покровительственно похлопал ее по плечу. Она гневно вздернула брови, негодуя на такую супружескую бесцеремонность, корбившую ее в присутствии офицера, а быть может, еще больше в моем. Он как будто извинился, сказал опять по-венгерски несколько слов офицеру, на что тот ответил, любезно осклабясь, а потом нежно и несколько робко взял жену под руку. Я понимал, что она стыдится своего мужа, и наслаждался ее унижением со смешанным чувством насмешки и брезгливости. Но она уже опять овладела собой и, мягко опершись на его руку, бросила иронический взгляд в мою сторону, как бы говоря: «Видишь, вот кому я принадлежу, а не тебе». Мне было и досадно, и противно. Больше всего мне хотелось повернуться к ней спиной и уйти, чтобы показать ей, что супруга столь вульгарного толстяка не может меня интересовать. Но соблазн был слишком велик. Я остался.

В эту минуту послышался пронзительный сигнал старта, и сразу вся болтающая, лениво прогуливающаяся разрозненная толпа всколыхнулась и опять в едином порыве хлынула к барьеру. Она чуть было не увлекла меня за собой, но я непременно хотел как раз в общей суматохе оказаться поближе к этой женщине в надежде, что представится случай для решающего взгляда, жеста, какой-нибудь смелой выходки, какой именно — я еще и сам не знал, и поэтому я упорно проталкивался к ней. Ее супруг тоже с ожесточением протискивался вперед, видимо стремясь захватить место получше, подле трибуны, и мы вдруг, под напором толпы, так сильно столкнулись друг с другом, что у него упала шляпа и засунутые за ее ленту билеты разлетелись во все стороны, словно красные, синие, желтые и белые мотыльки. Он сердито посмотрел на меня. Я уже хотел извиниться, но какое-то злое побуждение зажало мне рот; мало того, я глядел на него холодно, даже с дерзким, оскорбительным вызовом.

Взгляд его на секунду вспыхнул от едва подавляемой ярости, но тут же малодушно погас перед моим. С безответной, почти трогательной робостью он поглядел мне в лицо, потом отвернулся, вспомнил про свои билеты, поднял шляпу и начал собирать их.

Его жена, выпустив руку мужа, с нескрываемой злобой, вся красная от волнения, сверкнула на меня глазами, а я внутренне ликовал, видя, что ей страстно хочется побить меня. Но я продолжал безучастно стоять на том же месте и с небрежной улыбкой наблюдал, как толстяк, кряхтя и задыхаясь, у самых моих ног подбирал с земли билеты. Когда он нагибался, воротник отставал от шеи, как перья у нахохлившейся курицы, толстая складка жира вздувалась на красном затылке. Невольно я представил себе эту тушу в супружеских объятиях, мне стало противно и смешно, и я, уже не таясь, с ухмылкой посмотрел в ее искаженное гневом лицо. Теперь она была очень бледна и едва владела собою, — наконец-то я вырвал у нее искреннее, подлинное чувство: ненависть, необузданный гнев! Я с удовольствием продлил бы эту нелепую сцену до бесконечности, с холодным злорадством следя за тем, как мучается толстяк, подбирая билеты один за другим. Какой-то проказливый бесенок сидел у меня в горле, все время хихикавший и едва удерживавшийся от смеха, — мне очень хотелось громко расхохотаться или потыкать тростью ползающего у моих ног толстенького человечка; я даже не припомню, чтобы мною когда-нибудь владела такая неудержимая злоба, как в ту минуту полного торжества над этой дерзкой, самоуверенной женщиной.

Но вот бедняга собрал наконец все свои билеты, кроме одного, синего, который отлетел подальше и лежал у самой моей ноги. Он, отдуваясь, поворачивался во все стороны, ища его своими близорукими глазами, пенсне съехало на самый кончик покрытого капельками пота носа, и я коварно воспользовался этой секундой, чтобы продлить его смешившие меня поиски, с озорством расшалившегося школьника я быстро выставил ногу и прикрыл синюю карточку: теперь, вопреки всем усилиям, он не нашел бы ее, и я мог заставить его искать, сколько мне заблагорассудится. И он искал, искал неутомимо, посапывая, пересчитывая вновь и вновь разноцветные карточки; ясно было, что одной — моей — не хватает, и когда среди все сгущавшейся толпы он хотел опять приняться за поиски, его жена, которая, кусая губы, упорно отворачивалась от моих насмешливых взглядов, не выдержала и дала волю своему гневу.

— Лайош! — властно крикнула она, и он встрепенулся, как лошадь при звуке трубы, еще раз поискал глазами на земле — мне даже стало щекотно от спрятанного под подошвой билета, и я с трудом подавил смех, — потом смиренно повернулся к жене, и та, с подчеркнутой поспешностью, повлекла его прочь от меня в самую гущу людского водоворота.

Я остался на месте, не испытывая ни малейшей охоты следовать за ними. Эпизод был для меня закончен, комическая развязка заглушила мимолетное желание, от увлечения игрой не осталось ровно ничего, кроме приятного ощущения сытости: я утолил свою внезапно прорвавшуюся злобу и чрезвычайно гордился тем, что моя проделка

удалась. Впереди уже была давка, возбужденная толпа, словно мутный вспененный вал, хлынула к барьеру, но я даже не смотрел в ту сторону; мне уже становилось скучно, и я раздумывал над тем, прогуляться ли по соседнему парку или поехать домой. Но едва лишь я сделал шаг, как заметил синий билет, валявшийся на земле. Я поднял его и небрежно вертел в руках, не зная, куда его девать. У меня мелькнула было мысль возвратить его Лайошу, что послужило бы превосходным предложением для знакомства с его женой; но она несколько уже меня не занимала, а интерес, который возбудило во мне это маленькое приключение, давно сменился моим обычным равнодушием. Большого, чем такой немой поединок, обмен откровенными взглядами, я не требовал от супруги Лайоша,—я потешился этой игрой, и теперь осталось только легкое любопытство, приятное отдохновение.

Стул, который я уступил ей, стоял все там же, покинутый и одинокий. Я уселся поудобней и закурил. Передо мной опять бушевали страсти, но я даже не прислушивался: повторения меня не увлекали. Я лениво следил за дымком моей папиросы и думал о водопаде в Мерано, который я видел два месяца тому назад. Это было совсем как здесь: бурный, стремительный поток, от которого никому ни тепло, ни холодно, бессмысленное гроыхание среди тихого голубого пейзажа. Но вот возбуждение толпы достигло апогея, снова над мутным людским прибоем зашлепали зонтики, шляпы, носовые платки, и снова все слилось в едином вопле, и снова из гигантской пасти толпы вырвалось одно тысячекратно повторенное имя. Его выкрикивали с ликованием, с восторгом, с торжеством, с отчаянием: «Кресси! Кресси! Кресси!» И снова, точно натянутая струна, крик оборвался (как однообразны даже страсти, когда они повторяются). Заиграла музыка, толпа расходилась. Подняли щиты с номерами победителей. Я безотчетно взглянул на них. На первом месте стояла семерка. Машинально посмотрел я на синий билет, забытый в руке. На нем тоже была семерка.

Я невольно рассмеялся. Билет выиграл, милейший Лайош угадал верно. Итак, помимо всего прочего, я еще и обобрал толстого супруга; сразу вернулось ко мне проказливое настроение, теперь меня разбирало любопытство—во сколько же обошлось ему мое ревнивое вмешательство? В первый раз присмотрелся я к синей карточке: билет был в двадцать крон, и Лайош ставил в ординаре. Это сулило приличную сумму. Не долго думая, из одного только любопытства, я присоединился к толпе, ринувшейся по направлению к кассам. Я втиснулся в одну из очередей, предъявил билет, и костлявые проворные руки человека, чье лицо мне даже не было видно, отсчитали на мраморную доску девять кредиток по двадцать крон.

В ту минуту, когда мне выложили выигрыш—настоящими, наличными деньгами,—смех замер у меня в горле. Мне сразу стало не по себе. Невольно я отдернул руку, чтобы не притронуться к чужим деньгам. Охотнее всего я оставил бы эти кредитки на доске, но за мною уже теснились люди, нетерпеливо ждавшие выигрыша. Итак, мне пришлось взять эти деньги; я с отвращением поднял банкноты,

они жгли мне пальцы, словно язычки пламени, и я даже руку отставил подальше от себя, как будто и она принадлежала не мне. Я тотчас понял всю безвыходность моего положения. Против моей воли шутка приняла оборот, не приличествующий порядочному человеку, джентльмену, и я самому себе не решился назвать свой поступок надлежащим именем. Ибо это были не сокрытые, а хитростью выманные, украденные деньги.

Вокруг меня жужжали голоса, люди, толкаясь, продирались к кассам или отходили от них. Я все еще стоял столбом, далеко отведя от себя руку. Что же мне делать? Прежде всего я подумал о самом простом и естественном: разыскать владельца билета, извиниться и отдать ему деньги. Но это было невозможно, особенно в присутствии того офицера. Я ведь был лейтенант запаса и за такое признание немедленно заплатил бы чином; ибо, пусть бы даже я случайно нашел билет, получение денег было недостойным поступком. Я подумал также о том, не уступить ли мне инстинктивному желанию — скомкать бумажки и бросить их, однако и это могло кому-нибудь показаться подозрительным. Но я ни за что, ни на одну минуту не хотел оставлять у себя чужие деньги, тем более прятать их в бумажник, хотя бы и с мыслью подарить их кому-нибудь: привитое с детства, вместе с привычкой к чистому белью, чувство опрятности восставало против прикосновения к этим кредиткам. Отделаться, только бы отделаться от этих денег, стучало у меня в висках, любым способом, только бы отделаться! Невольно я стал растерянно озираться по сторонам, высматривая, нет ли какого-нибудь укромного уголка, где я мог бы выбросить деньги, и вдруг я заметил, что люди уже опять проталкиваются к кассам, но теперь уже с деньгами в руках. Тут меня осенило: вернуть деньги коварному случаю, который мне подкинул их, сунуть их обратно в прожорливую пасть, которая жадно поглощала на моих глазах новые ставки — серебро и банкноты. Да, это выход, это поистине избавление!

Я рванулся с места, подбежал к кассам, вклинился в очередь. Только два человека стояли передо мной, первый уже подошел к окошку, когда я вдруг сообразил, что даже не знаю, какую лошадь назвать. Я стал напряженно прислушиваться к разговорам вокруг.

— На Равахоля ставите? — спрашивал один.

— Разумеется, на Равахоля, — отвечал другой.

— Вы думаете, у Тедди нет шансов?

— У Тедди? Ни малейших. Он в гандикапе совсем сплеховал. Тедди просто блеф.

Как умирающий от жажды глотает воду, так я упивался этими словами. Итак, Тедди безнадежен, Тедди не может победить. Тотчас же я решил поставить на него. Я сунул деньги в окошко, назвал только что впервые услышанное имя Тедди, прибавив «в ординаре»; чья-то рука бросила мне билеты. Я сделался обладателем девяти карточек вместо одной. Это тоже было неприятно, но все же не так мерзко и унизительно, как держать в руках шелестящие кредитки.

У меня опять стало легко и спокойно на душе; от денег я отделался, покончил с неприятной стороной приключения, и оно опять

приняло характер безобидной шутки. Усевшись на тот же стул, я невозмутимо курил сигарету, пуская кольца дыма. Но мне не сиделось на месте; я вставал, ходил взад и вперед, опять опускался на стул. Удивительное дело: блаженный, мечтательный покой исчез без следа. Какая-то непонятная тревога овладела мной. Сначала я думал, что это неприятное чувство вызвано опасением увидеть Лайоша и его жену среди проходивших мимо людей; но как могли бы они догадаться, что эти новые белые с красным билеты принадлежат им? Не мешала мне и суетливая, взволнованная публика; напротив, я внимательно следил, не начинает ли она уже опять тесниться к барьеру, и даже поймал себя на том, что поминутно встаю со стула и ищу глазами флажок, который поднимают перед началом заезда. Так вот оно что — просто лихорадочное нетерпение, охватившее меня в ожидании старта, потому что мне хотелось, чтобы эта нелепая история поскорее кончилась.

Мимо пробегал мальчишка с афишами. Я окликнул его, купил афишу и принялся разбирать непонятный, написанный на спортивном языке текст, пока не набрел наконец на Тедди; я узнал фамилию жокея, владельца конюшни и цвета — красный и белый. Но зачем мне это? Я со злостью скомкал листок и отшвырнул его, встал со стула, опять сел. Меня вдруг бросило в жар — пришлось вытереть платком влажный лоб, воротник стал тесен. Заезд все еще не начинался.

Наконец раздался звонок, толпа ринулась вперед, и в этот миг я с ужасом почувствовал, что этот звон, точно будильник, вырвал меня из дремотного оцепенения. Я так порывисто вскочил, что стул опрокинулся, и поспешил — нет, побежал сломя голову, крепко сжимая в кулаке билеты, и врезался в толпу, словно я страшно боялся опоздать, упустить что-то чрезвычайно важное. Грубо работая локтями, я протолкался к барьеру и нахально рванул к себе стул, на который собиралась сесть одна дама. Все неприличие моего поведения я сразу понял по ее изумленному взгляду — это была моя хорошая знакомая, графиня Р., и она с гневом смотрела на меня, высоко подняв брови; но из стыда и упрямства я холодно отвернулся и вскочил на стул, чтобы лучше видеть дорожку.

Где-то далеко на зеленом поле сгрудилась у старта небольшая кучка рвавшихся вперед лошадей, которых с трудом сдерживали маленькие, пестрые, похожие на паяцев, жокеи. Я пытался разглядеть среди них моего, но глаз у меня был ненаметанный; какой-то мерцающий туман мешал мне, и я не мог различить среди многоцветных пятен красный и белый цвет. Раздался второй звонок, и, как семь пестрых стрел, пущенных с одной тетивы, лошади вылетели на дорожку. Для спокойного наблюдателя это было, вероятно, необыкновенно красивое зрелище. Стройные животные бешеным галопом неслись по зеленой траве, едва касаясь копытами земли, но я ничего не замечал, я только делал отчаянные попытки узнать мою лошадь, моего жокея и проклинал себя за то, что не захватил бинокля. Как я ни изгибался, как ни вытягивался, я только видел не то четыре, не то пять пестрых козьяков, слившихся в один летящий клубок; но вот

на повороте сплошной клубок начал растягиваться, образуя клин, острый конец выдвинулся вперед, а позади уже отделилось несколько отставших лошадей. Борьба шла ожесточенная: три или четыре лошади, распластавшись в галопе, шли голова в голову, и казалось, что это разноцветные бумажные полоски, наклеенные рядом; лишь иногда то одна, то другая, сделав бросок, чуть вырывалась вперед. И я вытягивался всем телом, судорожно напрягая мышцы, как будто это могло помочь лошадям скакать еще быстрее, еще стремительней.

Вокруг меня росло возбуждение. Некоторые более опытные зрители, вероятно, уже на кривой различили цвета жокеев, потому что над невнятным гулом, словно ракеты, взлетали имена. Подле меня стоял человек, неистово махавший руками, и когда одна лошадиная морда вдруг выставилась вперед, он затопал ногами и дико заорал омерзительно торжествующим голосом: «Равахоль! Равахоль!» Я увидел, что действительно на жокея этой лошади что-то синее, и я пришел в ярость оттого, что не моя лошадь побеждает. Все невыносимее становился пронзительный вопль моего противного соседа: «Равахоль! Равахоль!» Во мне клокотало холодное бешенство, я едва удерживался, чтобы не ударить кулаком по его широко раскрытому черному рту. Меня била лихорадка, я весь дрожал и чувствовал, что рассудок изменяет мне. Но вот другая лошадь почти поравнялась с первой. Может быть, это Тедди, может быть, может быть — и эта надежда снова окрылила меня. И вправду, мне показалось, будто над седлом мелькнул красный рукав, когда жокей хлестнул лошадь по крупу; это мог быть Тедди, это должен, непременно должен быть Тедди! Но почему он его не гонит, негодяй? Хлыстом его! Еще, еще! Вот, вот, догоняет! Полголовы осталось! Почему Равахоль? Равахоль? Нет, не Равахоль! Не Равахоль! Тедди, Тедди! Ну, ну, Тедди! Тедди!

Вдруг я откинулся назад. Что, что это было? Кто тут бесновался? Кто кричал «Тедди! Тедди!» истошным голосом? Да ведь это я сам кричал. И, вопреки охватившему меня безумию, я испугался самого себя. Я хотел сдержаться, овладеть собой, меня мучил стыд. Но я не мог оторвать глаз от обеих лошадей, точно сросшихся друг с другом, и, видимо, действительно Тедди боролся за первое место с гнусным Равахолем, которого я ненавидел лютой ненавистью, потому что вокруг меня поднялся многоголосый, пронзительный визг: «Тедди! Тедди!» — и я, опомнившийся лишь на краткое мгновение, снова обезумел. Тедди должен, обязан победить! И в самом деле, вот, вот из-за скачущей впереди лошади выдвинулась голова другой, сперва только на четверть, а вот и наполовину, а вот уже и шея видна — в этот миг звонко задребезжал звонок и над толпой грянул взрыв: все голоса слились в едином вопле торжества, отчаяния, гнева. На одну секунду желанное имя заполнило весь синий небосвод. Потом крик оборвался, и где-то загремела музыка.

Разгоряченный, весь в поту, с сильно бьющимся сердцем соскочил я со стула. Мне пришлось на минутку присесть — у меня кружилась голова. Ликование, какого я никогда еще не испытывал, охватило меня — неистовая радость от сознания, что случай так рабски подчинился

моему вызову; тщетно пытался я убедить себя, что лошадь выиграла вопреки моей воле, что я хотел проиграть эти деньги. Я сам этому не верил и уже чувствовал зуд во всем теле; что-то толкало меня, и я отлично знал, куда: я хотел ощутить победу, видеть ее, осязать, держать в руках деньги, много денег, перебирать дрожащими пальцами пачку кредиток. Какое-то еще не изведенное ожесточенное вождление овладело мной, и никакой стыд уже не останавливал меня. Едва поднявшись со стула, я побежал к кассе, грубо расталкивая очередь, протиснулся к окошку, чтобы только поскорей, поскорей увидеть деньги, живые деньги. «Невежа!» — проворчал кто-то за моей спиной, но я и не подумал оскорбиться, я весь дрожал от непостижимого лихорадочного нетерпения. Наконец очередь дошла до меня, я жадно схватил пачку кредиток. Я пересчитал их с трепетом и восторгом. В пачке было шестьсот сорок крон.

Я крепко сжимал в руках деньги. Моей первой мыслью было: опять поставить, выиграть еще больше, гораздо больше. Куда девалась моя афиша? Ах, я выбросил ее от волнения! Я озирался по сторонам: где бы раздобыть другую? Но тут я, к своему ужасу, увидел, что толпа вокруг меня редет, растекается по направлению к выходам, кассы закрываются, флаг опустился. Скачки кончились. Это был последний заезд. На мгновение я оторопел. Потом во мне вспыхнул гнев, словно я стал жертвой несправедливости. Я не мог примириться с тем, что теперь, когда мои нервы напряжены до предела, когда впервые за долгие годы кровь так горячо бежит по жилам, что именно теперь наступил конец. Но напрасно я обольщал себя надеждой, что это всего лишь ошибка: все быстрее рассасывалась пестрая людская толпа, и примятая трава уже зеленела между одиночными замешкавшимися зрителями. Наконец я опомнился и понял, что смешно, глупо торчать здесь, а поэтому я взял шляпу — трость я, по-видимому, где-то забыл от волнения — и пошел к выходу. Один из служителей подскочил ко мне, угодливо приподняв фуражку, я назвал ему номер моего фиакра, он крикнул его, сложив рупором руки, и экипаж подкатил к воротам. Я велел кучеру медленно ехать по главной аллее. Ибо как раз теперь, когда мое возбуждение немного улеглось, я предвкушал удовольствие восстановить в памяти все события этого дня.

К воротам подкатил еще один экипаж; я невольно взглянул в ту сторону — и тотчас же отвернулся: в экипаж садилась та самая женщина со своим дородным супругом. Меня они не заметили. Но мне сразу стало гадко, душно, я чувствовал себя пойманным с поличным. Я едва не крикнул кучеру, чтобы он подхлестнул лошадей, только бы поскорее скрыться.

Фиакр мягко скользил на резиновых шипах в веренице других экипажей, которые, словно убранные цветами лодки, плыли, покачиваясь, между зеленых берегов каштановой аллеи, унося свой пестрый груз — разряженных женщин. Воздух был теплый, мягкий, уже чувствовалось первое легкое дуновение вечерней прохлады. Но прежнее блаженно-мечтательное настроение уже не возвращалось: встреча с жертвой моего обмана привела меня в замешательство. Как будто струя ледяного воздуха проникла сквозь щель и сразу охладила мой пыл.

Я сызнова и совершенно трезво обдумал все, что произошло, и просто дивился на самого себя: я, джентльмен, принятый в лучшем обществе, офицер запаса, пользующийся всеобщим уважением, без нужды присвоил найденные деньги, спрятал их в бумажник и вдобавок сделал это с такой алчной радостью, с таким наслаждением, что оправдать мой поступок было невозможно. Я, еще час тому назад безупречный, незапятнанный человек, совершил кражу. Я стал вором. И как бы для того, чтобы напугать самого себя, я вполголоса, безотчетно подделываясь под лад цокающих копыт, произносил свой приговор: «Вор! Вор! Вор! Вор!»

Но странно... Как мне описать то, что произошло со мной? Ведь это так необъяснимо, так необычайно, и все же я знаю, что ничего не придумываю задним числом. Каждая подробность моего душевного состояния, каждый поворот моей мысли запечатлелись у меня в памяти с такой сверхъестественной ясностью, как ни одно событие моей тридцатилетней жизни; и все же я с трудом решаюсь изложить на бумаге эту странную смену ощущений, эти ошеломляющие изгибы мысли, да и сомневаюсь, найдется ли такой писатель или психолог, который сумел бы изложить их в логической последовательности. Я могу только описать все, что я переживал, строго придерживаясь того порядка, в каком это происходило.

Итак, я говорил себе: «Вор, вор, вор». Затем настала какая-то удивительная, точно пустая минута, минута, когда не было ничего, когда я только — ах, как это трудно выразить! — когда я только слушал, прислушивался к себе. Я вызвал самого себя на допрос, предъявил обвинение; теперь подсудимый должен был держать ответ перед судом. И вот я прислушивался — и ничего не услышал. Слово «вор», которое, точно удар хлыстом, должно было, как я ожидал, меня разбудить, а затем ввергнуть в бездну стыда и покаяния, — слово это не вызвало во мне ровно ничего. Я терпеливо ждал несколько минут, я, так сказать, еще ниже пригнулся к самому себе — потому что слишком ясно чувствовал, что под этим упрямым молчанием что-то таится, — и с волнением ждал отклика, ждал, что у меня вырвется крик омерзения, негодования, отчаяния. Но опять-таки не произошло ничего. Никакого отзвука. Еще раз повторил я слово «вор», «вор» — теперь уже громко, чтобы наконец пробудить свою словно оглохшую, оцепеневшую совесть. Но ответа опять не последовало. И вдруг яркий свет молнией озарил сознание, как если бы спичка внезапно вспыхнула над темной ямой, — и я понял, что только хотел почувствовать стыд, но не стыдился, мало того, — что я в самом падении моем по какой-то таинственной причине горд и даже счастлив своей нелепой выходкой.

Как это возможно? Теперь, уже не на шутку испуганный таким неожиданным открытием, я изо всех сил стал противиться этому чувству, но слишком бурно, слишком необузданно поднималось оно во мне. То, что так жарко бродило в крови, был не стыд, не гнев, не гадливость к самому себе, — радость, буйная радость разгоралась ярким огнем, взвивалась дерзкими, озорными языками пламени, ибо я сознавал, что сейчас, в эти минуты, впервые после долгих лет, я опять живу, что мои чувства были только притуплены, но не умерли, что, стало быть,

где-то, под наносами моего равнодушия, все еще текут горячие ключи, и вот когда к ним прикоснулась волшебная палочка случая, они забили высоко, до самого сердца. Значит, и во мне, и во мне, в этой частице живого космоса, еще тлеет таинственное вулканическое ядро всего земного, которое иногда прорывается в вихре неудержимых желаний,— значит, и я живу, и я человек, с пылкими, злыми страстями. Какая-то дверь распахнулась от порыва ветра, какая-то пропасть разверзлась, и я с вожделением вглядывался в то неведомое, что открылось во мне, что и пугало меня, и дарило блаженство. И медленно — между тем как экипаж неторопливо уносил меня сквозь привычный мир светских буржуа — я сходил, ступень за ступенью, в тайники своей души, невыразимо одинокий в этом безмолвном нисхождении, озаренный только поднятым надо мной ярким факелом внезапно возгоревшегося сознания. И в то время как вокруг меня бурлила тысячная толпа смеющихся, болтающих людей, я искал самого себя, свое потерянное «я», волшебной силой памяти воскрешая минувшие годы. Давно забытые происшествия внезапно глянули на меня из запыленных и потускневших зеркал моей жизни, я вспомнил, что уже однажды, еще в школе, украл перочинный ножик у товарища и с таким же злорадством смотрел, как он его повсюду ищет, всех спрашивает и не может успокоиться; я понял вдруг смутную, как бы предгрозовую тревогу иных часов, проведенных с женщинами, понял, что мои чувства были только изломаны, раздавлены погоней за химерой, за идеалом светского джентльмена, но что и во мне, как во всех людях, только глубоко, очень глубоко, на дне засыпанных колодезь, таится родник жизни. О, я ведь жил всегда, но только не осмеливался жить, я замуровался и спрятался от самого себя; теперь же долго подавляемая сила вырвалась на волю, и жизнь, богатая, неотразимо могучая жизнь одолела меня. И теперь я знал, что еще дорожу ею; изумленный и счастливый, словно женщина, которая впервые чувствует движение ребенка, ощутил я в себе зародыш подлинной — не знаю, как назвать иначе, — истинной, правдивой жизни; я уже считал себя мертвецом, и вот — мне даже совестно этих слов — я вдруг снова расцвел, кровь тревожно и жарко струится по жилам, в благодатном тепле распускаются чувства и зреет неведомый плод, наливаясь сладостью или горечью. Чудо Тангейзера произошло со мною среди бела дня, между двумя заездами, под тысячеголосый гул праздной толпы: душа моя вострепелась, омертвевший посох зазеленел и покрылся почками.

Из проезжавшей мимо коляски кто-то окликнул меня, приподняв шляпу, — вероятно, я не заметил первого поклона. Я сердито оглянулся, разозленный тем, что мне помешали предаваться своим самоощущениям, разбудили от не изведенного доселе сладостного глубочайшего сна. Но, взглянув на того, кто мне поклонился, я весь похолодел. Это был мой друг Альфонс, когда-то милый школьный товарищ, а теперь прокурор. Меня сразу пронзила мысль: этот человек, дружески тебя приветствующий, впервые имеет власть над тобой; стоит ему проведать о твоём поступке — и ты в его руках. Знай он, кто ты и что ты сделал, — и он вытащит тебя из этого фиакра, вырвет из добропорядочного, благополучного существования и столкнет на несколько лет

в мрачный мир за решетчатыми окнами, к отбросам жизни, к другим вора́м, которых только бич нужды загнал в душные, грязные камеры! Но леденящий страх лишь на один миг схватил меня за дрожащую руку, лишь на миг остановил биение сердца, потом и эта мысль, вспыхнув огнем, разожгла во мне необузданную дерзновенную гордость, с высоты которой я самоуверенно и почти насмешливо мерил взглядом окружающих меня людей. Как застыла бы у вас на губах улыбка, думал я, ваша ласковая, дружественная улыбка, которой вы приветствуете во мне человека своей среды, если бы вы догадались, кто я такой! словно юмок грязи, смахнули бы вы мой поклон брезгливым движением руки. Но прежде чем вы меня отвергли, я уже вас отверг: сегодня я выбросился из вашего окостенелого мира, где был бесшумно вертевшимся колесиком огромной машины, которая равнодушно стучит своими поршнями и суетно вращается вокруг своей оси,— я прыгнул в пропасть, не ведая ее глубины, но в этот единственный час я лучше узнал жизнь, чем за все годы, прожитые под стеклянным колпаком. Я уже не ваш, не с вами, я где-то вне вас, на вершине или на дне пропасти, но только не на плоском побережье вашего мещанского благополучия. Я впервые испытал все, чем человеку дано наслаждаться и в добре, и во зле, но никогда вы не узнаете, где я был, никогда меня не постигнете: люди, что знаете вы о моей тайне?

Как передать чувства, владевшие мной, когда я, по виду выложенный светский щеголь, любезно раскланиваясь и отвечая на поклоны, катил в потоке экипажей. Ведь между тем как я, под личиной моего прежнего внешнего обличья, по привычке еще замечал знакомые лица, в душе моей гремела такая неистовая музыка, что я с трудом удерживал готовые вырваться ликующие звуки. Мое сердце было так переполнено, что я физически страдал от этого и, задыхаясь, прижимал руку к груди, чтобы унять мучительную боль. Но будь то боль, радость, страх — я ничего не ощущал обособленно, в разрыве, все было сплавлено воедино; я знал только одно: что я живой, чувствующий человек, и это простейшее изначальное знание, которого я был лишен многие годы, пьянило меня. Ни разу, ни на минуту, за все тридцать шесть лет моей жизни, не упивался я так полнотой своего бытия, как в тот час.

Слабый толчок — экипаж остановился; кучер натянув вожжи, повернулся на козлах и спросил, ехать ли домой. Я очнулся, взглянул на аллею — и опешил, увидев, как долго я грезил, как много времени пробыл в забытии. Стемнело; верхушки каштанов тихо шевелились, вечерняя прохлада была напоена их ароматом. За ними уже серебрился туманный лик луны. Пора, пора кончать — но только не ехать домой, не возвращаться в мой привычный мир! Я расплатился с кучером. Когда я достал бумажник и взял в руку кредитные билеты, то словно слабый электрический ток пробежал у меня от запястья до кончиков пальцев; стало быть, что-то еще оставалось во мне от прежнего человека, который стыдился этих денег. Еще дрогнула умирающая совесть джентльмена, но рука моя уже спокойно отсчитывала краденые бумажки, и я, на радостях, не поскупился. Кучер так горячо благодарил меня, что я невольно усмехнулся: если бы ты знал! Лю-

шади тронули, фиакр отъехал. Я смотрел ему вслед, как с палубы корабля бросаешь прощальный взор на берег, где ты был счастлив.

Я стоял в нерешительности среди говорливой, веселой, заливаемой звуками музыки толпы; было, вероятно, около семи часов, и я машинально свернул к Захеру, где обычно после прогулок по Пратеру ужинал в большой компании; очевидно, именно поэтому кучер ссадил меня здесь. Я подошел к решетчатым воротам фешенебельного летнего ресторана и уже взялся было за кольцо, но что-то остановило меня: нет, я не хотел возвращаться в свой мир, не хотел растратывать в пустых разговорах то новое, неизведанное, что бродило во мне, не хотел расценивать чары, во власти которых находился уже несколько часов.

Откуда-то приглушенно доносились нестройные звуки музыки, и я невольно пошел в ту сторону, потому что все манило меня сегодня; я с наслаждением отдавался на волю случая, и в этом бесцельном блуждании по многолюдным аллеям парка была для меня какая-то неизъяснимая прелесть. Кровь быстрее бежала по жилам в этом густом, кипящем человеческом месиве, все чувства были обострены, и я с волнением вдыхал едкий, чадный запах человеческого дыхания, пыли, пота и табака. Ибо все то, что прежде, еще вчера, отталкивало меня, что представлялось мне вульгарным, пошлым, плебейским, что я всю жизнь презирал с высокомерием выхоленного джентльмена,— все это теперь манило меня, я как бы впервые ощутил свое кровное родство с толпой, близость к их грубым, первобытным инстинктам. Здесь, среди городских подонков, среди солдат, горничных, бродяг по какой-то необъяснимой причине я чувствовал себя необыкновенно хорошо; я с жадностью вдыхал все запахи, толкотня и давка были мне приятны, и я с нетерпеливым любопытством ждал, куда меня, безвольного, занесет случай. Все ближе подходил я к месту народного гуляния, все громче раздавались звуки барабанов и труб, шарманки с фанатичным упорством наяривали польки и вальсы, из балаганов доносился шум и треск, взрывы хохота, пьяные выкрики, а между деревьями уже мелькали яркие огни с детства знакомой карусели. Я остановился посреди площадки, предоставляя этому столпотворению заливать меня, наполнять мне уши и глаза: эти каскады шума, эта адская свистопляска успокаивали меня, потому что в этом хаосе было нечто, заглушавшее мою внутреннюю бурю. Я смотрел, как служанки, в раздувающихся платьях, визжа от восторга, взлетали на качелях под самое небо; как приказчики мясных лавок с хохотом опускали тяжелые молоты на силомеры; как зазывалы с обезьянними ужимками покрывали хриплыми криками рев шарманок, и как все это в едином вихре сливалось с тысячеголосой кипучей жизнью толпы, опьяненной громом духового оркестра, мельканием огней, своим собственным праздничным весельем. Теперь, когда я сам проснулся, я ощущал чужую жизнь, ощущал возбуждение этой накипи большого столичного города, этой толпы, которая, взвинченная собственным многолюдством, на несколько коротких воскресных часов давала волю своим низменным, грубым и все же здоровым и животворным инстинктам. Возбужденные, разгоряченные люди напирали на меня со всех сторон, и мало-помалу я сам заражался их безудержным весельем; острые,

пряные запахи, нестройный гул голосов, режущая слух музыка — все это, как всегда при слишком сильных ощущениях, раздражало нервы и одурманивало сознание. Впервые за много лет, быть может за всю жизнь, ощутил я человеческую массу, ощутил людей как силу, которая сообщала жизнеспособность и моему собственному обособленному «я». Какая-то плотина была прорвана, живые струи забили между мной и окружающим миром, и меня охватило страстное желание разрушить последнюю преграду, отделявшую меня от него, слиться воедино с этим неведомым, бурлившим вокруг меня человеческим морем. С вожделением мужчины влекся я к лону этого гигантского тела, с вожделением женщины томился в ожидании любой ласки, любого зова, любых объятий. Я знал — во мне была любовь и потребность в любви, какую я испытывал только в далекие отроческие годы. О, только бы ринуться туда, в живую плоть толпы, приобщиться к ее бьющей через край жизненной силе, только бы влить свою кровь в ее кровь; стать совсем ничтожным, совсем безыменным в этой сутолоке, быть всего лишь инфузорией в омуте мира, трепещущей светящейся тварью среди мириад подобных мне существ — но только раствориться в этом многолюдье, закружиться в водовороте, сорваться, как стрела с натянутой тетивы, в неведомое, в некий рай человеческой общности.

Теперь, мне ясно: я был тогда пьян. Все горячило кровь — звон колокольчиков на карусели, пронзительное взвизгивание женщин, когда их хватили мужские руки, какофония оркестра и шарманок, шуршание платьев. Каждый звук вонзался в меня и потом еще раз вспыхивал в висках красной обжигающей искрой, я ощущал всеми своими нервами каждое прикосновение, каждый взгляд в отдельности (как при морской болезни) и вместе с тем в каком-то упойтельном единстве. Я не в силах выразить словами мое тогдашнее состояние, — может быть, лучше всего это сделать при помощи примера: я был переполнен шумом, ощущениями, словно машина, бешено работающая колесами, чтобы избежать чудовищного давления, от которого вот-вот разорвется ее котел. В кончиках пальцев вздрагивала, в висках стучала, горло давила кипевшая кровь — после многолетней спячки я без перехода очутился во власти лихорадочного возбуждения. Я чувствовал, что должен вырваться из замкнутого круга каким-нибудь словом, взглядом, должен приобщиться, отдаться, стать таким, как все, раствориться в этой теплой, зыбкой, живой стихии, взломать преграду молчания, которая отделяла меня от людей. Много часов я ни с кем не говорил, не сжимал ничьей руки, ни с кем дружески не встречался глазами, и теперь, потрясенный всем случившимся со мной, я больше не мог выносить молчания. Никогда, никогда не испытывал я такой потребности в общении, в общении с человеком, как теперь, когда меня несли волны многотысячной толпы, когда я ощущал ее тепло, слышал ее говор и все же не жил с нею одной жизнью. Я был словно человек, умирающий в море от жажды. И при этом я видел — и это усугубляло мою муку, — как справа и слева от меня непрерывно завязывались узы, как чужие люди мгновенно и весело объединялись, словно сливающиеся шарики ртути. С завистью смотрел я на молодых парней, которые мимоходом заго-

варивали с незнакомыми девушками и тут же брали их под руку; все тянулись друг к другу: достаточно было обменяться на ходу взглядами или приветствиями перед каруселью, и чужие люди вступали между собой в разговор, быть может для того, чтобы через несколько минут разойтись, но все же это было связью, соединением, сопряжением, было тем, к чему я рвался всем своим существом. Искушенный в светской болтовне, всеми любимым собеседник, уверенный в себе завсегдатай гостиных, я дрожал от страха, я решался заговорить с одной из этих широкобедрых служанок, боясь, что она высмеет меня, мало того — я опускал глаза, когда кто-нибудь случайно смотрел на меня, а душа изнывала от тоски по единому слову. Я и сам толком не знал, чего хочу от людей, мне только стало невыносимо мое одиночество, невыносима сжигающая меня лихорадка. Но все взоры скользили мимо, ни один не задерживался на мне, точно меня и не было. Внимание мое привлек мальчуган, оборвыш лет двенадцати; глаза его ярко горели отражением огней, с таким восторгом смотрел он на кружившихся деревянных лошадок! Маленький рот его был полуоткрыт, словно от жажды; очевидно, у него кончились деньги, сам он уже не мог кататься и теперь наслаждался чужим смехом и визгом. Я протолкался к нему и спросил — но почему у меня при этом так дрожал и срывался голос? «Не хотите прокатиться еще разок?» Он испуганно вскинул на меня глаза, — почему, почему он испугался? — покраснел как рак и убежал, не сказав ни слова. Даже босоногий ребенок — и тот не захотел быть мне обязанным радостью. Значит, ду-мал я, есть во мне что-то ужасающе чуждое, если я никак не могу с ними слиться и одиноко плыву в густой толпе, точно капля масла на поверхности воды.

Но я не сдавался; я больше не мог быть один. Лакированные ботинки жгли ноги, в горле першило от пыли и чада. Я оглянулся по сторонам: справа и слева, среди людского потока, виднелись зеленые островки — трактиры под открытым небом, с красными скатертями и некрашеными деревянными скамьями, где за кружкой пива, поку-ривая воскресную сигару, сидел мелкий городской люд. Эта картина прельстила меня: здесь собрались незнакомые друг с другом люди, они непринужденно беседовали между собой. Здесь можно было немного отдохнуть от дикого шума. Я вошел, осмотрелся и выбрал стол, который занимало целое семейство — плотный, коренастый ремеслен-ник, жена, две улыбающиеся девочки и маленький мальчик. Они рас-качивались в такт музыке, перебрасывались шутками, и от их до-вольных, жизнерадостных лиц на меня пахло уютom. Я вежливо поклонился, тронул спинку свободного стула и спросил, можно ли к ним подсесть. Смех сразу оборвался, на миг все приумолкли (словно каждый ждал, чтобы другой изъясил согласие), потом женщина не-сколько смущенно сказала: «Пожалуйста!»

Я сел и сразу же почувствовал, что нарушил своим присутствием их непринужденное веселье, потому что за столом тотчас же воцарилось неловкое молчание. Я не решался поднять глаза от красной клетчатой скатерти, на которой были рассыпаны соль и перец: я чувствовал, что все они с удивлением рассматривают меня, и тут я понял — увы,

слишком поздно, — что я чересчур хорошо одет для этого простонародного трактира: элегантный костюм, парижский цилиндр и жемчужная булавка в голубовато-сером галстуке; я понял, что мой наряд, весь мой облик, свидетельствующий о праздной роскоши, и здесь создал вокруг меня атмосферу враждебности и сматения. Безмолвие всего семейства пригубило меня все ниже к столу, я с ожесточением все снова и снова пересчитывал красные клетки скатерти, пригвожденный к месту мучительным сознанием, что неловко вдруг встать и уйти, и вместе с тем не имея мужества поднять на соседей глаза. Я вздохнул с облегчением, когда наконец появился кельнер и поставил передо мною массивную кружку с пивом. Теперь я мог по крайней мере шевельнуть рукой и, прихлебывая пиво, искоса взглянуть на них поверх края кружки. И в самом деле, все пятеро наблюдали за мною, правда без ненависти, но все же с немимым изумлением. Они признали во мне чужака, вторгшегося в их скромный мир, почуствовали своим здоровым классовым инстинктом, что я ишу здесь чего-то чуждого моему миру, что не любовь, не склонность, не простодушное желание послушать музыку, выпить пиво, приятно провести воскресный день заманило меня сюда, а какое-то стремление, которого они не понимали и которого опасались, — так же, как мальчик у карусели испугался моего подарка, как тысячи безыменных созданий, толпившихся на гулянии, с безотчетным недоверием сторонились меня. И все же я знал: если бы у меня нашлось для них простое, безобидное, сердечное, поистине человеческое слово, то отец или мать мне ответили бы, дочери приветливо улыбнулись, я мог бы пойти с мальчиком в соседний тир, пострелять там, поребачиться с ним. В какие-нибудь пять, десять минут я избавился бы от самого себя, вступил бы в бесхитростную, непринужденную беседу, завоевал бы их доверие, может быть, они были бы даже слегка польщены; но я не находил этого простого слова, этого повода для вступления в разговор; ложный, бессмысленный, но непреодолимый стыд сжимал мне горло, и я сидел, опустив глаза, словно преступник, за столом этих простых людей, терзаясь мыслью, что своим угрюмым молчанием испортил им последний час воскресного отдыха. Это было возмездие за все те годы, когда я с равнодушным высокомерием проходил мимо тысяч таких столов, мимо миллионов своих ближних, занятый только погоней за благоволением и успехом в узком светском кругу; теперь, чувствуя себя отверженным, я нуждался в людях, но между ними и мною была стена, она отрезала к ним путь, и я знал, что это — моя вина.

Так я сидел, дотоле свободный человек, терзаясь и томясь, все наново пересчитывая красные квадраты на скатерти, пока наконец опять не пришел кельнер. Я подозвал его, расплатился и, оставив кружку почти полной, встал и вежливо поклонился. На мой поклон мне ответили вежливо, с удивлением; я знал, не оглядываясь, что теперь, чуть только я повернулся спиной, к ним возвратятся жизнерадостность и веселье, круг задушевной беседы опять замкнется, исторгнув чужеродное тело.

Я снова кинулся, но с еще большею жадностью, горячностью и отчаянием, в людской водоворот. Под деревьями, которые черными си-

луэтами поднимались в небо, уже редела толпа, вокруг ярко освещенной карусели уже не было такой давки и толкотни; люди расходились с площадки. Непрерывный многоголосый гул дробился теперь на множество отдельных звуков, которые мгновенно тонули в оглушительном громе оркестра всякий раз, как с какой-нибудь стороны опять начинала греметь музыка, словно пытаясь удержать бегущих. Изменился и облик толпы: подростки с воздушными шарами и пакетиками конфетти уже ушли домой, исчезли и почтенные-семьи со стайками детей. Теперь слышались пьяные выкрики, из боковых аллей развинченной и все же крадущейся походкой выходили оборванцы; за тот час, что я просидел, пригвожденный к чужому столу, этот своеобразный мир стал грубее, низменней. Но именно эта двусмысленная атмосфера, вызывавшая ощущение подстерегающей опасности, была мне больше по душе, чем прежняя, празднично-мещанская: я чуял в ней то же нервное напряжение, ту же жажду необычайного, которой томился и я. В этих слоняющихся подозрительных фигурах, в этих выброшенных из общества отверженных я видел отражение самого себя: ведь и они с тревожным любопытством ожидали яркого приключения, острого переживания, и даже им, этим проходимцам, завидовал я, глядя, как свободно, уверенно они двигаются; ибо я стоял, прислонившись к столбу карусели, тщетно пытаюсь сбросить гнет молчания, вырваться из своего одиночества, не в силах шевельнуться, исторгнуть из себя хоть слово. Я только стоял и смотрел на площадку, освещенную мелькающими огнями карусели, стоял, вглядываясь в окружающий мрак со своего островка света, в бессмысленной надежде ловя взгляды проходивших мимо людей, когда они, привлеченные яркими фонарями, поворачивались в мою сторону. Но никто не замечал меня, никто не нуждался во мне, не хотел избавить от тоски.

Я знаю, безумием было бы думать, будто можно рассказать — а объяснить и подавно, — как это случилось, что я, светский человек, с изысканным вкусом, богатый, независимый, имеющий связи в лучшем обществе столицы, битый час простоял в тот вечер у столба неустанно вертевшейся карусели, пропуская мимо себя двадцать, сорок, сто раз одни и те же дурацкие лошадиные морды из крашеного дерева, под визгливые фальшивые звуки одних и тех же спотыкающихся полек и ползучих вальсов, и не трогался с места из ожесточенного упрямства, из сумасбродного желания подчинить судьбу своей воле. Я знаю, что поступал нелепо, но в этом нелепом сумасбродстве был такой напор чувств, такое судорожное напряжение всех мышц, какое, вероятно, испытывают люди только при падении в пропасть за секунду до смерти; вся моя впустую промчавшаяся жизнь вдруг хлынула обратно и заливала меня до самого горла. И чем мучительнее была моя упорная неподвижность, безрассудная надежда, что чье-то слово освободит меня, тем большее наслаждение находил я в своих муках. Этим стоянием у столба я искупал не столько совершенную мной кражу, сколько равнодушие, вялость, пустоту своей прежней жизни; и я поклялся себе, что не уйду отсюда, пока не увижу знамения, не получу весть о том, что судьба отпустила меня на волю.

Тем временем надвигалась ночь. Гасли огни то в одном, то в другом

балагане, и всякий раз словно разливающаяся река слизывала пятно света на траве; все пустынное становился освещенный островок, на котором я стоял, и я с трепетом взглянул на часы. Еще четверть часа — и размалеванные деревянные кони перестанут кружиться, красные и зеленые лампочки на их глупых лбах потухнут, умолкнет музыка. Тогда я останусь совсем один во мраке, один в тихо шелестящей ночи, всеми отверженный, всеми покинутый. Все тревожнее поглядывал я на темнеющую площадку, по которой теперь лишь изредка торопливо проходила запоздалая парочка или, пошатываясь, брели подвыпившие парни; но за площадкой, наискосок от меня, еще трепетала жизнь, таинственная и волнующая. Время от времени проходивших мимо останавливал негромкий свист или прищелкивание языком. Тогда они сворачивали в темноту, оттуда слышался шепот, приглушенные женские голоса, иногда ветер доносил взрывы резкого смеха. То там, то сям по краям тускло освещенной площадки выступали какие-то фигуры, которые тотчас скрывались, чуть только в свете фонаря мелькнет остроконечная каска полицейского. Но едва лишь он удалялся, как призрачные тени появлялись снова, и я уже отчетливо видел их силуэты, так близко подходили они к свету; это были самые подонки этого ночного мира, грязь, оставленная пронесшимся людским потоком: проститутки из числа самых убогих и жалких, у которых даже нет своего угла и которые днем спят где-нибудь на полу, а по ночам, понуждаемые голодом или каким-нибудь проходимцем, неустанно бродят здесь в темноте, за мелкую серебряную монету отдавая любому свое истасканное, поруганное, изможденное тело, в вечном страхе перед полицией, — затравленная дичь, сама в свою очередь подстерегающая добычу. Как голодные собаки, выползали они постепенно на свет в поисках запоздалого прохожего, чтобы выманить у него одну или две кроны, выпить на эти деньги в кабаке глинтвейна и поддержать тускло мерцающий огарок жизни, который все равно уже скоро догорит в больнице или тюрьме.

С невыразимым ужасом смотрел я на этот мутный осадок, на эту грязь, осевшую на дно, после того как схлынула праздничная толпа. Но и в этом ужасе была какая-то улада, потому что даже из этого грязнейшего зеркала глянуло на меня давно пережитое и забытое. Через эту глубокую вязкую трясику я некогда прошел, много лет тому назад, и теперь она опять заискрилась в моем сознании фосфоресцирующим светом. Странно, как много открывала мне эта фантастическая ночь! Она снимала с меня все покровы, обнажая самые темные стороны моего прошлого, самые сокровенные мои порывы. Смутные воспоминания вставали из давно минувших отроческих лет, когда взгляд с жадным любопытством трусливо и робко останавливался на таких созданиях; припомнилось, как я впервые поднялся по скрипучей промозглой лестнице, и вдруг, как будто молния разверзла ночное небо, я отчетливо увидел каждую подробность — большую олеографию над кроватью, ладанку, которую она носила на шее, и снова всеми фибрами души почувствовал, как тогда, смутную тревогу, отвращение и первую мальчишескую гордость. Я снова всем своим существом пережил тот далекий час. И — точно пелена упала

с моих глаз — как передать эту беспредельную ясность сознания? — я внезапно понял, что эти существа вызывают во мне такую жгучую жалость, такое острое чувство близости именно потому, что они отбросы жизни, и я, только что совершивший преступление, чутьем угадывал сходство между их голодным блужданием во мраке и моими бесцельными поисками в эту фантастическую ночь, угадывал преступную готовность откликнуться на любой призыв, на любое случайное желание. Меня неодолимо потянуло туда, бумажник с украденными деньгами жег мне грудь, ибо я почувствовал наконец присутствие живых людей, человеческих существ, которые двигались, говорили, ждали чего-то от себе подобных, быть может и от меня, жаждущего отдалиться, снедаемого неистовой тоской по людям. Понял я и то, что лишь в редких случаях мужчину толкает к таким созданиям одно только плотское кипение крови, чаще всего его гонит страх перед одиночеством, перед глухой, разединяющей людей стеной, которую я ощутил сегодня своими обостренными чувствами. Я вспомнил, когда в последний раз безотчетно испытал подобное ощущение: это было в Англии, в Манчестере, в одном из тех шумных городов из железа и стали, что громко гудят под тусклым небом, точно подземная железная дорога, и в то же время обдают человека холодом одиночества, от которого кровь стынет в жилах. Три недели прожил я там у родственников, по вечерам одиноко бродил по барам и клубам, заходил в сверкающий огнями мюзик-холл, только чтобы ощутить хоть немного человеческого тепла. И вот однажды мне встретилось такое создание: я едва понимал ее лондонскую простонародную речь, но вдруг я очутился в чьей-то комнате, видел чужое смеющееся лицо, подле меня было теплое тело, по-земному близкое и живое. Холодный черный город внезапно растаял, исчезла мрачная, кишашая людьми пустыня; случайно встреченное человеческое существо, которого я не знал, которое стояло на улице и поджидало любого прохожего, согрело меня, растопило лед; снова дышалось легко, жизнь излучала мягкий свет посреди стальной тюрьмы. Какое счастье для одиноких, для замкнувшихся в себе чувствовать, знать, что есть прибежище от страха, есть опора, за которую можно удержаться, пусть даже она захватана многими руками, изъедена ржавчиной. И это, именно это я забыл в своем убийственном одиночестве, которым томился в ту ночь, забыл, что где-то, на последнем перекрестке, всегда еще ждут эти последние из последних, готовые принять любой порыв, дать отдых любой тоске, утолить любую страсть — за жалкую плату, слишком ничтожную по сравнению с тем, что они дарят, с великим благом своего человеческого присутствия.

Подле меня опять грянула музыка. В последний раз завертелась карусель, заключительным хороводом огней врезаясь в темноту, возвещая конец воскресенья и начало будней. Но уже не было желающих, лошади без седоков бешено мчались по кругу, усталая кассирша уже сгребала и пересчитывала дневную выручку, и служитель подошел с крюком, дожидаясь последнего тура, чтобы с грохотом опустить железные ставни. Только я, один я все еще стоял, прислонившись к столбу, и смотрел на пустынную площадь, где, словно летучие мыши,

мелькали какие-то тени, ищущие, как я, поджидающие, как я, и все же отделенные от меня непроницаемой стеной. Но вот одна из них, по-видимому, заметила меня, потому что она медленно подошла поближе; я хорошо разглядел ее из-под полуопущенных век: маленькая, кривобокая, золотушная, без шляпы, в безвкусном нарядном платье, из-под которого выглядывали стоптанные балльные туфли; все это было, вероятно, приобретено постепенно у старьевщика и уже вылиняло, смялось от дождя или при каком-нибудь грязном походе под открытым небом. Она подкралась совсем близко, остановилась передо мной, бросая на меня острый, как крючок рыболова, взгляд и в зазывающей улыбке приоткрыв гнилые зубы. У меня перехватило дыхание. Я не мог ни шевельнуться, ни смотреть на нее, ни уйти; я знал, что вокруг меня бродит человек, который чего-то ждет от меня, которому я нужен, что наконец-то я могу единым словом, единым движением сбросить с себя мучительное одиночество невыносимое сознание отверженности. Но я, словно под гипнозом, оставался недвижим, как деревянный столб, к которому я прислонялся, и в каком-то сладостном полубытии чувствовал только — между тем как утомленно замирали последние звуки музыки — это близкое присутствие, эту волю, домогавшуюся меня; и я на мгновение закрыл глаза, чтобы во всей полноте ощутить, как из глубины темного мира меня, словно магнитом, притягивает к себе человеческое существо.

Карусель остановилась, мелодия вальса оборвалась на последнем, стонущем звуке. Я открыл глаза и успел еще заметить, как женщина, стоявшая подле меня, отвернулась. Ей, по-видимому, надоело чего-то ждать от деревянного истукана. Я испугался. Мне стало вдруг очень холодно. Отчего я дал ей уйти, единственному человеку в этой фантастической ночи, который не чурался меня? За моей спиной погасли огни, с грохотом опустились ставни. Конец.

И вдруг — но как описать это даже самому себе? — словно артерия разорвалась в груди и горячая алая кровь хлынула вспененной струей, вдруг из меня, надменного, высокомерного, замкнувшегося в холодном спокойствии светского человека, вырвалось, как немая молитва, как судорога, как крик отчаяния, ребячливое и все же столь страстное желание, чтобы эта жалкая, грязная, золотушная проститутка еще хоть раз оглянулась и дала мне повод заговорить с нею. Ибо пойти за ней мешали мне — не гордость, нет, гордость моя была раздавлена, растоптана, смыта совсем новыми чувствами, — но малодушие и растерянность. И так я стоял трепещущий и смятенный, один у позорного столба темноты и ждал, как не ждал с отроческих лет, когда я однажды вечером стоял у окна и чужая женщина начала не спеша раздеваться и все медлила, не зная, что на нее смотрят; я взывал к богу каким-то мне самому неизвестным голосом о чуде, о том, чтобы эта полукалека, эта жалчайшая из человеческих тварей еще раз повторила свою попытку, еще раз обратила взгляд в мою сторону.

И — она обернулась. Еще один раз, совершенно машинально, оглянулась она на меня. Но в моем напряженном взгляде она, по-видимому, прочла призыв, потому что остановилась, выжидая. Она стала вполоборота ко мне, посмотрела на меня и кивком головы указала на

тень под деревьями. И тут-то наконец я очнулся от мертвящего оцепенения, способность двигаться вернулась ко мне, и я утвердительно кивнул головой.

Безмолвный договор был заключен. Она пошла вперед по полутемной площадке, время от времени оглядываясь, иду ли я за ней. И я шел за ней: ноги уже не были налиты свинцом, я мог переступить ими. Непреодолимая сила толкала меня вперед. Я шел не по своей воле, а словно плыл за нею следом, как будто она влекла меня на незримом канате. Во мраке аллеи, между балаганами, она замедлила шаги. Я поправился с ней.

Несколько секунд она приглядывалась ко мне испытующе и недоверчиво: что-то смущало ее. Очевидно, мое странное поведение, мой наряд, столь неуместный в ночном Пратере, казались ей подозрительными. Она неуверенно озиралась по сторонам, явно колеблясь. Потом сказала, указывая в глубь аллеи, где было темно, как в угольной шахте:

— Пойдем туда. За цирком совсем темно.

Я не мог отвечать ей. Убийственная грубость этой встречи ошеломила меня. Мне хотелось убежать под каким-нибудь предлогом, откупиться от нее, сунув ей монету, но моя воля уже не имела надобной власти. У меня было такое чувство, какое испытываешь, когда мчишься на салазках по крутому снежному скату: сердце замирает от страха, и все же упиваешься стремительным движением и, вместо того чтобы тормозить, с каким-то пьяным, но сознательным восторгом безвольно летишь в пропасть. Я уже не мог повернуть обратно и, быть может, вовсе и не хотел повернуть, и, когда она вплотную подошла ко мне, я взял ее под руку. Рука была худая, словно и не женская, а как у недоразвитого, болезненного ребенка, и едва лишь я ощутил ее сквозь тонкий рукав, меня пронизала размягченная, участливая жалость к этому убогому, раздавленному комочку жизни, который выбросила мне эта ночь. И невольно пальцы мои погладили эти слабые, хрупкие косточки так целомудренно, так почтительно, как я еще никогда не прикасался к женщине.

Мы пересекли тускло освещенную аллею и вошли в рощу, где верхушки густолиственных деревьев, тесно смыкаясь, задерживали душную, дурно пахнущую тьму. Я заметил, хотя уже с трудом различал что-либо в темноте, что она, держась за мою руку, очень осторожно оглянулась, а через несколько шагов — еще раз. И странно: между тем как я в каком-то дурмане, не сопротивляясь, шел навстречу сомнительному приключению, в моем сознании была полная ясность. С зоркостью, от которой ничто не могло укрыться, которая угадывала малейшее движение, я заметил, что позади, у самого края аллеи, какие-то тени скользят за нами следом, и мне даже послышались тихие, крадущиеся шаги. И внезапно — так молния белой вспышкой озаряет местность — я почувал, я понял все: что меня заманивают в западню, что сутенеры этой женщины крадутся за нами и что она ведет меня, в темноте, в какое-то условленное место, где я стану их добычей. Со сверхъестественной ясностью, какая бывает только в мгновения между жизнью и смертью, я видел все, взвешивал все возмож-

ности. Еще было время спастись — с улицы, которая, видимо, пролежала неподалеку, доносился шум травмая, — я мог крикнуть или свистнуть, сбежали бы люди: отчетливо вставали передо мной картины моего бегства, моего спасения.

Но странно — эта осознанная угроза не образумила, а, напротив, еще больше воспламенила меня. Ныне, в трезвую минуту, при ясном свете осеннего дня, я и сам не вполне понимаю, почему я действовал столь нелепо: я знал, знал наверное, что бессмысленно подвергаю себя опасности, но в этом предвкушении таилось для меня какое-то соблазнительное безрассудство. Я предвидел нечто мерзкое, быть может, грозящее смертью, я дрожал от гадливости при мысли, что меня ждет какое-то злодейство, какое-то подлое, грязное приключение, но в моем новом, неизведанном и неожиданном опьянении жизнью сама смерть — и та вызвала во мне какое-то мрачное любопытство. То ли стыд, боязнь обнаружить трусость, то ли расслабление воли, но что-то не давало мне уйти. Меня тянуло окунуться в эту последнюю клоаку жизни, за один-единственный день пустить по ветру, промотать все свое прошлое; какое-то дерзание духа примешивалось к моему низменному, пошлейшему приключению. И хотя я всеми своими нервами чувял опасность, предугадывая ее всеми своими чувствами, своим рассудком, я все же углублялся в рошу, держа под руку уличную девку, которая не только не привлекала меня, но почти отталкивала, и зная, что она ведет меня к своим сообщникам. Но я уже не мог повернуть обратно. После кражи, совершенной мною на скачках, сила тяготения ко всему преступному неудержимо увлекала меня все ниже и ниже. И я уже не ощущал ничего, кроме стремительного падения в какие-то новые бездны и, быть может, в последнюю — в бездну смерти.

Пройдя еще несколько шагов, она остановилась. Опять бросила вокруг неуверенный взгляд. Потом выжидательно посмотрела на меня: — А сколько ты мне подаришь?

Ах, вот что! Об этом я и забыл. Но ее вопрос не отрезвил меня. Напротив. Я ведь только одного и желал — дарить, отдавать, растрачивать себя. Я торопливо сунул руку в карман и выложил на подставленную ею ладонь все серебро и несколько смятых кредиток. И тут случилось нечто до того поразительное, что еще и теперь у меня теплее становится на сердце, когда я вспоминаю об этом: было ли это жалкое создание озадачено размером платы — обычно она получала за свои услуги только гроши, — или ее удивила непонятная порывистая радость, с какой я отдал ей деньги, но только она подалась назад, и сквозь густую, дурно пахнущую тьму я почувствовал, что ее изумленный взгляд ищет моего взгляда. И я испытал наконец то, чего тщетно жаждал весь вечер: кто-то думал обо мне, ждал от меня ответа, впервые во мне видели живого человека. И что именно это отверженное, несчастное существо, предлагавшее, точно товар, свое жалкое, истасканное тело, даже не взглянув на покупателя, что именно она подняла на меня глаза, ища во мне человека, — только усилило мое странное опьянение, в котором ясность сознания сочеталась с бредом, четкая работа мысли с угаром чувств. И вот это чужое мне создание уже прижалось ко мне, но не ради исполнения оплаченной

обязанности; мне почудилась в этом движении какая-то безотчетная признательность, женственное желание близости. Я бережно взял ее за острый локоть, обнял слабое, худое тело — и вдруг увидел всю ее жизнь: чужой грязный угол на окраине города, где она с утра до полудня спит среди кишаших вокруг нее хозяйских детей, увидел сутенера, который бьет ее, пьяных, которые в темноте бросаются на нее, отделение больницы, куда ее приводят, аудиторию клиники, где ее изможденное, больное тело показывают как учебное пособие нахальным молодым студентам, а потом — конец в какой-нибудь деревенской общине на ее родине, где ее поселят и оставят околевать как собаку. Бесконечное сострадание к ней, ко всем ей подобным овладело мной, горячая, чистая нежность. Я все гладил и гладил ее худенькую детскую руку. Потом наклонился и поцеловал ее.

В тот же миг за моей спиной раздался шорох. Хрустнула ветка. Я отпрянул. И вот уже послышался грубый мужской смех:

— Так и есть! Так я и думал!

Даже и не видя их, я знал, кто такие эти люди. Несмотря на все свое опьянение, я ни на секунду не забывал, что меня выслеживают, мало того — я с острым любопытством поджидал их. Из кустов вынырнула человеческая фигура, за нею — вторая: молодые парни, оборванные, с наглыми повадками. Опять послышался грубый смех:

— Экая гадость, заниматься тут свинством! Ну, конечно, благородный господин! Но теперь он попался!

Я не двигался. Кровь стучала в висках. Страха я не испытывал. Я только ждал — что будет? Наконец-то я очутился на дне, на самом дне низости. Теперь должна наступить катастрофа, взрыв, конец, которому я полусознательно шел навстречу.

Когда парни появились, женщина отскочила от меня, но не к ним. Она стояла между нами: по-видимому, подстроенное нападение было ей все же не совсем приятно. А парни злились, что я стою и молчу. Они переглядывались, очевидно ожидая с моей стороны протеста, просьбы, выражения испуга.

— Вот как, он молчит! — угрожающе крикнул наконец один из них. А другой подошел ко мне и сказал повелительно:

— Идем в отделение!

Я все еще ничего не отвечал. Тогда первый положил мне руку на плечо и легонько толкнул вперед.

— Марш! — сказал он.

Я пошел. Я не сопротивлялся, потому что не хотел сопротивляться; невероятная грубость, пошлость этого опасного приключения захватила меня. Мозг работал отчетливо: я знал, что парни эти должны больше меня бояться полиции, что я могу откупиться несколькими кронами, — но я хотел испытать до дна чашу мерзости, я наслаждался унижительностью своего положения в каком-то сознательном беспомоществе. Не спеша, словно автомат, пошел я в ту сторону, куда меня толкнули.

Но как раз то, что я так безропотно, так покорно пошел из темноты на свет, по-видимому, смутило парней. Они стали перешептываться. Потом опять нарочито громко заговорили между собой.

— Шут с ним, отпусти его,— сказал один (невысокого роста, с изъеденным оспой лицом), но другой ответил с напускной строгостью:

— Нет, брат, шалишь! Пусть-ка это сделает бедняк вроде нас, которому жрать нечего, его сейчас засадят под замок. Так нечего давать спуску и благородному господину.

В каждом их слове я слышал неуклюжую просьбу о том, чтобы я заговорил, начал торговаться с ними; преступник во мне понимал этих преступников, понимал, что они хотят помучить меня страхом и что я мучаю их своей уступчивостью. Между нами шла немая борьба, и — о, как богата была эта ночь! — перед лицом смертельной опасности, здесь, в смрадной глуши Пратера, в обществе проходимцев и проститутки, я вторично за двенадцать часов испытал неистовый азарт игры, но только теперь на карту было поставлено все мое добропорядочное существование, сама жизнь моя. И я, в упоении искушая судьбу, предался этой чудовищной игре, трепеща всеми до отказа натянутыми нервами.

— Ага, вот и полицейский,— послышался голос за моей спиной,— не поздоровится благородному господину, придется недельку отсидеть.

Это должно было прозвучать злобно и грозно, но я слышал запинаящуюся неуверенность тона. Я спокойно шел на свет фонаря, где в самом деле поблескивала каска полицейского. Шагов двадцать оставалось до него. Парни за моей спиной умолкли; я заметил, что они идут медленней. Еще минута — я это точно знал,— и они трусливо нырнут обратно в темноту, в свой мир, ожесточенные неудачей, и выместят ее, быть может, на несчастной женщине. Игра кончилась: опять, во второй раз сегодня, я выиграл, опять украл у чужого, незнакомого человека его выигрыш. Впереди уже мерцал бледный свет фонарей, я обернулся и только теперь разглядел лица обоих: злобу и угрюмый стыд прочел я в их бегающих глазах. Они остановились, разочарованные, подавленные, готовые скрыться во мраке, ибо власть их окончилась; теперь не я их — они меня боялись.

И в эту минуту — точно в груди у меня вдруг сорвало все скрепы и чувства горячей волной вырвались наружу — мной овладела бесконечная, поистине братская жалость к этим людям. Чего они домогались, несчастные, полуголодные, оборванные парни, от меня, пресыщенного паразита? Нескольких крон, нескольких жалких крон. Они могли бы взять меня за горло там, в темноте, ограбить, убить — и не сделали этого, а только попытались, неуклюже, неумело, запугать меня ради мелких серебряных монет, болтающихся у меня в кармане. Как же я смел, я, вор, из прихоти, из озорства совершивший преступление, чтобы потешить себя, как смел я еще мучить этих бедняг? Я уже не только бесконечно жалел их, мне было бесконечно стыдно, что ради своего удовольствия я еще забавлялся их страхом, их нетерпением. Я взял себя в руки: теперь, как раз теперь, на освещенной улице, где мне уже ничто не грозило, теперь я должен уступить им, смягчить горечь разочарования в их злых, голодных взглядах.

Круто повернувшись, я подошел к одному из них.

— Зачем вам доносить на меня? — сказал я и постарался сообщить голосу интонацию подавляемого страха. — Какая вам от этого польза? Может быть, меня арестуют, а может быть, и нет. Но вам ведь это ни к чему. Зачем вам портить мне жизнь?

Оба в смущении таращили на меня глаза. Они ожидали всего — окрика, угрозы, от которой бы попятились, недовольно ворча, как обиженные собаки, только не такой сговорчивости. Наконец один сказал, но совсем не угрожающе, а как бы оправдываясь:

— Нужно соблюдать закон. Мы только исполняем свой долг.

Это была, по-видимому, заученная для подобных случаев фраза. И все же она прозвучала как-то фальшиво. Ни тот, ни другой не решались взглянуть на меня. Они ждали. И я знал, чего они ждут: что я попрошу пощады и что предложу им денег.

Я еще помню каждое из этих мгновений. Помню каждый напрягавшийся во мне нерв, каждую мысль, мелькавшую в уме. И я помню, чего сперва хотела моя злая воля: заставить их ждать, еще помучить их, упииться сознанием своей власти над ними. Но я тотчас поборол себя, я стал униженно кланяться, потому что знал, что должен наконец избавить их от страха. Я принялся разыгрывать комедию, просил их сжалиться надо мной, не доносить, не делать меня несчастным. Они молчали, но я видел, в какое они пришли смущение, эти неумелые горе-вымогатели. И тогда я наконец-то произнес слова, которых они ждали так долго:

— Я... я дам вам... сто крон.

Все трое вздрогнули и растерянно переглянулись. Такой суммы они уже не ждали теперь, когда было для них потеряно. Наконец один из них — рябой, с беспокойным взглядом — пришел в себя. Два раза начинал он говорить, слова застревали у него в горле. Потом он сказал — и я чувствовал, как ему стыдно:

— Двести крон.

— Да перестаньте вы! — вмешалась вдруг женщина. — Скажите спасибо, что он вообще вам что-нибудь дает. Он ведь ничего не сделал, почти и не притронулся ко мне. Это уж просто свинство!

С подлинным гневом крикнула она эти слова. И у меня взвырвалось сердце. Кто-то пожалел меня, кто-то выступил в мою защиту, — из низости, из вымогательства выглянула доброта, темное стремление к справедливости. Какое это было счастье, как вторило тому, что поднималось во мне! Нет, нельзя больше играть с этими людьми, нельзя их дольше мучить страхом, стыдом: довольно! довольно!

— Хорошо, пусть будет двести крон.

Они молчали, все трое. Я достал бумажник. Очень медленно, не прячась, широко раскрыл его. В один миг они могли вырвать его у меня из рук и скрыться в темноте. Но они застенчиво отвели глаза. Между ними и мною, вместо борьбы и игры, возникла тайная общность, взаимное доверие, признание чужих прав, словом — вполне человеческие отношения. Я извлек два кредитных билета из пачки украденных денег и протянул их одному из них.

— Покорно благодарю, — сказал он нечаянно и тут же отвернулся. Очевидно, он сам почувствовал, что смешно благодарить за добы-

тые вымогательством деньги. Ему было стыдно, и его стыд — о, я ведь все постигал в ту ночь, каждое движение открывалось мне! — удручал меня. Я не хотел, чтобы этот человек стыдился передо мной, потому что я был ничуть не лучше его, такой же вор, как он, трусливый и безвольный, как он. Его унижение мучило меня, я хотел вернуть ему уверенность. Поэтому я отклонил его благодарность.

— Это я должен благодарить вас, — сказала я и сам удивился тому, сколько подлинной задушевности прозвучало в моем голосе. — Если бы вы донесли на меня, я бы погиб. Мне пришлось бы застрелиться, а вам бы это пользы не принесло. Так лучше. Я пойду теперь направо, а вы сверните в другую сторону. Спокойной ночи!

Они ничего не ответили. Немного погодя один сказал: «Спокойной ночи», за ним второй и наконец — проститутка, которая все время пряталась в тени. Как тепло, как сердечно она это произнесла, словно искреннее пожелание! По их голосам я чувствовал, что где-то глубоко, в тайниках души, они любили меня и что этой странной встречи они никогда не забудут. В тюрьме или в больнице она, быть может, припомнится им: что-то от меня останется в них, что-то свое я им отдал. И радость этого дарения наполняла меня, как еще ни одно чувство в жизни.

Я пошел один в полумраке к выходу из Пратера. Все, что угнетало меня, исчезло; я чувствовал с неведомой доселе полнотой, как я, словно долго пропадавший без вести, опять вливаюсь в беспредельность мира. Все, казалось мне, живет только для меня, но и моя жизнь отдана всему. Черными тенями обступали меня деревья, встречая меня дружеским шелестом, и я любил их. Звезды сияли мне с неба, и я вдыхал их белый привет. Откуда-то доносилось пенни, и мне чудилось, что это поют для меня. Все теперь принадлежало мне, с тех пор как я разбил коросту, покрывавшую мою грудь, и все влекло меня, потому что я узнал, что нет большей радости, чем давать, расточать себя. О, как легко, чувствовал я, доставить радость и самому возрадоваться этой радости: нужно только открыться, и уже струится от человека к человеку живой поток, низвергается от высокого к низкому и, пенясь, вновь поднимается из глубины в бесконечность.

У выхода из Пратера, подле стоянки фиакров, я увидел торговку, устало склонившуюся над своей корзиной. В корзине лежали запывленные хлебцы и гнилые яблоки. Должно быть, с самого утра сидела она тут, сгорбившись над своими жалкими грошами. Отчего бы и тебе не радоваться, подумал я, если радуюсь я? Я взял небольшой хлебец и положил в корзину кредитный билет. Она торопливо стала собирать сдачу, но я пошел дальше и успел только заметить, как она испуганно вздрогнула от изумления и счастья, как она вдруг выпрямилась и заплетаящимся языком посылала мне вслед слова благодарности. С хлебцем в руке я подошел к лошади, понурившей усталую голову между оглоблями; она повернула ко мне морду и приветливо фыркнула. В ее тусклом взгляде я тоже читал благодарность за то, что погладил ее розовые поздри и дал ей хлебец. И едва лишь я сделал это, мне захотелось большего: доставлять еще больше радости, еще

сильнее почувствовать, как можно при помощи серебряных кружочков, нескольких пестрых бумажек уничтожить страх, убить заботу, зажечь веселье. Почему здесь нет нищих? Почему нет детей, мечтающих о воздушных шарах, которые вон там несет домой старик, хмуясь от огорчения, что так мало выручил за весь долгий жаркий день. Я подошел к нему.

— Дайте мне шары.

— Десять хеллеров штука,— сказал он недоверчиво: на что этому шеголеватому бездельнику могли понадобиться среди ночи пестрые шары?

— Дайте все,— сказал я и протянул ему десять крон.

Он восторженно, моргая посмотрел на меня, потом дрожащей рукой подал мне веревку, на которой держались все шары. Шары натягивали веревку, они хотели вырваться, полететь на свободе, подняться в самое небо. Так ступайте же, летите, куда вас влечет, будьте свободны! Я отвязал веревку, выпустил шары, и они взвились вверх, как множество разноцветных лун. Со всех сторон сбегались смеющиеся люди, из мрака выходили влюбленные парочки, кучера фиакров шелкали бичами и, окликаая друг друга, показывали пальцами на шары, которые уносились над верхушками деревьев в сторону городских крыш. Все весело переглядывались, забавляясь моей безрассудной затеей.

Почему я никогда этого не знал, не знал, как легко и как хорошо — дарить радости! Кредитки вдруг опять начали обжигать мне пальцы, они рвались из моих рук, как только что воздушные шары: они тоже хотели упорхнуть от меня в неведомое. Я сгреб их — украденные у Лайоша и свои, ибо несколько уже не различал их и не чувствовал за собой никакой вины, — и держал в кулаке, готовый бросить их всякому, кто захочет взять. Увидев метельщика, сердито подметавшего пустынную мостовую, я остановился. Он подумал, что я хочу спросить его, как пройти на какую-нибудь улицу, и угрюмо поднял на меня глаза; я улыбнулся ему и протянул кредитку в двадцать крон. Он с недоумением посмотрел на нее, потом взял и молча стал ждать, чего я от него потребую. Но я засмеялся и сказал: «Купи себе что-нибудь на эти деньги», — и пошел дальше. Все время смотрел я по сторонам, — не попросит ли кто-нибудь денег, и так как никто не подходил, то сам предлагал их: одну бумажку подарил проститутке, заговорившей со мною, две — фонарщику, одну бросил в открытое окно пекарни, находившейся в подвале; и так я шел все дальше и дальше, оставляя за собой как бы кильватер изумления, благодарности и радости. Наконец я принялся разбрасывать кредитки, смяв их в комочек, по тротуару, по церковной паперти и радовался при мысли о том, что завтра какая-нибудь старушка, идя к заутрене, найдет эти сто крон и возблагодарит господ, что удивится и обрадуется какой-нибудь бедный студент, мастерица, рабочий — как сам я удивился и обрадовался в эту ночь, найдя самого себя.

Я уже не помню теперь, куда и как разбросал все бумажные, а потом и серебряные свои деньги. Я был как в чаду, голова у меня кружилась, и, когда последние бумажки упорхнули, мне стало так

легко, словно у меня выросли крылья, и я ощутил свободу, какой никогда не знал. Улица, небо, дома — все раскрывалось мне в каком-то новом единстве, все, все вызывало новое чувство обладания и сопричастия; никогда, даже в самые пылкие мгновения, не ощущал я так остро, что все это действительно существует, живет, и что я живу, и что жизнь окружающего мира и моя жизнь тождественны, что это одна и та же великая, могучая жизнь, которой я никогда не умел радоваться как надлежало и которую постигает только любовь, объемлет тот, кто отдается.

Я пережил еще одну, последнюю, тяжелую минуту, когда я, дойдя в упоении счастья до своей двери, вставил ключ в замочную скважину и предо мной открылся темный провал моей квартиры. Тут вдруг меня охватил страх, не вернусь ли я сейчас в свою старую, прежнюю жизнь, если войду в жилище того, кем я был до сих пор, если лягу в его постель, если снова соприкоснусь со всем, от чего меня эта ночь так чудесно освободила. Нет, нет, только не стать снова тем человеком, которым я был, этим вчерашним прежним джентльменом, корректным, бесчувственным, чуждым всему на свете! Лучше ринуться во все пучины преступления и зла, но только — в настоящую жизнь! Я устал, бесконечно устал и все же боялся, что сон поглотит меня и своей черной тиной смоет все то горячее, пылкое, живое, что зажгла во мне эта ночь. Боялся, что все пережитое окажется мимолетным и преходящим, как фантастический сон.

Но наутро я проснулся бодрый, свежий, с тем же чувством благодарности и счастья. С тех пор прошло четыре месяца, и былое оцепенение не возвращалось ко мне, я все еще согрет живым теплом. Сладостный угар того дня, когда почва моего мира вдруг ушла из-под ног и я низвергся в неведомое и, в стремительном падении, вместе с глубинами собственной души постиг глубину всей жизни, — этот пламень, правда, угас, но я и теперь с каждым дыханием ощущаю горячее биение своего сердца и радостно встречаю каждый новый день. Я знаю, что стал другим человеком, с другими чувствами, другим восприятием и более ясным сознанием.

Разумеется, я не смею утверждать, что стал лучше, чем был; знаю только, что стал счастливее, ибо обрел какой-то смысл в своей опустошенной жизни, смысл, для которого не нахожу другого слова, кроме слова: самое жизнь.

С тех пор я ни в чем не знаю запрета, так как в моих глазах законы и правила моей среды не имеют цены, я не стыжусь ни других, ни самого себя. Такие слова, как честь, преступление, порок, теперь звучат для меня фальшиво и мертво, я не могу без содрогания даже произнести их.

Я живу, повинуюсь той волшебной силе, которую впервые тогда ощутил. Куда она толкает меня, я не спрашиваю: быть может, к новой бездне, к тому, что другие называют пороком, или к чему-нибудь величественно-возвышенному. Я этого не знаю и знать не хочу. Ибо я верю, что подлинно живет лишь тот, кто живет тайной своей судьбы...

Но никогда — и в этом я убежден — не любил я жизнь столь пылко, и теперь я знаю, что каждый совершает преступление (единственное мыслимое преступление!), кто равнодушно проходит мимо хоть единого из ее обличий. С тех пор как я начал понимать самого себя, я понимаю бесконечно многое другое: жадный взгляд прохожего, оставившегося перед витриной, потрясает меня, веселые прыжки собаки приводят в восторг. Я стал вдруг на все обращать внимание, ничто мне не безразлично. Ежедневно, читая газету (в которой прежде просматривал только репертуар театров и объявления об аукционах), я нахожу множество причин для волнения; книги, казавшиеся мне скучными, теперь увлекают меня. И что удивительнее всего: я вдруг научился говорить с людьми не только во время так называемой светской беседы. Слуга, живущий у меня семь лет, интересуется меня, я часто с ним разговариваю; швейцар, мимо которого я обычно проходил безучастно, как мимо подвижного столба, недавно рассказывал мне про смерть своей дочурки, и это потрясло меня сильнее трагедий Шекспира. И это преображение — хотя, чтобы не выдать себя, я внешне продолжаю жить в мире добропорядочной скуки, — кажется, понемногу становится явным. Кое-кто вдруг начал выказывать по отношению ко мне сердечность, уже трижды на этой неделе ко мне приставали чужие собаки. И друзья радостно говорят мне — как будто я перенес тяжелую болезнь, — что находят меня помолодевшим.

Помолодевшим? Никто ведь, кроме меня, не знает, что только теперь я действительно начинаю жить. Впрочем, таково ведь общее для всех заблуждение, каждый думает, что прошлое было только ошибкой и подготовкой, и я отлично понимаю, что с моей стороны это большая дерзость, взяв холодное перо в теплую, живую руку, вывести на бесстрастной бумаге: я подлинно живу. Но пусть это самообман, — только он осчастливил меня, согрел мою кровь и открыл мне глаза. И если я описываю здесь чудо своего пробуждения, то ведь я делаю это только для себя, знающего больше, чем могут мне сказать мои собственные слова. Я не говорил об этом ни с одним из моих друзей; они не догадывались, что я уже был мертвецом, и они никогда не догадываются, что теперь я воскрес. И пусть волею судьбы смерть вторгнется в мою ожившую жизнь и эти страницы попадут в чужие руки — такая мысль ничуть меня не страшит и не мучит. Ибо тот, кто не изведает волшебства таких мгновений, не поймет — как не понял бы я сам еще полгода тому назад, — что несколько мимолетных, на первый взгляд почти не связанных между собой происшествий одного вечера могли каким-то чудом разжечь уже угасшую жизнь.

Перед таким читателем я не стыжусь, потому что он не понимает меня. А тот, кто постиг всеобъемлющую связь явлений, тот не судит, и гордость чужда ему. Перед ним я не стыжусь, потому что он понимает меня. Кто однажды обрел самого себя, тот уже ничего на этом свете утратить не может. И кто однажды понял человека в себе, тот понимает всех людей.

ПИСЬМО НЕЗНАКОМКИ

Когда известный беллетрист Р., после трехдневной поездки для отдыха в горы, возвратился ранним утром в Вену и, купив на вокзале газету, взглянул на число, он вдруг вспомнил, что сегодня день его рождения. Сорок первый,— быстро сообщил он, и этот факт не обрадовал и не огорчил его. Бегло перелистал он шелестящие страницы газеты, взял такси и поехал к себе на квартиру. Слуга доложил ему о приходивших в его отсутствие двух посетителях, о нескольких вызовах по телефону и принес на подносе накопившуюся почту. Писатель лениво просмотрел корреспонденцию, вскрыл несколько конвертов, заинтересовавшись фамилией отправителя; письмо, написанное незнакомым почерком и показавшееся ему слишком объемистым, он отложил в сторону. Слуга подал чай. Удобно усевшись в кресло, он еще раз пробежал газету, заглянул в присланные каталоги, потом закурил сигару и взялся за отложенное письмо.

В нем оказалось около тридцати страниц, и написано оно было незнакомым женским почерком, торопливым и неровным,— скорее рукопись, чем письмо. Р. невольно еще раз ошупал конверт, не осталось ли там сопроводительной записки. Но конверт был пуст, и на нем, так же как и на самом письме, не было ни имени, ни адреса отправителя. Странно, подумал он и снова взял в руки письмо. *«Тебе, никогда не знавшему меня»*,— с удивлением прочел он не то обращение, не то заголовок... К кому это относилось? К нему или к вымышленному герою? Внезапно в нем проснулось любопытство. И он начал читать.

Мой ребенок вчера умер — три дня и три ночи боролась я со смертью за маленькую, хрупкую жизнь: сорок часов, пока его бедное горячее тельце металось в жару, я не отходила от его постели. Я клала лед на его пылающий лобик, днем и ночью держала в своих руках беспокойные маленькие ручки. На третий день к вечеру силы изменили мне. Глаза закрывались помимо моей воли. Три или четыре часа я проспала, сидя на жестком стуле, а за это время смерть унесла его. Теперь он лежит, милый, бедный мальчик, в своей узкой детской кроватке, такой же, каким я увидела его, когда проснулась; только глаза ему закрыли, его умные, темные глазки, сложили ручки на белой рубашке, и четыре свечи горят высоко по четырем углам кроватки. Я боюсь взглянуть туда, боюсь тронуться с места, потому что пламя свечей колеблется и тени пробегают по его личику, по сжатым губам, и тогда кажется, что его черты оживают, и я готова поверить, что он не умер, что он сейчас проснется и своим звонким голосом скажет мне что-нибудь детское, ласковое. Но я знаю, он умер, я не хочу смотреть на него, чтобы не испытать сладость надежды и горечь разочарования. Я знаю, знаю, мой ребенок вчера умер,— теперь у меня на свете только ты, беспечно играющий жизнью, не подозревающий о моем существовании. Только ты, никогда не знавший меня и которого я всегда любила.

Я зажгла пятую свечу и поставила ее на стол, за которым я тебе пишу. Я не могу остаться одна с моим умершим ребенком и не кричать о своем горе, а с кем же мне говорить в эту страшную минуту, если не с тобой, ведь ты и теперь, как всегда, для меня все! Я, может быть, не сумею ясно говорить с тобой, может быть, ты не поймешь меня — мысли у меня путаются, в висках стучит, и все тело ломит. Кажется, у меня жар; может быть, я тоже заболела гриппом, который теперь крадется от дома к дому, и это было бы хорошо, потому что тогда я пошла бы за своим ребенком и все сделалось бы само собой. Иногда у меня темнеет в глазах, я, может быть, не допишу даже до конца это письмо, но я соберу все свои силы, чтобы хоть раз, только этот единственный раз, поговорить с тобой, мой любимый, никогда не узнававший меня.

С тобой одним хочу я говорить, впервые сказать тебе все; ты узнаешь всю мою жизнь, всегда принадлежавшую тебе, хотя ты никогда о ней не знал. Но ты узнаешь мою тайну, только если я умру — чтобы тебе не пришлось отвечать мне, — только если лихорадка, которая сейчас бросает меня то в жар, то в холод, действительно начало конца. Если же мне суждено жить, я разорву это письмо и буду опять молчать, как всегда молчала. Но если ты держишь его в руках, то знай, что в нем умершая рассказывает тебе свою жизнь, свою жизнь, которая была твоей от ее первого до ее последнего сознательного часа. Не бойся моих слов, — мертвая не потребует ничего, ни любви, ни сострадания, ни утешения. Только одного хочу я от тебя, чтобы ты поверил всему, что скажет тебе моя рвущаяся к тебе боль. Поверь всему, только об этом одном прошу я тебя: никто не станет лгать в час смерти своего единственного ребенка.

Я поведаю тебе всю мою жизнь, которая поистине началась лишь в тот день, когда я тебя узнала. До того дня было что-то тусклое и смутное, куда моя память никогда уже не заглядывала, какой-то пропыленный, затянутый паутиной погреб, где жили люди, которых я давно выбросила из сердца. Когда ты появился, мне было тринадцать лет, и я жила в том же доме, где ты теперь живешь, в том самом доме, где ты держишь в руках это письмо — это последнее дыхание моей жизни; я жила на той же лестнице, как раз напротив дверей твоей квартиры. Ты, наверное, уже не помнишь нас, скромную вдову чиновника (она всегда ходила в трауре) и худенького подростка, — мы ведь всегда держались в тени, замкнувшись в своем скудном мешчанском существовании. Ты, может быть, никогда и не слышал нашего имени, потому что на нашей двери не было дощечки и никто никогда не приходил к нам и не спрашивал нас. Да и так давно это было, пятнадцать, шестнадцать лет тому назад, нет, ты, конечно, не помнишь этого, любимый; но я — о, я жадно вспоминаю каждую мелочь, я помню, словно это было сегодня, тот день, тот час, когда я впервые услышала о тебе, в первый раз увидела тебя, и как мне не помнить, если тогда для меня открылся мир! Позволь, любимый, рассказать тебе все, с самого начала, подари мне четверть часа и выслушай терпеливо ту, что с таким долготерпением всю жизнь любила тебя.

Прежде чем ты переехал в наш дом, за твоей дверью жили отвратительные, злые, сварливые люди. Хотя они сами были бедны, они ненавидели бедность своих соседей, ненавидели нас, потому что мы не хотели иметь ничего общего с ними. Глава семьи был пьяница и колотил свою жену; мы часто просыпались среди ночи от грохота падающих стульев и разбитых тарелок; раз она выбежала, вся в крови, простоволосая, на лестницу; пьяный с криком преследовал ее, но из других квартир выскочили жильцы и пригрозили ему полицией. Мать с самого начала избегала всякого общения с этой четой и запретила мне разговаривать с их детьми, а они мстили мне за это при каждом удобном случае. На улице они кричали мне вслед всякие гадости, а однажды так закидали меня снежками, что у меня кровь потекла по лицу. Весь дом единодушно ненавидел этих людей, и, когда вдруг что-то случилось — кажется, муж попал в тюрьму за кражу и они со своим скарбом должны были выехать, — мы все облегченно вздохнули. Два-три дня на воротах висело объявление о сдаче внаем, потом его сняли, и через домоуправителя быстро разнеслась весть, что квартиру снял какой-писатель, одинокий солидный господин. Тогда я в первый раз услышала твое имя.

Еще через два-три дня пришли маляры, штукатуры, плотники, обойщики и принялись очищать квартиру от грязи, оставленной ее прежними обитателями. Они стучали молотками, мыли, выметали, скребли, но мать только радовалась и говорила, что наконец-то кончились безобразия у соседей. Тебя самого мне во время переезда еще не пришлось увидеть, за всеми работами присматривал твой слуга, этот невысокий, степенный, седовласый камердинер, смотревший на всех сверху вниз и распоряжавшийся деловито и без шума. Он сильно импонировал нам всем, во-первых, потому, что камердинер у нас, на окраине, был редкостным явлением, и еще потому, что он держался со всеми необычайно вежливо, не становясь в то же время на равную ногу с простыми слугами и не вступая с ними в дружеские разговоры. Моей матери он с первого же дня стал кланяться почтительно, как даме, и даже ко мне, девочке, относился приветливо и серьезно. Твое имя он произносил всегда с каким-то особенным уважением, почти благоговейно, и сразу было видно, что это не просто обычная преданность слуги своему господину. И так я потом любила за это славного старого Иоганна, хотя и завидовала ему, что он всегда может быть подле тебя и служить тебе!

Я потому рассказываю тебе все это, любимый, все эти до смешного мелкие пустяки, чтобы ты понял, каким образом ты мог с самого начала приобрести такую власть над робким, запуганным ребенком, каким была я. Еще раньше, чем ты вошел в мою жизнь, вокруг тебя уже создался какой-то нимб, ореол богатства, необычайности и тайны; все мы, в нашем маленьком домике на окраине, нетерпеливо ждали твоего приезда. Ты ведь знаешь, как любопытны люди, живущие в маленьком, тесном мирке. И как разгорелось мое любопытство к тебе, когда однажды, возвращаясь из школы, я увидела перед домом фургон с мебелью! Большую часть тяжелых вещей носильщики уже подняли наверх и теперь переносили отдельные, бо-

лее мелкие предметы; я остановилась у двери, чтобы все это видеть, потому что все твои вещи чрезвычайно изумляли меня — я таких никогда не видала: тут были индийские божки, итальянские статуи, огромные, удивительно яркие картины, и, наконец, появились книги в таком количестве и такие красивые, что я глазам своим не верила. Их складывали столбиками у двери, там слуга принимал их и каждую заботливо обмахивал метелкой. Сгорая от любопытства, бродила я вокруг все растущей груды; слуга не отгонял меня, но и не поощрял, поэтому я не посмела прикоснуться ни к одной книге, хотя мне очень хотелось потрогать мягкую кожу на переплетах. Я только робко рассматривала сбоку заголовки — тут были французские, английские книги, а некоторые на совершенно непонятных языках. Я часами могла бы любоваться ими, но мать позвала меня в дом.

И вот, еще не зная тебя, я весь вечер думала о тебе. У меня самой был только десяток дешевых книжек в истрепанных бумажных переплетах, которые я все очень любила и постоянно перечитывала. Меня страшно занимала мысль, каким же должен быть человек, который прочел столько прекрасных книг, знает столько языков, который так богат и в то же время так образован. Мне казалось, что таким ученым может быть только какое-нибудь сверхъестественное существо. Я пыталась мысленно нарисовать твой портрет; я воображала тебя стариком, в очках и с длинной белой бородой, похожим на нашего учителя географии, только гораздо добрее, красивее и мягче. Не знаю почему, но даже когда ты еще представлялся мне стариком, я уже была уверена, что ты должен быть красив. Тогда, в ту ночь, еще не зная тебя, я в первый раз видела тебя во сне.

На следующий день ты переехал, но сколько я ни подглядывала, мне не удалось посмотреть на тебя, и это еще больше возбудило мое любопытство. Наконец, на третий день, я увидела тебя, и как же я была поражена, когда ты оказался совсем другим, ничуть не похожим на образ «боженьки», созданный моим детским воображением. Я грезил о добродушном старце в очках, и вот явился ты — ты, точно такой, как сегодня, ты, не меняющийся, на ком годы не оставляют следов! На тебе был восхитительный светло-коричневый спортивный костюм, и ты своей удивительно легкой, юношеской походкой, прыгая через две ступеньки, поднимался по лестнице. Шляпу ты держал в руке, и я с неописуемым изумлением увидела твое юное оживленное лицо и светлые волосы. Уверяю тебя — я прямо испугалась, до того меня потрясло, что ты такой молодой, красивый, такой стройный и изящный. И разве не странно: в этот первый миг я сразу ясно ощутила то, что и меня, и всех других всегда так поражало в тебе, — твою двойственность: ты — пылкий, легкомысленный, увлекающийся игрой и приключениями юноша и в то же время в своем творчестве неумолимо строгий, верный долгу, бесконечно начитанный и образованный человек. Я безотчетно поняла, как понимали все, что ты живешь двойной жизнью: своей яркой, пестрой стороной она обращена к внешнему миру, а другую, темную, знаешь только ты один; это глубочайшее раздвоение, эту тайну твоего бы-

тия я, тринадцатилетняя девочка, замороженная тобой, ощутила с первого взгляда.

Понимаешь ли ты теперь, любимый, каким чудом, какой заманчивой загадкой стал ты для меня, полуробенка! Человек, перед которым преклонялись, потому что он писал книги, потому что он был знаменит в чуждом мне большом мире, вдруг оказался молодым, юношески-веселым двадцатипятилетним щеголем! Нужно ли говорить о том, что с этого дня в нашем доме, во всем моем скудном детском мирке меня ничто больше не занимало, кроме тебя, что я со всей настойчивостью, со всем цепким упорством тринадцатилетней девочки думала только о тебе, о твоей жизни. Я изучала тебя, изучала твои привычки, приходивших к тебе людей, и все это не только не утоляло моего любопытства, но еще усиливало его, потому что двойственность твоя отчетливо отражалась в разнородности твоих посетителей. Приходили молодые люди, твои приятели, с которыми ты смеялся и шутил; приходили оборванные студенты; а то подъезжали в автомобилях дамы; однажды явился директор оперного театра, знаменитый дирижер, которого я только издали видела с дирижерской палочкой в руках; бывали молоденькие девушки, еще ходившие в коммерческую школу, которые смущались и спешили поскорее юркнуть в дверь,—вообще много, очень много женщин. Я особенно над этим не задумывалась, даже после того, как однажды утром, отправляясь в школу, увидела уходившую от тебя даму под густой вуалью. Мне ведь было только тринадцать лет, и я не знала, что страстное любопытство, с которым я подкарауливала и подстерегала тебя, уже означало любовь.

Но я знаю, любимый, совершенно точно день и час, когда я всей душой и навек отдалась тебе. Возвратившись с прогулки, я и моя школьная подруга, болтая, стояли у подъезда. В это время подъехал автомобиль, и не успел он остановиться, как ты, со свойственной тебе быстротой и гибкостью движений, которые и сейчас еще пленяют меня, соскочил с подножки. Невольно я бросилась к двери, чтобы открыть ее для тебя, и мы чуть не столкнулись. Ты взглянул на меня теплым, мягким, обволакивающим взглядом и ласково улыбнулся мне—да, именно ласково улыбнулся мне и негромко сказал дружеским тоном: «Большое спасибо, фройлейн».

Вот и все, любимый; но с той самой минуты, как я почувствовала на себе твой мягкий, ласковый взгляд, я была твоя. Позже, и даже очень скоро, я узнала, что ты даришь этот обнимающий, зовущий, обволакивающий и в то же время раздевающий взгляд, взгляд прирожденного соблазнителя, каждой женщине, которая проходит мимо тебя, каждой продавщице в лавке, каждой горничной, которая открывает тебе дверь,—узнала, что этот взгляд не зависит от твоей воли и не выражает никаких чувств, а лишь неизменно сам собой становится теплым и ласковым, когда ты обращаешь его на женщин. Но я, тринадцатилетний ребенок, этого не подозревала,—меня точно огнем опалило. Я думала, что эта ласка только для меня, для меня одной, и в этот миг во мне, подростке, проснулась женщина, и она навек стала твоей.

«Кто это?» — спросила меня подруга. Я не могла ей сразу ответить. Я не могла заставить себя произнести твое имя: в этот миг оно уже стало для меня священным, стало моей тайной. «Просто один из жильцов нашего дома», — неловко пробормотала я. «Почему же ты так покраснела?» — с детской жестокостью злорадно засмеялась подруга. И потому, что она, издаваясь надо мной, коснулась моей тайны, кровь еще горячее прилила к моим щекам. От смущения я ответила грубостью и крикнула: «Дура набитая!» Я готова была ее задушить, но она захохотала еще громче и насмешливее; наконец слезы бессильного гнева выступили у меня на глазах. Я повернулась к ней спиной и убежала вверх.

С этого мгновенья я полюбила тебя. Я знаю, женщины часто говорили тебе, своему баловню, эти слова. Но поверь мне, никто не любил тебя с такой рабской преданностью, с таким самоотвержением, как то существо, которым я была и которым навсегда осталась для тебя, потому что ничто на свете не может сравниться с потаенной любовью ребенка, такой непритязательной, беззаветной, такой покорной, настороженной и пылкой, какой никогда не бывает требовательная и — пусть бессознательно — помогающая взаимности любовь взрослой женщины. Только одинокие дети могут всецело затаять в себе свою страсть, другие выбалтывают свое чувство подругам, притупляют его признаниями, — они часто слышали и читали о любви и знают, что она неизбежный удел всех людей. Они тешатся ею, как игрушкой, хвастают ею, как мальчишки своей первой выкуренной папиросой. Но я — у меня не было никого, кому бы я могла довериться, никто не наставлял и не предостерегал меня, я была неопытна и наивна; я ринулась в свою судьбу, как в пропасть. Все, что во мне бродило, все, что зрело, я поверяла только тебе, только образу моих грез; отец мой давно умер, от матери, с ее постоянной озабоченностью бедной вдовы, живущей на пенсию, я была далека, легкомысленные школьные подруги отталкивали меня, потому что они беспечно играли тем, что было для меня высшей страстью, — и все то, что обычно дробится и расщепляется в душе, все мои подавляемые, но нетерпеливо пробивающиеся чувства устремились к тебе. Ты был для меня — как объяснить тебе? любое сравнение, взятое в отдельности, слишком узко, — ты был именно всем для меня, всей моей жизнью. Все существовало лишь постольку, поскольку имело отношение к тебе, все в моей жизни лишь в том случае приобретало смысл, если было связано с тобой. Ты изменил всю мою жизнь. До тех пор равнодушная и посредственная ученица, я неожиданно стала первой в классе; я читала сотни книг, читала до глубокой ночи, потому что знала, что ты любишь книги; к удивлению матери, я вдруг начала с неистовым усердием упражняться в игре на рояле, так как предполагала, что ты любишь музыку. Я чистила и чинила свои платья, чтобы не попасться тебе на глаза неряшливо одетой, и я ужасно страдала от четырехугольной заплатки на моем школьном переднике, перешитом из старого платья матери. Я боялась, что ты заметишь эту заплатку и станешь меня презирать, поэтому, взбегая по лестнице, я всегда прижимала к левому боку сумку с книгами

и тряслась от страха, как бы ты все-таки не увидел этого изъяна. Но как смешон был мой страх — ведь ты никогда, почти никогда на меня не смотрел!

И все же я весь день только и делала, что ждала тебя, подглядывала за тобою. В нашей двери был круглый, в медной оправе, глазок, сквозь который можно было видеть твою дверь. Это отверстие — нет, не смейся, любимый, даже теперь, даже теперь я не стыжусь проведенных возле него часов! — было моим окном в мир; там, в ледяной прихожей, боясь, как бы не догадалась мать, я просиживала в засаде, с книгой в руках, целые вечера. Я была словно натянутая струна, начинавшая дрожать при твоём приближении. Я никогда не оставляла тебя; неотступно, с напряженным вниманием следила за тобой, но для тебя это было так же незаметно, как напряжение пружины часов, которые ты носишь в кармане и которые во мраке терпеливо отсчитывают и отмеряют твои дни и сопровождают тебя на твоих путях неслышным биением сердца, а ты лишь в одну из миллионов отстукиваемых ими секунд бросаешь на них беглый взгляд. Я знала о тебе все, знала все твои привычки, все твои галстуки, все костюмы; я знала и скоро научилась различать всех твоих знакомых, я делила их на тех, кто мне нравился, и на тех, кого ненавидела; с тринадцати до шестнадцати лет я жила только тобой. Ах, сколько я делала глупостей! Я целовала ручку двери, к которой прикасалась твоя рука, я подобрала окурки сигары, который ты бросил, прежде чем войти к себе, и он был для меня священен, потому что к нему прикасались твои губы. По вечерам я сотни раз под каким-нибудь предлогом выбегала на улицу, чтобы посмотреть, в какой комнате горит у тебя свет, и сильнее ощутить твое незримое присутствие. А во время твоих отлучек — у меня сердце сжималось от страха каждый раз, когда я видела славного Иоганна спускающимся вниз с твоим желтым чемоданом, — моя жизнь на долгие недели замирала и теряла всякий смысл. Угрюмая, скучающая, злая, слонялась я по дому, в вечном страхе, как бы мать по моим заплаканным глазам не заметила моего отчаяния.

Я знаю: все, что я тебе рассказываю, — смешные ребячливые выходы. Мне следовало бы стыдиться их, но я не стыжусь, потому что никогда моя любовь к тебе не была чище и пламеннее, чем в то далекое время детских восторгов. Целыми часами, целыми днями могла бы я рассказывать тебе, как я тогда жила тобой, почти не зная твоего лица, потому что при встречах на лестнице я, страшась твоего обжигающего взгляда, опускала голову и мчалась мимо, словно человек, бросающийся в воду, чтобы спастись от огня. Целыми часами, целыми днями могла бы я рассказывать тебе о тех давно забытых тобой годах, могла бы развернуть перед тобой полный календарь твоей жизни; но я не хочу докучать тебе, не хочу тебя мучить. Я только еще расскажу тебе о самом радостном событии моего детства, и, прошу тебя, не смейся надо мной, потому что как оно ни ничтожно — для меня, ребенка, это было бесконечным счастьем. Случилось это, вероятно, в один из воскресных дней; ты был в отъезде, и твой слуга втаскивал через открытую дверь квар-

тиры только что выколоченные им тяжелые ковры. Старiku было трудно, и я, внезапно расхрабравшись, подошла к нему и спросила, не могу ли я ему помочь? Он удивился, но не отверг мою помощь, и таким образом я увидела — если бы только я могла выразить, с каким почтением, с каким благоговейным трепетом! — увидела внутренность твоей квартиры, твой мир, твой письменный стол, за которым ты работал, на нем цветы в синей хрустальной вазе, твои шкафы, картины, книги. Я успела лишь бросить украдкой беглый взгляд на твою жизнь, потому что верный Иоганн, конечно, не позволил бы мне присмотреться ближе, но этим одним-единственным взглядом я впитала в себя всю атмосферу твоей квартиры, и это дало обильную пищу моим бесконечным грезам о тебе во сне и наяву.

Это событие, этот краткий миг был счастливейшим в моем детстве. Я хотела рассказать тебе о нем для того, чтобы ты, не знающий меня, наконец почувствовал, как человеческая жизнь горела и сгорала подле тебя. Об этом событии я хотела рассказать тебе и еще о другом, ужаснейшем, которое, увы, последовало очень скоро за первым. Как я тебе уже говорила, я ради тебя забыла обо всем, не замечала матери и ни на кого и ни на что не обращала внимания. Я проглядела, что один пожилой господин, купец из Инсбрука, дальний свойственник матери, начал часто бывать и засиживаться у нас; я даже радовалась этому, потому что он иногда водил маму в театр и я, оставшись одна, могла без помехи думать о тебе, подстергать тебя, а это было моим высшим, моим единственным счастьем. И вот однажды мать с некоторой торжественностью позвала меня в свою комнату и сказала, что ей нужно серьезно поговорить со мной. Я побледнела, у меня сильно забилося сердце, — уж не возникло ли у нее подозрение, не догадалась ли она о чем-нибудь? Моя первая мысль была о тебе, о тайне, связывавшей меня с миром. Но мать сама казалась смущенной; она нежно поцеловала меня (чего никогда не делала) раз и другой, посадила меня рядом с собой на диван и начала, запинаясь и краснея, рассказывать, что ее родственник-вдовец сделал ей предложение и что она, главным образом ради меня, решила его принять. Еще горячее забилося у меня сердце, — только одной мыслью откликнулась я на слова матери, мыслью о тебе. «Но мы ведь останемся здесь?» — с трудом промолвила я. «Нет, мы переедем в Инсбрук, там у Фердинанда прекрасная вилла». Больше я ничего не слыхала. У меня потемнело в глазах. Потом я узнала, что была в обмороке. Я слышала, как мать вполголоса рассказывала ожидавшему за дверью отчиму, что я вдруг отшатнулась и, вскинув руки, рухнула на пол. Не могу тебе описать, что происходило в ближайшие дни, как я, беспомощный ребенок, боролась против всемогущей воли взрослых. Даже сейчас, когда я пишу об этом, у меня дрожит рука. Я не могла выдать свою тайну, поэтому мое сопротивление казалось просто строптивостью, злобным упрямством. Никто больше со мной не заговаривал, все делалось за моей спиной. Для подготовки к переезду пользовались теми часами, когда я была в школе; каждый день, вернувшись домой, я видела, что еще одна вещь продана или увезена. На моих глазах разрушалась наша квар-

тира, а с нею и моя жизнь, и однажды, придя из школы, я узнала, что у нас побывали упаковщики мебели и все вынесли. В пустых комнатах стояли приготовленные к отправке сундуки и две складные койки — для матери и для меня: здесь мы должны были провести еще одну ночь, последнюю, а утром — уехать в Инсбрук.

В этот последний день я с полной ясностью поняла, что не могу жить вдали от тебя. В тебе одном я видела свое спасение. Что я тогда думала и могла ли вообще в эти часы отчаяния разумно рассуждать, этого я никогда не узнаю, но вдруг — мать куда-то отлучилась — я вскочила и как была, в школьном платье, пошла к тебе. Нет, я не шла, какая-то неодолимая сила толкала меня к твоей двери; я вся дрожала и с трудом передвигала одеревеневшие ноги. Я была готова — я и сама не знала точно, чего я хотела, — упасть к твоим ногам, молить тебя оставить меня у себя как служанку, как рабыню! Боюсь, что ты посмеешься над одержимостью пятнадцатилетней девочки; но, любимый, ты не стал бы смеяться, если бы знал, как я стояла тогда на холодной площадке, скованная страхом, и все же, подчиняясь какой-то неведомой силе, заставила мою дрожащую руку, словно отрывая ее от тела, подняться и после короткой жестокой борьбы, продолжавшейся целую вечность, нажать пальцем кнопку звонка. Я по сей день слышу резкий, пронзительный звон и сменившую его тишину, когда вся кровь во мне застыла, когда сердце мое перестало биться и только прислушивалось, не идешь ли ты.

Но ты не вышел. Не вышел никто. Очевидно, тебя не было дома, а Иоганн тоже ушел за какими-нибудь покупками. И вот я побрела, унося в ушах мертвый отзвук звонка, назад в нашу разоренную, опустошенную квартиру и в изнеможении упала на какой-то тук. От пройденных мною четырех шагов я устала больше, чем если бы несколько часов ходила по глубокому снегу. Но, невзирая ни на что, во мне ярче и ярче разгоралась решимость увидеть тебя, поговорить с тобой, прежде чем меня увезут. Клянусь тебе, ничего другого у меня и в мыслях не было, я еще ни о чем не знала именно потому, что ни о чем, кроме тебя, не думала; я хотела только увидеть тебя, еще раз увидеть, почувствовать твою близость. Всю ночь, всю эту долгую, ужасную ночь я прождала тебя, любимый. Как только мать легла в постель и заснула, я проскользнула в прихожую и стала прислушиваться, не идешь ли ты. Я прождала всю ночь, всю ледяную январскую ночь. Я устала, все тело ломило, и не было даже стула, чтобы присесть; тогда я легла прямо на холодный пол, где сильно дуло из-под двери. В одном лишь тоненьком платье лежала я на жестком голом полу — я даже не завернулась в одеяло, я боялась, что, согревшись, усну и не услышу твоих шагов. Мне было больно, я судорожно поджимала ноги, руки тряслись; приходилось то и дело вставать, чтобы хоть немного согреться, так холодно было в этом ужасном темном углу. Но я все ждала, ждала тебя, как свою судьбу.

Наконец — вероятно, было уже около двух или трех часов — я услышала, как хлопнула внизу входная дверь и затем на лестнице

раздались шаги. В тот же миг я перестала ощущать холод, меня обдало жаром, я тихонько отворила дверь, готовая броситься к тебе навстречу, упасть к твоим ногам... Ах, я даже не знаю, что бы я, глупое дитя, сделала тогда. Шаги приблизились, показался огонек свечи. Дрожа, держалась я за ручку двери. Ты это или кто-нибудь другой?

Да, это был ты, любимый, но ты был не один. Я услышала нервный приглушенный смех, шуршание шелкового платья и твой тихий голос — ты возвращался домой с какой-то женщиной...

Как я пережила ту ночь, не знаю. Утром, в восемь часов, меня увезли в Инсбрук; у меня больше не было сил сопротивляться.

Мой ребенок вчера ночью умер — теперь я буду опять одна, если мне суждено еще жить. Завтра придут чужие, одетые в черное, развязные люди, принесут с собой гроб, положат в него моего ребенка, мое бедное, мое единственное дитя. Может быть, придут друзья и принесут венки, но что значат цветы возле гроба? Меня станут утешать, говорить мне какие-то слова, слова, слова; но чем это мне поможет? Я знаю, что все равно останусь опять одна. А ведь нет ничего более ужасного, чем одиночество среди людей. Я узнала это тогда, в те бесконечные два года, проведенные в Инсбруке, от шестнадцати до восемнадцати лет, когда я, словно пленница, словно отверженная, жила в своей семье. Отчим, человек очень спокойный, скупой на слова, хорошо относился ко мне; мать, словно стараясь загладить какую-то нечаянную вину передо мной, исполняла все мои желания; молодые люди домогались моего расположения, но я отталкивала всех с каким-то страстным упорством. Я не хотела быть счастливой, не хотела быть довольной — вдали от тебя. Я нарочно замыкалась в мрачном мире самоистязания и одиночества. Новых платьев, которые мне покупали, я не надевала; я отказывалась посещать концерты и театры, принимать участие в пикниках. Я почти не выходила из дому — поверишь ли ты, любимый, что я едва знаю десяток улиц этого маленького городка, где прожила целых два года? Я горевала и хотела горевать, я опьяняла себя каждой каплей горечи, которой могла усугубить мое неутешное горе — не видеть тебя. И, кроме того, я не хотела, чтобы меня отвлекали от моей страсти, хотела жить только тобой. Я сидела дома одна, целыми днями ничего не делала и только думала о тебе, снова и снова перебирая тысячу мелких воспоминаний о тебе, каждую встречу, каждое ожидание; я как на сцене разыгрывала в своем воображении все эти мелкие малозначащие случаи. И оттого, что я без конца повторяла минувшие мгновения, все мое детство с такой яркостью запечатлелось в моей памяти и все испытанное мной в те далекие годы я ощущаю так ясно и горячо, как если бы это только вчера волновало мне кровь.

Только тобой жила я в то время. Я покупала все твои книги; когда твое имя упоминалось в газете, это было для меня праздником. Поверишь ли ты, я знаю наизусть все твои книги, так часто я их перечитывала. Если бы меня разбудили ночью и прочли мне

наугад выхваченную строку, я могла бы еще теперь, через тринадцать лет, продолжить ее без запинки; каждое твое слово было для меня как Евангелие, как молитва. Весь мир существовал только в его связи с тобой; я читала в венских газетах о концертах, о премьерах с одной лишь мыслью: какие из них могут привлечь тебя, а когда наступал вечер, я издали сопровождала тебя: вот тыходишь в зал, вот садишься на свое место. Тысячи раз представляла я себе это, потому что один-единственный раз видела тебя в концерте.

Но к чему рассказывать обо всем этом, об испуганном, трагически бесцельном самоистязании одинокого ребенка, зачем это рассказывать тому, кто никогда ни о чем не подозревал, никогда ни о чем не догадывался? Впрочем, была ли я тогда еще ребенком? Мне исполнилось семнадцать, восемнадцать лет; на меня начали оглядываться на улице молодые люди, но это только сердило меня. Любовь, или только игра в любовь к кому-нибудь, кроме тебя, была для меня невысказанной, невозможной, одно уж поползновение на это я сочла бы за измену. Моя страсть к тебе оставалась неизменной, но с окончанием детства, с пробуждением чувств она стала более пламенной, более женственной и земной. И то, чего не понимала девочка, которая, повинаясь безотчетному порыву, позвонила у твоей двери, стало теперь моей единственной мыслью: подарить себя, отдаться тебе.

Окружающие считали меня робкой, называли дикаркой, ибо я, стиснув зубы, хранила свою тайну. Но во мне зрела железная решимость. Все мои мысли и стремления были направлены на одно: назад в Вену, назад к тебе. И я добилась своего, каким бессмысленным и непонятным ни казалось все мое поведение. Отчим был состоятельный человек и смотрел на меня как на свою дочь. Но я с ожесточением настаивала на том, что хочу сама зарабатывать на жизнь, и наконец мне удалось уехать в Вену и поступить к одному родственнику в его магазин готового платья.

Нужно ли говорить тебе, куда лежал мой первый путь, когда в туманный осенний вечер — наконец-то, наконец! — я очутилась в Вене? Оставив чемоданы на вокзале, я вскочила в трамвай — мне казалось, что он ползет, каждая остановка выводила меня из себя, — и бросилась к нашему старому дому. В твоих окнах был свет, сердце пело у меня в груди. Лишь теперь ожил для меня город, встретивший меня так холодно и оглушивший бессмысленным шумом, лишь теперь ожила я сама, ощущая твою близость, тебя, мою немеркнущую мечту. Я ведь не сознавала, что равно чужда тебе вдали, за горами, долами и реками, и теперь, когда только тонкое освещенное стекло в твоём окне отделяло тебя от моего сияющего взгляда. Я все стояла и смотрела вверх; там был свет, родной дом, ты, весь мир. Два года я мечтала об этом часе, и вот он был мне дарован. Я простояла под твоими окнами весь долгий, теплый, мглистый вечер; пока не погас свет. Тогда лишь отправилась я искать свое новое жилье.

Каждый вечер простаивала я так под твоими окнами. До шести я была занята в магазине, занята тяжелой, изнурительной работой; но я радовалась этой беспокойной суете, потому что она отвлекала меня от мучительного беспокойства во мне самой. И как только железные ставни с грохотом опускались за мной, я бежала к твоему дому. Увидеть тебя, встретиться с тобой было моим единственным желанием; еще хоть раз, издали, охватить взглядом твое лицо! Прошло около недели, и наконец я встретила тебя, встретила нечаянно, когда никак этого не ожидала. Я стояла перед домом и смотрела на твои окна, и в эту минуту ты пересек улицу. И вдруг я опять стала тринадцатилетним ребенком — я почувствовала, как кровь прихлынула к моим щекам, и невольно, вопреки страстному желанию ощутить на себе твой взгляд, я опустила голову и стрелой промчалась мимо тебя. Потом я устыдилась этого малодушного бегства, — я ведь была уже не школьница и хорошо понимала, чего хочу: я искала встречи с тобой, я хотела, чтобы, после долгих сумеречных лет тоски по тебе, ты меня узнал, хотела, чтобы ты заметил меня, полюбил.

Но ты долго не замечал меня, хотя я каждый вечер, невзирая на метель и резкий, пронизывающий венский ветер, простаивала на твоей улице. Иногда я целыми часами ждала напрасно, иногда ты выходил наконец из дому в сопровождении приятелей, и два раза я видела тебя с женщинами; и тут я почувствовала, что я уже не девочка, угадала какую-то новизну, перемену в моей любви к тебе по внезапной острой боли, разрывающей мне сердце, стоило мне увидеть чужую женщину так уверенно идущей рука об руку с тобой. Это не было неожиданностью для меня: я ведь с малых лет знала, что у тебя постоянно бывают женщины, но теперь это причиняло мне физическую боль, и я с завистливой неприязнью смотрела на эту очевидную, тесную близость с другой. Однажды — по-детски упрямая и гордая, какой я была и, может быть, осталась до сих пор, — я возмутилась и не пошла к твоему дому; но каким ужасно пустым показался мне этот вечер! На другой день я опять смиренно стояла перед твоими окнами, стояла и ждала, как я простояла весь свой век перед твоей закрытой для меня жизнью.

И наконец настал вечер, когда ты заметил меня. Я уже издали тебя увидела и напрягла всю свою волю, чтобы не уклониться от встречи с тобой. Случайно на улице как раз разгружали какую-то подводку, и тебе пришлось пройти вплотную мимо меня. Ты рассеянно взглянул на меня, но в тот же миг, как только ты почувствовал пристальность моего взгляда, в твоих глазах появилось уже знакомое мне выражение — о, как страшно мне было вспомнить об этом! — тот предназначенный женщинам взгляд, нежный, обволакивающий и в то же время раздевающий, тот объемлющий и уже властный взгляд, который когда-то превратил меня, ребенка, в любящую женщину. Секунду-другую этот взгляд приковывал меня — я не могла и не хотела отвести глаза, — и вот ты прошел уже мимо. У меня неистово билось сердце; невольно я замедлила шаги и, уступая непреодолимому любопытству, оглянулась: ты остановился и смотрел мне вслед.

И по вниманию и интересу, с каким ты меня разглядывал, я сразу поняла, что ты меня не узнал.

Ты не узнал меня ни тогда, ни после; ты никогда не узнавал меня. Как передать тебе, любимый, все разочарование той минуты? Ведь тогда в первый раз я испытала то, на что обрекла меня судьба,— быть не узнанной тобой всю жизнь, до самой смерти. Как передать тебе мое разочарование! Видишь ли, в те два года жизни в Инсбруке, когда я неустанно думала о тебе и только и делала, что мечтала о нашей будущей встрече в Вене, я, смотря по настроению, рисовала себе самые печальные картины наряду с самыми упоительными. Все было пережито в воображении; в мрачные минуты я предвидела, что ты оттолкнешь меня, с презрением отвернешься от меня, потому что я слишком ничтожна, некрасива, навязчива. Я мысленно вытерпела все муки, причиненные твоей неприязнью, холодностью, равнодушием, но даже в минуты отчаяния, когда я особенно остро сознавала себя недостойной твоей любви, я и мысли не допускала о самом страшном, убийственном: что ты вообще не заметил моего существования. Теперь-то я понимаю — о, ты научил меня понимать! — как изменчиво для мужчины лицо девушки, женщины, ибо чаще всего оно лишь зеркало, отражающее то страсть, то детскую прихоть, то душевное утомление, и расплывается, исчезает из памяти так же легко, как отражение в зеркале; поэтому мужчине трудно узнать женщину, если годы изменили на ее лице игру света и тени, если одежда создала для нее новую рамку. Поистине мудр только тот, кто покорился своей судьбе. Но я была еще очень молода, и твоя забывчивость казалась мне непостижимой, тем более что, непрестанно думая о тебе, я обольщала себя мыслью, что и ты часто вспоминаешь обо мне и ждешь меня; как могла бы я жить, зная, что я для тебя ничто, что даже мимолетное воспоминание обо мне никогда не тревожит тебя! И это пробуждение к действительности под твоим взглядом, показавшим мне, что ничто не напомнило тебе обо мне, что ни единая, даже тончайшая, нить воспоминания не протянута от твоей жизни к моей,— было первым жестоким ударом, первым предчувствием моей судьбы.

Ты не узнал меня в тот раз. И когда через два дня при новой встрече ты взглянул на меня почти как на знакомую, ты опять узнал во мне не ту, которая любила тебя, а только хорошенькую восемнадцатилетнюю девушку, встретившуюся тебе на том же месте два дня назад. Ты посмотрел на меня удивленно и приветливо, и легкая улыбка играла на твоих губах. Ты опять прошел мимо меня и, как в тот раз, тотчас же замедлил шаг,— я дрожала, я блаженствовала, я молилась о том, чтобы ты заговорил со мной. Я поняла, что впервые я для тебя живое существо; я тоже пошла тише, я не бежала от тебя. И вдруг я почувствовала, что ты идешь за мной: не оглядываясь, я уже знала, что сейчас услышу твой любимый голос и ты впервые обратишься ко мне. Я вся оцепенела от ожидания, и сердце так колотилось, что мне чуть не пришлось остановиться, но ты уже догнал меня. Ты заговорил со мной с твоей обычной легкостью и веселостью, словно мы были старые знакомые — ах,

ты ведь ничего не знал, ты никогда ничего не знал о моей жизни! — с такой чарующей непринужденностью заговорил ты со мной, что я даже нашла в себе силы отвечать тебе. Мы дошли до угла. Потом ты спросил, не поужинаем ли мы вместе; я сказала «да». В чем я посмела бы отказать тебе?

Мы поужинали вдвоем в небольшом ресторане — помнишь ли ты, где это было? Ах нет, ты, наверное, не можешь отличить этот вечер от других таких же вечеров, ибо кем я была для тебя? Одной из сотен, случайным приключением, звеном в бесконечной цепи. Да и что могло бы напомнить тебе обо мне? Я почти не говорила, это было слишком большое счастье — сидеть подле тебя, слушать твой голос. Я боялась задать вопрос, сказать лишнее слово, чтобы не потерять ни одного драгоценного мгновения. Я всегда с благодарностью вспоминаю, с какой полнотой ты оправдал мои благоговейные ожидания, как чуток ты был, как прост и естествен, без всякой навязчивости, без любезничания; с первой же минуты ты говорил со мной так непринужденно и дружелюбно, что одним этим ты покоришь меня, если бы я уже давно всеми своими помыслами, всем своим существом не была твоей. Ах, ты ведь не знаешь, какую великую мечту ты для меня осуществил, не обманув моего пятилетнего ожидания!

Было уже поздно, когда мы встали из-за стола. У выхода из ресторана ты спросил меня, спешу ли я или располагаю еще временем. Могла ли я скрыть от тебя мою готовность идти за тобой! Я сказала, что у меня еще есть время. Тогда ты, на секунду замывшись, спросил, не зайду ли я к тебе поболтать. «Охотно!» — повинувшись непосредственному чувству, сказала я и тут же заметила, что поспешность моего ответа не то покорила, не то обрадовала тебя, но явно поразила. Теперь я понимаю твое удивление: я знаю, что женщины обычно скрывают готовность отдаться, даже если втайне горят желанием, разыгрывают испуг или возмущение и уступают только после настойчивых просьб, заверений, клятв и ложных обещаний. Я знаю, что, может быть, только те, для кого любовь ремесло, только проститутки отвечают немедленным полным согласием на подобное приглашение или же очень юные, совсем неопытные девушки. Но в моем ответе — как мог ты об этом подозревать? — была лишь претворенная в слово упорная воля, неудержимо прорвавшаяся тоска тысячи томительных дней. Так или иначе, ты был изумлен, я заинтересовала тебя. Я заметила, что ты украдкой с удивлением посматриваешь на меня. Твое безошибочное чутье, твое вещее знание всего человеческого сразу подсказало тебе, что какая-то загадка, что-то необычное таится в этой миловидной, доверчивой девушке. В тебе проснулось любопытство, и по твоим осторожным, испытывающим вопросам я поняла, что ты стараешься разгадать эту загадку. Но я уклонилась от прямых ответов: я предпочитала показаться тебе глупой, но не выдать свою тайну.

Мы поднялись к тебе. Прости, любимый, если я скажу тебе, что ты не можешь понять смятение, с каким я вошла в подъезд, поднялась по ступеням, какое это было пьянящее, исступленное, мучи-

тельное, почти смертельное счастье. Мне и теперь трудно без слез вспоминать об этом, а ведь у меня больше нет слез. Но ты вдумайся в то, что ведь все там было как бы пронизано моей страстной любовью, все было символом моего детства, моей тоски: подъезд, перед которым я тысячу раз ждала тебя, лестница, где я прислушивалась к твоим шагам и где впервые увидела тебя, глазок, откуда я следила за тобой, когда всей душой рвалась к тебе; коврик перед твоей дверью, где я однажды стояла на коленях, щелканье ключа в замке — сколько раз я вскакивала, услышав этот звук! Все детство, вся моя страсть запечатлелись на этом тесном пространстве; здесь приютилась вся моя жизнь, и теперь она бурей обрушилась на меня: ведь все, всё сбылось, и я шла с тобой — с тобой! — по твоему, по нашему дому. Подумай — это звучит банально, но я не умею иначе сказать, — вся жизнь для меня, вплоть до твоей двери, была действительность, тупая повседневность, а за ней начиналось волшебное царство ребенка, царство Аладдина; подумай, что я тысячу раз горящими глазами смотрела на эту дверь, в которую теперь вошла, и ты почувствуешь — только почувствуешь, но никогда не поймешь до конца, любимый! — чем был в моей жизни этот неповторимый миг.

Я оставалась у тебя всю ночь. Ты и не подозревал, что до тебя ни один мужчина не прикоснулся ко мне и не видел моего тела. Да и как ты мог заподозрить это, любимый, — я не противилась тебе, я подавила в себе чувство стыда, лишь бы ты не разгадал тайну моей любви к тебе, ведь она, наверное, испугала бы тебя, потому что ты любишь только все легкое, невесомое, мимолетное, ты боишься вмешаться в чью-нибудь судьбу. Ты расточаешь себя, отдаешь себя всему миру и не хочешь жертв. Если я теперь говорю тебе, любимый, что я отдалась тебе первому, то умоляю тебя: не пойми меня превратно! Я ведь не виню тебя, ты не заманивал меня, не лгал, не соблазнял — я, я сама пришла к тебе, бросилась в твои объятия, бросилась навстречу своей судьбе. Никогда, никогда не стану я обвинять тебя, нет, я всегда буду благодарна тебе, потому что как богата, как озарена счастьем, как напоена блаженством была для меня эта ночь! Когда я в темноте открывала глаза и чувствовала тебя рядом с собой, я удивлялась, что надо мной не звездное небо. Нет, я никогда ни о чем не жалела, любимый, этот час искупил все. И я помню, что, слыша твое сонное дыхание, чувствуя тебя так близко подле себя, я плакала в темноте от счастья.

Утром я заторопилась уходить. Мне нужно было вовремя поспеть в магазин, и, кроме того, я решила уйти раньше, чем придет твой слуга, — я не хотела, чтобы он меня видел. Когда я, уже одетая, стояла пред тобой, ты обнял меня и долго смотрел мне в лицо; мелькнуло ли у тебя воспоминание, далекое и смутное, или просто я показалась тебе красивой оттого, что вся дышала счастьем? Потом ты поцеловал меня в губы. Я тихонько отстранила тебя и повернулась к двери. Ты спросил меня: «Хочешь взять с собой цветы?» Я сказала: «Да». Ты вынул четыре белые розы из синей хрустальной вазы на письменном столе (о, я знала эту вазу еще с того вре-

мени, когда ребенком заглянула в твою квартиру). Ты дал мне эти розы, и я еще много дней целовала их.

Мы условились встретиться еще раз. Я пришла, и опять все было чудесно. Еще одну, третью ночь подарил ты мне. Потом ты сказал, что тебе нужно уехать — как я с самого детства ненавидела эти путешествия! — и обещал сейчас же известить меня, когда вернешься домой. Я дала тебе адрес — до востребования; своего имени я не хотела тебе назвать. Я оберегала свою тайну. Ты опять на прощанье дал мне розы — на прощанье!

Каждый день, два месяца подряд, я справлялась... нет, не надо, к чему описывать все эти муки ожидания и отчаяния? Я не виню тебя, я люблю тебя таким, каков ты есть, пылким и забывчивым, увлекающимся и неверным, я люблю тебя таким, только таким, каким ты был всегда, каким остался и поныне. Ты давно уже вернулся, я видела это по твоим освещенным окнам, но ты мне не написал. У меня нет ни строчки от тебя в этот мой последний час, ни строчки от тебя, кому я отдала всю свою жизнь. Я ждала, ждала с долготерпением отчаяния. Но ты не позвал меня, не написал ни строчки... ни строчки...

Мой ребенок вчера умер — это был и твой ребенок. Это был и твой ребенок, любимый, — дитя одной из трех ночей; я клянусь тебе в этом, и ты знаешь, что перед лицом смерти не лгут. Это было наше дитя, клянусь тебе, потому что ни один мужчина не прикоснулся ко мне с того часа, как я отдалась тебе, до другого часа, когда мое дитя исторгли из меня. Мое тело казалось мне священным с тех пор, как его касался ты. Как могла бы я делить себя между тобой, который был для меня всем, и другими, лишь мимолетно появлявшимися в моей жизни? Это было наше дитя, любимый, дитя моей глубокой любви и твоей беззаботной, расточительной, почти бессознательной ласки, наш ребенок, наш сын, наше единственное дитя. Но ты спросишь меня — быть может, с испугом, быть может, только удивленно, — ты спросишь меня, любимый, почему все долгие годы я молчала о нашем ребенке и говорю о нем только сегодня, когда он лежит здесь в темноте, уснув навеки, когда он скоро уйдет и уже никогда, никогда не вернется. Но как я могла сказать тебе? Ты ни за что не поверил бы мне, незнакомой женщине, случайной подруге трех ночей, без сопротивления, по первому твоему слову отдавшейся тебе, ты не поверил бы мне, безыменной участнице мимолетней встречи, что я осталась тебе верна, тебе, неверному, и лишь с сомнением признал бы ты этого ребенка своим! Никогда, даже если бы слова мои показались тебе правдоподобными, не мог бы ты освободиться от тайной мысли, что я пытаюсь навязать тебе, состоятельному человеку, заботу о чужом ребенке. Ты отнесся бы ко мне с подозрением, и между нами осталась бы тень, смутная, неуловимая тень недоверия. Этого я не хотела. И потом, я ведь знала тебя; я знала тебя так, как ты сам едва ли знаешь себя, и я понимала, что тебе, любящему только все беззаботное, легкое,

ищущему в любви только игру, было бы тягостно вдруг оказаться отцом, вдруг оказаться ответственным за чью-то судьбу. Ты, привыкший к полнейшей свободе, почувствовал бы себя как-то связанным со мной. И ты — я знаю, это не зависело бы от твоей воли, — возненавидел бы меня за то, что я связала тебя. Может быть, на час, может быть, всего на несколько минут. Я стала бы тебе в тягость, стала бы тебе ненавистна, — я же в своей гордости хотела, чтобы ты всю жизнь думал обо мне без забот и тревоги. Я предпочитала взять все на себя, чем стать для тебя обузой, я хотела быть единственной среди любивших тебя женщин, о ком ты всегда думал бы с любовью и благодарностью. Но, увы, ты никогда обо мне не думал, ты забыл меня.

Я не виню тебя, любимый, нет, я не виню тебя! Прости мне, если порою капля горечи просачивается в эти строки, — мое дитя, наше дитя лежит ведь мертвое возле меня под мерцающими свечами; я грозила кулаком богу и называла его убийцей, мысли у меня мешаются. Прости мне жалобу, прости ее мне! Я ведь знаю, ты добр и отзывчив в глубине души, ты помогаешь любому, помогаешь незнакомым людям, всем, кто бы ни обратился к тебе. Но твоя доброта особого свойства, она открыта для всякого, и всякий волен черпать из нее столько, сколько могут захватить его руки; она велика, безгранична, но, прости меня, — она ленива, она ждет напоминания, просьбы. Ты помогаешь, когда тебя зовут, когда тебя просят, помогаешь из стыда, из слабости, но не из радостной готовности помочь. Ты — позволь тебе это сказать откровенно — человека в нужде и горе любишь не больше, чем баловня счастья, каков ты сам. А людей, подобных тебе, даже самых добрых среди них, тяжело просить. Один раз, когда я еще была ребенком, я видела через глазок, как ты подал милостыню нищему, который позвонил у твоей двери. Ты дал ему денег, прежде чем он успел попросить, и дал много, но ты сделал это как-то испуганно и поспешно, с явным желанием, чтобы он поскорее ушел; и казалось, что ты боишься смотреть ему в глаза. Я навсегда запомнила, как торопливо и смущенно, уклоняясь от благодарности, ты оказал помощь этому нищему. Вот почему я никогда и не обращалась к тебе. Конечно, я знаю, что ты помог бы мне тогда и не имея уверенности, что это твой ребенок, ты утешал бы меня, дал бы мне денег, много денег, но все это с тайным желанием поскорее покончить с этой неприятностью; я даже думаю, ты стал бы уговаривать меня предотвратить появление ребенка. А этого я боялась больше всего — потому что чего бы я не сделала, если бы ты этого пожелал, как могла бы я в чем-нибудь отказать тебе! Но это дитя было для меня всем; оно ведь было от тебя, повторение тебя самого, но все же не ты, счастливый, беззаботный, которого я не могла удержать, а ты, дарованный мне навсегда — так я думала, — ты, заключенный в моем теле, неотделимый от моей жизни. Теперь я наконец обрела тебя, я могла ощущать всем существом своим, как зреет во мне твоя жизнь, могла кормить, поить, ласкать, целовать тебя, когда жаждой ласки горела

душа. Вот почему, любимый, я была так счастлива, зная, что ношу твоего ребенка. Вот почему я скрыла это от тебя,—теперь ты уже не мог от меня ускользнуть.

Любимый, я пережила не только месяцы счастья, рисовавшиеся мне в мечтах; на мою долю выпали и месяцы ужаса и муки, полные отвращения перед людской низостью. Мне пришлось нелегко. В магазин я в последние месяцы ходить не могла, так как родственники заметили бы мое положение и сообщили бы об этом домой. Просить денег у матери я не хотела и жила тем, что продавала кое-какие сохранившиеся у меня ценные вещи. За неделю до родов прачка украла у меня из шкафа последние несколько крон, и мне пришлось лечь в родильный приют. Там, куда от горькой нужды приходят только самые бедные, самые отверженные и забытые, там, в омуте нищеты, родилось твое дитя. В приюте было ужасно: все казалось бесконечно чужим, и мы, одиноко лежавшие там, были друг другу чужие и ненавидели друг друга; только общее несчастье, общая мука загнала нас всех в эту душную, пропитанную хлороформом и кровью, полную криков и стонов палату. Все унижения, какие приходится претерпевать обездоленным, стыд, нравственный и физический, испытала я там наравне с проститутками и больными, страдая от вынужденной близости к ним, от цинизма молодых врачей, которые, усмехаясь, откидывали одеяла и с фальшиво ученым видом трогали беззащитных женщин, от алчности сиделок; о, там человеческую стыдливость распинают взглядами и бичуют словами. Табличка с именем — вот все, что остается от тебя, а то, что лежит на койке,—просто кусок содрогающегося мяса, предмет, выставленный напоказ для изучения; да, женщины, которые в своем доме дарят ребенка любящему, заботливому мужу,—они не знают, что значит рожать одинокой, беззащитной, чуть ли не на лабораторном столе! И даже теперь, когда мне встречается в книге слово «ад», я невольно вспоминаю о битком набитой смрадной палате, полной стонов, истощного крика и грубого смеха, об этой клоаке позора.

Прости, прости мне, что я об этом говорю. Но я делаю это в первый и в последний раз; никогда, никогда уже не заговорю я об этом. Я молчала одиннадцать лет и скоро умолкну навеки; но хоть один раз я должна дать себе волю, должна крикнуть о том, какой дорогой ценой достался мне ребенок, который был счастьем моей жизни и теперь лежит в кроватке бездыханный. Я давно уже все это забыла, забыла в улыбке ребенка, в его смехе, в своей радости; но теперь, когда он умер, мука вновь оживает, и я не могу не кричать, я должна облегчить душу хоть один-единственный раз. Но я обвиняю не тебя, а только бога, сделавшего бессмысленной перенесенную мной муку. Клянусь тебе, я не тебя обвиняю, и никогда не в гневе не восставала против тебя. Даже в тот час, когда тело мое корчилося в родовых муках, даже в мгновения, когда боль разрывала мне душу, я не обвиняла тебя перед богом; никогда не жалела я о тех ночах, никогда не проклинала свою любовь к тебе; я всегда любила тебя, всегда благословляла нашу встречу. И если

бы повторились те страшные часы в приюте и я знала бы наперед, что меня ожидает, я пошла бы на это еще раз, любимый мой, еще раз и тысячу раз!

Наш ребенок вчера умер — ты никогда не знал его. Никогда, даже в мимолетной случайной встрече твой взгляд не скользнул по маленькому цветущему созданию, рожденному тобой. Я долго скрывалась от тебя; теперь, когда у меня был ребенок, я, кажется, даже любила тебя более спокойной любовью, по крайней мере, она уже не причиняла мне нестерпимых страданий. Я не хотела делить себя между тобой и сыном, и я отдала себя не тебе, баловню счастья, чья жизнь проходила мимо меня, а ребенку, которому я была нужна, которого я должна была кормить, которого я могла целовать и прижимать к груди. Я словно освободилась от власти рока, осудившего меня на страсть к тебе, с тех пор как появился на свет другой «ты», поистине принадлежавший мне; лишь редко, очень редко я смиренно приближалась к твоему дому. Но ко дню твоего рождения, из года в год, я посылала тебе белые розы, точно такие, какие ты подарил мне тогда после первой ночи нашей любви. Спросил ли ты себя хоть раз за эти десять, за эти одиннадцать лет, кто их тебе посылает? Быть может, ты вспомнил о той, которой ты однажды подарил такие розы? Я не знаю и никогда не узнаю твоего ответа. Только раз в году протянуть их тебе из мрака, воскресить память о той встрече — большего я не требовала.

Ты не знал нашего бедного ребенка, — сегодня я раскаиваюсь, что скрыла его от тебя, потому что ты любил бы его. Ты не знал нашего бедного мальчика, ты никогда не видел, как он улыбался и широко раскрывал свои темные, вдумчивые глаза — твои глаза! — озаряя их лучистым, радостным светом меня и весь мир. Ах, он был такой веселый, такой милый. В нем по-детски повторилась вся твоя живость, твое стремительное, пылкое воображение. Он мог часами самозабвенно играть с чем-нибудь, как ты играешь с жизнью, а потом подолгу просиживать, сосредоточенно хмурия брови, над своими книжками. Он все больше становился тобой. В нем начала уже явно проступать присущая тебе двойственность, смесь серьезности и легкомыслия, и чем больше он становился похож на тебя, тем сильнее я любила его. Он хорошо учился, болтал по-французски, как сорока, его тетрадки были самые опрятные во всем классе, и как он был хорош в своем черном бархатном костюме или в белой матросской курточке! Он всегда оказывался самым изящным, где бы ни появлялся; когда я гуляла с ним по пляжу в Градо, женщины останавливались и гладили его длинные светлые волосы; когда он в Земмеринге катался на санках, люди с восхищением оглядывались на него. Он был такой миловидный, такой нежный и ласковый. В минувшем году он поступил в интернат Терезианума и носил свою форму и маленькую шпагу, точно паж восемнадцатого века, — теперь на нем только рубашечка, и он лежит, бедный, с посиневшими губами, и руки сложены на груди.

Но ты, может быть, спросишь, как я могла воспитывать ребенка в такой роскоши, как сумела я доставить ему все радости легкой, беззаботной жизни высшего общества. Любимый мой, я говорю с тобой из мрака, я не стыжусь, я скажу тебе, но только не пугайся, любимый,—я продавала себя. Я не стала тем, что называют уличной феей, проституткой, но я продавала себя. У меня были богатые друзья, богатые любовники; сначала я искала их, потом они искали меня, потому что я была — замечал ли ты это когда-нибудь? — очень хороша собой. Все, кому я отдавалась, были благодарны мне, привязывались ко мне, все любили меня,—только ты не полюбил меня, только ты, мой любимый!

Презираешь ли ты меня теперь, после этого признания? Нет, я знаю, ты не презираешь меня; я знаю, ты все понимаешь, поймешь и то, что я поступила так ради тебя, ради твоего второго «я», ради твоего ребенка. Однажды, в палате родильного приюта, я прикоснулась к ужасам нищеты, я знала, что бедного всегда топчут, унижают, что в этом мире он всегда жертва, и я ни за что на свете не хотела, чтобы твое дитя, твое светлое, чудное дитя выросло на дне, среди голытьбы, среди дикости и пошлости улицы, в зачумленном воздухе задворок. Я не хотела, чтобы его нежные губы произносили грубые слова, чтобы его белого тельца касалось жесткое, заскорузлое белье бедноты,—у твоего ребенка должно было быть все, все богатства, все блага земные, он должен был подняться до тебя, до твоей жизненной сферы.

Поэтому, только поэтому, любимый, продавала я себя. Для меня в этом не было жертвы, ибо то, что принято называть честью или позором, в моих глазах не имело значения; ты не любил меня, ты, единственный, кому по праву принадлежало мое тело, а все остальное было мне безразлично. Ласки мужчин и даже их искренние чувства не вызывали во мне отклика, хотя иных я очень уважала и, памятуя о своей собственной неразделенной любви, от души жалела. Все те, кого я знала, были добры ко мне, все баловали меня, все уважали. Один граф, пожилой вдовец, любил меня, как родную дочь, это он обивал пороги, чтобы выхлопотать безродному ребенку, твоему ребенку, прием в Терезианум. Три, четыре раза просил он моей руки,—я могла бы быть теперь графиней, владелицей сказочного замка в Тироле, могла бы отбросить все заботы, так как ребенок имел бы нежного, обожающего отца, а я — спокойного, благородного, доброго мужа. Я не согласилась, несмотря на то, что причиняла ему боль своим отказом. Быть может, я поступила опрометчиво, и я жила бы теперь где-нибудь в тиши, и мое ненаглядное дитя было бы со мной, но — почему не признаться тебе? — я не хотела себя связывать, хотела в любой час быть свободной для тебя. Где-то, в сокровенной глубине души, все еще таилась давняя детская мечта, что ты еще позовешь меня, хотя бы только на один час. И ради этого одного возможного часа я оттолкнула от себя все, лишь бы быть свободной и явиться по первому твоему зову. Чем была вся моя жизнь с самого пробуждения от детства, как не ожиданием, ожиданием твоей прихоти!

И этот час действительно настал. Но ты не знаешь его, не подозреваешь о нем, мой любимый! Ты не узнал меня и в этот раз — никогда, никогда ты не узнавал меня! Я ведь и раньше часто встречала тебя в театре, на концертах, в Пратере, на улице — каждый раз у меня замирало сердце, но ты не смотрел на меня: я ведь внешне сильно изменилась, из робкого подростка превратилась в женщину; говорили, что я хороша; я всегда была богато одета и окружена поклонниками. Как мог ты признать во мне робкую девушку, которую видел в полумраке своей спальни! Иногда с тобой раскладывался кто-нибудь из сопровождавших меня мужчин; ты отвечал на поклон и бросал взгляд на меня, но этот холодный взгляд был просто данью вежливости, знаком минутного интереса; это был не знающий меня, чужой, страшно чужой взгляд. Помню, однажды это неузнавание, к которому я уже почти привыкла, причинило мне жгучую боль: это было в театре, я сидела в ложе со своим другом, а ты — в соседней ложе. Началась увертюра, свет погас, и я больше не могла видеть твое лицо, но я слышала рядом с собой твое дыхание, как тогда, в ту ночь, а на бархатном барьере, разделявшем наши ложи, покоилась твоя рука, твоя тонкая, нежная рука. Имной овладело неодолимое желание наклониться и смиренно поцеловать эту нужную, столь любимую руку, когда-то ласкавшую меня. Вздвигаясь звуками музыки, я едва удерживалась, чтобы не прижаться к ней губами, не уступить безумному порыву. После первого акта я попросила моего друга увести меня. Я больше не могла сидеть рядом с тобой в темноте — так близко и... так бесконечно далеко.

Но час настал, он настал еще раз, последний раз в моей разрушенной жизни. Это произошло почти год тому назад, на другой день после дня твоего рождения. И странно: я весь день думала о тебе, потому что день твоего рождения я всегда справляла, как праздник. Рано, рано утром я вышла из дому, купила белые розы и, как всегда, послала их тебе, в память о забытом тобой часе. Днем я поехала с мальчиком кататься, потом повела его в кондитерскую Демеля, а вечером в театр, — я хотела, чтобы и он, ни о чем не подозревая, с ранних лет запомнил этот день как некий таинственный праздник. На завтра, вечером, я была на концерте с моим тогдашним другом, молодым фабрикантом из Брюнна, с которым жила уже два года; он обожал меня, окружал заботами, хотел, так же как и другие, жениться на мне и встречал с моей стороны такой же, казалось, беспричинный отказ, хотя засыпал меня и ребенка подарками; сам он был человек достойный, и его несколько тупая, но беззаветная преданность заслуживала иного ответа. На концерте мы встретили знакомых и все вместе поехали ужинать в ресторан на Рингштрассе, и вот среди смеха и шуток я предложила заглянуть еще в танцевальный зал — в Табарен. Обычно, когда меня звали в такие места, я отказывалась, потому что слишком шумное, пьяное веселье, неизменно царившее там, было мне противно; но на этот раз какая-то необъяснимая, магическая сила заставила меня высказать пожелание, с бурным одобрением подхваченное всей компанией. Я и сама не знала почему, но меня неудержимо тянуло туда,

словно что-то необычайное и неожиданное предстояло мне там. Мои спутники, привыкшие во всем угождать мне, тотчас встали, и мы отправились в Табарен, пили там шампанское, и на меня нашла такая ненстойвая, почти мучительная веселость, какой я никогда не испытывала. Я пила и пила, подхватывала гривуазные песенки — еще немного, и я пошла бы танцевать или начала хохотать на весь зал. Но вдруг словно ледяным холодом или огненным жаром обдало мое сердце — я увидела тебя: ты сидел за соседним столиком с приятелями и смотрел на меня восхищенным и полным желания взглядом, тем взглядом, который всегда проникал в самые недра моего существа. Впервые за десять лет ты вновь смотрел на меня со всей присущей тебе силой безотчетной страстности. Я вся задрожала и чуть не выронила из рук поднятый бокал. К счастью, никто из сидевших за нашим столиком не заметил моего смятения, оно затерялось в раскатах смеха и музыки.

Твой взгляд становился все упорней, все пламеннее, он жег меня как огнем. Я силилась понять, узнал ли ты меня наконец, или я для тебя опять новая, другая, незнакомая женщина? Кровь прихлынула к моим щекам, я рассеянно отвечала на вопросы моих друзей. Ты не мог не заметить, как взволновал меня твой взгляд. Едва уловимым кивком головы ты сделал мне знак, чтобы я на минуту вышла в вестибюль. Затем ты нарочито громко потребовал счет, простился с приятелями и вышел, еще раз дав мне понять, что будешь ждать меня. Я дрожала, как в ознобе, меня била лихорадка, я не могла выдавить из себя ни слова, не могла смирить охватившее меня волнение. Как раз в эту минуту негритянская пара, дробно стуча каблуками и пронзительно вскрикивая, начала исполнять модный замысловатый танец; все взоры обратились на них, и, пользуясь этим, я встала, сказала моему другу, что сейчас вернусь, и вышла вслед за тобой.

Ты стоял в вестибюле у вешалок и ждал меня; когда я подошла, лицо твое просияло. Улыбаясь, поспешил ты мне навстречу; я сразу увидела, что ты не узнал меня, не узнал во мне ни подростка, ни девушки давно минувших лет; опять тебя влекло ко мне, как к чему-то новому, неизвестному. «Найдется у вас как-нибудь и для меня часок?» — спросил ты, и по твоему уверенному, непринужденному тону я поняла, что ты принимаешь меня за одну из тех женщин, которых можно купить на вечер. «Да», — произнесла я то же трепетное, но само собой разумеющееся «да», которое однажды, более десяти лет назад, сказала тебе робкая девушка на сумеречной улице. «Когда мы могли бы увидеться?» — спросил ты. «Когда хотите», — ответила я: перед тобой у меня не была стыда. Ты удивленно взглянул на меня, с таким же недоверчивым любопытством и недоумением, как в тот вечер, когда я точно так же поразила тебя поспешностью, с какой я дала согласие. «Можно и сейчас?» — несколько нерешительно спросил ты. «Да», — ответила я, — идем», — и уже направилась к вешалке, чтобы взять свое манто.

Тут я вспомнила, что номерок от нашего платья остался у моего друга. Вернуться и попросить номерок было невозможно без дли-

тельных объяснений; но и пожертвовать часом, который я могла провести с тобой, часом, о котором я мечтала столько лет, я не хотела. Не колеблясь ни минуты, я набросила на вечернее платье шаль и вышла в сырую туманную ночь, не заботясь о своем мантио, не думая о добром, любящем меня человеке, на чьи средства я жила уже несколько лет и которого я поставила в самое нелепое и унижительное положение: у всех на глазах его любовница, прожившая с ним два года, убегает по знаку первого встречного. О, я глубоко сознавала всю низость и неблагодарность, все бесстыдство своего поведения; я понимала, что поступаю нелепо и наношу хорошему человеку и верному другу смертельную обиду, понимала, что порываю с налаженным существованием,—но что значила для меня дружба, сама жизнь по сравнению с нетерпеливым желанием вновь ощутить твои губы, услышать нежную ласку твоих слов? Так я любила тебя: теперь я могу сказать тебе это, когда все прошло, все миновало. Мне кажется, если бы ты позвал меня с моего смертного одра, у меня явились бы силы встать и пойти за тобой.

У подъезда стоял экипаж, и мы поехали к тебе. Я снова слышала твой голос, чувствовала твою близость и была так же опьянена, так же по-детски счастлива, как при нашей первой встрече. Я опять поднималась по лестнице впервые после более чем десятилетнего промежутка. Нет, нет, я не могу тебе рассказать, как в эти мгновения я ощущала все вдвойне, в прошлом и настоящем, и во всем опять-таки только одного тебя. В твоей комнате мало что изменилось: прибавилось только несколько картин, книг, немного новой мебели, и все было так знакомо мне! А на письменном столе стояла ваза с розами — с моими розами, которые я накануне, ко дню рождения, послала тебе в память о той, кого ты все-таки не вспомнил, все-таки не узнал даже теперь, когда она опять была подле тебя и ты соединял с ней уста и руки. Но все же мне отраднo было видеть, что ты хранишь мои цветы, что вокруг тебя витает частица моего «я», дыхание моей любви.

Ты обнял меня. Снова я осталась у тебя на всю долгую ночь. Но и тут ты не узнал меня. Счастливая, принимала я твои ласки и видела, что твоя страсть не знает разницы между любимой и купленной женщиной, что ты предаешься своим желаниям со всей беспечной расточительностью твоей натуры. Ты был так нежен и чуток со мной, женщиной, приведенной из ночного ресторана, так дружески сердечен и рыцарски почтителен и в то же время так страстен в наслаждении, что я, пьянея от счастья, как десять лет назад, опять со всей силой почувствовала твою неповторимую двойственность — высокую одухотворенность в любовной страсти, когда-то покорившую меня, полурепбенка. Я не встречала человека, который так пламенно отдавался бы во власть минуты, с такой щедростью раскрывал бы другому сокровеннейшие глубины своей души,— чтобы затем, увь, все померкло в какой-то безграничной, почти противостественной забывчивости. Но и я забыла о себе. Кто была я, здесь, в темноте, подле тебя? Страстно влюбленная девочка, или мать твоего ребенка, или чужая женщина из ресторана? Ах, все было так

знакомо, уже пережито и вместе с тем так уповательно ново в ту блаженную ночь! И я молилась, чтобы ей не было конца.

Но утро настало; мы встали поздно, и ты пригласил меня позавтракать с тобой. Мы пили чай, приготовленный в столовой невидимой услужливой рукой, и непринужденно болтали. Ты опять говорил со мной просто и сердечно, без нескромных вопросов, без малейшего любопытства. Ты не спрашивал, ни кто я такая, ни где живу; я была для тебя только случайным приключением, безымянной минутной прихотью, бесследно исчезающей из памяти как дымок рассеивается в воздухе. Ты рассказал мне, что тебе предстоит большое путешествие в Северную Африку, которое продлится два или три месяца; я задрожала от страха, радость сменилась отчаянием, ибо в ушах у меня уже звучало: «Конец, все прошло и позабыто!» Мне хотелось броситься к твоим ногам и закричать: «Возьми меня с собой, тогда ты узнаешь меня наконец, наконец-то после стольких лет!» Но я была так робка, малодушна, так рабски покорна тебе! Я только сказала: «Как жаль!» Ты, улыбаясь, взглянул на меня: «Тебе правда жаль?»

Тут я не выдержала, поддалась внезапному порыву. Я встала и долгим, пристальным взглядом посмотрела тебе в лицо. Потом сказала: «Тот, кого я любила, тоже всегда уезжал». Я смотрела на тебя, смотрела прямо в глаза. «Сейчас, сейчас он узнает меня!» Я ждала, трепеща от страха и надежды. Но ты улыбнулся мне и сказал в утешение: «Из путешествий ведь возвращаются». — «Да, — ответила я, — возвращаются, но успев забыть».

Должно быть, в тоне, каким я это сказала, прозвучало что-то необычное, слишком страстное, потому что теперь и ты встал и посмотрел на меня с удивлением и теплой лаской. Ты взял меня за плечи. «Хорошее не забывается, тебя я не забуду», — сказал ты и погрузил взгляд в самую глубину моих глаз, словно ты хотел запечатлеть в памяти мой образ. И, чувствуя, как проникает в меня этот ищущий взгляд, впитывающий в себя все мое существо, я подумала, что наконец, наконец пелена упадет с твоих глаз. «Он узнает меня, узнает меня!» Душа моя ликовала от этой мысли.

Но ты не узнал меня. Нет, ты не узнал меня, и никогда я не была столь чужда тебе, ибо... ибо иначе как мог бы ты сделать то, что сделал через несколько минут? Ты поцеловал меня, еще раз страстно поцеловал, так что мне пришлось снова поправить растрепавшиеся волосы. И вот, стоя перед зеркалом, я вдруг увидела — я чуть не упала от ужаса и стыда, — я увидела, как ты украдкой сунул в мою муфту две крупных бумажки. Как я только удержалась, чтобы не вскрикнуть, не ударить тебя по лицу, — ты платил за эту ночь мне, любившей тебя с детства, матери твоего ребенка! Я была для тебя только проституткой из Табарена, не больше, ты заплатил мне, заплатил! Мало того, что я была забыта тобой, я должна была еще снести от тебя унижение.

Я начала торопливо хватать свои вещи. Только бы уйти, поскорей уйти, — мне было слишком больно. Я взяла шляпу — она лежала на

письменном столе возле вазы с белыми розами, моими розами. Тут мной овладело властное, неудержимое желание: я решила сделать еще одну попытку: «Не дашь ли ты мне одну из твоих белых роз?» — «С удовольствием», — ответил ты и тотчас вынул из вазы цветок. «Но, может быть, тебе подарила их женщина, — женщина, которая тебя любит?» — «Может быть, — сказал ты, — не знаю. Они присланы мне, и я не знаю кем. За это я их и люблю». Я взглянула на тебя: «Может быть, они тоже от женщины, забытой тобой!»

Ты изумленно взглянул на меня. Я твердо смотрела тебе прямо в глаза. «Узнай меня, узнай же меня наконец!» — кричал мой взгляд. Но твой взгляд светился лаской и неведением. Ты еще раз поцеловал меня. Но ты меня не узнал.

Я поспешно направилась к дверям, потому что слезы готовы были брызнуть у меня из глаз, а этого ты не должен был видеть. Я так бежала, что в прихожей чуть не столкнулась с твоим слугой. Он проворно отскочил в сторону, услужливо распахнул передо мной дверь, и в этот миг — ты слышишь? — в этот краткий миг, когда я сквозь слезы взглянула на старика, в его глазах вспыхнул какой-то свет. В этот миг — ты слышишь? — в этот единый миг Иоганн узнал меня, хотя ни разу не видел меня с моего детства. Мне хотелось стать перед ним на колени и целовать ему руки за то, что он узнал меня. Но я только выхватила из муфты эти ужасные деньги, которыми ты пригвоздил меня к позорному столбу, и сунула их старику. Он задрожал, испуганно посмотрел на меня — в эту секунду он, быть может, больше отгадал обо мне, чем ты за всю свою жизнь. Все, все люди любили меня, все были ко мне добры, только ты, только ты один не помнил меня, только ты один ни разу не узнал меня!

Мой ребенок умер, наш ребенок, теперь мне некого любить на всем свете, кроме тебя. Но кто ты для меня, ты, никогда, никогда не узнающий меня, проходящий мимо меня, как мимо прозрачной воды, наступающий на меня, как на камень, ты, неизменно обрекающий меня на разлуку и вечное ожидание? Один раз мне казалось, что я удержала тебя, неуловимого, в ребенке. Но это был твой ребенок: он жестоко покинул меня и отправился в путешествие, он забыл меня и больше не вернется. Я опять одинока, одинока, как никогда, у меня ничего нет, ничего нет от тебя: ни ребенка, ни слова, ни строчки, никакого знака памяти, и если бы ты услышал мое имя, оно ничего не сказало бы тебе. Почему мне не желать смерти, когда я мертва для тебя, почему не уйти, раз ты ушел от меня? Нет, любимый, я не упрекаю тебя, я не хочу вселить свое горе в твой озаренный радостью дом. Не бойся, я не стану больше докучать тебе; прости мне, я должна была излить душу в час смерти своего ребенка. Только раз я должна была все высказать тебе, — потом я опять скроюсь во мраке и буду молчать, как всегда молчала перед тобой. Но ты не услышишь моего стоны, пока я жива, — только когда я умру, получишь ты это завещание, завещание женщины, любившей тебя больше, чем все другие, и которой ты никогда не узнавал,

всю жизнь ожидавшей тебя и не дождавшейся твоего зова. Быть может, быть может, ты позовешь меня тогда, и я в первый раз нарушу верность тебе: я не услышу тебя из могилы. Я не оставляю тебе ни портрета, ни знака памяти, как и ты мне ничего не оставил; никогда ты не узнаешь меня, никогда. Такова была моя судьба в жизни, пусть будет так и в моей смерти. Я не позову тебя в мой последний час, я уйду, и ты не знаешь ни моего имени, ни моего лица. Я умираю легко, потому что ты не чувствуешь этого издалека. Если бы тебе было больно, что я умираю, я не могла бы умереть.

Я больше не могу писать... такая тяжесть в голове... все тело ломит, у меня жар... кажется, мне сейчас придется лечь. Может быть, скоро все кончится, может быть, хоть раз судьба сжалится надо мной, и я не увижу, как унесут мое дитя... Я больше не могу писать... Прощай, любимый, прощай, благодарю тебя. Все, что было, было хорошо, вопреки всему... я буду благодарна тебе до последнего вздоха. Мне хорошо — я сказала тебе все, ты теперь знаешь, нет, ты только догадываешься, как сильно я тебя любила, и в то же время моя любовь не ложится бременем на тебя. Тебе не будет не хватать меня — это меня утешает. Ничто не изменится в твоей прекрасной, светлой жизни... я не омрачу ее своей смертью... это утешает меня, любимый.

Но кто... кто будет посылать тебе белые розы ко дню твоего рождения? Ах, ваза опустеет, легкое дуновение моей жизни, раз в год овевавшее тебя, — развеется и оно! Любимый, послушай, я прошу тебя... это моя первая и последняя просьба к тебе... исполни ее ради меня: каждый год, в день твоего рождения — ведь это день, когда думают о себе, — покупай розы и ставь их в синюю вазу. Делай это, любимый, делай это так, как другие раз в году заказывают панихиду по дорогой им усопшей. Но я больше не верю в бога и не хочу панихид, я верю только в тебя, я люблю только тебя и жить хочу только в тебе... ах, только один раз в году, незаметно и неслышно, как я жила подле тебя... Прошу тебя, исполни это, любимый... это моя первая просьба к тебе и последняя... благодарю тебя... люблю тебя, люблю... прощай...

Он дрожащей рукой отложил письмо. Потом долго сидел задумавшись. Смутные воспоминания вставали в нем — о соседском ребенке, о девушке, о женщине в ночном ресторане, но воспоминания неясные, расплывчатые, точно контуры камня, мерцающего под водой. Тени набегали и расходились, но образ не возникал. Память о чем-то жила в нем, но о чем — он вспомнить не мог. Ему казалось, что он часто видел все это во сне, в глубоком сне, но только во сне.

Вдруг взгляд его упал на синюю вазу, стоявшую перед ним на письменном столе. Она была пуста, впервые за много лет пуста в день его рождения. Он вздрогнул; ему почудилось, что внезапно распахнулась невидимая дверь и холодный ветер из другого мира ворвался в его тихую комнату. Он ощутил дыхание смерти и дыхание

бессмертной любви; что-то раскрылось в его душе, и он подумал об ушедшей жизни, как о бесплотном видении, как о далекой страстной музыке.

УЛИЦА В ЛУННОМ СВЕТЕ

Пароход, задержанный бурей, только поздно вечером бросил якорь в маленькой французской гавани; ночной поезд в Германию уже ушел. Предстояло, таким образом, провести лишний день в незнакомом месте, а вечер не сулил никаких развлечений, кроме унылой музыки дамского оркестра в каком-нибудь увеселительном заведении или скучной беседы с совершенно случайными спутниками. Невыносимым показался мне чадный, сизый от дыма воздух в маленьком ресторане гостиницы, тем более что на губах у меня еще соленым холодком отдавалось чистое дыхание моря. Я пошел поэтому наудачу, по широкой светлой улице, в сторону площади, где играл оркестр гражданской гвардии, а оттуда — еще дальше, среди неторопливого потока гуляющих. Сначала мне было приятно так безвольно покачиваться в волнах равнодушной, по-провинциальному разодетой толпы, но все же мне вскоре стала несносна эта близость чужих людей, их отрывистый смех, глаза, которые останавливались на мне с удивлением, отчужденностью или усмешкой, прикосновения, незаметно толкавшие меня вперед, свет, льющийся из тысячи источников, и непрерывное шарканье шагов. Морскому плаванию сопутствовало непрерывное движение, и в крови у меня еще бродило сладостное чувство дурмана; все еще под ногами ощущались качка и зыбь, земля словно дышала и приподнималась, а улица как бы уходила в небо. Голова у меня вдруг закружилась, и, чтобы укрыться от шума, я свернул в переулок, не поглядев, как он называется, оттуда — в другой, поуже, где постепенно стал замирать нестройный гомон, и пустился затем бесцельно блуждать по лабиринту разветвленных, точно жилы, улочек, все более темных по мере того, как я удалялся от главной площади. Большие дуговые фонари, эти луны центральных улиц, здесь не горели, и благодаря скудному освещению я наконец снова увидел звезды и черное облачное небо.

Я находился, по-видимому, недалеко от гавани, в матросском квартале, — это чувствовалось по острому запаху рыбы, по тому сладковатому гнилостному запаху, какой сохраняют водоросли, даже выброшенные прибоем на берег, по тому присущему затхлым помещениям чаду, которым пропитаны такие закоулки, пока сильная буря не опакнет их своим дыханием. Мне были по душе полумрак и неожиданное одиночество, я замедлил шаги, осматривая одну улицу за другой, — и ни одна из них не была похожа на свою соседку; одни были миролюбивы, другие — разгульны, но все погружены во тьму и полны глухим шумом голосов и музыки, так таинственно льющихся из-под темных сводов, что почти нельзя было угадать его скрытого источника, ибо все дома были заперты и только мигали красным или желтым огоньком.

Я люблю эти улицы в чужих городах, этот грязный рынок всех страстей, тайное нагромождение всех соблазнов для моряков, которые после одиноких ночей в чужих и опасных морях заходят сюда на одну ночь, чтобы в течение часа осуществить свои долгие томительные сны. Они должны прятаться где-нибудь в нижней части большого города, эти узенькие переулки, ибо они нагло и назойливо говорят о том, что за сотнями личин скрывают светлые дома с зеркальными окнами и добропорядочными обитателями. Музыка призывно звучит здесь в тесных зальцах, кинематографы своими кричащими афишами обещают неслыханное великолепие, четырехгранные фонарики, приоткрывшись под воротами, подмигивают приветливо и недвусмысленно, сквозь приоткрытые двери мелькает обнаженное тело под позолоченной мишурой. Из кабаков доносятся пьяные голоса и крики ссорящихся игроков. Матросы ухмыляются, когда встречают друг друга, их глаза горят от предвкушения, ибо здесь есть все: вино и женщины, зрелища и азарт, самые низкие и самые возвышенные приключения. Но все это робко и все же предательски явно притаилось за лицемерно опущенными ставнями, все скрыто от взоров, и эта кажущаяся замкнутость волнует двойным соблазном тайны и доступности. Улицы эти — одни и те же и в Гамбурге, и в Коломбо, и в Гаване, они похожи друг на друга, как схожи между собой роскошные проспекты больших городов, потому что верхи и низы жизни повсюду имеют то же внешнее обличие. Последние причудливые остатки хаотическочувственного мира, где инстинкты еще действуют грубо и необузданно, темные дебри страстей, кишашие похотливым зверьем, — таковы эти отверженные улицы, волнующие тем, что в них мерещится, и прельщающие тем, что в них скрыто. О них можно грезить.

Такою была и эта улица, у которой я вдруг очутился в плену. Наудачу пошел я следом за двумя кирасирами, чьи сабли бряцали по неровной мостовой. Из одного кабака их окликнули какие-то женщины; они рассмеялись и ответили грубыми шутками, один из них постучал в окно, потом где-то раздалась брань, они пошли дальше; смех звучал все глуше и наконец замер совсем. Опять улица стала безмолвной, несколько окон тускло поблескивали в неярком свете луны. Я стоял и глубоко вдыхал эту тишину, казавшуюся мне поразительной, ибо за ней мне чудилось что-то тайное, нечистое и опасное. Явственно ощущал я, что эта тишина — обман и что в мгlistом чадy этой улицы тлеет нечто от гнили нашего мира. Но я стоял, не двигаясь, и прислушивался к пустоте. Я уже не чувствовал ни города, ни улицы, ни названия ее, ни своего имени; я сознавал только, что я здесь чужой, что я растворился в неведомом, что нет у меня ни цели, ни дела, ни связи с этой темной жизнью, и все же я ощущаю ее с такой же полнотой, как кровь в своих жилах. Только одно чувство владело мной: ничто здесь не происходит ради меня, и тем не менее все принадлежит мне, — то блаженное чувство глубочайшего и продолжительнейшего переживания, которое достигается внутренним неучастием и которым, как живой водой, питается мое существо при каждом соприкосновении с неведомым. И вдруг, в то время как я, прислушиваясь, стоял среди пустынной улицы, как бы в ожидании чего-то, что

должно произойти, чего-то, что выведет меня из этой лунатической настороженности в пустоте, до моего слуха донеслась немецкая песня, она звучала приглушенно, не то из-за стены, не то откуда-то очень издалека; женский голос пел бесхитростную мелодию из «Вольного стрелка»: «Дивный, девственный венок», — пел очень плохо, но все же то была немецкая мелодия — здесь, в чужом закоулке мира, и потому как-то особенно родная. Песня доносилась неведомо откуда, но для меня она звучала приветом, первым после долгой разлуки приветом родины. Кто говорит здесь на моем языке, спрашивал я себя, в этом глухом закоулке, из чьей груди ожившее воспоминание исторгло этот простенький напев? Я пошел на голос вдоль темных, точно дремлющих домов с закрытыми ставнями, за которыми предательские мелькали огни, а иногда и манящая рука. Кое-где висели крикливые надписи, яркие афиши, и притаившийся кабачок сулил виски, пиво, эль, но все было заперто, неприступно и вместе с тем зазывало прохожих. Иногда вдалеке раздавались шаги, но голос звучал непрерывно, все громче выводя припев и все приближаясь; наконец вот и нужный мне дом. Немного поколебавшись, я подошел к внутренней двери, плотно занавешенной белыми шторами. Но в этот миг что-то шевельнулось в потемках, какая-то фигура, которая притаилась там, прижавшись к стеклу, испуганно отскочила, и я увидел лицо, залитое красным светом фонаря и все же бледное от ужаса; мужчина растерянно посмотрел на меня, пробормотал что-то вроде извинения и исчез в полумраке улицы. Станным он мне показался. Я посмотрел ему вслед. Ускользавший силуэт его был еще смутно виден. Изнутри по-прежнему доносились пение все громче, все призывнее. Я отворил дверь и быстро вошел.

Песня оборвалась, точно отрезанная ножом, и я с испугом почувствовал перед собой пустоту, враждебное молчание, как будто я что-то вдребезги разбил. Лишь постепенно взгляд мой освоился с обстановкой почти пустой комнаты. Она состояла из буфетной стойки и стола. Все это служило, несомненно, только преддверием к другим комнатам, назначение которых легко было угадать по приспущенному свету ламп и приготовленным постелям, видневшимся сквозь приоткрытые двери. Перед стойкой, облокотившись на нее, стояла накрашенная женщина с утомленным лицом, за стойкой — хозяйка, тучная, какая-то грязновато-серая, и еще одна довольно милостивая девушка. Мои слова приветствия упали камнем в пространство, и только после паузы послышался вялый ответ. Мне стало не по себе от этого принужденного тоскливого молчания, и я охотно повернул бы обратно, но не находил для этого предлога, а потому покорно уселся за стол. Женщина у стойки, вспомнив о своих обязанностях, спросила, что мне подать, и по ее выговору я сразу угадал в ней немку. Я заказал пива. Она пошла и принесла пиво, и в ее походке еще яснее выразилось равнодушие, чем в тусклых глазах, едва мерцавших из-под век, словно угасающие свечи. Совершенно машинально, по обычаю подобных заведений, поставила она рядом с моим стаканом второй для себя. Взгляд ее, когда она чокнулась со мной, лениво скользнул мимо меня: я мог без помехи рассмотреть ее. Лицо у нее было, в сущности, еще краси-

вое, с правильными чертами, но, словно от душевного измождения, огрубело и застыло, как маска; все в нем было дрябло; веки — припухшие, волосы — обвисшие; одутловатые щеки, в пятнах дешевых румян, уже спускались широкими складками ко рту. Платье тоже было накинута небрежно, голос — сиплый от табачного дыма и пива. Все говорило о том, что передо мною человек смертельно усталый, продолжающий жить только по привычке, ничего не чувствуя. Мне стало жутко, и, чтобы нарушить молчание, я задал ей какой-то вопрос. Она ответила, не глядя на меня, равнодушно и тупо, еле шевеля губами. Я чувствовал себя лишним. Хозяйка зевала, другая девушка сидела в углу, поглядывая на меня, как будто ждала, что я ее позову. Я рад был бы уйти, но не мог сдвинуться с места и тупо, словно захмелевший матрос, сидел в затхлой, душной комнате, прикованный к стулу лобопытством, — было что-то пугающее и непонятное в царившем здесь равнодушии.

И вдруг я вздрогнул, услышав резкий хохот сидевшей подле меня женщины. В ту же минуту лампа замигала: по сквозняку я понял, что за моей спиной приоткрылась дверь.

— Опять пришел? — насмешливо и злобно крикнула она по-немецки. — Опять уже бродишь вокруг дома, ты, сквалыга? Ну, да уж входи, я тебе ничего не сделаю.

Я круто повернулся сначала к ней, так пронзительно крикнувшей эти слова, точно пламя вырвалось из нее, а потом к входной двери. И еще не успела она открыться, как я узнал пошатывающуюся фигуру, узнал смиренный взгляд того самого человека, что стоял в подъезде, словно прилипнув к дверям. Он робко, как нищий, держал шляпу в руке и дрожал от резких слов, от смеха, который сотрясал грузную фигуру женщины и на который хозяйка за стойкой отозвалась торопливым шепотом.

— Туда садись, к Франсуазе, — приказала женщина бедняге, когда он, крадучись, опасливо ступил шаг вперед. — Видишь, у меня гость.

Она крикнула это по-немецки. Хозяйка и девушка громко рассмеялись, хотя понять ничего не могли, но посетитель был им, по-видимому, знаком.

— Дай ему шампанского, Франсуаза! Принеси бутылку того, что подороже! — со смехом крикнула она и опять обратилась к нему: — Если для тебя дорого, оставайся на улице, скряга несчастный. Хотелось бы тебе небось бесплатно глазеть на меня, я знаю, все тебе хочется иметь бесплатно.

Длинная фигура посетителя съежилась от этого злого смеха, спина согнулась, лицо отворачивалось, словно хотело спрятаться, и рука, которая взялась за бутылку, так сильно дрожала, что вино пролилось на стол. Он силился поднять на женщину глаза, но не мог оторвать их от пола, и они бесцельно блуждали по кафельным плиткам. Теперь только, при свете лампы, я разглядел это истощенное, бледное, помятое лицо, влажные, жидкие волосы на костистом черепе, дряблые и точно надломленные запястья — убожество, лишенное силы, но все же не чуждое какой-то злости. Искривлено, сдвинуто было в нем все

и придавлено, и взгляд, который он вдруг метнул и тотчас же опять отвел в испуге, вспыхнул злым огоньком.

— Не обращайтесь на него внимания, — сказала мне женщина по-французски и взяла меня за локоть, точно хотела силой повернуть к себе. — У меня с ним старые счёты, не со вчерашнего дня. — И опять крикнула ему, оскалив зубы, точно для укуса: — Подслушивай, подслушивай, старая ехидна! Хочешь знать, что я говорю? Говорю, что скорее в море кинусь, чем к тебе пойду.

Снова рассмеялись хозяйка и другая девушка, тупо ослабившись; очевидно, это была для них обычная забава, повседневное развлечение. Но мне стало жутко, когда я увидел, как Франсуаза под села к нему и с напускной нежностью начала приставать с любезностями, от которых он содрогался в ужасе, не решаясь их отвергнуть; страх охватывал меня каждый раз, как его блуждающий взгляд униженно и подбострастно останавливался на мне. И ужас вселяла в меня женщина, сидевшая рядом со мной, очнувшаяся вдруг от спячки и искрившаяся такой злобой, что у нее дрожали руки. Я бросил деньги на стол и хотел уйти, но она их не взяла.

— Если он мешает тебе, я его выгоню вон, собаку. Он должен слушаться. Выпей-ка еще стакан со мною. Иди сюда.

Она прижалась ко мне в неожиданном страстном порыве, разумеется наигранном, только чтобы помучить того. Она все косилась в его сторону, и мне противно было видеть, как он вздрагивал, точно от прикосновения раскаленного железа. Не обращая на нее внимания, я следил только за ним и с трепетом замечал, как в нем росло что-то вроде ярости, гнева, желания и зависти и как он сразу весь съеживался, чуть только она поворачивала к нему голову. Она все крепче прижималась ко мне, я чувствовал, как она дрожит, наслаждаясь жестокой игрой, и меня жуть брала от ее накрашенного, пахнувшего дешевой пудрой лица, от запаха ее дряблого тела. Чтобы отодвинуться от нее, я достал сигару, и не успел я поискать глазами спички, как она уже властно крикнула ему:

— Дай закурить!

Я испугался, еще больше, чем он, столь гнусного требования его услуг и порывисто схватился за карман в поисках спичек; но, подхлестнутый ее словами, как бичом, он уже подошел ко мне своею кривой, шаткой поступью и быстро, словно боясь обжечься, если дотронется до стола, положил на него свою зажигалку. На мгновение наши взгляды скрестились: бесконечный стыд прочел я в его глазах и яростное ожесточение. И этот порабощенный взгляд поразил во мне мужчину, брата. Я почувствовал, до какого унижения довела его женщина, и устыдился вместе с ним.

— Очень вам благодарен, — сказал я по-немецки (она встрепенулась), — напрасно беспокоились. — И я подал ему руку. Долгое колебание, потом я ощутил влажные, костлявые пальцы и вдруг — судорожное, признательное пожатие. На секунду его глаза блеснули, встретив мой взгляд, потом опять скрылись под опущенными веками. Назло женщине я хотел попросить его присесть к нам, и, должно быть, рука

моя уже поднялась для приглашающего жеста, потому что она торопливо прикрикнула на него:

— Ступай в свой угол и не мешай нам!

Тут меня вдруг охватило отвращение к ее хриплому, язвительному голосу, к этому мерзкому мучительству. На что мне этот закопченный вертеп, эта противная проститутка, этот слабоумный мужчина, этот чад от пива, дыма и дешевых духов? Меня потянуло на воздух. Я сунул ей деньги, встал и энергично высвободился из ее объятий, когда она попыталась удержать меня. Мне претило участвовать в этом унижении человека, и мой решительный отпор ясно ей показал, как мало меня прельщают ее ласки. Тогда в ней вспыхнула злоба, она открыла было рот, но все же не решилась разразиться бранью и вдруг, в порыве непритворной ненависти, повернулась к нему. Он же, чуя недоброе, торопливо и словно подстегиваемый ее угрожающим видом, выхватил из кармана дрожащими пальцами кошелек. Он явно боялся остаться теперь с ней наедине и впопыхах не мог распутать узел кошелька,— это был вязаный кошелек, вышитый бисером, какие носят крестьяне и мелкий люд. Легко было заметить, что он не привык быстро тратить деньги, не в пример матросам, которые достают их пригоршнями из кармана и швыряют на стол; он, видимо, знал счет деньгам и, прежде чем расстаться с монетой, любил подержать ее в руке.

— Как он дрожит за свои милые денежки! Не идет дело? Погоди-ка! — глумилась она и приблизилась на шаг. Он отшатнулся, а она при виде его испуга сказала, пожав плечами и с неописуемым омерзением во взгляде: — Я у тебя ничего не возьму, плевать мне на твои деньги. Знаю, все они у тебя на счету, твои славные деньжата, ни одного гроша лишнего не выпустишь. Но только,— она неожиданно похлопала его по груди,— как бы кто не украл у тебя бумажки, зашитые тут.

И вправду, как сердечный больной внезапно судорожно хватается за сердце, так он прижал бледную и дрожащую руку к груди, невольно ощупывая пальцами потайное местечко, и, успокоившись, опустил ее.

— Скрыга,— выплонула она.

Но тут лицо мученика побагровело, он с размаху бросил кошелек Франсуазе,— та сначала вскрикнула от испуга, а затем расхохоталась,— и ринулся мимо нее к двери, точно спасаясь от пожара.

Женщина мгновение стояла выпрямившись, вся пылая злой яростью. Потом опять вяло опустились веки, устало ссутулились плечи. Старой, утомленной сделалась она в одну минуту. Какая-то растерянность мелькнула в ее взгляде, остановившемся на мне. Как пьяная, со смутным чувством стыда очнувшаяся от дурмана, стояла она передо мною.

— На улице он будет хныкать, оплакивая свои деньги, еще побегит, чего доброго, в полицию, скажет, что мы его обобрали. А завтра опять явится. Но я ему все-таки не достанусь. Всем, только не ему.

Она подошла к стойке, бросила на нее несколько монет и залпом выпила рюмку водки. Злой огонь опять загорелся в ее глазах, но

тускло, точно сквозь слезы ярости и стыда. Отвращение к ней пере-
силило во мне жалость.

— До свиданья! — сказал я.

Ответила только хозяйка. Женщина не оглянулась и лишь засмея-
лась хрипло и насмешливо.

Улица, когда я вышел, была сплошной ночью и небом, сплошной
душной мглой в затуманенном, бесконечно далеком лунном свете.
Жадно вдохнул я теплый, но все же бодрящий воздух; страх и омер-
зение растворились в великом изумлении перед тем, как многообразны
судьбы людские, и снова я ощутил — это чувство способно радовать
меня до слез, — что за каждым окном неминуемо притаилась чья-ни-
будь судьба, каждая дверь вводит в какую-нибудь драму; жизнь
вездесуща и многогранна, и даже грязнейший уголок ее так и кишит,
словно блестящими навозными жуками, готовыми образами.

Забилось все гнусное в виденном мною, нервное напряжение пере-
шло в сладостную истому, и меня уже тянуло преобразить пережитое
в приятных сновидениях. Я невольно огляделся по сторонам, стараясь
найти дорогу домой в этом запутанном клубке переулков. Но тут —
по-видимому, бесшумно подкравшись ко мне, — какая-то тень вы-
росла передо мною.

— Простите, — я сразу узнал этот смиренный голос, — но вы, ка-
жется, заблудились. Не разрешите ли... Не разрешите ли показать
вам дорогу? Вы где изволите жить?..

Я назвал свою гостиницу.

— Я провожу вас... если позволите, — тотчас же прибавил он уни-
женным тоном.

Мне опять стало жутко. Эти крадущиеся, призрачные шаги, почти
неслышные и все же неотступные, во мраке портового квартала, вы-
теснили мало-помалу воспоминание о пережитом, заменив его каким-то
безотчетным смятением. Я чувствовал смиренное выражение его глаз,
не видя их, замечал подергивание губ; я знал, что он хочет со мной
говорить, но не поощрял и не останавливал его, подчиняясь овладев-
шему мной дурману, в котором любопытство сочеталось с физической
скованностью. Он несколько раз кашлянул, я угадывал его подавляе-
мые попытки заговорить, но какая-то жестокость, таинственным обра-
зом передававшаяся мне от той женщины, тешилась происходившей
в нем борьбой между стыдом и душевным порывом: я не приходил ему
на помощь, предоставляя молчанию черной тучей тяготеть над нами.
И вразброд звучали наши шаги, его — скользящие, старческие, мои —
нарочито гулкие и энергичные, в стремлении уйти от этого грязного
мира. Все сильнее чувствовал я напряжение, возникшее между нами:
истощным немым криком было это молчание до отказа натянутой
струны; но вот наконец он нарушил его — с какою отчаянной ро-
бостью! — и заговорил:

— Вы были там... вы были... сударь... свидетелем очень странной
сцены... Простите... простите, что я к ней возвращаюсь, но она должна
была показаться вам очень странной... а я — очень смешным... Эта
женщина... она, видите ли...

Он опять запнулся. Что-то комом стояло у него в горле. Потом голос у него упал до шепота, и он торопливо пролепетал:

— Эта женщина... она моя жена.

Я, вероятно, вздрогнул от удивления, потому что он поспешил до-
бавить, словно оправдываясь:

— То есть... она была моей женой... Лет пять тому назад... В Гес-
сене, в Герацгейме, я оттуда родом... Я не хотел бы, сударь, чтобы
вы были о ней дурного мнения... Это, может быть, моя вина, что она
такая... Она такой не всегда была... Я... я мучил ее. Я взял ее, хотя
она была очень бедна, даже белья у нее не было, ничего, решительно
ничего... а я богат... то есть состоятелен... не богат... или, во всяком
случае, в ту пору у меня водились деньги... и знаете ли, сударь, я, мо-
жет быть, и вправду был — она права — бережлив... но это все раньше,
до несчастья, и я себя за это проклинаю... Но и отец мой был береж-
лив, и мать, все... И мне каждый грош доставался с большим трудом...
а она была легкомысленна, любила красивые вещи... и при этом была
бедна, и я постоянно попрекал ее этим... Мне не следовало так по-
ступать, теперь я это знаю, сударь, потому что она горда, очень горда...
Вы не думайте, что она такая, какой притворяется... Это неправда, и
она сама себя этим мучает... только... только для того, чтобы меня
мучить... и... потому что... потому что ей стыдно... Может быть, она
и вправду стала дурной женщиной, но я... я этому не верю... потому
что, сударь, она была хорошая, очень хорошая.

Он вытер глаза и остановился, превозмогая волнение. Невольно
я взглянул на него, и вдруг он перестал казаться мне смешным, и да-
же это странное, угодливое обращение «сударь», которым пользуются
в Германии только низшие сословия, не коробило меня больше. Лицо
его говорило о том, каких усилий ему стоит каждое слово, и когда
он, пошатываясь, тяжело ступая, пошел дальше, глаза его были
устремлены на камни мостовой, как будто он читал на них в неверном
свете луны то, что так мучительно вырывалось из его сдавленной
гортани.

— Да, сударь,— сказал он, глубоко переводя дыхание и совсем
сдругим, низким голосом, исходившим как бы из сокровенных глубин
его души,— она была хорошая, добрая, добрая и ко мне, была очень
благодарна за то, что я избавил ее от нищеты... и я знал, что она бла-
годарна... но... я хотел это слышать... вновь и вновь... мне было ра-
достно слушать слова благодарности, сударь, так бесконечно радостно
воображать, что я лучше ее... а ведь я знал, знал, что я хуже... Я от-
дал бы все свои деньги за то, чтобы это постоянно слышать... А она
была очень горда и не хотела повторять, когда заметила, что я требую
ее благодарности... Поэтому... только поэтому, сударь, заставлял я ее
всегда просить... никогда не давал добровольно... Мне приятно было,
что из-за каждого платья, из-за каждой ленты ей приходилось попро-
шайничать... Три года я ее мучил, и все сильнее. Но я это делал, су-
дарь, только потому, что любил ее... Мне нравилось, что она горда, и
все же в моем безумии я всегда хотел сломить ее гордость... и когда она
что-нибудь просила, я сердился... Но это было, сударь, притворством...

для меня была блаженством каждая возможность ее унижить, потому что... потому что я и сам не знал, как люблю ее...

Он опять умолк. Шел он, сильно пошатываясь. Обо мне он, по-видимому, совсем забыл. Говорил бессознательно, как во сне, и голос его становился все громче.

— Это... это я понял тогда лишь... в тот злосчастный день... когда я отказал ей в деньгах для ее матери, в совсем ничтожной сумме... то есть я уже приготовил их, но хотел, чтобы она пришла еще раз... еще раз попросила... Так что я говорил?... да, тогда я это понял, когда вернулся домой, а ее не было, только записка на столе... «Оставайся при своих проклятых деньгах, мне больше ничего не надо от тебя»... вот что было написано, больше ничего... Сударь, я три дня и три ночи безумствовал. Велел обыскать лес и реку, переплатил уйму денег полиции... бегал по всем соседям, но они только смеялись и глумились... Никаких следов не удалось найти, никаких... Наконец мне сказали, в соседней деревне, что видели ее... в поезде с каким-то солдатом... она уехала в Берлин... В тот же день и я туда поехал... бросил свое дело... потерял много тысяч... меня обокрали мои работники, мой управляющий, все, все... Но, клянусь вам, сударь, мне было все равно... Я прожил неделю в Берлине, прежде чем разыскал ее в этом людском водовороте... и пошел к ней... — Он замолчал и тяжело перевел дыхание.

— Сударь, клянусь вам... ни слова упрека не сказал ей... я плакал... стоял на коленях... предлагал ей деньги... все свое состояние, пусть распоряжается им, потому что тогда я уже знал... знал, что не могу жить без нее. Я люблю каждый волосок ее... ее рот, ее тело, все, все... и ведь это я, один я столкнул ее... Она побледнела как смерть, когда я неожиданно вошел... я подкупил ее хозяйку, сводню, гадкую, низкую женщину... Она была как мел бледна... Выслушала меня. Сударь, мне кажется, она... да, она почти обрадовалась, увидев меня... Но когда я заговорил о деньгах... а ведь сделал я это только для того, чтобы показать ей, что больше не думаю о них... то она плюнула... а потом... так как я все еще не хотел уходить... позвала своего любовника, они надо мной издевались... Но я, сударь, все равно ходил туда каждый день. Жильцы того дома рассказали мне все, я узнал, что этот негодяй ее бросил, что она в нужде, и тогда я пошел еще раз к ней... еще раз, сударь, но она накинулась на меня и разорвала деньги, которые я украдкой положил на стол, а когда я все-таки опять пришел, ее уже не было... Чего только не делал я, сударь, чтобы разыскать ее снова! Целый год, клянусь вам, я не жил, я только выслеживал ее, нанимал агентов, пока не узнал наконец, что она за морем, в Аргентине... в одном... в одном дурном доме... — Он умолк задыхаясь. Последние слова он едва прохрипел. Потом опять заговорил, глухо, с трудом.

— Я очень испугался... сперва... но потом подумал, что по моей, только по моей вине она до этого дошла... И я знал, как сильно должна она, бедная, страдать... потому что она горда, прежде всего горда... Я пошел к своему поверенному, тот написал в консульство и послал деньги... не указав, от кого... лишь бы только она вернулась.

Мне телеграфировали, что все удалось... я знал, на каком пароходе... и поджидал его в Амстердаме... Приехал за три дня, так я горел нетерпением... Наконец он прибыл... какое это было счастье, когда дым показался на горизонте, я думал, у меня не хватит сил дожидаться... так медленно, медленно он причаливал, и потом пассажиры начали спускаться по сходням, и, наконец, она, она... Я ее не сразу узнал... Она была другая... покрашенная... и уже такая... такая, какую вы ее видели... И когда она меня заметила, она вся помертвела... два матроса подхватили ее, иначе она упала бы в воду... Чуть только она ступила на берег, я подошел к ней... Я не говорил ничего... спазма сдавила горло... Она тоже ничего не говорила... и не смотрела на меня... Носильщик пошел вперед с вещами, мы шли и шли... Вдруг она остановилась и сказала... сударь, как она это сказала... так мучительно больно мне сделалось, так печально это прозвучало... «Ты все еще согласен, чтобы я была твоей женой? Еще и теперь?..» Я взял ее за руку... Она вздрогнула, но не сказала ничего. Но я чувствовал, что теперь все опять хорошо... Сударь, как счастлив я был! Я плясал вокруг нее, как ребенок, когда мы вошли в комнату, я упал к ее ногам... Говорил глупости, должно быть... потому что она улыбалась сквозь слезы и ласкала меня... очень робко, разумеется... но, сударь... каким это было для меня блаженством... сердце мое таяло... Я бегал по лестнице вниз, вверх, заказал обед в ресторане при гостинице... наш свадебный обед... помог ей одеться... и мы сошли вниз, ели, пили, веселились... Она была весела, как ребенок, такая сердечная, добрая, и говорила о нашем доме... и как мы теперь опять заживем... но тут... — Голос его вдруг сорвался, и он сделал рукою движение, словно хотел кого-то сокрушить. — Там был один официант... скверный, низкий человек... он подумал, что я пьян, потому что я безумствовал и плясал... и валился со стула от смеха... а ведь я только был счастлив... так счастлив... И вот... когда я заплатил, он дал мне на двадцать франков меньше сдачи... Я на него накричал и потребовал остальное... Он смутился и положил золотую монету на стол... И тут... она вдруг громко расхохоталась... Я смотрел на нее, но это было другое лицо... оно сразу стало насмешливым и злым... «Какой ты все еще дотошный... даже в день нашей свадьбы!» — сказала она так холодно, резко... с жалостью... Я испугался, проклинал свою мелочность... старался опять развеселиться... Но ее веселье исчезло... умерло... Она потребовала отдельную комнату... чего бы я не сделал для нее... и я лежал ночью один и все думал, что бы ей купить на другое утро... как бы ее задарить... показать ей, что я не скуп... что для нее мне ничего не жалко... И рано утром пошел и купил ей браслет, и когда я вернулся... комната была пуста... совсем, как в тот раз. И я знал, на столе должна быть записка... Я убежал, я молился богу, чтобы это было не так... но... но ... записка все-таки лежала на столе... И я прочел...

Он замаялся. Я невольно остановился и посмотрел на него. Он понул голову. Потом хрипло прошептал:

— Я прочел... «Оставь меня в покое. Ты мне противен...».

Мы уже подошли к гавани, и вдруг в тишину ворвалось шумное дыхание надвигавшегося прибоя. С горящими глазами, точно большие

черные звери, стояли там корабли, одни вблизи, другие подальше; откуда-то доносилась песня. Все было неразлично, и все же многое чувствовалось — тяжелый сон и тревожные грезы приморского города. Рядом с собою я видел тень моего спутника, она дергалась у меня под ногами, то растекаясь, то сжимаясь в неверном, тусклом свете фонарей. У меня не было слов ни в утешение, ни для вопроса, но молчание его точно липло ко мне, давило своей тяжестью. Вдруг он схватил меня за руку.

— Но я не уеду отсюда без нее... Много месяцев я ее разыскивал... Она меня терзает, но я не отступлюсь... Умоляю вас, сударь, поговорите с ней... Она должна быть моею, скажите ей это... меня она не слушает... Я больше не могу так жить... Я не могу больше видеть, как мужчины ходят к ней... и ждать перед домом, когда они выйдут... пьяные... Вся улица уже знает меня... надо мной смеются, потому что я стою и жду... это меня сводит с ума, и все-таки я каждый вечер опять прихожу... Сударь, умоляю вас... поговорите с ней... Я вас не знаю, но сделайте это ради господ бога... поговорите с ней...

Я невольно сделал движение, пытаюсь вырвать руку. Мне было страшно. Но когда он почувствовал, что я отстраняюсь от его горя, он вдруг упал посреди улицы на колени и обхватил мои ноги.

— Заклинаю вас, сударь... Вы должны с ней поговорить... Должны... иначе... иначе случится несчастье... Я истратил все свои деньги, разыскивая ее, и здесь я ее не оставляю... живой не оставляю... Я купил себе нож... У меня, сударь, есть нож... Я ее не оставляю тут... живой... Я не вынесу этого... Поговорите с ней, сударь...

Он в иступлении корчился передо мной. В конце улицы показались двое полицейских. Я силой заставил его встать. С минуту он оторопело смотрел на меня, потом сказал совсем чужим голосом, сухо и деловито:

— Сверните по этой улице налево. Там ваша гостиница. — Еще раз уставился он на меня глазами, в которых зрачки словно расплавились в какой-то ужасающей белой пустоте. Потом он исчез.

Я плотнее закутался в плащ. Меня знобило. Только усталость чувствовал я, дурман, непроницаемый и черный, точно я спал на ходу. Я хотел собраться с мыслями и все обдумать, но всякий раз во мне поднималась и уносила меня эта черная волна утомления. Я добрал до гостиницы, свалился на кровать и заснул, тупо, как животное.

Наутро я уже не знал, что в этом происшествии было явью, что сном, и безотчетно противился тому, чтобы в этом разобраться. Проснулся я поздно, чужой в чужом городе, и пошел осматривать церковь, которая, как мне сказали, славилась древней мозаикой. Но глаза мои не воспринимали того, что видели, все явственное вставала в памяти встреча минувшей ночи, и меня непреодолимо потянуло в тот переулок, к тому дому. Но эти своеобразные улицы живут только по ночам, днем на них серые холодные маски, под которыми узнать их может только посвященный. Я не нашел этого переулочка. Усталый и раздосадованный, вернулся я домой, преследуемый видениями не то бреда, не то действительности.

Поезд мой уходил в девять часов вечера. С сожалением покидал я город. Носильщик взвалил на плечи мой багаж и, шагая впереди меня, понес его к вокзалу. И вдруг на одном перекрестке что-то словно кольнуло меня, и я круто остановился: я узнал поперечную улицу, ведущую к тому дому, велел подождать носильщику, который сначала не понял, но тут же ухмыльнулся с наглой фамильярностью, и пошел взглянуть на место происшествия.

Было темно, темно, как накануне, и в тусклом свете луны поблещивала застекленная дверь того дома. Я хотел подойти ближе, но вдруг что-то зашевелилось во мраке. С испугом узнал я того, вчерашнего; он сидел на пороге и знаками подзывал меня. Мне стало страшно, я повернулся и быстро зашагал прочь, из малодушной боязни, как бы не ввязаться в какую-нибудь историю и не опоздать на поезд.

Но, дойдя до перекрестка, прежде чем свернуть за угол, я еще раз оглянулся. И я увидел, как человек, сидевший на пороге, вскочил, бросился к двери и порывисто распахнул ее; что-то блестящее было зажато в его руке: я издали не мог разглядеть, золото или лезвие ножа так предательски блеснуло в лунном свете...

ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ЧАСА ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ

За десять лет до войны я отдыхал на Ривьере, в маленьком пансионе, и вот однажды за столом вспыхнул жаркий спор, грозивший кончиться настоящей ссорой со злобными выпадами и даже оскорблениями. Большинство людей не отличается богатым воображением. То, что происходит где-то далеко, не задевает их чувств, едва их трогает; но стоит даже ничтожному происшествию произойти у них на глазах, ощутимо близко, как разгораются страсти. В таких случаях люди как бы возмещают обычное свое равнодушие необузданной и излишней горячностью.

Так было и в нашей добропорядочной компании: за обедом мы вели *small talk*¹, мирно перекидывались легкими шутками, встав из-за стола, тотчас расходились в разные стороны: немецкая чета отправлялась с фотоаппаратом на прогулку, добродушный датчанин — к своим скучным удочкам, английская леди — к своим книгам, супруги-итальянцы спешили в Монте-Карло, а я бездельничал, развалившись в плетеном кресле, или садился за работу. Но на этот раз мы сцепились в бурной перепалке, и если кто-нибудь внезапно вскакивал, то не для того, чтобы вежливо откланяться, а в пылу спора, который, как я уже сказал, принял под конец самый ожесточенный характер.

Событие, так взбудоражившее наш маленький застольный кружок, действительно было из ряда вон выходящим. Пансион, где жили мы семеро, производил впечатление частной виллы, и какой чудесный вид открывался из наших окон на прибрежные скалы! На самом же деле он был только частью большой гостиницы «Палас-отель» и соединялся с ней садом, так что мы, хотя и жили особняком, находились в

¹ Непринужденная беседа (англ.).

постоянном общении с обитателями отеля. Так вот в этом отеле накануне разыгрался крупный скандал. С дневным поездом в двенадцать двадцать (необходимо точно указать время, ибо оно важно для происшествия и играло роль в нашем жарком споре) прибыл молодой француз и занял комнату с видом на море; уже одно это говорило о том, что он человек со средствами. Он обратил на себя внимание не только своей элегантностью, но прежде всего необычайно привлекательной внешностью: удлиненное женственное лицо, шелковистые светлые усы над чувственными губами, мягкие, волнистые каштановые волосы с кудрявой прядью, падавшей на белый лоб, бархатные глаза — все в нем было красиво какой-то мягкой, вкрадчивой красотой. Держался он предупредительно и любезно, но без всякой нарочитости и жеманства. Если он и напоминал на первый взгляд те раскрашенные восковые манекены, которые, с шегольской тростью в руке, гордо красуются в витринах модных магазинов как воплощенный идеал мужской красоты, то близи впечатление фатоватости рассеивалось, потому что его неизменно приветливая любезность (редчайший случай!) была естественной и казалась врожденной. Скромно и вместе с тем сердечно приветствовал он каждого, и было приятно смотреть, как на каждом шагу просто и непринужденно проявлялись его изящество и благовоспитанность. Он спешил подать пальто даме, направляющейся в гардероб, для каждого ребенка находился у него ласковый взгляд или шутка, был он обходителен, но без малейшей развязности; короче говоря, это был, видимо, один из тех счастливых, которым уверенность, что всех пленяет их ясное лицо и юношеское обаяние, придает еще большую привлекательность. На людей пожилых и болезненных, а их здесь было большинство, его присутствие влияло благотворно. Своей свежестью, жизнерадостностью, победной улыбкой юности, которая свойственна неотразимо обаятельным людям, он сразу же завоевал всеобщую симпатию.

Через два часа после своего приезда он уже играл в теннис с дочерьми толстого благодушного фабриканта из Лиона — двенадцатилетней Аннет и тринадцатилетней Бланш, а их мать, хрупкая, изящная, сдержанная мадам Анриэт, с легкой улыбкой наблюдала, как ее оперившиеся птенчики бессознательно кокетничают с молодым незнакомцем. Вечером он около часа смотрел, как мы играем в шахматы, рассказал несколько забавных анекдотов, долго прогуливался по набережной с мадам Анриэт — муж ее, как всегда, играл в домино со своим приятелем, фабрикантом из Намюра, — а поздно вечером я застал его в полутемной конторе отеля за интимной беседой с секретаршей. На следующее утро он сопровождал датчанина на рыбную ловлю, обнаружив при этом поразительные познания, затем долго беседовал с лионским фабрикантом о политике и, видимо, также показал себя интересным собеседником, ибо сквозь шум прибора слышался раскатистый хохот толстяка фабриканта. После обеда (я намеренно, для ясности, так подробно сообщаю о его времяпрепровождении) он опять просидел около часа с мадам Анриэт в саду, за черным кофе, потом играл в теннис с ее дочерьми, беседовал в вестибюле отеля с немецкой четой. В шесть часов я пошел на вокзал отправить письмо

и вдруг увидел его. Он поспешил мне навстречу и, как бы извиняясь, сказал, что его неожиданно вызвали, но через два дня он вернется. За ужином он действительно отсутствовал, но только физически, так как за всеми столиками только и говорили что о нем, и все перевозносили его приятный, веселый нрав.

Вечером, часов около одиннадцати — я сидел у себя в комнате, дочитывая книгу, — вдруг в открытое окно, выходившее в сад, донеслись крики, взволнованные возгласы, и в отеле поднялась какая-то суматоха. Скорее обеспокоенный, чем подстрекаемый любопытством, я тотчас же спустился в сад и прошел пятьдесят шагов, отделявших нашу виллу от отеля; там я застал гостей и прислугу в необычайном волнении. Мадам Анриэт не вернулась с прогулки на берегу, которую она совершала каждый вечер, пока ее супруг, по заведенному порядку, играл в домино со своим приятелем. Опасались несчастного случая. Словно буйвол, метался по берегу этот обычно медлительный, грузный человек, и когда он кричал во тьму: «Анриэт! Анриэт!» — в его срывающемся от волнения голосе было что-то первобытное и страшное, напоминающее рев раненного насмерть огромного зверя. Кельнеры и мальчишки-бои носились вверх и вниз по лестнице; разбудили всех живущих в отеле, позвонили в полицию. А толстый человек в расстегнутом жилете кидался во все стороны и бессмысленно выкрикивал в темноту: «Анриэт! Анриэт!» Проснулись девочки и, стоя у окна в ночных рубашках, звали мать. Отец поспешил наверх, чтобы их успокоить.

И тут произошло нечто ужасное, что почти не поддается описанию, ибо в минуту чрезмерного душевного напряжения во всем облике человека столько трагизма, что не передать ни пером, ни кистью. Толстяк спустился по стонущим под его тяжестью ступеням с изменившимся, бесконечно усталым и вместе с тем гневным выражением лица. В руке он держал письмо.

— Верните всех, — сказал он управляющему еле слышным голосом. — Верните людей, ничего не нужно. Жена ушла от меня.

У этого смертельно раненного человека хватило выдержки, нечеловеческой выдержки, не показать своего горя перед столпившимися вокруг людьми, которые с любопытством на него глазели, а потом, испуганные, смущенные, пристыженные, от него отвернулись. Собрав последние силы, он прошел, ни на кого не глядя, в читальню и потушил там свет; потом мы слышали, как его тучное, грузное тело с глухим стуком опустилось в кресло, и до нас донеслись громкие, отчаянные рыдания, — так мог плакать только человек, никогда в жизни не плакавший. И это стихийное горе потрясло нас всех, даже самого ничтожного из нас. Ни один кельнер, никто из привлеченных любопытством гостей не осмелился улыбнуться или проронить слово соболезнования. Безмолвно, один за другим, словно пристыженные этим сокрушительным взрывом чувства, прокрались мы в свои комнаты, а там, в темной читальне, наедине с самим собой, всхлипывал этот убитый горем человек, пока один за другим гасли огни в доме, полном шепотов, шорохов и вздохов.

Естественно, что такое происшествие, разразившееся как удар грома у нас на глазах, сильно взволновало людей, привыкших к однообразному и беззаботному времяпрепровождению. Но хотя причиной тех ожесточенных стычек, которые возникли за нашим столом и чуть не привели к взаимным оскорблениям действием, и явился этот удивительный случай, суть спора была в глубоких разногласиях, в столкновении противоположных взглядов на жизнь. Благодаря нескромности горничной, прочитавшей письмо, которое супруг, не помня себя, в бессильном гневе скомкал и швырнул на пол, стало известно, что мадам Анриэт уехала не одна, а сговорившись с молодым французом (симпатии к которому у большинства теперь быстро убывали).

На первый взгляд не было ничего удивительного в том, что эта вторая мадам Бовари бросила своего толстого провинциала мужа ради элегантного молодого красавца. Но все в доме были сбиты с толку и возмущены известием, что ни фабрикант, ни его дочери, ни даже сама мадам Анриэт никогда раньше не видели этого ловеласа, и, следовательно, достаточно было двухчасовой вечерней прогулки по набережной и одного часа за черным кофе в саду, чтобы побудить тридцатитрехлетнюю порядочную женщину на другой же день бросить мужа и двоих детей и последовать очертя голову за совершенно незнакомым человеком. Этот, казалось бы, очевидный факт был единогласно отвергнут нашим застольным кружком; все усмотрели здесь вероломство и хитрый маневр любовников: само собой разумеется, мадам Анриэт уже давно находилась в тайной связи с молодым человеком, и этот сердцеед явился сюда лишь для того, чтобы окончательно условиться о побеге. Совершенно невозможно, утверждали все, чтобы честная женщина после трехчасового знакомства вдруг сбежала по первому зову. Развлечения ради я начал спорить и энергично защищал возможность и даже вероятность такого внезапного решения у женщины, которая, томясь в долголетнем скучном супружестве, в душе готова уступить первому смелому натиску. Мои неожиданные возражения подлили масла в огонь, и спор сразу стал всеобщим; особенно разгорелись страсти, когда обе супружеские пары, как немецкая, так и итальянская, с прямо-таки оскорбительным презрением принялись отрицать *сoup de foudre*¹ как нелепость и пошлую романтическую выдумку.

Нет нужды излагать все подробности словесного боя, длившегося от супа до пудинга. За табльдотом остроумны только заправские остряки, а доводы, к которым прибегают в пылу случайного застольного спора, большей частью банальны и приводятся наспех, наобум. Трудно также объяснить, почему наш спор так быстро принял столь язвительный оборот, — думается, тут сыграло роль невольное желание обоих супругов исключить возможность такого легкомыслия и подобной опасности для своих жен. К сожалению, они не придумали ничего более удачного, чем возразить мне, что так может говорить только тот, кто судит о женщинах лишь по случайным, дешевым победам холостяка; это уже разозлило меня, а когда вдобавок немка начала

¹ Любовь с первого взгляда; буквально — удар молнии (фр.).

авторитетным тоном поучать меня, что бывают настоящие женщины, а бывают и «проститутки по натуре», к которым, по ее мнению, принадлежит и мадам Анриэт, терпение мое лопнуло, и я в свою очередь перешел в наступление.

^ Я заявил, что лишь страх перед собственными желаниями, перед демоническим началом в нас заставляет отрицать тот очевидный факт, что в иные часы своей жизни женщина, находясь во власти таинственных сил, теряет свободу воли и благоразумие, и добавил, что некоторым людям, по-видимому, нравится считать себя более сильными, порядочными и чистыми, чем те, кто легко поддается соблазну, и что, по-моему, гораздо более честно поступает женщина, которая свободно и страстно отдается своему желанию, вместо того чтобы с закрытыми глазами обманывать мужа в его же объятиях, как это обычно принято. Вот примерно то, что я говорил, и чем яростней нападали другие на бедную мадам Анриэт, тем с большей горячностью я ее защищал (что, по правде сказать, не вполне отвечало моему внутреннему убеждению). Мои слова, точно уколы рапирой, задели за живое обе супружеские пары, и они нестройным квартетом так ожесточенно напустились на меня, что старый добродушный датчанин, наблюдавший за нами, словно судья с секундомером в руке на футбольном матче, был вынужден время от времени предостерегающе постукивать по столу: «Gentlemen, please»¹. Но это помогало лишь на минуту. Один из супругов, красный как рак, уже раза три вскакивал из-за стола, и только уговоры жены едва сдерживали его пыл; еще немного — и дискуссия окончилась бы потасовкой, если бы миссис К. внезапно не пролила масло на бурные волны нашего спора.

Миссис К., представительная, пожилая англичанка с белоснежными волосами, по молчаливому уговору была почетной председательницей нашего стола. Она держалась очень прямо, была одинаково приветлива со всеми, говорила мало, но с интересом прислушивалась к разговорам окружающих: уже одна ее наружность оказывала благотворное действие. От нее веяло спокойствием и аристократической сдержанностью. Она ни с кем близко не сходилась и в то же время выказывала каждому знаки внимания; большей частью она сидела с книгой в саду, иногда играла на рояле и лишь изредка присоединялась к обществу или вела оживленный разговор. Ее присутствие было едва ощутимо, и, однако, мы все невольно подчинялись ей. И сейчас, как только она заговорила, нам стало очень стыдно, что мы так шумно и необузданно вели себя.

Миссис К. воспользовалась паузой, наступившей после того, как немец резко вскочил и тут же, по слову жены, покорно уселся на свое место. Она вдруг подняла свои ясные серые глаза, как-то нерешительно посмотрела на меня и потом деловито и четко по-своему уточнила предмет нашего спора:

— Итак, если я верно поняла вас, вы считаете, что мадам Анриэт... что женщина может быть вовлечена в неожиданную авантюру, что

¹ Господа, прошу вас (англ.).

она может совершать поступки, которые за час до того ей самой показались бы немыслимыми и в которых ее нельзя винить?

— Я в этом убежден, сударыня,— ответил я.

— В таком случае вы отрицаете всякое мерило нравственности, и любое нарушение морали может быть оправдано. Если вы действительно считаете, что *cime passionnel*¹, как говорят французы, не преступление, то выходит, что государственное правосудие вообще излишне. Тогда без особого труда — а вы трудитесь на совесть,— добавила она с улыбкой,— можно обнаружить страсть в любом преступлении и оправдать его этой страстью.

Она говорила спокойно, почти весело, и это так понравилось мне, что я, невольно подражая ее деловитому тону, ответил полушутя-полусерьезно:

— Государственное правосудие решает такие вопросы, несомненно, строже, чем я: его долг — охранять общественную нравственность и благопристойность, и это вынуждает его осуждать, вместо того чтобы оправдывать. Я же, как частное лицо, не считаю нужным брать на себя роль прокурора: я предпочитаю профессию защитника. Мне лично приятнее понимать людей, чем судить их.

Ясные серые глаза миссис К. с минуту в упор смотрели на меня; она медлила с ответом. Я подумал, что она не все поняла, и уже собирался повторить ей сказанное по-английски, но она вновь стала задавать мне вопросы с удивительной серьезностью, словно экзаменуя меня.

— Разве, по-вашему, не позорно, не отвратительно, что женщина бросает своего мужа и двоих детей, чтобы последовать за первым встречным, не зная даже, достоин ли он ее любви? Неужели вы действительно можете оправдать такое легкомысленное и беспечное поведение уже не очень молодой женщины, которой хотя бы ради детей следовало вести себя более достойно?

— Повторяю, сударыня,— ответил я,— что я отказываюсь судить или осуждать. Вам я могу чистосердечно признаться, что я немного пересоллил — бедная мадам Анриэт, конечно, не героиня, даже не искательница сильных ощущений, и менее всего смелая, страстная натура. Насколько я ее знаю, она лишь заурядная слабая женщина, к которой я питаю некоторое уважение за то, что она нашла в себе мужество отдаться своему желанию, но еще больше она внушает мне жалость, потому что не сегодня-завтра она будет очень несчастна. То, что она сделала, было, может быть, глупо и, несомненно, опрометчиво, но ни в коем случае нельзя назвать ее поступок низким и подлым. Вот почему я настаиваю на том, что никто не имеет права презирать эту бедную, несчастную женщину.

— А вы сами? Вы все так же уважаете ее? Вы не проводите никакой грани между порядочной женщиной, с которой вы говорили позавчера, и той, другой, которая вчера бежала с первым встречным?

— Никакой. Решительно никакой, ни малейшей.

¹ Преступление, вызванное страстью (фр.).

— Is that so? ¹ — невольно произнесла она по-английски; по-видимому, разговор необычайно ее занимал. После минутного раздумья она снова вопросительно посмотрела на меня своими ясными глазами.

— А если бы завтра вы встретили мадам Анриэт, скажем, в Ницце, под руку с этим молодым человеком, поклонились бы вы ей?

— Конечно.

— И заговорили бы с ней?

— Конечно.

— А если... если бы вы были женаты, вы познакомили бы такую женщину со своей женой, как будто ничего не произошло?

— Конечно.

— Would you really? ² — снова спросила она по-английски, и в ее голосе прозвучало недоверие и изумление.

— Surely I would ³, — ответил я ей тоже по-английски.

Миссис К. молчала. Казалось, она напряженно думала. Внезапно и как бы удивляясь собственному мужеству, она сказала, взглянув на меня:

— I don't know, if I would. Perhaps I might do it also ⁴.

И с той удивительной непринужденностью, с какой одни англичане умеют учтиво, но решительно оборвать разговор, она встала и дружески протянула мне руку. Ее вмешательство водворило спокойствие, и в глубине души все мы, недавние враги, были признательны ей за то, что угрожающе сгустившаяся атмосфера разрядилась; перекинувшись безобидными шутками, мы вежливо откланялись и разошлись.

Хотя наш спор и закончился по-джентльменски, но после той вспышки между мною и моими противниками, появилась отчужденность. Немецкая чета держалась холодно, а итальянцы забавлялись тем, что ежедневно язвительно осведомлялись у меня, не слыхал ли я чего-нибудь о «сага signora Henrietta» ⁵. Несмотря на внешнюю вежливость, сердечность и непринужденность, прежде царившие за нашим столом, безвозвратно исчезли.

Ироническая холодность моих противников была для меня особенно ощутима благодаря исключительному вниманию, какое оказывала мне миссис К. Обычно на редкость сдержанная, не склонная к разговорам с сотрапезниками во внеобеденное время, теперь она нередко заговаривала со мной в саду и — я бы даже сказал — отличала меня, ибо хотя бы короткая беседа с ней была знаком особой милости. Откровенно говоря, она даже искала моего общества и пользовалась всяким поводом, чтобы заговорить со мной; это было так очевидно, что мне могли бы прийти в голову глупые, тщеславные мысли, не будь она убежденной сединой старухой. Но о чем бы мы ни говорили, наш разговор неизбежно возвращался все к тому же, к мадам Анриэт; казалось, моей собеседнице доставляло какое-то

¹ Так ли? (англ.)

² В самом деле? (англ.)

³ Конечно, да (англ.).

⁴ Не знаю, как бы я поступила. Может быть, так же (англ.).

⁵ Дорогой синьоре Энриетте (ит.).

непонятное удовольствие обвинять в непостоянстве и легкомыслии забывшую свой долг женщину. Но в то же время ее, видимо, радовало, что симпатии мои неизменно оставались на стороне хрупкой, изящной мадам Анриэт и что меня нельзя было заставить отказаться от этих симпатий. Она неуклонно возвращалась к этой теме, и я уже не знал, что и думать об этом странном, почти ипохондрическом упорстве.

Так продолжалось пять или шесть дней, и она все еще ни единым словом не выдала мне, почему эти разговоры так занимают ее. А в том, что это именно так, я окончательно убедился, когда однажды на прогулке упомянул, что мое пребывание здесь приходит к концу и что я думаю послезавтра уехать. На ее обычно невозмутимом лице отразилось волнение, и серые глаза омрачились.

— Как жаль, мне еще о многом хотелось поговорить с вами.

И с этой минуты, по овладевшей ею рассеянности и беспокойству, я понял, что она всецело поглощена какой-то мыслью. Под конец она сама, казалось, это заметила и, прервав беседу, пожала мне руку и сказала:

— Я сейчас не в силах ясно выразить то, что хотела бы сказать. Лучше я напишу вам.

И, против своего обыкновения, быстрыми шагами направилась к дому.

Действительно, вечером, перед самым обедом, я нашел у себя в комнате письмо, написанное ее энергичным, решительным почерком. К сожалению, в молодые годы я легкомысленно обошелся с письменными документами, так что не могу передать ее письмо дословно; попытаюсь приблизительно изложить его содержание. Она писала, что вполне сознает всю странность своего поведения, но спрашивает меня, может ли она рассказать мне один случай из своей жизни. Это было очень давно и уже почти не имеет значения для ее теперешней жизни, а так как я послезавтра уезжаю, то ей будет легче говорить о том, что больше двадцати лет волнует и мучает ее. Поэтому, если я не сочту это с ее стороны назойливостью, она просит уделить ей час времени.

Письмо, содержание которого я передаю лишь вкратце, чрезвычайно меня заинтересовало: уже одно то, что оно было написано по-английски, придавало ему какую-то особую ясность и решительность. И всё же ответ дался мне нелегко, и я изорвал три черновика, прежде чем написал следующее:

«Я очень польщен вашим доверием и обещаю ответить вам честно, если вы этого потребуете. Конечно, я не смею просить вас сказать мне больше, чем вы сами захотите. Но в рассказе своем будьте вполне искренни передо мной и перед самой собой. Повторяю, ваше доверие я считаю большой для себя честью».

Вечером записка была в ее комнате, и на следующее утро я получил ответ:

«Я с вами согласна — хороша только полная правда. Полуправда ничего не стоит. Я приложу все силы, чтобы не умолчать ни о чем ни перед собой, ни перед вами. Приходите после обеда ко мне в комнату... в мои шестьдесят семь лет я могу не опасаться кривотолков.

Я не хочу говорить об этом в саду или на людях. Поверьте, мне и так было нелегко на это решиться».

Днем мы виделись за столом и чинно беседовали о безразличных предметах. Но в саду, когда я случайно ее встретил, она посторонилась с явным замешательством, и трогательно было видеть, как эта старая, седая женщина девически робко и смущенно свернула в боковую аллею.

Вечером, в назначенный час, я постучался к ней. Мне тотчас же открыли. Комната тонула в мягком полумраке, горела только маленькая настольная лампа, отбрасывая желтый круг света. Миссис К. непринужденно встала мне навстречу, предложила мне кресло и сама села против меня; я чувствовал, что каждое движение было заранее продумано и рассчитано; и все же, очевидно, вопреки ее желанию, наступила пауза, которая становилась все тягостнее; но я не осмеливался заговорить, так как чувствовал, что в душе моей собеседницы происходит борьба сильной воли с не менее сильным противодействием. Снизу, из гостиной, доносились отрывочные звуки вальса; я усердно вслушивался, стремясь уменьшить гнетущую тяжесть молчания. Видимо, она тоже почувствовала томительно неестественную напряженность затянувшейся паузы, потому что вдруг вся подобралась, как для прыжка, и заговорила:

— Трудно только начать. Уже два дня, как я приняла решение быть до конца искренней и правдивой; надеюсь, мне это удастся. Может быть, вам сейчас еще непонятно, почему я рассказываю все это вам, совершенно чужому человеку. Но не проходит дня и даже часа, чтобы я не думала о том происшествии; я старая женщина, и вы можете мне поверить, что прямо невыносимо весь свой век быть прикованной к одному-единственному моменту своей жизни, одному-единственному дню. Ибо все, что я хочу вам рассказать, произошло на протяжении двадцати четырех часов, а ведь я живу на свете уже шестьдесят семь лет; до одури я повторяю себе: какое это имеет значение, если бы даже один-единственный раз в жизни я поступила безрассудно? Но не так-то легко отделаться от того, что мы довольно туманно называем совестью, и когда я слышала, как спокойно вы рассуждаете о случае с мадам Анриэт, я подумала: быть может, если я решусь откровенно поговорить с кем-нибудь об этом дне моей жизни, придет конец моим бессмысленным думам о прошлом и непрестанному самобичеванию. Будь я не англиканского вероисповедания, а католичкой, я давно бы нашла облегчение, рассказав все на исповеди, но такого утешения нам не дано, и потому я сегодня делаю довольно странную попытку — оправдать себя, поведав вам эту историю. Знаю, все это очень необычно, но вы приняли мое предложение без колебаний, и я благодарна вам за это.

Как я уже говорила, я хочу описать один-единственный день моей жизни, — все остальное кажется мне сейчас незначительным и, вероятно, будет скучно для других. То, как я жила до сорока лет, можно рассказать в двух словах. Мои родители были богатые лендлорды, нам принадлежали большие фабрики и имения в Шотландии, и, как все тамошние старые дворянские семьи, мы большую часть года про-

водили в своих поместьях, а зимний сезон — в Лондоне. Восемнадцать лет я познакомилась с моим будущим мужем, который был младшим сыном в родовитом семействе Р. и десять лет прослужил офицером в Индии. Вскоре мы обвенчались и стали вести беззаботную жизнь людей нашего круга: три месяца в Лондоне, три месяца в поместьях, остальное время — в путешествиях по Италии, Испании и Франции. Ни малейшее облачко не омрачало нашей семейной жизни. Оба мои сына давно уже взрослые люди. Когда мне минуло сорок лет, мой муж внезапно скончался. Он нажил себе в тропиках болезнь печени, от которой и погиб в какие-нибудь две недели. Мой старший сын уже служил тогда во флоте, младший был в колледже, и вот за одну ночь я сразу осиротела, и это одиночество после стольких лет совместной жизни с близким человеком было для меня нестерпимой мукой. Оставаться еще хоть день в опустевшем доме, где все напоминало о недавней смерти любимого мужа, было невозможно, и я решила провести ближайшие годы, пока сыновья не женятся, в путешествиях.

С этого момента жизнь стала для меня бессмысленной и ненужной. Муж, с которым в течение двадцати двух лет я делилась всеми своими помыслами и чувствами, умер, дети не нуждались во мне. Я боялась омрачить их юность своей тоской и печалью. У меня не было ни надежд, ни стремлений. Я поехала сначала в Париж, ходила там от скуки по магазинам и музеям, но город и вещи ничего не говорили мне, людей я избегала, — я была в трауре и не выносила их почтительно-соболезнующих взглядов. Я не могла бы рассказать, как прошли эти месяцы бесцельных скитаний; я как-то отупела и словно ослепла, помню только, что у меня все время было страстное желание умереть, но не хватало сил приблизить вожеленный конец.

На второй год моего вдовства и на сорок втором году жизни, не зная, как убить время; и спасаясь от гнетущего одиночества, я очутилась в марте месяце в Монте-Карло. Сказать по правде, я поехала туда от скуки, гонимая томительной, подкатывающей к сердцу, как тошнота, душевной пустотой, которая требует хотя бы незначительных внешних впечатлений.

Чем сильнее было мое душевное оцепенение, тем больше тянуло меня туда, где быстрее вращалось колесо жизни; на тех, у кого нет своих переживаний, чужие страсти действуют так же возбуждающе, как театр или музыка.

Поэтому я нередко заглядывала в казино. Мне доставляло удовольствие видеть радость или разочарование игроков; их волнение, тревога хоть отчасти разгоняли мою мучительную тоску. К тому же, не будучи легкомысленным, мой муж все же охотно посещал игорный зал, а я с каким-то бессознательным пиететом подражала всем его былым привычкам; так и начались те двадцать четыре часа, которые были увлекательнее любой игры и на долгие годы омрачили мою жизнь.

В тот день я обедала с герцогиней М., моей родственницей; после ужина, чувствуя себя еще недостаточно усталой, чтобы лечь спать, я

пошла в казино. Сама я не играла, а бродила между столами, наблюдая за людьми особым способом. Я говорю: особым способом, ибо этому научил меня покойный муж, когда однажды, соскучившись, я пожаловалась, что мне надоело наблюдать все время одни и те же лица: сморщенных старух, которые часами сидят здесь, прежде чем рискнут сделать ставку, прожженных профессионалов и неизменных кокоток — всю эту сомнительную, разншерстную публику, гораздо менее живописную и романтическую, чем в скверных романах, где она изображается как *fleur d'élégance*¹ и европейская аристократия. При этом не надо забывать, что двадцать лет назад, когда здесь сверкало настоящее золото, шуршали банкноты, звенели наполеондоры, стучали пятифранковые монеты, казино являло собой куда более привлекательное зрелище, чем новомодный помпезный игорный дом, где в наши дни пошлейшие туристы вяло спускают свои обезличенные жетоны. Впрочем, и тогда уже меня мало занимали бесстрастные лица игроков. Но вот мой муж, который увлекался хиромантией, показал мне свой способ наблюдать, и он в самом деле оказался куда интереснее и увлекательнее, чем просто следить за игрой: совсем не смотреть на лица, а только на четырехугольник стола, и то лишь на руки игроков, приглядываться к их поведению.

Не знаю, случалось ли вам смотреть только на зеленый стол, в середине которого, как пьяный, мечется шарик рулетки, и на квадратiki полей, которые, словно густыми всходами, покрываются бумажками, золотыми и серебряными монетами, и видеть, как крупные одним взмахом своей лопатки сгребает весь урожай или часть его, поддвигает счастливому игроку. Под таким углом зрения единственно живое за зеленым столом — это руки, множество рук, светлых, подвижных, настороженных рук, словно из нор, выглядывающих из рукавов; каждая — точно хищник, готовый к прыжку, каждая иной формы и окраски: одни — голые, другие — взнузданные кольцами и позвякивающие цепочками, некоторые косматые, как дикие звери, иные влажные и вертялые, как угри, но все напряженные и трепещущие от чудовищного нетерпения. Мне всякий раз невольно приходило в голову сравнение с ипподромом, где у старта с трудом сдерживают разгоряченных лошадей, чтобы они не ринулись раньше срока; они так же дрожат, рвутся вперед, становятся на дыбы.

Все можно узнать по этим рукам, по тому, как они ждут, как они хватают, медлят: корыстолюбца — по скрюченным пальцам, расточителя — по небрежному жесту, расчетливого — по спокойным движениям кисти, отчаявшегося — по дрожащим пальцам; сотни характеров молниеносно выдают себя манерой, с какой берут в руки деньги: комкают их, нервно теребят или, в изнеможении, устало разжав пальцы, оставляют на столе, пропуская игру. Человек выдает себя в игре — это прописная истина, я знаю. Но еще больше выдает его собственная рука. Потому что все или почти все игроки умеют управлять своим лицом, — над белым воротничком виднеется только холодная маска im-

¹ Верх изящества (фр.).

passibilité¹, они разглаживают складки у рта, стискивают зубы, глаза их скрывают тревогу; они укрощают дергающиеся мускулы лица и придают ему притворное выражение равнодушия. Но именно потому, что они изо всех сил стараются управлять своим лицом, которое прежде всего бросается в глаза, они забывают о том, что есть люди, которые, наблюдая за их руками, угадывают по ним все то, что хотят скрыть наигранная улыбка и напускное спокойствие. А между тем руки бесстыдно выдают самое сокровенное, ибо неизбежно наступает момент, когда с трудом усмирённые, словно дремлющие пальцы теряют власть над собой: в тот краткий миг, когда шарик рулетки падает в ячейку и крупье выкрикивает номер, каждая из сотни или даже сотен рук невольно делает свое особое, одной ей присущее инстинктивное движение. И если научиться наблюдать это зрелище, как довелось мне благодаря пристрастию моего мужа, то такое многообразное проявление самых различных темпераментов захватывает сильнее, чем театр или музыка; я даже не могу вам описать, какие разные бывают руки у игроков: дикие звери с волосатыми скрюченными пальцами, по-паучьи загибающимися золото, и нервные, дрожащие, с бледными ногтями, едва осмеливающиеся дотронуться до денег, благородные и низкие, грубые и робкие, хитрые и вместе с тем нерешительные — но каждая в своем роде, каждая пара живет своей жизнью, кроме четырех-пяти пар рук, принадлежащих крупье. Эти — настоящие автоматы, они действуют как стальные щелкающие затворы счетчика, они одни безучастны и деловиты; но даже эти трезвые руки производят удивительное впечатление именно по контрасту с их алчными и азартными собратьями; я бы сказала, что они, как полицейские, заткнутые в мундир, стоят среди шумной, возбужденной толпы.

Особенное удовольствие доставляло мне узнавать привычки и повадки этих рук; через два-три дня у меня уже оказывались среди них знакомые, и я делила их, как людей, на симпатичных и неприятных: некоторые были мне так противны своей суетливостью и жадностью, что я отводила взгляд, как от чего-то непристойного. Всякая новая рука на столе означала для меня новое интересное переживание; иной раз, наблюдая за предательскими пальцами, я даже забывала взглянуть на лицо, которое холодной светской маской маячило над крахмальной грудью смокинга или сверкающим бриллиантами бюстом.

В тот вечер я вошла в зал, миновала два переполненных стола, подошла к третьему и, вынимая из портмоне золотые, вдруг услышала среди гулкой, страшно напряженной тишины, какая наступает всякий раз, когда шарик, сам уже смертельно усталый, мечется между двумя цифрами, — услышала какой-то странный треск и хруст, как от ломающихся суставов. Невольно я подняла глаза и прямо напротив увидела — мне даже страшно стало — две руки, каких мне еще никогда не приходилось видеть: они вцепились друг в друга, точно разъяренные звери, и в неистовой схватке тискали и сжимали друг друга, так что пальцы издавали сухой треск, как при раскалывании ореха. Это были руки редкой, изысканной красоты, и вместе с тем мускули-

¹ Бесстрастия (фр.).

стые, необычайно длинные, необычайно узкие, очень белые — с бледными кончиками ногтей и изящными, отливающими перламутром лунками. Я смотрела на эти руки весь вечер, они поражали меня своей неповторимостью; но в то же время меня пугала их взволнованность, их безумно-страстное выражение, это судорожное сцепление и единоборство. Я сразу почувствовала, что человек, преисполненный страсти, загнал эту страсть в кончики пальцев, чтобы самому не быть взорванным ею. И вот, в ту секунду, когда шарик с сухим коротким стуком упал в ячейку и крупье выкрикнул номер, руки внезапно распались, как два зверя, сраженные одной пулей. Они упали, как мертвые, а не просто утомленные, поникли с таким выражением безнадежности, отчаяния, разочарования, что я не могу передать это словами. Ибо никогда, ни до, ни после, я не видела таких говорящих рук, где каждый мускул кричал и страсть почти явственно выступала из всех пор. Мгновение они лежали на зеленом сукне вяло и неподвижно, как медузы, выброшенные волной на взморье. Затем одна, правая, стала медленно оживать, начиная с кончиков пальцев: она задрожала, отпрянула назад, несколько секунд металась по столу, потом, нервно схватив жетон, покатала его между большим и указательным пальцами, как колесико. Внезапно она изогнулась, как пантера, и бросила, словно выплюнула, стофранковый жетон на середину черного поля. И тотчас же, как по сигналу, встрепенулась и скованная сном левая рука: она приподнялась, подкралась, подползла к дрожащей, как бы усталой от броска сестре, и обе лежали теперь рядом, вздрагивая и слегка постукивая запястьями по столу, как зубы стучат в ознобе; нет, никогда в жизни не видела я рук, которые с таким потрясающим красноречием выражали бы лихорадочное возбуждение. Все в этом нарядном зале — глухой гул голосов, выкрики крупье, снующие взад и вперед люди и шарик, который, брошенный с высоты, прыгал теперь как одержимый в своей круглой, полированной клетке, — весь этот пестрый, мелькающий поток впечатлений показался мне вдруг мертвым и застывшим по сравнению с этими руками, дрожащими, задышающимися, выжидающими, вздрагивающими, удивительными руками, на которые я смотрела как зачарованная.

Но больше я не в силах была сдерживаться: я должна была увидеть лицо человека, которому принадлежали эти магические руки, и боязливо — да, именно боязливо, потому что я испытывала страх перед этими руками, — мой взгляд стал нащупывать рукава и пробираться к узким плечам. И снова я содрогнулась, потому что это лицо говорило на том же безудержном, немисливо напряженном языке, что и руки; столь же нежное и почти женственно-красивое, оно выражало ту же потрясающую игру страстей. Никогда я не видела такого потерянного, отсутствующего лица, и у меня была полная возможность созерцать его как маску или безглазую скульптуру, потому что глаза на этом лице ничего не видели, ничего не замечали. Неподвижно смотрел черный остекленелый зрачок, словно отражение в волшебном зеркале того темно-красного шарика, который задорно, игриво вертелся, приплясывая в своей круглой тюрьме. Повторяю, никогда не видела я такого страстно напряженного, такого выразительного лица. Узкое,

нежное, слегка удлиненное, оно принадлежало молодому человеку лет двадцати пяти. Как и руки, оно не производило впечатления мужественности, а казалось скорее лицом одержимого игорным азартом юноши; но все это я заметила лишь после, ибо в тот миг оно было все страсть и неистовство. Небольшой рот с тонкими губами был открыт, и даже на расстоянии десяти шагов можно было видеть, как лихорадочно стучат зубы. Ко лбу прилипла светлая прядь волос, и вокруг крыльев носа что-то непрерывно трепетало, словно под кожей перекачивались мелкие волны. Его склоненная голова невольно подавалась все вперед и вперед, казалось, вот-вот она будет вовлечена в круговорот рулетки; и только тут я поняла, почему так судорожно сжаты его руки: лишь это противодействие, эта спазма удерживала в равновесии готовое упасть тело.

Никогда, никогда в жизни не встречала я лица, на котором так открыто, обнаженно и бесстыдно отражалась бы страсть, и я не сводила с него глаз, прикованная, зачарованная его безумием, как он сам — прыжками и кружением шарика. С этой минуты я ничего больше не замечала вокруг; все казалось мне бледным, смутным, расплывчатым, серым по сравнению с пылающим огнем этого лица, и, забыв о существовании других людей, я добрый час наблюдала за этим человеком, за каждым его жестом. Вот в глазах его вспыхнул яркий свет, сжатые узлом руки разлетелись, как от взрыва, и дрожащие пальцы жадно вытянулись — крупные пододвинул к нему двадцать золотых монет. В эту секунду лицо его внезапно просияло и сразу помолодело, складки разгладились, глаза заблестели, сведенное судорогой тело легко и радостно выпрямилось; свободно, как всадник в седле, сидел он, торжествуя победу, пальцы шаловливо и любовно перебирали круглые звенящие монеты, сталкивали их друг с другом, заставляли танцевать, мелодично позванивать. Потом он снова беспокойно повернул голову, окинул зеленый стол взглядом молодой охотничьей собаки, которая ищет след, и вдруг рывком швырнул всю кучку золотых монет на один из квадратиков. И опять эта настороженность, это напряженное ожидание. Снова поползли от губ к носу мелкие дрожащие волны, судорожно сжались руки, лицо юноши исчезло, скрылось за выражением алчного нетерпения, которое тут же сменилось разочарованием: юношески возбужденное лицо увяло, поблекло, стало бледным и старым, взгляд потускнел и погас — и все это в водно-единственное мгновение, когда шарик упал не на то число. Он проиграл; несколько секунд он смотрел перед собой тупо, как бы не понимая, но вот, словно подхлестнутые выкриком крупные, пальцы снова схватили несколько золотых монет. Однако уверенности уже не было, он бросил монеты сперва на одно поле, потом, передумав, — на другое, и когда шарик уже был в движении, быстро, повинувшись внезапному наитию, дрожащей рукой швырнул еще две смятые бумажки на тот же квадрат.

Эта захватывающая смена удач и неудач продолжалась безостановочно около часа, и в течение этого часа, затаив дыхание, я ни на миг не отводила зачарованного взгляда от этого беспрерывно меняющегося лица, на котором, отливая и приливая, кипели все страсти;

я не отрывала глаз от этих магических рук, каждый мускул которых пластически передавал всю подымающуюся и испадающую кривую переживаний. Никогда в театре не всматривалась я так напряженно в лицо актера, как в это лицо, по которому, словно свет и тени на ландшафте, пробегала беспрестанно меняющаяся гамма всех цветов и ощущений. Никогда не была я так увлечена игрой, как этим отраженным чужим волнением; если бы кто-нибудь наблюдал за мной в этот момент, он приписал бы мой пристальный, неподвижный, напряженный взгляд действию гипноза; и правда, мое состояние было близко к совершенному оцепенению; я не могла оторваться от этого лица, и все в зале — огни, смех, людей — ощущала лишь смутно, как желтую дымку, среди которой пламенело это лицо — огонь среди огней. Я ничего не слыхала, ничего не чувствовала, не замечала, как теснились вокруг люди, как другие руки внезапно протягивались, словно щупальца, бросали деньги или загребали их; я не замечала шарика, не слышала голоса крупье и в то же время видела, словно во сне, все происходящее по этим рукам и по этому лицу совершенно отчетливо, увеличенное, как в вогнутом зеркале, благодаря страстному волнению этого человека; падал ли шарик на черное или красное, крутился он или останавливался, мне незачем было смотреть на рулетку: все — проигрыш и выигрыш, надежда и разочарование — отражалось с невиданной силой в его мимике и жестах.

Но вот наступила ужасная минута: то, чего в глубине души я все время смутно опасалась, что томило меня, как надвигающаяся гроза, внезапно ударило по моим натянутым нервам. Снова шарик с коротким дребезжащим стуком ткнулся в углубление, снова наступила секундная пауза — сотня людей затаила дыхание, голос крупье возвестил «ноль», и его проворная лопатка уже сгребала звякающие монеты и шуршащие бумажки. И в эту минуту крепко сжатые руки сделали невыразимо страшное движение; они как бы вскочили, чтобы схватить что-то, чего не было, и в изнеможении опустились на стол. Потом они внезапно ожили, сбежали со стола, стали карабкаться, как дикие кошки, по всему туловищу, вверх, вниз, вправо, влево, лихорадочно рыская по карманам — не завалилась ли где-нибудь забытая монета. Неизменно возвращались они пустыми, все яростней возобновляя свои бессмысленные, бесполезные поиски, а рулетка уже снова вертелась и игра продолжалась. Звенели монеты, двигались стулья, и тысячи негромких разнообразных шумов наполняли зал. Я дрожала, потрясенная ужасом: я переживала все это так отчетливо, словно то были мои пальцы, отчаянно рывшиеся в карманах и складках смятого платья в поисках хотя бы одной монеты. И вдруг сидевший против меня порывисто вскочил, как человек, которому тошнота подступила к горлу, стул с грохотом полетел на пол. Но, не замечая этого, не видя людей, испуганно и удивленно уступавших ему дорогу, он, шатаясь, побрел прочь.

Увидев это, я словно окаменела. Я тотчас же поняла, куда идет этот человек: на смерть. Кто так встает, не пойдет в гостиницу, в ресторан, к женщине, на станцию железной дороги, к чему-нибудь живому, а прямо бросится в пропасть. Даже самые зачерствелые в этом

аду должны были почувствовать, что у него больше ничего нет — ни дома, ни в банке, ни у родных, что он рискнул последним достоянием, что ставкой была его жизнь, и теперь он побрел куда-то, откуда уже не вернется.

Все время я боялась этого, с первого же взгляда чутьем поняла, что здесь дело идет о чем-то более важном, чем выигрыш или проигрыш. Я чувствовала, что всепоглощающая страсть должна разрушить самое себя. И все же словно черная молния ослепила меня, когда я увидела, как жизнь внезапно ушла из его глаз и смерть серою пеленою застлала только что столь живое лицо. И так велика была сила воздействия его выразительных жестов, что, когда он сорвался с места и, пошатываясь, побрел прочь, я невольно ухватилась за стол; я ощутила всем своим существом нетвердость его походки, так же как до того всеми нервами, всеми фибрами души ощущала его игорный азарт. И что-то толкнуло меня; я должна была идти за ним, ноги сами пошли, я даже не сознавала, что делаю. Не обращая ни на кого внимания, не помня себя, я шла, я бежала по коридору к выходу.

Он стоял у вешалки, служитель подавал ему пальто. Но руки не повиновались ему, и служитель бережно, как больному, помогал ему попасть в рукава. Я видела, как он машинально полез в жилетный карман, чтобы дать на чай, но там было пусто. Тут он, казалось, вдруг вспомнил все, смущенно пробормотал несколько слов, снова, как в зале, рванулся вперед и тяжело, словно пьяный, начал спускаться по лестнице казино, провожаемый поначалу презрительной, а потом понимающей усмешкой служителя.

Все это было так страшно, что мне стало как-то стыдно следить за ним. Я отвернулась, смущенная тем, что, как в театре, наблюдаю чужое страдание, но тут же безотчетный страх снова подтолкнул меня. Я быстро накинула мантию и уже без всякой мысли, произвольно, как автомат, побежала в темноту за этим чужим человеком.

Миссис К. на мгновение остановилась. Она неподвижно сидела против меня и говорила почти без пауз, со свойственным ей спокойствием и обстоятельностью, видимо подготовившись и тщательно припомнив ход событий. Теперь она впервые запнулась и прервала свой рассказ.

— Я обещала вам и самой себе, — начала она не без волнения, — рассказать все с полной откровенностью. И теперь я прошу вас отнестись ко мне с полным доверием и не искать в моих поступках скрытых побуждений, которых я ныне, быть может, и не стыдилась бы, но которых тогда и в помине не было. Итак, повторяю, когда я выбежала на улицу за этим отчаявшимся игроком, я отнюдь не была влюблена в него и даже не думала о нем как о мужчине; ведь мне уже было за сорок, и после смерти мужа я ни разу не взглянула ни на одного мужчину. С этим было покончено навсегда; я должна вам это сказать, иначе вы не почувствуете весь ужас того, что потом произошло. Правда, мне трудно было бы определить чувство, которое с такой силой влекло меня тогда за этим несчастным; тут было и любопытство, но

прежде всего страх перед чем-то ужасным, что я с первой же минуты ощутила. Страх перед невидимой тучей, нависшей над этим юношей. Но такие ощущения нельзя расчленять и анализировать уже потому, что они слишком внезапно, слишком властно овладевают вами. Вероятно, мой порыв был просто инстинктивным желанием помочь,— так оттаскивают в сторону ребенка, бегущего навстречу автомобилю. Разве объяснишь, почему люди, не умеющие плавать, бросаются с моста за утопающим? Они движимы неодолимой силой, эта сила толкает их в воду, не давая времени опомниться и сообразить, как это бессмысленно и опасно. И точно так же, не думая, не отдавая себе отчета последовала я тогда за ним из игорного зала в вестибюль, а из вестибюля на площадку перед казино.

Я уверена, что и вы, да и всякий чуткий человек невольно поддался бы этому тревожному любопытству, потому что нельзя себе представить более ужасного зрелища, чем этот молодой человек, не старше двадцати пяти лет, который, шатаясь точно пьяный, медленно, по-стариковски волоча непослушные ноги, тащился по лестнице. Спустившись вниз, он как мешок упал на скамью. И снова я содрогнулась, ибо ясно видела — это конченный человек. Так падает лишь мертвый или тот, в ком ничто уже не цепляется за жизнь. Голова как-то боком откинулась на спинку, руки безжизненно повисли вдоль туловища, и в тусклом свете фонарей его можно было принять за человека, пустившего себе пулю в лоб. И вот — не могу объяснить, как возникло это видение, но внезапно оно предстало передо мной во всей своей страшной, почти осязаемой реальности: я увидела его застрелившимся; я была твердо уверена, что в кармане у него револьвер и что завтра его найдут на этой или на другой скамье мертвым и залитым кровью. Он упал, как падает камень в пропасть, не останавливаясь, пока не достигнет дна; я никогда не думала, что одним телодвижением можно выразить всю полноту изнеможения и отчаяния.

Теперь представьте себе мое состояние: я остановилась в двадцати или тридцати шагах от скамейки, где был неподвижно распростерт несчастный юноша, не зная, что предпринять, побуждаемая, с одной стороны, желанием помочь, с другой — удерживаемая унаследованной и привитой воспитанием боязнью заговорить на улице с незнакомым человеком. Газовые фонари тускло мерцали под затянутым тучами небом; изредка мелькала фигура прохожего; приближалась полночь, и я была почти наедине с этой мрачной тенью. Пять, десять раз порывалась я подойти к нему, но всякий раз меня останавливал стыд или, быть может, тайный страх: ведь падающий нередко увлекает за собой спасителя, и все время я сознавала нелепость и комичность своего положения; но я не могла ни заговорить, ни что-либо предпринять, ни покинуть его. И, надеюсь, вы поверите мне, что, быть может, целый час, бесконечный час, пока тысячи и тысячи всплесков невидимого моря отмеривали время, я в нерешительности топталась на месте, потрясенная и загипнотизированная зрелищем полного изничтожения человека.

Но у меня не хватало мужества что-нибудь сказать или сделать, и я простояла бы так полночи или, повинуясь голосу благоразумия, пошла бы домой — помнится, я даже почти решилась бросить на произвол судьбы злополучного игрока, — как вдруг вмешательство стихийных сил положило конец моим колебаниям: начался дождь. Весь вечер нагоняло ветром с моря тяжелые весенние тучи, воздух был душный, чувствовалось, что небо нависло совсем близко, — и вот внезапно упала капля, а за ней хлынул подхлестнутый ветром тяжелый, сплошной ливень. Спасаясь от него, я бросилась под навес киоска, но, не смотря на раскрытый зонтик, неистовый вихрь, прыгая и крутясь, обдавал брызгами мое платье. Капли яростно ударялись о землю, и холодная водяная пыль попадала мне на лицо и руки.

Но — и это было так ужасно, что сейчас, спустя двадцать пять лет, как вспомню, сердце сжимается, — несчастный продолжал неподвижно сидеть на скамье под проливным дождем. Из всех сточных труб, булькающая, бежала вода, из города доносился грохот экипажей, справа и слева мелькали темные фигуры с поднятым воротником: все живое пряталось, бежало, спасалось, искало убежища, и в людях и в животных чувствовался страх перед разбушевавшейся стихией — только этот черный человеческий комок на скамье не двинулся, не шелохнулся. Я уже говорила, что этот человек обладал магическим свойством выражать каждое свое чувство движением или жестом, и ничто, ничто на свете не могло с такой потрясающей силой передать отчаяние, полный отказ от самого себя, как бы смерть заживо, как эта неподвижность, это безжизненное, бесчувственное невнимание к ливню, это неимение сил подняться и пройти несколько шагов до укрытия, это мертвое равнодушие к собственному бытию. Ни один скульптор, ни один поэт, ни Микеланджело, ни Данте не заставили меня с такой силой почувствовать предельное отчаяние, предельную земную муку, как этот живой человек под бушующей стихией, слишком усталый, чтобы сделать малейшую попытку оградиться от нее. Я не могла этого вынести; я рванулась к нему сквозь холодный хлещущий дождь и встряхнула его: «Идемте!» Что-то мелькнуло в его мутном взгляде, он сделал слабое движение рукой, но не понял меня. «Идемте», — я дернула его за мокрый рукав уже с силой и почти сердито. Тогда он медленно, как-то безвольно поднялся со скамьи. «Что вам надо?» — спросил он, и у меня не было ответа, потому что я и сама не знала, куда его увести, только бы прочь отсюда, от этого холодного ливня, от этой бессмысленной, самоубийственной позы глубочайшего отчаяния! Я не выпускала его руки и тащила безвольное тело все дальше, к киоску, где узкий выступ крыши хоть немного защитит нас от яростного натиска дождя и ветра. Больше я ни о чем не думала, ничего не хотела. Только бы втащить этого человека под крышу, на сухое место, — других мыслей у меня не было.

И вот мы очутились рядом на этом узком сухом местечке; за спиной у нас были закрытые ставни киоска, над головой — слишком маленький навес, и неутихающий ливень обдавал холодными брызгами нашу одежду и лица. Положение становилось невыносимым. Я просто не могла больше стоять рядом с этим насквозь промокшим чужим

человеком. Но, притащив его сюда, я не могла и покинуть его без единого слова. Что-то должно было произойти, и я заставила себя здраво взглянуть на дело. Лучше всего, подумала я, отвезти его в экипаже к нему домой, а потом вернуться в свой отель; завтра он уже сам найдет выход. И я спросила человека, неподвижно стоявшего рядом со мной и пристально смотревшего в темноту:

— Где вы живете?

— У меня нет квартиры... Я только вечером приехал из Ниццы... ко мне нельзя.

Последние слова я поняла не сразу. Только потом мне стало ясно, что он принимал меня за... кокотку, за одну из тех женщин, которые толпами бродят по ночам около казино в надежде выудить деньги у счастливого игрока или у пьяного. Да и что мог он еще подумать — ведь только теперь, когда я все это вам рассказываю, чувствую я всю невероятность и фантастичность моего положения; поистине, бесцеремонность, с какой я сорвала его со скамьи и потащила за собой, отнюдь не соответствовала поведению порядочной женщины. Но об этом я тогда не подумала; лишь позже и слишком поздно догадалась я о его чудовищном заблуждении относительно меня. Ибо иначе я никогда бы не произнесла тех слов, которые могли только усугубить недоразумение. Я сказала:

— Тогда надо взять комнату в отеле. Здесь вам нельзя оставаться. Вам надо где-нибудь укрыться.

Тут только я поняла его страшную ошибку, потому что он даже не повернулся ко мне, а насмешливо ответил:

— Нет, мне не надо комнаты, мне вообще ничего не надо. Не трудись, из меня ничего не выжмешь. Ты обратилась не по адресу, у меня нет денег.

Это было сказано с таким ужасающим равнодушием, этот промокший, вконец опустошенный человек стоял так безжизненно, бессильно прислонившись к стене, что я не успела даже мелочно, глупо обидеться, настолько я была потрясена. Мною владело чувство, возникшее в первую минуту, когда он, шатаясь, вышел из зала, и не покидавшее меня в течение последнего фантастически нелепого часа: живое существо, юное, дышащее, обречено на смерть, и я должна спасти его. Я подошла ближе.

— Не беспокойтесь о деньгах, идемте. Здесь вам нельзя оставаться, я как-нибудь устрою вас. Не беспокойтесь ни о чем. Только идемте скорей.

Он повернул голову — дождь глухо барабанил вокруг, и из водосточной трубы к нашим ногам сбегала вода, — и я поняла, что он впервые пытается разглядеть мое лицо в темноте. Он пошевелился, видимо медленно просыпаясь от своей летаргии.

— Ну, как хочешь, — сказал он сдаваясь. — Мне все равно. Ладно. Идем.

Я раскрыла зонтик, он подошел ко мне и взял меня под руку. Эта внезапная фамильярность была мне неприятна, она даже ужаснула меня, сердце сжалось от страха. Но я побоялась одернуть его, ведь

если бы я теперь оттолкнула его, он бы погиб и все мои усилия пропали бы даром.

Мы прошли несколько шагов, отделявших нас от казино. Тут только я подумала: как же мне быть с ним дальше? Лучше всего, быстро решила я, отвезти его в какой-нибудь отель и сунуть в руку деньги, чтоб он мог переночевать и завтра уехать домой; что будет дальше — об этом я даже не думала. К казино то и дело подъезжали экипажи, я подозвала один из них, и мы сели. Когда кучер спросил, куда ехать, я сперва не знала, что ответить. Я понимала, что моего промокшего до нитки спутника не примут в дорогом отеле, и была так неопытна в такого рода делах, что, не подумав о двусмысленности положения, крикнула кучеру:

— В какую-нибудь гостиницу попроще.

Кучер равнодушно погнал лошадей. Мой сосед не произносил ни слова; колеса громыхали, и дождь яростно барабанил в стекло; запертая в этом тесном, похожем на гроб ящике, я испытывала такое чувство, словно я везла мертвое тело. Я старалась собраться с мыслями, найти какие-то слова, чтобы прервать гнетущее молчание, но мне ничего не приходило в голову. Через несколько минут экипаж остановился; я вышла первая, и пока мой спутник машинально, словно спросонья, захлопывал дверцу, я расплатилась с кучером. Мы очутились у подъезда маленькой незнакомой гостиницы; узенький стеклянный навес защищал нас от дождя, который с яростным упорством рвал и кромсал непроглядную тьму.

Мой спутник, словно изнемогая под тяжестью собственного тела, прислонился к стене; вода капала с его мокрой шляпы и измятой одежды. Словно его только что вытащили из реки и еще не привели в чувство, стоял он там, и у его ног образовался ручеек стекающей воды. Он даже не пытался отряхнуться, скинуть шляпу, с которой капли одна за другой падали на лицо. Ему было все равно. Я даже описать вам не могу, как поразила меня эта надломленность.

Но надо было действовать. Я опустила руку в сумочку.

— Вот вам сто франков, — сказала я, — возьмите себе комнату, а утром уезжайте обратно в Ниццу.

Он удивленно взглянул на меня.

— Я наблюдала за вами в игорном зале, — продолжала я, заметив, что он колеблется. — Я знаю, что вы все проиграли, и боюсь, что вы собираетесь сделать глупость. Нет ничего стыдного в том, чтобы принять помощь. Вот, возьмите!

Но он отвел мою руку с неожиданной силой.

— Ты молодчина, — сказал он, — но не бросай деньги на ветер. Мне уже ничем не поможешь. Буду я спать этой ночью или нет — совершенно безразлично. Завтра все равно конец. Мне уже не поможешь.

— Нет, вы должны взять, — настаивала я. — Завтра вы будете думать иначе. А покамест поднимитесь наверх и хорошенько выспитесь. Днем вам все покажется в другом свете.

Но когда я протянула ему деньги, он почти злобно оттолкнул мою руку.

— Оставь,— повторил он глухо,— нет смысла. Лучше я сделаю это на улице, чем кровью пачкать людям комнату. Сотня франков меня не спасет, да и тысяча тоже. Я все равно завтра опять пошел бы в казино и играл бы до тех пор, пока не спустил бы всего. К чему начинать снова? Хватит с меня.

Вы не можете себе представить, как глубоко проникал мне в душу этот глухой голос. Подумайте только: рядом с вами стоит, дышит, живет красивый молодой человек, и вы знаете, что, если не напрячь все силы, эта мыслящая, говорящая, дышащая юность через два часа будет трупом. И тут меня охватило яростное, неистовое желание победить это бессмысленное сопротивление. Я схватила его за руку:

— Довольно! Вы сейчас же подниметесь наверх и возьмете комнату, а завтра утром я отвезу вас на вокзал. Вы должны уехать отсюда, вы должны завтра же уехать домой, и я не успокоюсь до тех пор, пока не увижу вас в поезде с билетом в руках. В ваши годы не швыряются жизнью из-за проигрыша в несколько сот или тысяч франков. Это трусость, истерия, бессмысленная злоба и раздражение. Завтра вы сами признаете, что я права.

— Завтра! — повторил он с мрачной иронией. — Завтра. Если бы ты знала, где я буду завтра! Если бы сам я это знал,— это даже любопытно. Нет, ступай домой, милая, не трудись и не бросай деньги на ветер.

Но я не уступала. Во мне была какая-то одержимость, какое-то неистовство. Я крепко схватила его руки и сунула в нее банкноты.

— Вы возьмете деньги и сейчас же пойдете наверх. — С этими словами я решительно подошла к звонку. — Так, теперь я позвонила, сейчас выйдет портье, вы подниметесь и ляжете спать. Завтра утром, ровно в девять, я жду вас здесь и отвожу на вокзал. Не заботьтесь больше ни о чем, я все устрою, чтобы вам добраться до дому. А теперь ложитесь, вам надо выспаться, не думайте больше ни о чем!

В ту же минуту щелкнул замок, и дверь отворилась.

— Идем,— вдруг решительно произнес мой спутник жестким, озлобленным тоном, и я почувствовала, как его пальцы словно железным обручем сдавили мне руку. Я испугалась. Я так страшно испугалась, что меня словно оглушило, в уме помутилось... Я хотела сопротивляться, вырваться... но воля моя была парализована... и я... вы меня поймете... я... не могла же я бороться с этим чужим мне человеком — мне было стыдно перед портье, который стоял в дверях, дожидаясь, когда мы войдем. И вот... я очутилась в гостинице. Я хотела что-то сказать, объяснить, но не могла произнести ни звука; на моей руке тяжело и властно лежала его рука... я смутно сознавала, что он ведет меня по лестнице... звякнул ключ...

И я оказалась наедине с этим чужим человеком, в чужой комнате, в какой-то гостинице, названия которой я не знаю и по сей день.

Миссис К. снова умолкла и вдруг встала с кресла. Видимо, голос изменил ей. Она подошла к окну, несколько минут молча смотрела на улицу или, может быть, просто стояла, прижавшись лбом к холодному

стеклу. Я не смел взглянуть на нее, мне было тяжело видеть старую женщину в таком волнении, и я сидел, не шевелясь, не задавая вопросов, не произнося ни слова, и ждал. Наконец она вернулась к креслу и спокойно села против меня.

— Ну вот — самое трудное сказано. И, надеюсь, вы поверите мне, если я повторю вам и поклянусь всем святым для меня — моей честью, моими детьми, — что до той минуты мне и в голову не приходила мысль о... о близости с этим чужим человеком, что не только не по своей воле, но совершенно бессознательно я очутилась в этом положении, как в западне, расставленной на моем ровном жизненном пути... Я поклялась быть искренней перед вами и перед собой и повторяю: я была вовлечена в эту трагическую авантюру только из-за какого-то иступленного желания помочь; ни о каких личных чувствах или побуждениях и речи быть не могло.

Вы избавите меня от рассказа о том, что произошло в той комнате в ту ночь; я все помню и ничего не хочу забывать. В ту ночь я боролась с человеком за его жизнь; повторяю — дело шло о жизни и смерти. Слишком ясно я чувствовала, что этот чужой, уже почти обреченный человек жадно и страстно хватается за меня, как утопающий хватается за соломинку. Уже падая в пропасть, он цеплялся за меня со всем неистовством отчаяния. Я же всеми силами, всем, что мне было дано, боролась за его спасенье. Такие часы выпадают на долю человека только раз в жизни, и то одному из миллионов; не будь этого ужасного случая, и я никогда бы не узнала, как пылко, с какой иступленной и необузданной жадностью потерянный, пропащий человек упивается последней каплей живой, горячей жизни; никогда бы я, жившая до тех пор в полном неведении темных сил бытия, никогда бы я не постигла, как мощно и причудливо природа в едином дыхании переплетает жар и холод, жизнь и смерть, восторг и отчаяние. Эта ночь была так насыщена борьбой и словами, страстью, гневом и ненавистью, слезами мольбы и опьянения, что она показалась мне тысячелетием. И мы, в слитном порыве бросаясь в пропасть, один — неистово, другой — безотчетно, вышли из этого смертельного поединка преобразенные, с новыми помыслами, с новыми чувствами.

Но я не хочу говорить об этом. Я не могу и не стану ничего описывать. Скажу только о первой минуте своего пробуждения. Я очнулась от свинцового сна, сбросила с себя оковы такой бездонной ночи, какой никогда раньше не знала. Я долго не могла открыть глаза, и первое, что увидела, был чужой потолок у меня над головой, потом очертания чужой, незнакомой, отвратительной комнаты, в которой я неведомо как очутилась. Сначала я убеждала себя, что это сон, только более легкий, более прозрачный, в который я погрузилась после того удушливого, сумбурного кошмара; но за окнами был яркий, режущий солнечный свет, снизу доносился уличный шум, стук колес, трамвайные звонки и людские голоса. И тут я поняла, что не сплю, что это явь. Невольно я приподнялась, силясь припомнить, где я, и вдруг я увидела — мне никогда не передать вам охватившего меня ужаса — чужого человека, спавшего рядом со мной на широкой

кровати... чужого, чужого, совсем чужого, полуголого, незнакомого человека...

Нет, этот ужас не поддается описанию; он сразил меня, и я без сил опустилась на подушки. Но то был не спасительный обморок, не потеря сознания, напротив — я мгновенно вспомнила все страшное, непостижимое, что случилось со мной; у меня было одно желание — умереть от стыда и отвращения. Как могла я очутиться в какой-то подозрительной трущобе, в чужой кровати, с незнакомым человеком! Я отчетливо помню, как у меня перестало биться сердце; я задерживала дыхание, словно этим могла прекратить жизнь и погасить сознание, это ясное, до жути ясное сознание, которое все понимало, но ничего не могло осмыслить.

Я никогда не узнаю, долго ли я так пролежала в оцепенении — должно быть, так лежат мертвецы в гору; знаю только, что я закрыла глаза и взывала к богу, к небесным силам, молила, чтобы это оказалось неправдой, вымыслом. Но мои обостренные чувства уже не допускали обмана, я слышала в соседней комнате людские голоса и плеск воды, в коридоре шаркали шаги, и эти звуки говорили, что все это правда, жестокая, неумолимая правда.

Трудно сказать, сколько времени продолжалось это мучительное состояние: такие мгновения обладают иной длительностью, чем спокойные отрезки времени. Но внезапно меня охватил другого рода страх, пронизывающий, леденящий страх; а вдруг этот человек, имени которого я не знала, проснется и заговорит со мной! И я тотчас же поняла, что мне остается лишь одно: одеться и бежать, пока он не проснулся, больше никогда не попадаться ему на глаза, не говорить с ним, спастись бегством, пока не поздно. Скорее прочь отсюда, в свою жизненную колею, в свой отель, и с первым поездом прочь из этого проклятого места, из этой страны! Больше никогда не встречаться с ним, не смотреть ему в глаза, не иметь свидетеля, обвинителя и соучастника! Эта мысль придала мне силы: осторожно, крадучись, воровскими движениями, дюйм за дюймом (лишь бы не шуметь!) пробиралась я от кровати к своему платью. Со всей осторожностью я оделась, дрожа всем телом, каждую секунду ожидая, что он проснется, — и вот удалось, я уже готова. Только шляпа моя лежала с другой стороны, в ногах кровати, и когда я подходила на цыпочках, чтобы взять ее, тут... я просто не могла поступить иначе: я должна была еще раз взглянуть на лицо этого чужого человека, который свалился в мою жизнь точно камень с карниза; лишь один раз хотела я взглянуть на него; и что самое удивительное: этот молодой человек, погруженный в сон, был действительно чужой для меня; в первый момент я даже не узнала его лица. Словно сметены были вчерашние, искаженные страстью, сведенные судорогой черты, — у этого юноши было совсем другое, совсем детское, мальчишеское лицо, сиявшее ясностью и чистотой. Губы, вчера закусенные и стиснутые, были мягко, мечтательно раскрыты и почти улыбались; волнистые белокурые пряди мягко падали на разгладившийся лоб, и ровное дыхание легкими волнами вздымало грудь.

Помните, я говорила вам, что никогда еще не видела выражения такого неистового азарта, как на лице этого незнакомца за игорным столом. Но никогда, даже у невинных младенцев, которые иногда во сне кажутся озаренными сиянием ангельской чистоты, не наблюдала я выражения такого лучезарного, такого поистине блаженного покоя. В этом лице, отражавшем тончайшие оттенки чувств, сейчас была райская отрешенность от всяческих забот и тревожений. При этом неожиданном зрелище с меня, словно тяжелый черный плащ, соскользнули все страхи и все опасения — мне больше не было стыдно, я почти радовалась. Все страшное, непостижимое вдруг обрело смысл, я испытывала радость, гордость при мысли, что, если бы я не принесла себя в жертву, этот молодой, хрупкий, красивый человек, лежавший здесь безмятежно и тихо, словно цветок, был бы найден где-нибудь на уступе скалы окровавленный, бездыханный, с изуродованным лицом, с дико вытаращенными глазами; он был спасен, и спасла его я. И я смотрела материнским взглядом (иначе не могу назвать) на спящего, которого я вернула к жизни, как бы снова родив, с еще большими муками, чем собственных детей. Быть может, это звучит смешно, но в этой замызанной, омерзительной комнате, в мерзкой, грязной гостинице меня охватило такое чувство, словно я в церкви, блаженное ощущение чуда и святости. Из ужаснейшей минуты моей жизни возникла другая, самая изумительная, самая просветленная.

Задела я что-нибудь или у меня вырвалось какое-то слово — не знаю. Но спящий вдруг открыл глаза. Я вздрогнула от испуга. Он стал удивленно осматриваться, видимо, так же как я, с трудом сдерживая с себя тяжелый, глубокий сон. Его взгляд недоуменно блуждал по чужой, незнакомой комнате, потом с удивлением остановился на мне. Но он еще не успел открыть рта, как я уже овладела собой: только не дать ему сказать ни слова, не допустить ни вопроса, ни фамильярного обращения, ничего не объяснять, не говорить о том, что произошло вчера и этой ночью!

— Мне надо уходить, — торопливо сказала я. — А вы одевайтесь. В двенадцать часов мы встретимся у входа в казино, там я позабочусь о дальнейшем.

И, не дожидаясь его ответа, убежала, чтобы только не видеть этой комнаты; я бежала без оглядки из гостиницы, названия которой не знала, как не знала имени человека, с которым провела ночь.

Миссис К. на минуту прервала свой рассказ. Когда она вновь заговорила, в ее голосе уже не слышалось мучительного волнения. Как повозка, с трудом взобравшаяся на вершину, легко и быстро катится под гору, так непринужденно и свободно лилась теперь ее речь.

— Я бежала в свой отель по улицам, залитым утренним солнцем; после вчерашнего ливня воздух был чистый и легкий — и так же было у меня на душе. Вспомните, что я говорила вам: после смерти мужа я отказалась от жизни; дети больше не нуждались во мне, сама я была себе в тягость, а всякое существование без определенной

цели — бессмысленно. Теперь впервые мне выпала задача: спасая человека, я огромным усилием вырвала его из небытия. Оставалось одолеть еще кое-какие препятствия, и моя цель была бы достигнута. Итак, я прибежала к своему отелю; портье встретил меня удивленным взглядом: ведь я вернулась домой только в девять утра; но мне и горя было мало, ни стыд, ни досада не угнетали меня. Желание жить, радостное сознание, что я кому-то нужна, горячо волновало кровь.

У себя в комнате я быстро переоделась, бессознательно (я заметила это только после) сняла траурное платье, заменив его более светлым, пошла в банк за деньгами, потом поспешила на вокзал справиться об отходе поезда; с необычайной энергией я сделала, кроме того, еще несколько дел. Оставалось только осуществить отъезд и окончательное спасение подкинутого мне судьбой человека.

Правда, нелегко было встретиться с ним, ибо все вчерашнее произошло во тьме, в каком-то вихре, как будто внезапно столкнулись два камня, низвергнутые водопадом; мы едва знали друг друга в лицо, я даже не была уверена, что незнакомец меня узнает. Вчера это был слепой случай, опьянение, безумие двух смятенных людей, а сегодня мне предстояло открыть ему больше о себе, чем вчера, ибо теперь, в ярком, беспощадном свете дня, я должна была предстать перед ним такою, какой была, — живую женщиной.

Но это оказалось проще, чем я думала. Не успела я в условленный час подойти к казино, как молодой человек вскочил со скамьи и поспешил мне навстречу. Сколько радостного удивления, детской непосредственности было в его, как всегда, красноречивых движениях! Он бросился ко мне, в глазах его сияла радостная и вместе с тем почтительная благодарность, и глаза эти смиренно потупились, уловив мое смущение. Так редко встречаешь в людях благодарность, и как раз наиболее признательные не находят для нее слов; они неловко молчат, стыдятся своего чувства и нередко говорят невпопад, пытаясь скрыть его. Но этот человек, которого бог, как некий таинственный ваятель, наделил даром предельно рельефно, осязаемо и красиво выражать все движения души, всем своим существом излучал страстную, горячую благодарность. Он нагнулся над моей рукой и, благоговейно склонив мальчишескую голову, на мгновение застыл, едва касаясь губами моих пальцев, затем отступил и справился о моем здоровье; в его словах, в его взгляде было столько скромной учтивости, что уже через несколько минут все мои опасения развеялись. И, словно отражая это просветление чувств, все кругом праздновало избавление от злых чар: море, такое грозное вчера, было теперь тихим и ясным, и каждый камешек под легкой зыбью сверкал белизной; казино, этот ад крошечный, подымало к чистым, отливающим сталью небесам свои мавританские фронтоны, а киоск, под навес которого загнал нас вчера хлещущий дождь, преобразился в цветочную лавку, где в живописном беспорядке среди зелени лежали груды белых, красных, желтых цветов и бутонов, которые продавала молодая девушка в ярко-пестрой блузке.

Я пригласила его пообедать со мной в маленьком ресторане, и там этот незнакомый юноша рассказал мне свою трагическую историю. Она полностью подтвердила все то, о чем я догадывалась, когда впервые увидела его дрожащие, нервно вздрагивающие руки на зеленом столе. Он происходил из старого аристократического рода галицийских поляков. Родители готовили его в дипломаты. Он учился в Вене и месяц назад успешно сдал свой первый экзамен. Чтобы отпраздновать этот день, дядя, у которого он жил, офицер генерального штаба, повез его в Пратер, и они вместе пошли на бега. Дяде посчастливилось, он угадал три раза подряд; с толстой пачкой выигранных денег они отправились ужинать в дорогой ресторан. На следующий день, в награду за успешно сданный экзамен, будущий дипломат получил от своего отца денежную сумму в размере месячного содержания; за два дня до того эта сумма показалась бы ему огромной, но теперь, после легкого выигрыша, он отнесся к ней равнодушно и пренебрежительно. Сразу же после обеда он снова поехал на бега, ставил необдуманно и азартно, и по прихоти счастья, или, вернее, несчастья, он после последнего заезда покинул Пратер, утроив полученную от отца сумму. И вот его охватила страсть к игре; он играл на ипподроме, в кафе, в клубах, и эта страсть пожирала его время, силы, нервы и прежде всего деньги. Он не мог больше ни о чем думать, потерял сон, а главное уже не владел собой: один раз, ночью, вернувшись домой из клуба, где он все проиграл, он, раздеваясь, нашел в кармане еще одну забытую скомканную бумажку. Не устояв перед соблазном, он снова оделся и блуждал по улицам, пока не нашел в каком-то кафе двух-трех игроков в домино, с которыми и просидел до рассвета. Однажды его выручила замужняя сестра, уплатив долги ростовщикам, которые охотно ссужали деньгами наследника известной аристократической семьи. После этого ему сначала везло, но затем счастье неумолимо отвернулось от него, и чем больше он проигрывал, тем необходимей был решительный выигрыш, дабы покрыть просроченные обязательства и расплатиться с долгами чести. Он давно заложил свои часы, костюмы, и наконец случилось самое страшное: он украл из шкафа у старой тетки жемчужные серьги, которые она редко носила. Одну он заложил за крупную сумму, и в тот же вечер выиграл вчетверо больше. Но вместо того чтобы выкупить серьгу, он рискнул всем и проиграл. Кража еще не была обнаружена; тогда он заложил вторую и по внезапному наитию уехал поездом в Монте-Карло, чтобы добыть себе вожделенное богатство. Он, уже продал свой чемодан, одежду, зонтик; у него не оставалось ничего, кроме револьвера с четырьмя патронами и маленького крестика с драгоценными камнями, подаренного крестной матерью, княгиней Х., с которым он долго не хотел расставаться: но и этот крестик он спустил накануне за пятьдесят франков только для того, чтобы вечером в последний раз испытать острое наслаждение игрой не на жизнь, а на смерть.

Все это он рассказывал мне с чарующей живостью и одушевлением. И я слушала его, увлеченная, захваченная, взволнованная; я и не думала возмущаться тем, что человек, сидящий против меня, в

сущности говоря, вор. Если бы накануне мне, женщине с безупречным прошлым, требовавшей в своем кругу строжайшего соблюдения светских условностей, кто-нибудь сказал, что я буду дружески беседовать с незнакомцем, который годится мне в сыновья и вдобавок украл жемчужные серьги,— я сочла бы того сумасшедшим. Но во время рассказа юноши я не чувствовала ничего похожего на ужас,— он говорил так естественно и убедительно, словно описывал болезнь, горячечный бред, а не преступление. И потом для того, кто, подобно мне, испытал прошлой ночью нечто столь потрясающе-неожиданное, слово «невозможно» потеряло всякий смысл. За эти десять часов я неизмеримо больше узнала о жизни, чем за сорок мирно прожитых лет.

Но нечто другое испугало меня во время этой исповеди: лихорадочный блёск его глаз, когда он рассказывал о своей игровой страсти, причем, словно от электрического тока, содрогались все мускулы лица. Одно воспоминание о пережитом уже волновало его, и его выразительное лицо с ужасающей четкостью отражало все перипетии игры. Невольно его руки, прекрасные, с тонкими пальцами, нервные руки, начали снова, как за зеленым столом, метаться по скатерти, точно затравленные зверьки; и когда он говорил, я видела, как они внезапно стали дрожать, корчиться и судорожно сжиматься, затем снова вскидывались и опять впивались друг в друга. А когда он признавался в краже драгоценностей, я невольно вздрогнула,— молниеносно подпрыгнув, они сделали быстрое хватающее движение. Я видела, видела воочию, как пальцы кинулись на драгоценность и ладонь словно проглотила ее. И с невыразимым ужасом я поняла, что этот человек до мозга костей отравлен своей страстью.

Только это и ужаснуло меня в его рассказе — рабское подчинение пагубной страсти молодого, чистого сердцем, от природы беспечного человека. И я сочла своим долгом на правах друга уговорить посланного мне судьбой питомца сейчас же уехать из Монте-Карло, где искушение так велико, и вернуться в свою семью, пока не замечена пропажа и еще можно спасти его карьеру. Я обещала дать ему денег на дорогу и на выкуп драгоценностей, но с условием, что он сегодня же уедет и поклянется мне своей честью больше никогда не дотрагиваться до карт и вообще не играть в азартные игры.

Никогда не забуду, с какой сперва смиренной, потом все просветляющейся, страстной благодарностью внимал мне этот чужой, пропащий человек, как он словно пил мои слова, когда я обещала ему помощь; внезапно протянув руки над столом, он схватил мои руки незабываемым благоговейным жестом, как бы давая священный обет. В его светлых, обычно чуть мутных глазах стояли слезы, он дрожал всем телом от волнения и счастья. Сколько раз я уже пыталась описать вам его необычайно выразительные жесты и мимику,— его взгляда в ту минуту я не могу передать: в нем был такой упоенный, такой неземной экстаз, какой редко можно увидеть на человеческом лице; он сравним лишь с той белой тенью, что иной раз мелькает при пробуждении,— словно видишь перед собой исчезающий лик ангела.

К чему скрывать: я не устояла перед этим взглядом. Благодарность всегда радуется, а ведь ее не часто видишь столь ясно, чуткость

трогает сердце, и для меня, человека сдержанного и трезвого, такая экспансивность была чем-то благотворным, блаженно новым. И еще не только этот несчастный юноша вернулся к жизни — после вчерашнего ливня ожила и вся природа. Когда мы вышли из ресторана, ослепительно сверкало уже совсем спокойное море, синева его сливалась с небесной лазурью, где парили белые чайки. Вы ведь знаете пейзаж Ривьеры. Он всегда красив, но он банален, как открытка с видом: он безмятежно предстает перед вами со своими неизменно яркими красками; это — сонная, ленивая красота, которая равнодушно открывает себя постороннему взгляду, как пышная красавица гарема. Но выпадают дни, правда, очень редко, когда эта красота просыпается, прорывается наружу, словно громко окликает вас неистово сверкающими красками, победно швыряет вам в лицо пестрое изобилие своих цветов, горит, пылает чувственностью. И такой ликующий день родился из бурного хаоса грозовой ночи; омытые дождем, поблескивали улицы, бирюзой отсвечивало небо, там и сям вспыхивали цветущие кусты — разноцветные факелы среди сочной, напоенной влагой зелени. Так прозрачен был пронизанный солнцем воздух, что горы словно посветлели и приблизились, — казалось, они с любопытством толпились вокруг отполированного, блистающего городка; во всем ощущался бодрящий, настойчивый зов природы, и сердце невольно покорялось ему.

— Возьмем экипаж, — сказала я, — и покатаемся по набережной.

Он радостно кивнул головой, — вероятно, впервые после приезда этот юноша видел и замечал природу. До сих пор он не знал ничего, кроме душного зала казино, пропитанного тяжелым запахом пота, скопища людей с обезображенными азартом лицами и неприветливого, серого, шумливого моря. А теперь перед нами грандиозный раскрытый веером лежало залитое солнцем взморье, и восхищенный взор блуждал по ясным далям. Мы медленно ехали в коляске (автомобилей тогда еще не было), по чудесной дороге, мимо бесчисленных вилл, — виды сменялись видами, и сотни раз, у каждого дома, у каждой виллы, притаившейся в зелени пиний, возникало тайное желание: здесь можно бы жить тихо, спокойно, вдали от мира...

Была ли я когда-нибудь в жизни счастливей, чем в этот час? Не знаю. Рядом со мной сидел молодой человек, вчера еще задыхавшийся в тисках смерти и рока, а теперь зачарованный искристым потоком солнца; он, казалось, помолодел на много лет. Он стал совсем мальчиком, красивым, резвым ребенком, с веселым и в то же время почтительным взглядом, и больше всего восхищала меня его чуткость: если подъем был слишком крут и лошадям приходилось трудно, он проворно соскакивал, чтобы подтолкнуть экипаж. Стоило мне указать на растущий близ дороги цветок, как он спешил сорвать его. Маленькую жабу, которая, соблазненная вчерашним дождем, медленно ползла по дороге, он поднял и бережно отнес в траву, чтобы ее не раздавил проезжающий экипаж; и все время он, смеясь, рассказывал приятные смешные истории, и в этом смехе было для него спасение, ведь иначе он должен был бы петь, прыгать или безумствовать, такое восторженное опьянение владело им,

Когда мы медленно проезжали по крохотной горной деревушке, он вдруг почтительно снял шляпу. Я удивилась: кого приветствовал он здесь, чужой среди чужих? В ответ на мой вопрос он, слегка покраснев и словно оправдываясь, объяснил, что мы проехали мимо церкви, а у них в Польше, как во всех строго католических странах, с детства приучают снимать шляпу перед каждой церковью и каждой часовней. Это почтительное уважение к религии тронуло меня; вспомнив про крестик, о котором он упоминал, я спросила, верующий ли он, и когда он, несколько смущенный, скромно ответил, что надеется удостоиться благодати, мне неожиданно пришла в голову мысль.

— Стойте! — крикнула я кучеру и поспешно вышла из экипажа. Он в изумлении последовал за мной.

— Куда вы? — спросил он.

Я ответила только:

— Идите за мной.

Пройдя несколько шагов назад по дороге, мы приблизились к церкви — небольшой, сложенной из кирпича часовенке. Дверь была открыта. Смутно серели оштукатуренные голые стены, желтый клин света врезался в полумрак. Тускло мерцали две свечи, освещая маленький алтарь; пахло ладаном. Мой спутник снял шляпу, опустил руку в чашу со святой водой, перекрестился и преклонил колени. Как только он встал, я схватила его за руку.

— Подойдите, — сказала я, — к алтарю или священному для вас образу и дайте обет, который я вам подскажу.

Он посмотрел на меня удивленно, почти испуганно. Но тут же понял меня, подошел к одной из ниш, осенил себя крестом и послушно опустился на колени.

— Повторяйте за мной, — сказала я, дрожа от волнения, — повторяйте за мной: «Клянусь...»

— Клянусь, — повторил он.

Я продолжала:

«...что никогда больше не приму участия в игре на деньги, какова бы она ни была, что никогда больше не стану рисковать своей жизнью и честью ради этой страсти».

С трепетом повторил он мои слова; отчетливо, громко прозвучали они в пустой церкви. Потом на мгновение стало тихо, так тихо, что снаружи донесся шелест листвы, по которой пробежал ветер. И тут он с внезапным порывом, словно кающийся грешник, в молитвенном экстазе, какого мне еще не приходилось видеть, начал быстро, неистовой скороговоркой произносить непонятные мне слова на польском языке. То была пламенная молитва, молитва благодарственная и покаянная, ибо вновь и вновь в этой бурной исповеди его голова смиренно клонилась долу, все с большей страстностью лилась незнакомая речь и все жарче, все более истово повторял он одно и то же слово. Ни до, ни после, ни в одной церкви мира не слыхала я такой молитвы. Его руки судорожно вцепились в спинку деревянной скамеечки, все тело сотрясало от внутренней бури. Он ничего не видел, ничего не чувствовал; казалось, он пребывал в другом мире, в некоем очистительном огне преображения, или вознесся в иные, горние

пределы. Наконец он медленно встал, перекрестился и устало повернулся ко мне. Колени у него дрожали, лицо было бледно, как у смертельно утомленного человека. Но когда он взглянул на меня, его глаза просияли, чистая, поистине благочестивая улыбка озарила его изможденное лицо; он подошел ближе, поклонился русским земным поклоном, взял мои руки в свои и благоговейно поднес их к губам.

— Вы посланы мне богом, я возблагодарил его.

Я не нашлась, что ответить. Но я от души пожелала, чтобы под низкими сводами вдруг зазвучал орган, ибо я чувствовала, что доби-лась своего: этот человек спасен мною навсегда.

Мы вышли из церкви на сияющий, льющийся потоком свет этого поистине майского дня; никогда мир не казался мне таким прекрасным. Еще два часа мы медленно катались по живописной дороге, извивавшейся среди холмов, и за каждым поворотом открывались все новые прелестные виды. Но мы молчали. После такого взрыва чувств все слова казались пошлыми. И когда мой взгляд случайно встречался с его взглядом, я смущенно отворачивалась, так сильно волновало меня зрелище сотворенного мной чуда.

Около пяти часов вечера мы вернулись в Монте-Карло. Мне предстоял визит к родственникам, от которого невозможно было уклониться. Откровенно говоря, в глубине души я жаждала покоя после пережитых волнений — слишком много было счастья. Я чувствовала, что мне нужно отдохнуть от этого состояния восторженного экстаза, впервые в жизни испытанного мной. Поэтому я попросила своего питомца только на минутку зайти ко мне в отель; там, в своей комнате, я передала ему деньги на дорогу и выкуп драгоценностей. Мы условились, что за время моего отсутствия он возьмет билет, а в семь часов встретимся в вестибюле вокзала за полчаса до прихода поезда, который через Геную увезет его домой. Когда я протянула ему пять банкнот, у него побелели губы.

— Нет... не надо денег... прошу вас, не надо денег... — глухо прошептал он, отдергивая дрожащие пальцы. — Не надо денег... не надо денег... я не могу их видеть, — повторил он, словно испытывая физическое отвращение или страх.

Но я успокаивала его, говорила, что даю ему в долг, — если он стесняется брать, может дать мне расписку.

— Да... да... расписку, — пробормотал он, отводя глаза, скомкал бумажки, как что-то липкое, приставшее к пальцам, сунул их, не глядя, в карман и быстро, размашисто набросал на листке несколько слов. Когда он поднял голову, лоб у него был влажный от пота — казалось, его била лихорадка; протягивая мне листок, он вздрогнул, словно ток пробежал по его телу, и вдруг — я невольно отшатнулась — он упал на колени и поцеловал край моего платья. В этом движении было столько чувства, что я задрожала всем телом; странное смятение охватило меня, я могла только прошептать:

— Благодарю вас за то, что вы так благодарны. Но, пожалуйста, уйдите теперь. В семь часов в вестибюле вокзала мы простимся.

Он взглянул на меня; слезы умиления застилали ему глаза; одно

мгновение мне казалось, что он хочет что-то сказать, одно мгновение мне чудилось, что он сейчас устремится ко мне. Но вот он опять низко-низко поклонился и вышел из комнаты.

Миссис К. опять прервала свой рассказ. Она встала, подошла к окну и, не двигаясь, долго смотрела на улицу; плечи ее слегка дрожали. Вдруг она решительно обернулась: ее руки, доселе спокойные и безучастные, внезапно сделали резкое, порывистое движение, словно что-то разрывая. Затем она твердо, почти с вызовом взглянула на меня и продолжала:

— Я обещала, что буду говорить вполне откровенно. Сейчас я вижу, как необходимо было это обещание. Лишь теперь, когда я впервые заставляю себя описывать одно за другим все события этого дня и стараюсь облечь в ясные слова запутанный клубок смутных ощущений, лишь теперь я вижу многое, чего тогда не понимала или, быть может, не хотела понимать. И потому я хочу твердо и решительно сказать правду и себе, и вам: тогда, в ту минуту, когда он вышел из комнаты и я осталась одна, я почувствовала убийственный удар в сердце, от которого у меня потемнело в глазах; что-то причинило мне жестокую боль, но я не знала или отказывалась знать — почему трогательная почтительность моего питомца так глубоко уязвила меня.

Но теперь, когда я заставляю себя беспощадно извлекать из памяти прошлое, глядя на него как бы со стороны, когда, призвав вас в свидетели, я не вправе ничего скрывать, трусливо утаивать чувства, в которых стыдно сознаваться, теперь у меня нет сомнений: то, что мне тогда причинило такую боль, было разочарование... этот юноша так покорно ушел... без всякой попытки удержать меня, остаться со мной... он так безропотно и почтительно покорился моей просьбе уехать, вместо того чтобы сжать меня в объятиях... он почитал меня только как святую, которая явилась ему на его пути, и не... не видел во мне женщины.

Это было разочарование... разочарование, в котором я не признавалась себе ни тогда, ни позже, но женщина все постигает сердцем, без слов. Потому что... теперь я себя больше не обманываю — если бы этот человек обнял меня в ту минуту, позвал меня, я пошла бы за ним на край света, я опозорила бы свое имя, имя своих детей... презрев людскую молву и голос рассудка, я бежала бы с ним, как мадам Анриэт с молодым французом, которого она накануне еще не знала... я не спросила бы, куда и надолго ли, даже не бросила бы прощального взгляда на свою прошлую жизнь... я пожертвовала бы для этого человека своим добрым именем, своим состоянием, своей честью... я пошла бы просить милостыню, и, наверно, нет такой низости, к которой он не мог бы меня склонить. Все, что люди называют стыдом и осторожностью, я отбросила бы прочь, если бы он сказал мне хоть слово, сделал бы хоть один шаг ко мне, если бы он попытался удержать меня; в этот миг я вся была в его власти.

Но... я уже говорила вам... этот одержимый человек больше не видел во мне женщины, а с какой силой, с какой преданностью рвалась

я к нему, я ощутила лишь, когда осталась одна, когда страсть, которая только что промелькнула на его ясном, поистине неземном лице, сдала мне грудь всей тяжестью неразделенного чувства.

Я с трудом овладела собой, с отвращением думая о предстоящем визите к родным. Мне казалось, что на голове у меня железный шлем, который стягивает лоб и пригибает меня к земле; когда я наконец пошла в отель напротив, где жили мои родственники, мысли у меня путались, а ноги заплетались. Я тупо сидела среди весело болтавших людей и всякий раз пугалась, когда, случайно подняв глаза, видела их неподвижные лица, которые, в сравнении с тем, оживленным словно игрой светотени, лицом, казались мне застывшими масками. Я точно окружена была мертвецами, до того безжизненно было это общество; и в то время как я клала сахар в чашку и рассеянно поддерживала разговор, передо мной с каждым биением сердца возникало другое лицо, наблюдать за которым стало для меня счастьем и которое я — страшно подумать! — через два часа должна была увидеть в последний раз. Я, должно быть, невольно вздохнула или застонала, потому что кузина моего мужа наклонилась ко мне: что со мной, здорова ли я, такая бледная, как будто чем-то удручена. Я тотчас воспользовалась ее вопросом, сказала, что у меня жестокая мигрень, и попросила разрешения незаметно удалиться.

Теперь я опять принадлежала себе; я поспешила в свой отель. И едва я очутилась одна, как меня снова охватило чувство пустоты и покинутости и проснулась тоска по этому юноше, которого я сегодня должна была покинуть навсегда. Я металась по комнате, без нужды выдвигала ящики, переменила платье, ленту; потом я стояла перед зеркалом и испытующим взором рассматривала себя: быть может, в таком наряде я все же могу приковать его внимание. И вдруг я осознала, чего я хочу: пойти на все, только не отпускать его! В течение одной роковой секунды это желание стало решением. Я сбежала вниз к портю и сообщила ему, что уезжаю с вечерним поездом. Надо было торопиться: я позвонила горничной, чтобы она помогла мне уложить вещи — времени оставалось в обрез; и пока мы с ней поспешно, наперегонки укладывали в чемоданы платье и всякую мелочь, я мечтала о том, как буду провожать его, и в последний, самый последний момент, когда он уже протянет мне руку для прощанья, вдруг, к его изумлению, войду вместе с ним в купе, чтобы провести с ним эту ночь, следующую — столько, сколько он захочет. Я была в каком-то чаду упоения; бросая платья в сундук, я, к удивлению горничной, громко смеялась. Я смутно сознавала, что потеряла самое себя. Когда слуга пришел за моим багажом, я с недоумением взглянула на него: трудно было думать о таких обыденных вещах, когда я себя не помнила от волнения.

Я очень боялась опоздать: вероятно, было уже около семи часов, до отхода поезда оставалось в лучшем случае двадцать минут; правда, утешала я себя, я иду не для того, чтобы попрощаться, раз я решилась сопровождать его, сопровождать до тех пор, пока он пожелает. Слуга вынес мои чемоданы, а я побежала к кассе отеля уплатить по счету. Управляющий уже протягивал мне сдачу, я уже собиралась

уходить, как вдруг чья-то рука ласково дотронулась до моего плеча. Я вздрогнула. Это была моя кузина; обеспокоенная недомоганием, которое я перед ней разыграла, она пришла навестить меня. У меня потемнело в глазах. Я не могла принять ее: каждая секунда промедления могла оказаться роковой; но вежливость обязывала меня уделить ей хоть немного внимания.

— Ты должна лечь в постель,— настаивала она,— я уверена, что у тебя жар.

Наверно, так оно и было, потому что в висках у меня стучало, перед глазами мелькали синие круги — я была близка к обмороку. Отказавшись лечь, я благодарила ее за участие, хотя каждое слово жгло меня и мне очень хотелось вытолкнуть ее вон вместе с ее назойливыми заботами. Но непрошенная гостья не уходила, нет, не уходила; она предложила мне одеколону, не поленилась сама натереть мне виски, а я считала минуты, думала о нем, ломала голову, как бы мне избавиться от этого мучительного участия. И чем больше я волновалась, тем сильнее становилась ее тревога за меня; наконец она попыталась чуть не силой заставить меня подняться в номер и лечь. Но вдруг — среди ее уговоров — я бросила взгляд на висевшие в вестибюле часы: двадцать восемь минут восьмого, а в семь тридцать пять отходит поезд! И резко, порывисто, с грубым равнодушием отчаяния я сунула кузине руку: «Прощай, мне надо уходить», и, не обращая внимания на ее недоуменный взгляд, опрометью пробежала мимо удивленных лакеев, выскочила на улицу, бросилась к вокзалу. Уже по взволнованной жестикуляции слуги, который ждал меня с багажом на перроне, я поняла, что опаздываю. Я ринулась к барьеру, но меня остановил контролер: я забыла взять билет. И пока я отчаянно уговаривала его пропустить меня, поезд тронулся; дрожа всем телом, я напряженно вглядывалась, надеясь поймать в одном из окон хотя бы взгляд, поклон, привет. Но в торопливом беге поезда я уже не могла различить его лица. Все быстрее катились вагоны, и через минуту не осталось ничего, кроме черного, дымного облака.

Долго я простояла так, словно каменная, потому что слуга, наверно, несколько раз пытался заговорить со мной, прежде чем решился тронуть меня за руку. Тут я очнулась. Отнести вещи обратно в отель? Прошло минуты две, пока я собралась с мыслями; нет, это невозможно! Вернуться туда после своего нелепого, сумасбродного отъезда — нет, ни за что на свете! Мне не терпелось поскорее остаться одной, и я велела сдать вещи на хранение. И только теперь, среди вокзальной суеты, в круговороте сменяющихся лиц, я попыталась обдумать, трезво обдумать, как мне превозмочь душившее меня чувство гнева, тоски и отчаяния, ибо — должна сознаться — мысль о том, что я по своей вине упустила последнюю встречу, жгла меня, точно раскаленным железом. Боль становилась все нестерпимее, и я едва удерживалась, чтобы не вскрикнуть. Вероятно, только в неповторимые минуты их жизни у людей бывают такие внезапные, как обвал, стремительные, как буря, взрывы страсти, когда все прожитые годы, все бремя нерастрченных сил сразу обрушиваются на человека. Никогда, ни до, ни после, не испытывала я такого крушения надежд, такой

бессильной ярости, как в ту секунду, когда, решившись на самый отчаянный шаг, решившись одним ударом опрокинуть всю мою сбереженную, накопленную, устроенную жизнь, я внезапно очутилась перед неодолимой, бессмысленной стеной, о которую беспомощно билась моя страсть.

Что было потом? Конечно, я поступила так же бессмысленно; это было нелепо, глупо, мне даже стыдно об этом рассказывать, но я обещала себе, обещала вам ни о чем не умалчивать: я... я хотела вернуть его себе... то есть вернуть те мгновения, которые провела с ним... меня неудержимо влекло туда, где накануне мы были вместе,— к скамье, с которой я его подняла, в игорный зал, где я его впервые увидела, и даже в тот притон, лишь бы снова, еще раз все пережить. А на другой день я намеревалась взять экипаж и поехать по набережной, по той же дороге, чтобы каждое слово, каждый жест снова ожили во мне,— да, так велико, так ребячливо было мое смятение! Но подумайте, как молниеносно обрушились на меня все эти события,— я ощущала их как один ошеломляющий удар. И теперь, так грубо пробужденная от своего опьянения, я хотела еще раз, капля за каплей, упиться мимолетно пережитым с помощью того магического самообмана, который мы называем воспоминанием; такое желание не всякий поймет, быть может, нужно пламенное сердце, чтобы это понять.

Итак, я прежде всего пошла в казино, чтобы разыскать стол, за которым он сидел, и там среди других рук представить себе его руки. Я вошла в зал. Я помнила, где он сидел, когда я впервые увидела его: за столом налево, во второй комнате. Мне так ярко рисовалось каждое его движение, что я с закрытыми глазами, ощупью нашла бы его место. Я направилась туда. И вот... когда, стоя в дверях, я бросила взгляд на толпу, со мной произошло нечто странное... там, на том же месте, где я его себе представляла, там сидел... что это — лихорадочный бред, галлюцинация?.. — он... он, точно такой, каким только что рисовало его мое воображение... такой же, как вчера, с впившимися в шарик глазами, мертвенно-бледный... он... да, он...

Я так испугалась, что едва не вскрикнула. Но видение было так нелепо, так немыслимо, что я тут же овладела собой — я закрыла глаза. «Ты с ума сошла... ты бредишь... у тебя жар... — говорила я себе. — Ведь это невозможно, тебе померещилось... Полчаса назад он уехал». Только после этого я снова открыла глаза. Но, к моему ужасу, видение не исчезло: никаких сомнений — он по-прежнему сидел там... среди миллионов рук я узнала бы эти руки... нет, я не грезилась, то был действительно он. Он не уехал, как поклялся мне, безумец сидел здесь, он принес сюда, на зеленый стол, деньги, которые я дала ему на дорогу, и, в полном самозабвении отдавшись своей страсти, играл,— пока я в отчаянии рвалась к нему всем сердцем.

Неистовый гнев овладел мною; все попыло у меня перед глазами, и я едва не бросилась к нему, чтобы схватить за горло клятвопреступника, который так бесстыдно обманул мое доверие, надругался над моими чувствами, над моей преданностью! Но я вовремя справилась с собой. С нарочитой медлительностью (чего это мне стоило!) подошла я к столу и стала как раз против него; какой-то господин любез-

но уступил мне место. Два метра зеленого сукна разделяли нас, и я могла, как из театральной ложи, глядеть на него, видеть то самое лицо, которое два часа назад было озарено признательностью, сияло божественной благодатью, а теперь снова было искажено адскими муками игорной страсти. Руки, те самые руки, которые сегодня днем в экстазе священнейшего обета сжимали спинку молитвенной скамьи, теперь, скрюченные, жадно, как сладострастные вампиры, перебирали деньги. Он выиграл, должно быть, много, очень много выиграл: перед ним выросла беспорядочная груда жетонов, луидоров и банковых билетов — целое богатство, в котором, блаженно потягиваясь, купались его пальцы, его дрожащие нервные пальцы. Я видела, как они любовно разглаживали и складывали бумажки, катали и вертели золотые монеты, потом вдруг швыряли пригоршню на один из квадратов. И тотчас же крылья носа начинали вздрагивать, окрик крупье отрывал его алчно сверкающие глаза от денег, он пристально следил за прыгавшим и дробно стучавшим шариком, весь уйдя в это созерцание, и только локти, казалось, были пригвождены к зеленому столу. Еще страшнее, еще ужаснее, чем в прошлый вечер, проявлялась его одержимость, ибо каждое его движение убивало во мне тот, другой, словно на золотом поле сияющий образ, который я легковерно запечатлела в своем сердце.

Мы были на расстоянии двух метров друг от друга, я в упор смотрела на него, но он не замечал меня. Он не видел меня, он никого не видел: взгляд его, оторвавшись от сложенных перед ним банкнот и монет, лихорадочно следил за шариком, когда тот начинал вертеться, потом снова устремлялся на деньги; в этом замкнутом кругу вращались все его мысли и чувства; весь мир, все человечество свелось для этого маньяка к куску разделенного на квадраты зеленого сукна. И я знала, что могу стоять здесь часами — он даже не заметит моего присутствия.

Но я не могла больше выдержать. Внезапно решившись, я обошла вокруг стола и, подойдя к нему сзади, крепко схватила его за плечо. Он обернулся и с недоумением посмотрел на меня остекленевшими глазами, совсем как пьяный, которого только что растолкали и который смотрит спросонья мутным, невидящим взглядом. Потом он, казалось, узнал меня, его дрожащие губы раскрылись, он радостно взглянул на меня и прошептал таинственно и доверительно:

— Все хорошо... Я так и знал, когда вошел и увидел, что он здесь... Я так и знал...

Я не поняла его. Я видела только, что он опьянен игрой, что этот безумец все забыл — свой обет, наш уговор, меня и весь мир. Но даже перед его безумием я не могла устоять и, невольно подчиняясь ему, с удивлением спросила, о ком он говорит.

— Вот тот старик, русский генерал без руки, — шепнул он, придвигаясь ко мне вплотную, чтобы никто не подслушал волшебной тайны. — Видите — с седыми бакенбардами, а за стулом стоит слуга. Он всегда выигрывает, я еще вчера наблюдал за ним, у него, наверно, своя система, и я всякий раз ставлю туда же, куда и он... Он и вчера все время выигрывал... Я только сделал ошибку — продолжал

играть после того, как он ушел... Это была моя ошибка... Он выиграл вчера тысяч двадцать франков... и сегодня он каждый раз выигрывает. Я ставлю все время за ним... Теперь...

Вдруг он оборвал на полуслове — раздался резкий выкрик крупье: «Faites votre jeu!»¹, и взгляд его жадно устремился туда, где важно и спокойно сидел седобородый русский; генерал не спеша поставил на четвертый номер сперва одну золотую монету, а затем, помедлив, вторую. Тотчас же столь знакомые мне дрожащие пальцы ринулись к кучке денег, и он швырнул горсть золотых монет на тот же квадрат. И когда через минуту крупье провозгласил «ноль» и одним взмахом лопатки очистил весь стол, он изумленным взглядом проводил свои утекающие деньги. Но вы думаете, он обернулся ко мне? Нет, он совершенно обо мне забыл, я выпала, исчезла, ушла из его жизни; всем своим существом он был прикован к русскому генералу, который хладнокровно подкидывал на ладони две золотые монеты, раздумывая, на какое бы число поставить.

Я не могу передать вам свой гнев, свое отчаяние. Но вообразите себе мою душевную боль: ради этого человека я пожертвовала всей своей жизнью, а для него я была только мухой, от которой лениво отмахиваются. Снова во мне поднялась волна ярости. Изо всех сил я схватила его за руку, так, что он вздрогнул.

— Вы сейчас же встанете! — тихо, но повелительно прошептала я. — Вспомните, какую клятву вы дали мне сегодня в церкви, жалкий человек, клятвопреступник!

Он взглянул на меня с удивлением и вдруг побледнел. В глазах у него появилось виноватое выражение, как у побитой собаки, губы задрожали: казалось, он сразу все вспомнил и ужаснулся.

— Да... да... — пробормотал он. — Боже мой, боже мой!.. Да... я иду... Простите...

И его рука начала уже сгребать деньги, сначала быстро, порывисто-резкими движениями, но постепенно все медленнее, словно что-то ее удерживало. Его взгляд снова упал на русского генерала, который как раз делал ставку.

— Одну минуточку. — Он бросил пять золотых на тот же квадрат, что и генерал. — Только одну эту игру... Клянусь вам, я сейчас уйду... Только эту игру... последнюю...

Он умолк. Шарик завертелся и увлек его за собой. Снова этот одержимый ускользнул от меня, от самого себя, захлестнутый кружением полированного колеса, где бесновался крохотный шарик. Опять возглас крупье, опять лопатка смахнула его пять золотых: он проиграл. Но он не обернулся. Он забыл обо мне, как забыл свою клятву, слово, которое дал мне минуту назад. Снова его рука жадно потянулась к подтаявшей кучке денег, и его опьяненный взор был прикован, точно к магниту, к приносящему счастье визави.

Терпение мое истощилось. Я снова тряхнула его, но теперь уже с силой.

— Вставайте! Сейчас же... Вы сказали, только эту игру...

¹ Делайте ставку! (фр.)

Но в ответ на мои слова он вдруг круто повернулся; на его лице, обращенном ко мне, уже не было ни тени смирения и стыда: то было лицо доведенного до иступления человека, глаза его пылали гневом, губы тряслись от ярости.

— Оставьте меня в покое! — прошипел он. — Уйдите! Вы приносите мне несчастье. Когда вы здесь, я всегда проигрываю. Вчера так было, и сегодня опять. Уходите!

На мгновение я окаменела. Но его ярость разожгла и мой гнев.

— Я приношу вам несчастье? — сказала я. — Вы лгун, вы вор, вы поклялись мне...

Тут я остановилась, потому что он вскочил со стула и оттолкнул меня, даже не замечая, что вокруг нас поднялся шум.

— Оставьте меня! — громко крикнул он, забывшись. — Не нужна мне ваша опека... Вот... вот... вот вам ваши деньги! — И он швырнул мне несколько стофранковых билетов. — А теперь оставьте меня в покое!

Он прокричал это не помня себя, во весь голос, не обращая внимания на сотни людей вокруг. Все смотрели на нас, шушукались, указывали на нас, смеялись, даже из соседнего зала заглядывали любопытные. Мне казалось, что с меня сорвали одежду и я стою обнаженная перед этой глазееющей толпой. «*Silence, madame, s'il vous plaît*»¹ — громко и повелительно сказал крупье и постучал лопаткой по столу. Ко мне, ко мне относился окрик это гнусного наглеца. Уничтоженная, сгорая от стыда, стояла я перед насмешливо шепчущейся толпой любопытных, как девка, которой швырнули деньги в лицо. Двести, триста наглых глаз уставились на меня, и вот... когда, раздавленная унижением и позором, я отвела взгляд, я увидела глаза, в которых застыл ужас, — то была моя кузина, смотревшая на меня раскрыв рот и, словно в испуге, заслоняясь рукой.

Это сразило меня: не успела она пошевелинуться, прийти в себя, как я бросилась вон из зала; у меня хватило сил добежать до скамьи, той самой скамьи, на которую рухнул вчера этот безумец. И так же, как он, я упала на жесткое сиденье без сил, без воли, без мыслей.

С тех пор прошло двадцать пять лет, и все же, когда я вспоминаю о том, как я стояла там, униженная, втопанная в грязь его оскорблением, перед толпой чужих людей, кровь стынет у меня в жилах. И я снова думаю о том, до какой степени слабо, жалко и ничтожно то, что мы так выпендренно именуем душой, духом, чувством, что мы называем страданием, если все это не может разрушить страждущую плоть, измученное тело, если можно пережить такие часы и еще дышать, вместо того чтобы умереть, рухнуть, как дерево, пораженное молнией. Ведь боль, пронзившая меня до мозга костей, могла лишь на краткий миг повергнуть меня на скамью, где я замерла не дыша, ничего не сознавая, кроме предчувствия вожаделенной смерти. Но я уже сказала — всякая боль труслива, она отступает перед могучим зовом жизни, чья власть над нашей плотью сильнее, чем над душой — все обольщения смерти.

¹ Поттише, мадам, прошу вас! (фр.)

Мне самой было непонятно, как я могла встать после такого потрясения; но все же я встала, правда, не зная, что же мне теперь делать. Вдруг я вспомнила, что мои чемоданы уже на вокзале, и тотчас же вспыхнула мысль: прочь, прочь, скорее прочь отсюда, из этого проклятого места! Не глядя по сторонам, я побежала к вокзалу, спросила, когда отходит ближайший поезд в Париж; в десять часов, сказал мне швейцар, и я тотчас же сдала свои вещи в багаж. Десять часов — значит, пройдет ровно двадцать четыре часа после той роковой встречи, двадцать четыре часа, столь насыщенных бурными противоречивыми чувствами, что мой внутренний мир был навеки разрушен. Но вначале я ничего не сознавала, кроме одного слова, которое неумолчно стучало в висках, вбивалось в мозг, словно вбиваемый клин: прочь! прочь! Прочь из этого города, прочь от самой себя, домой, к моим близким, к моей прежней, моей жизни! Утром я приехала в Париж, там — с одного вокзала на другой — прямо в Булонь, из Булоня — в Дувр, из Дувра — в Лондон, из Лондона — к моему сыну, прямым путем, без остановок, не рассуждая, не думая; сорок восемь часов без сна, без слов, без еды, сорок восемь часов, в течение которых колеса выстукивали все то же слово: прочь! прочь! прочь!

Когда я наконец неожиданно-негаданно вошла в загородный дом моего сына, все испугались: должно быть, во всем моем облике, в моем взгляде было что-то выдававшее меня. Сын хотел обнять и поцеловать меня. Я отшатнулась: мысль, что он прикоснется к губам, которые я считала оскверненными, была мне невыносима. Я уклонилась от расспросов, велела только приготовить ванну, потому что испытывала потребность вместе с дорожной пылью смыть со своего тела последние воспоминания о страсти этого одержимого, недостойного человека. Потом я поднялась в свою комнату и проспала двенадцать — четырнадцать часов глухим, каменным сном, каким никогда в жизни не спала, таким сном, после которого я поняла, что значит мертвой лежать в гробу. Родные ухаживали за мною, как за больной, но их ласка причиняла мне боль; я стыдилась их почтительности, их уважения, и мне приходилось постоянно сдерживаться, чтобы не выкрикнуть им в лицо, как я их всех предала, забыла, чуть не покинула ради безумной, бешеной страсти.

Потом я поехала в захолустный французский городок, где никого не знала, ибо меня преследовала навязчивая идея, что всякий с первого взгляда может увидеть мой позор, перемену во мне, до такой степени чувствовала я себя опозоренной и поруганной. Порой, когда я просыпалась утром в своей постели, меня охватывал леденящий страх, я боялась открыть глаза. Снова овладевало мной воспоминание о той ночи, когда я внезапно пробудилась рядом с чужим, полуобнаженным человеком, и всякий раз, как и в ту минуту, у меня было одно желание — умереть.

Но время обладает великой силой, а старость умеряет жар души. Чувствуется близость смерти, ее черная тень падает на дорогу, все кажется менее ярким и уже не задевает так глубоко, и меньше опасностей тебя подстерегает. Мало-помалу я оправилась от потрясения, и когда много лет спустя мне представили молодого поляка, атташе

австрийского посольства, и в ответ на мой вопрос о той семье он рассказал, что сын его родственника десять лет тому назад застрелился в Монте-Карло, — я даже не вздрогнула. Мне почти не было больно: быть может — к чему скрывать свой эгоизм? — я была даже рада, потому что теперь мне нечего было бояться, что я когда-нибудь с ним встречусь, никто уже не мог свидетельствовать против меня, кроме собственной памяти. С тех пор я стала спокойнее. Состариться — это ведь и значит перестать страшиться прошлого.

И теперь вы поймете, почему я решила заговорить с вами о себе, об этом случае в моей жизни. Когда вы так горячо защищали мадам Анриэт и утверждали, что двадцать четыре часа могут полностью изменить судьбу женщины, мне показалось, что речь идет обо мне; я была вам благодарна, потому что впервые почувствовала себя как бы оправданной. И я подумала: хоть раз излить душу — быть может, тогда снимется проклятие с моих воспоминаний и я смогу завтра же пойти туда и переступить порог того самого зала, где меня подстергала судьба, не питая ненависти ни к нему, ни к себе. Тогда камень свалится с моей души, ляжет всей своей тяжестью на прошлое, и оно уже никогда не воскреснет. Хорошо, что я смогла все это вам рассказать, теперь мне легко и почти радостно... Благодарю вас за это.

Миссис К. встала, и я почувствовал, что рассказ окончен. Нескольким смущенный, я искал и не находил слов. Должно быть, она поняла это и быстро проговорила:

— Нет, прошу вас, не надо... я не хотела бы, чтобы вы отвечали мне или сказали что-нибудь... Благодарю вас за то, что вы меня выслушали, и желаю вам счастливого пути.

И она, прощаясь, протянула мне руку. Невольно я поднял глаза, и трогательно-прекрасным показалось мне лицо этой старой женщины, которая приветливо и слегка смущенно глядела на меня. То ли отблеск минувшей страсти, то ли замешательство залило румянцем ее лицо до самых корней седых волос, — совсем как юная девушка стояла она передо мной, взволнованная воспоминаниями и стыдясь своего призрания. Я был тронут, мне хотелось выразить ей свое уважение, но что-то сдавило мне горло. Тогда я низко склонился и почтительно поцеловал ее поблекшую, слегка дрожащую, как осенний лист, руку.

ЗАКАТ ОДНОГО СЕРДЦА

Для того чтобы нанести сердцу сокрушительный удар, судьба не всегда бьет сильно и наотмашь; вывести гибель из ничтожных причин — вот к чему тяготеет ее неукротимое творческое своеволие. На нашем невнятном человеческом языке мы называем это первое легкое прикосновение поводом и в изумлении сравниваем его невесомость с могучим действием, которое он оказывает впоследствии; но подобно тому, как болезнь возникает задолго до того, как она обнаружива-

ется, так и судьба человека начинается не в ту минуту, когда она становится явной и неоспоримой. Она долго таится в глубинах нашего существа, в нашей крови, прежде чем коснется нас извне. Самопознание уже равносильно сопротивлению, и почти всегда оно тщетно.

Старик Соломонсон — у себя на родине он имел право именоваться коммерции советником Соломонсоном — проснулся однажды ночью в номере гостиницы на озере Гарда, где он проводил пасхальные праздники со своей семьей, — проснулся от жестокой боли: будто тисками сдавливало живот, дыхание с трудом вырывалось из напряженной груди. Старик испугался: он страдал болезнью печени, и у него часто бывали колики, а между тем, вопреки совету врачей, он не поехал лечиться в Карлсбад, а предпочел сопровождать свою семью на юг. Опасаясь серьезного приступа, он в страхе ощущал свой большой живот и, несмотря на мучительную боль, несколько успокоился: давило только под ложечкой, очевидно из-за непривычной кухни, а может быть, это легкое отравление — нередкий случай среди туристов в Италии. Со вздохом облегчения он отвел дрожащую руку, но боль не проходила и не давала дышать. Тогда он, крихтя и стenea, тяжело поднялся с постели, надеясь движением разогнать боль. И в самом деле, когда он встал на ноги и особенно когда сделал несколько шагов, ему сразу стало легче. Но в темной комнате было тесно, и, кроме того, он боялся разбудить жену, которая спала рядом, на второй кровати, и совершенно напрасно встревожилась бы. Поэтому он накинул халат, надел ночные туфли на босу ногу и осторожно пробрался в коридор, решив немного походить там.

В ту минуту, когда он отворял дверь в коридор, через настежь раскрытые окна с церковной башни донесся бой часов, четыре полновзвучных удара, замирающие мягким трепетным звоном за озером: четыре часа утра.

В коридоре было темно, но старик отчетливо помнил, что он очень длинный и прямой. Старик шагал из конца в конец, не нуждаясь в освещении, глубоко дыша и радуясь тому, что боль понемногу проходит; он уже хотел вернуться в комнату, как вдруг его остановил неясный шум. Где-то совсем близко что-то скрипнуло, послышался шорох, тихий шепот, и узкая полоска света из приоткрытой двери на мгновение прорезала темноту. Что это? Невольно старик прижался в угол, — конечно, не из любопытства, а из вполне понятного опасения, что кто-нибудь увидит, как он, словно лунатик, среди ночи разгуливает по коридору. Но в то мгновение, когда блеснул свет, он увидел — или ему померещилось, — что из приоткрывшейся двери выскользнула женская фигура в белом и скрылась в противоположном конце коридора. И верно — у одной из последних дверей тихо шелкнула ручка. И опять все замерло во мраке.

Старик вдруг зашатался, словно его ударили прямо в сердце. Там, в самом конце коридора, где предательски шелкнула ручка, там были... там ведь были только его собственные комнаты, трехкомнатный номер, который он снял для своей семьи, Жена — он оставил ее всего

несколько минут тому назад — крепко спала; значит, эта женщина — нет, ошибки быть не могло, — крадучись выходившая из чужой комнаты, была его дочь Эрна, которой едва исполнилось девятнадцать лет.

Похолодев от ужаса, старик затрясся всем телом. Его дочь Эрна, его дитя, резвое, шаловливое дитя — нет, этого быть не может, он, конечно, ошибся! Зачем она пошла в чужую комнату, если не... Как бешеного зверя оттолкнул он эту мысль, но призрак скрывшейся женской фигуры властно впился в его мозг — не вырвать его, не избавиться от него; он должен узнать наверное, ошибся он или нет. Задышавшись, держась за стену, добрался он до двери ее комнаты, смежной с его спальней, и с отчаянием увидел, что только здесь, только у этой единственной двери в шелку пробивалась тоненькая нить света и предательски белела замочная скважина: в четыре часа утра в ее комнате горел свет! И вот еще одно доказательство: щелкнул выключатель, белую нить света поглотил мрак — нет, нет, незачем себя обманывать — Эрна, его дочь, вышла из чужой комнаты среди ночи и тайком вернулась в свою.

Старик дрожал как в лихорадке, его знобило, холодный пот выступил на всем теле. Выломать дверь, наброситься на нее с кулаками, избить бесстыдницу было его первым побуждением. Но у него подкашивались ноги. Он едва дотащился до своей комнаты и, как смертельно раненное животное, почти теряя сознание, упал на постель.

Старик лежал неподвижно и широко открытыми глазами смотрел в темноту. Рядом слышалось ровное сонное дыхание жены. Первой его мыслью было растолкать ее, сказать ей о страшном открытии, накричать, дать волю своему гневу. Но как вымолвить, как выразить словами этот ужас? Никогда, никогда ему не выговорить их. Но что делать? Что делать?

Он силился собраться с мыслями. Но они, как летучие мыши, вслепую метались в мозгу. Ведь это просто чудовищно: Эрна, это нежное, заботливо взлелеянное дитя с ласковыми глазами... давно ли, давно ли она сидела над букварем и розовым пальчиком водила по трудным, непонятым буквам; давно ли он заходил за ней в школу, и она выбегала к нему в голубом платьице, а по дороге домой кормил ее пирожными в кондитерской — он еще чувствовал поцелуй детских губ, сладких от сахара... Разве не вчера это было?.. Нет, годы прошли с тех пор... но ведь вчера — в самом деле вчера — она так по-детски упрашивала его купить ей пестрый, голубой с золотом свитер, выставленный в витрине. «Папочка, ну пожалуйста», — умильно сложив руки и смеясь тем радостным, самоуверенным смехом, против которого он никогда не мог устоять... А теперь, в двух шагах от его двери, она пробиравась в комнату чужого мужчины, в его постель...

«Боже мой, боже мой... — невольно застонал старик. — Какой позор, какой позор!.. Мое дитя, мое нежное, любимое дитя с каким-то мужчиной... С кем? Кто бы это мог быть? Всего только три дня, как мы сюда приехали, и раньше она не знала никого из этих вылощен-

ных кретинов — ни графа Убальди с крохотной головой, ни итальянского офицера, ни этого мекленбургского барона... только на второй день после приезда они познакомились во время танцев, и уже с одним из них... Нет, он не мог быть первым, нет... это, наверное, началось еще раньше... дома... и я, дурак, ничего не знал, ни о чем не догадывался, старый, обманутый дурак... Но что я вообще о них знаю?.. Целый день я работаю на них, сижу по четырнадцать часов в конторе, точно так же, как прежде сидел в поезде с чемоданом, полным образцов товара... ради денег, все ради денег... чтобы они могли покупать нарядные платья, чтобы они были богаты... а вечером, когда я прихожу домой, усталый, разбитый, их нет: они в театре, на балу, в гостях... Что я знаю о них, о том, как они проводят день? Вот и знаю только одно: что моя дочь по ночам отдает мужчинам свое юное, чистое тело, точно уличная девка... Боже мой, какой позор!»

Старик тяжело стонал. Каждая новая мысль бредила его рану; ему казалось, будто его мозг лежит открытый и в кровавой массе копошатся красные черви.

«Но почему же я все это терпел?.. Почему я лежу здесь и мучаюсь, а она, распутница, спокойно спит? Почему я сразу не ворвался к ней в комнату и не сказал, что знаю о ее позоре?.. Почему я не переломал ей все кости?.. Потому что я слаб... Потому что я трус... Я всегда был слишком слаб с ними... во всем им уступал... я ведь так гордился тем, что могу дать им легкую жизнь, пусть я сам жил как каторжный... Ногтями я выцарапывал для них пфенниг за пфеннигом... я готов был содрать кожу со своих рук, лишь бы они были довольны... Но как только я создал для них богатство, они стали стыдиться меня... и неэнциклопедичны... и необразованы... А откуда у меня могло быть образование? Двенадцати лет меня уже взяли из школы, и я должен был зарабатывать, зарабатывать, зарабатывать... скитался с образцами сначала из деревни в деревню, потом из города в город, пока не открыл свое дело... и едва они разбогатели и стали жить в собственном доме, как мое честное, доброе имя стало им не к лицу... Заставили меня купить звание тайного коммерции советника... для того, чтобы ее больше не называли фрау Соломонсон, чтобы корчить из себя аристократок... Аристократки!.. Они смеялись надо мной, когда я спорил против их претензий, против их «хорошего общества», когда я рассказывал им, как моя покойница мать вела дом; — тихо, скромно, жила только для отца и для нас... называли меня отсталым, старомодным... «Ты слишком старомоден, папочка», — посмеивалась она... Да, я старомоден... а она ложится в чужую постель с чужими мужчинами... мое дитя, мое единственное дитя... Ох, какой позор, какой позор!»

Он стонал так горестно, так мучительно, что его жена наконец проснулась.

— Что с тобой? — спросила она сонным голосом.

Старик не шевельнулся и затаил дыхание. Так он лежал неподвижно до утра в черном гробу своей тоски, словно червями, съедаемый мыслями.

К утреннему завтраку он пришел первым. С глубоким вздохом он уселся за стол, но кусок не шел ему в горло.

«Снова один,— подумал он,— всегда один!.. Когда я утром ухожу в контору, они еще отсыпаются, устав от театров и балов, а когда я возвращаюсь домой, они уже веселятся где-нибудь в своем обществе, куда они меня не берут с собой... Ох, деньги, проклятые деньги!.. они их испортили... из-за денег мы стали чужие друг другу... А я, дурак, старался наскрести побольше — и что же?.. самого себя я ограбил, я сделал себя нищим, а их испортил... Пятьдесят лет я работал как вол, не знал, что такое отдых... а теперь — один...»

Жена и дочь все не приходили, и он начал сердиться. «Почему она не идет?.. Я должен поговорить с ней... я скажу ей... мы должны уехать отсюда... сегодня же... Почему она не идет?.. Верно, она еще не отдохнула, спит себе со спокойной совестью, а у меня сердце разрывается... Ее мать... часами наряжается, принимает ванну, наводит лоск... маникюр, парикмахер... раньше одиннадцати она не выберется... Чему же удивляться... что может выйти из девочки?.. Ох, эти деньги, проклятые деньги!»

За его спиной послышались легкие шаги.

— Доброе утро, папочка, как ты спал? — Женская головка наклонилась через его плечо, и нежные губы коснулись его горячего виска. Невольно он отдернул голову: ему был противен слащавый запах духов Коти. И потом...

— Что с тобой, папочка?.. Опять не в духе?.. Дайте кофе и яичницу с ветчиной... Плохо спал или получил неприятные известия?

Старик подавил свой гнев. Он опустил голову, не решаясь взглянуть на дочь, и ничего не ответил. Он видел только кисти ее рук на столе, милые, холеные, лениво играющие на белом поле скатерти, будто избалованные породистые борзые. Весь дрожа, он робко скользнул по ее тонким девичьим рукам, еще полудетским... давно ли эти руки каждый вечер обнимали его, когда она прощалась с ним перед сном... Он видел округлость ее девичьей груди, ровно дышавшей под новым свитером. «Раздетая валялась с чужим мужчиной,— терзался старик.— Он трогал ее, ласкал, наслаждался... моя плоть и кровь... мое дитя... о, негодяй!» — Он громко застонал сам того не замечая.

— Что с тобой, папочка? — спросила она ласково и с тревогой. «Что со мной? — закипали в нем гневные слова. — У меня дочь проститутка, и у меня не хватает мужества сказать ей это».

Но он только невинно пробормотал:

— Ничего, ничего! — и, поспешно схватив газету, развернул ее, чтобы отгородиться от вопросительного взгляда дочери — он не мог смотреть ей в глаза. Руки его дрожали. «Сейчас, сейчас надо сказать ей, пока мы одни», — мучился он. Но слова не шли с языка; даже взглянуть на нее у него не хватало сил.

И вдруг он резко отодвинул стул, тяжело поднялся и, повернувшись, ушел в сад; он почувствовал, что против воли крупная слеза потекла по его щеке. Этого она не должна была видеть.

Приземистый коротконогий старик долго шагал по саду и пристально смотрел на озеро. Его глаза, затуманенные едва сдерживаемыми слезами, все же не могли не видеть прелести ландшафта: за серебристой дымкой лежали мягкие зеленые волны холмов, словно заштрихованные тонкими черными линиями кипарисов, а за ними круто поднимались горы, строго, но без высокомерия взирая на красоту озера, как суровые люди наблюдают игры горячо любимых детей. Так ласково и радушно цветущая природа раскрывала объятия, призывая каждого быть добрым и счастливым, так божественно сияла вечная улыбка благословенного юга!

«Счастливым!.. — Старик горестно покачал отяжелевшей головой. — Да, здесь можно быть счастливым. Один только раз я позволил себе эту роскошь, один только раз захотел испытать, как хороша жизнь для тех, кто не знает забот... в первый раз после пятидесяти лет, ушедших на подсчеты, вычисления, сделки, мелочный торг, захотел насладиться несколькими светлыми днями... один-единственный раз, прежде чем меня закопают... Бог мой, шестьдесят пять лет... в такие годы смерть не за горами, и тут не помогут ни деньги, ни врачи... Я хотел только вздохнуть свободно, хоть раз в жизни подумать о себе... Но недаром покойный отец всегда говорил: «Удовольствия не про нас, тащи ношу на горбу до самой могилы...» Только вчера еще я думал, что могу позволить себе отдых... вчера еще я был почти счастлив... любовался своей красивой, веселой дочкой, радовался ее радости... и вот уже бог покарал меня, уже он все отнял у меня... теперь — конец... я больше не могу говорить с родной дочерью... не могу смотреть ей в глаза, так мне стыдно за нее... Всегда и везде будет преследовать меня эта мысль — и дома, и в конторе, и ночью в постели: где она сейчас, где она была, что она делала? Никогда уже я не приду домой спокойно... Бывало, она бежит мне навстречу, и сердце радуется оттого, что она так молода, так хороша собой... А теперь, когда она поцелует меня, я буду думать, кому принадлежали эти губы вчера... Быть в вечной тревоге, когда ее нет, и не смеешь взглянуть ей в глаза, когда она со мной... Нет, так жить нельзя... так жить нельзя...»

Старик ходил взад и вперед, пошатываясь и бормоча себе под нос, как пьяный. Взгляд его снова и снова обращался к озеру, слезы непрерывно текли в бороду. Он снял пенсне и остановился на узкой тропинке, шуря мокрые, близорукие глаза; вид у него был такой потерянный и жалкий, что проходивший мимо мальчишка-садовник в изумлении застыл на месте, потом громко прыснул и насмешливо крикнул что-то по-итальянски. Это вывело старика из оцепенения, он торопливо надел пенсне и побрел в глубь сада, чтобы где-нибудь на уединенной скамье укрыться от людей.

Но не успел он выбрать подходящее место, как его вспугнул дошедший откуда-то слева смех... знакомый смех, который теперь разрывал ему сердце. Музыкой звучал он ему целых девятнадцать лет, этот звонкий, шаловливый смех... ради него он провел столько ночей в вагоне третьего класса — тащился в Познань, в Венгрию только для того, чтобы привезти что-нибудь, высыпать перед ними горсточку

желтого навоза, на котором расцветало это беззаботное веселье... только ради этого смеха он жил, ради него довел себя до болезни печени... лишь бы он постоянно звенел из любимых уст. А теперь он вонзался в его тело, как раскаленная пила, этот проклятый смех.

И все же старик не устоял перед искушением и подошел поближе. Он увидел свою дочь на теннисной площадке; она вертела ракетку в обнаженной руке, свободным движением подбрасывала и ловила ее, и вместе с ракеткой к синему небу взлетал ее шаловливый смех. Трое мужчин с восхищением смотрели на нее — граф Убальди, в свободной спортивной рубашке, офицер, в плотно облегающей военной тужурке, и мекленбургский барон, в безукоризненных бриджах — три резко очерченные мужские фигуры, будто изваяния вкруг порхающего мотылька. Старик и сам не мог оторваться от этой картины. Боже, как она была хороша в белом коротком платье, как золотило солнце ее светлые волосы! И с каким блаженством испытывало в беге и прыжках свою легкость и проворство это юное тело, опьяненное и пьянящее свободным ритмом своих движений! Вот она подбрасывает в воздух белый мяч, следом за ним второй и третий; как грациозно изгибается ее стройный девичий стан; вот она подпрыгнула, чтобы поймать последний мяч. Такой он никогда ее не видел: полная задорного огня, она была словно реющее белое пламя, окутанное серебристым дымком смеха, девственная богиня, родившаяся из плюща южного сада, из мягкой лазури зеркального озера; никогда это гибкое, стройное тело так вольно, так безудержно не отдавалось пляшущему ритму движений. Нет, никогда не видел он ее такой в душном городе, в его каменных стенах, никогда, ни дома, ни на улице, так не звенел ее голос, будто освобожденный от всего земного, — так жаворонок поет свою веселую песню... Нет, нет, никогда не бывала она так хороша! Старик не сводил с нее восторженного взгляда. Он все забыл и только смотрел на это белое реющее пламя. Он мог бы без конца стоять так, с восхищением вбирая в себя ее облик, — но вот, высоко подпрыгнув, она ловко поймала последний из подброшенных мячей и, разгоряченная, тяжело дыша, с победоносной улыбкой прижала его к груди.

— Bravo, bravo! — захлопали с увлечением следившие за ее игрой мужчины, будто прослушав оперную арию. Их гортанные голоса вывели старика из оцепенения. Со злобой он посмотрел на них.

«Вот они, негодяи! — стучало его сердце. — Вот они... Но кто же из них? Кто из этих трех франтов обладал ею?.. Как они разодеты, надушены, выбриты... бездельники... Мы в их возрасте сидели в заплатанных штанах в конторе, стаптывали башмаки, обивая пороги клиентов... их отцы, может быть, еще и сейчас мучаются, кровью и потом добывая для них деньги... а они катаются по белу свету, лодырничают... вон они какие — загорелые, глаза веселые, нахальные... Отчего им не быть красивыми и веселыми?.. Стоит такому полубезничать с тщеславной девчонкой, и она уже готова на все... Но кто же из них, кто? Ведь один из них и сейчас мысленно раздевает ее и самодовольно прищелкивает языком... Он знает ее всю и думает — сегодня

ночью опять... и делает ей знаки глазами... Мерзавец!.. Убить бы его, как собаку!»

С площадки заметили старика. Дочка, улыбаясь, замахала ракеткой, мужчины поклонились. Он не ответил на приветствия и только в упор смотрел опухшими, налитыми кровью глазами на ее горделивую улыбку: «И ты еще смеешь улыбаться, бесстыдница!.. Но и тот, может быть, посмеивается про себя и думает — вот он стоит, старый, глупый еврей... всю ночь напролет он храпит в своей кровати... если бы он только знал, старый дурак!.. Да, да, я знаю, вы смеетесь, вы брезгливо обходите меня, как плевков... но дочь — смазливая девчонка и готова к услугам... а мать, правда, немного, толстовата, накрашена и все такое, но еще ничего, пожалуй, и она не откажется... Верно, кобели, верно: вы правы — ведь они сами бегают за вами... Какое вам дело до того, что у кого-то сердце обливается кровью... лишь бы вам позабавиться, лишь бы их позабавить, потаскух!.. Застрелить бы вас из револьвера, отхлестать плетью!.. Но вы правы, ведь никто этого не делает... ведь только глотаешь обиду и гнев, как собака свою блевотину... трусишь, не хватаешь бесстыдницу за рукав, не оттаскиваешь, ее от вас... стоишь тут, молчишь и давишься своей желчью... трус... трус... трус...»

Старик схватился за сетку, он дрожал от бессильного гнева. И вдруг он плюнул себе под ноги и, шатаясь, вышел из сада.

Старик бродил по улицам городка; вдруг он остановился перед витриной магазина; за стеклом высились пестрые пирамиды и ступенчатые башни, искусно сложенные из всевозможных товаров, — все, что может понадобиться туристам: сорочки и рыболовная снасть, блузки и удочки, галстуки, книги, даже печенье; но старик смотрел только на один предмет, небрежно брошенный среди дорогих нарядных вещей, — на толстую узловатую палку с железным наконечником; такой палкой, если крепко взять ее в руки и размахнуться...

«Убить... убить собаку!» — как в чаду, почти с наслаждением думал старик; он вошел в лавку и за ничтожную цену приобрел суковатую увесистую дубину. И как только он сжал ее в кулаке, он ощутил прилив сил: ведь любое оружие всегда придает физически слабому человеку известную уверенность. Старик крепко сжимал палку и чувствовал, как напрягаются мышцы руки. «Убить... убить собаку!» — бормотал он про себя, и невольно его тяжелый, спотыкающийся шаг становился тверже, ровнее; он проворно шел, нет, он бежал взад и вперед по набережной, задыхаясь, весь в поту — больше от прорвавшейся наконец ярости, чем от быстрой ходьбы. А рука его судорожно стискивала массивный набалдашник палки.

Так он вошел в голубоватую тень прохладной террасы, ища глазами неизвестного ему врага. И он не ошибся: в углу, развалиясь в удобных плетеных креслах, потягивая через соломинки виски с содовой, весело болтая, сидели его жена, дочь и неизбежная троица. «Который из них, который? — думал он, крепко сжимая палку в кулаке. — Кому из них проломить голову... кому?.. кому?..» Но Эрна, не-

верно истолковав его ищущий взгляд, уже вскочила и бежала ему навстречу.

— Где ты был, папочка? Мы повсюду искали тебя. Знаешь, господин фон Медвиц приглашает нас покататься в его автомобиле, мы поедем берегом до самого Дезенцано, вокруг всего озера. — Она ласково подталкивала его к столику, видимо ожидая, что он поблагодарит за приглашение.

Мужчины вежливо поднялись со своих мест, чтобы поздороваться с ним. Старик задрожал. Но он чувствовал близость дочери, ее теплую ласку, и это лишало его решимости. Воля его была сломлена, и он пожал одну за другой протянутые руки, молча сел, достал сигару и с ожесточением впился зубами в мягкую табачную массу. Прерванный было разговор на французском языке, сопровождаемый взрывами смеха, возобновился.

Старик сидел, съевшись, молча, и с такой силой грыз сигару, что коричневый сок окрасил его зубы. «Они правы... тысячу раз правы... — думал он. — Он может плюнуть мне в лицо... ведь я пожал ему руку!.. Я же знаю, что один из них и есть тот негодяй... а я спокойно сижу с ним за одним столом... Я его не убил, даже не ударил... нет, я вежливо подал ему руку... Они правы, совершенно правы, если смеются надо мной. И как они разговаривают в моем присутствии, будто меня вовсе нет... будто я уже лежу в земле!.. И ведь обе они — и Эрна, и ее мать — прекрасно знают, что я не понимаю ни слова по-французски... обе это знают... обе, и ни одна из них не обратится ко мне хотя бы только для виду, чтобы мне не казаться таким смешным, таким ужасно смешным... Они стараются не замечать меня... я для них только неприятный придаток, что-то лишнее, мешающее им... они стыдятся меня и терпят только потому, что я даю деньги... О, эти деньги, эти грязные, гнусные деньги, которыми я их испортил... эти деньги, над которыми тяготеет божье проклятие... Хоть бы слово сказали мне моя жена, родная дочь, хоть бы слово... Только на этих зевак глядят они, на этих разряженных, вылощенных кретин... и как они хохочут, чуть не визжат, слушая их... А я... все это я терплю... сижу, слушаю, как они смеются, ничего не понимаю и все-таки сижу, вместо того чтобы стукнуть кулаком... поколотить бы их этой палкой, разогнать, раньше чем они начнут безобразничать на моих глазах... Все это я позволяю, сижу и молчу, как дурак... трус... трус... трус!»

— Разрешите, — сказал на ломаном немецком языке итальянский офицер и потянулся к зажигалке.

Старик, пробужденный от глубокого раздумья, вздрогнул и бросил яростный взгляд на ничего не подозревавшего офицера. На мгновение неистовый гнев овладел им, и он судорожно сжал в кулаке палку. Но тотчас губы его скривились и расплылись в бессмысленной усмешке:

— О, я разрешаю, — повторил он резким, срывающимся голосом. — Конечно, я разрешаю, хе-хе... все разрешаю... все, что только хотите... хе-хе... все... все, что у меня есть, к вашим услугам... со мной можно себе все позволить...

Офицер удивленно посмотрел на него. Плохо зная язык, он не все понял. Но кривая, бессмысленная усмешка старика смутила его. Немец невольно вскочил, обе женщины побледнели как полотно — на мгновение воцарилась удушливая тишина, точно в короткий промежуток между молнией и раскатом грома.

Но быстро исчезла с лица старика злобная усмешка, палка выскользнула из рук, он съежился, как побитая собака, и смущенно кашлянул, испуганный собственной смелостью. Эрна поспешно заговорила, чтобы нарушить тягостное молчание, немецкий барон ответил с нарочитым оживлением, и спустя несколько минут уже вновь беспечно журчал на миг задержавшийся поток слов.

Старик безучастно сидел среди весело болтающих людей, всецело уйдя в себя, — можно было подумать, что он спит. Увесистая палка, выскользнувшая из его рук, болталась между ног. Все ниже опускалась его склоненная на руку голова. Но теперь уже никто не обращал на него внимания: над его унылым молчанием звучно плескались словесные волны, время от времени вскипая пеной смеха от игриво брошенной шутки, а он неподвижно лежал на дне, в бескрайнем мраке стыда и горя.

Мужчины встали, Эрна поспешно последовала их примеру, несколько медленнее поднялась мать. Они гурьбой отправились в гостиную и не сочли нужным обратиться с особым приглашением к задремавшему старику. Почувствовав внезапно образовавшуюся вокруг него пустоту, он очнулся — так просыпается спящий среди ночи, когда с него соскользнет одеяло и холодный воздух коснется обнаженного тела. Он невольно обвел взглядом опустевшие кресла, но из гостиных, где стоял рояль, уже неслись громкие забористые звуки джаза, смех и одобрительные возгласы. Танцевать пошли! Да, танцевать, без усталости танцевать — это они умеют. Снова и снова горячить кровь, бесстыдно прижиматься друг к другу — и цель достигнута. Танцуют, лентяи, лоботрясы, вечером, ночью и средь бела дня — этим они и увлекают женщин.

Он опять со злобой схватил свою палку и поплелся за ними. В дверях он остановился. Барон сидел у рояля вполоборота, чтобы видеть танцующих, бренча наизусть и наугад американскую модную песенку. Эрна танцевала с офицером, а длинноногий граф Убальди не без труда вел свою тяжеловесную, полную даму. Но старик смотрел только на Эрну и ее кавалера. Как легко и вкрадчиво этот бездельник положил руки на ее хрупкие плечи — словно она всецело принадлежала ему! Как она подавалась к нему всем телом! Как они льнули друг к другу у него на глазах, едва сдерживая сжигающую их страсть. Да, это он, он: каждое их движение выдавало уже проникающую в кровь близость. Да, это он — он, и никто другой: он читал это в ее полузакрытых глазах, в которых сияло воспоминание о более полном наслаждении; да, вот он — вор, который ночью пламенно касался всего, что сейчас полускрыто легким развевающимся платьем! Вот вор, похитивший у него дитя... его дитя! Старик невольно сделал шаг к ней, чтобы вырвать ее из его рук. Но она не взглянула на него.

Всем существом отдавалась она ритму танца, подчиняясь едва уловимому движению ведущей ее руки: откинув голову, полуоткрыв рот, она самозабвенно уносилась в увлекавшем ее потоке музыки, не ощущая ни пространства, ни времени, не замечая старика, который, дрожа как в лихорадке и задыхаясь, не сводил с нее воспаленного негодующего взгляда. Она ощущала только себя, свое собственное юное тело, послушно следовавшее бешено скачущему ритму. Она ощущала только себя да еще близость горячего мужского дыхания, сильную руку, обнимающую ее, и боролась против искушения ринуться навстречу этому желанию, отдаться его властной силе. И все это мучительно обостренным чутьем угадывал старик; каждый раз, когда она уносилась от него в круговороте танца, ему казалось, что она пропадает навеки.

Внезапно, словно лопнувшая струна, музыка оборвалась посреди такта. Барон вскочил и, смеясь, сказал по-французски:

— Довольно я для вас играй. Сам хочу танцевать. — Все весело засмеялись в ответ, танцующие пары разошлись, и маленькое общество рассеялось по комнате.

Старик опомнился: надо что-то сделать, что-то сказать! Только не стоять таким чурбаном, не быть таким невыносимо лишним! Его жена проходила мимо, слегка задыхаясь, но, видимо, очень довольная. Гнев помог старику принять решение. Он вдруг преградил ей дорогу.

— Идем, — резко сказал он, — мне надо поговорить с тобой.

Она удивленно взглянула на него: капли пота выступили на его бледном лице, глаза блуждали. Что ему нужно? Зачем ему понадобилось беспокоить ее именно сейчас? Она уже открыла рот для уклончивого ответа, но в его поведении было что-то странное, пугающее, и она, вспомнив его недавнюю вспышку гнева, нехотя пошла за ним.

— Excusez, messieurs, un instant¹, — обратилась она с извинением к мужчинам. «У них она просит прощения, — с горечью подумал старик, — а передо мной они не извинились, когда встали из-за стола. Я для них собака, половая тряпка, которую можно топтать ногами. Но они правы, правы, раз я это терплю!»

Она ждала, строго подняв брови; как ученик перед учителем, стоял он перед ней, не смея заговорить.

— В чем дело? — наконец спросила она.

— Я не хочу... я не хочу... — забормотал он дрожащим голосом, — я не хочу, чтобы вы... чтобы вы знали с этими людьми...

— С какими людьми? — переспросила она, разыгрывая непонимание и окидывая его возмущенным взглядом, как будто он нанес ей личное оскорбление.

— С теми, там... — Он злобно кивнул головой в сторону гостиной. — Мне это не нравится... я не хочу...

— Почему?

«Вечно этот инквизиторский тон, — с озлоблением думал старик, — как будто я ее слуга». И продолжал, запинаясь от волнения:

¹ Простите, господа, одну минуту (фр.).

— У меня есть причины... очень серьезные причины... Мне не нравится... Я не хочу, чтобы Эрн разговаривала с этими людьми... Я не обязан все объяснять.

— В таком случае я очень сожалею,— ответила она высокомерно. — Я нахожу, что все трое прекрасно воспитанные и достойные молодые люди, и предпочитаю их обществу тому, в котором мы возвращаемся дома.

— Достойные молодые люди!.. Эти бездельники... эти... эти... — Ярость душила его. Вдруг он топнул ногой. — Я этого не хочу... я запрячаю... поняла?

— Нет,— ответила она невозмутимо. — Я ничего не понимаю. Не понимаю, почему я должна портить девочке удовольствие...

— Удовольствие!.. Удовольствие! — Он пошатнулся, как от удара, густая краска залила лицо, холодный пот выступил на лбу, рука потянулась за палкой, чтобы опереться на нее или нанести удар. Но палку он забыл. Это сразу отрезвило его. Он овладел собой — на сердце у него вдруг потеплело. Он подошел к жене и сделал движение, как будто хотел взять ее за руку. Голос у него стал мягким, почти умоляющим.

— Послушай... ты меня не понимаешь... я ведь ничего не требую для себя... я вас прошу только... это моя первая просьба за долгие годы: уедем отсюда... уедем во Флоренцию, в Рим, куда хотите, я на все согласен... решайте сами, куда... куда вам угодно... только уедем отсюда... я прошу тебя... уедем... сегодня же... я больше не могу этого вынести... не могу.

— Сегодня? — Она с удивлением посмотрела на него и нахмурилась. — Уехать сегодня? Что за странная фантазия?.. и только потому, что эти люди тебе не симпатичны! В конце концов никто тебя не заставляет встречаться с ними.

Но он не уходил, он стоял перед ней, умоляюще сложив руки:

— Я не вынесу этого... ты же слышишь... не вынесу... я не могу. Не спрашивай меня почему... прошу тебя... но поверь, я не вынесу этого... хоть раз в жизни сделайте что-нибудь для меня, один-единственный раз...

В соседней комнате опять забарабанили на рояле. Она посмотрела на мужа, словно тронутая его отчаянием; но как он был смешон, маленький, толстый человечек, с побагровевшим лицом, с воспаленными глазами, с торчащими из слишком коротких рукавов трясущимися руками. Тягостно было видеть его таким жалким. Но, вопреки шевельнувшегося в ней сострадания, она ответила холодно:

— Это невозможно. Сегодня мы обещали поехать с ними кататься... а уехать завтра, когда мы сняли комнаты на три недели... над нами будут смеяться... Я не вижу ни малейшего повода для отъезда... я остаюсь здесь, и Эрн тоже...

— А я могу уехать, да?.. я здесь только порчу... порчу вам... удовольствие! — хрипло выкрикнул старик. Он резко выпрямился, руки сжались в кулаки, на лбу угрожающе вздулись жилы. Он, видимо, силился что-то сказать или сделать. Но вдруг круто повернулся, быстро, тяжело переваливаясь, засеменил к лестнице и торопливо, все ускоряя шаг, как будто спасаясь от погони; поднялся по ступенькам.

Старик, задыхаясь, бежал вверх по лестнице: только бы добраться до своей комнаты, побыть одному, овладеть собой, перестать безумствовать! Вот он уже достиг верхнего этажа, и вдруг — будто острые когти впились в его внутренности; он побледнел как полотно и прильнул к стене. О, эта яростная, жгучая боль! Он стиснул зубы, чтобы не закричать, и, подавляя стоны, корчился от мучительных колик.

Он сразу понял, что с ним: это был приступ болезни печени, один из тех страшных приступов, которые нередко терзали его в последнее время; но никогда он не испытывал таких ужасных мук, как в этот раз. «Избегайте волнений,— вспомнилось ему предписание врача, и, несмотря на боль, он злобно издевался над собой: — Легко сказать, избегайте волнений... пусть господин профессор сам покажет, как это не волноваться, когда... ой... ой...»

Старик громко стонал — так жгуче вонзались невидимые когти в истерзанное тело. С трудом он дотащился до двери своего номера, открыл ее и, упав на диван, впился зубами в подушку. Боль несколько утихла, как только он лег; раскаленное острие уже не так глубоко проникало в израненные внутренности. «Надо бы компресс положить,— вспомнил он,— принять капли — сразу станет легче». Но никого не было, кто бы помог ему, никого. А у самого не хватало сил добраться до соседней комнаты или хотя бы до звонка.

«Никого нет,— с горечью думал он,— вот так и подохну когда-нибудь, как собака... Я ведь знаю, это не печень болит... это смерть подбираться ко мне... я знаю, что все кончено, никакие профессора, никакие лекарства мне не помогут... в шестьдесят пять лет не выздоравливают... Я знаю, боль, которая все нутро мне переворачивает,— это смерть, и два-три года, которые мне осталось прожить, это уже не жизнь, а умирание, одно умирание... Но когда... когда же я жил?.. когда я жил для себя?.. Разве это была жизнь? Вечная погоня за деньгами, только за деньгами... и только для других, а теперь чем мне это поможет? У меня была жена: я взял ее девушкой, любил ее, она родила мне ребенка; год за годом мы спали в одной постели, дышали одним дыханием... а теперь что стало с ней?.. Я не узнаю ее лица, ее голоса... как чужая говорит она со мною, ей нет дела до моей жизни, до моих чувств, мыслей, страданий... она давным-давно стала для меня чужая... Куда все исчезло, куда ушло? И дочь была у меня... нянчил ее, растил, думал — начинаешь жить сызнова, лучше, счастливее, чем выпало тебе на долю, и не умрешь весь, будешь жить в ней... и вот она ночью уходит от тебя, отдается мужчинам... Только для себя я умру, для себя... для других я уже умер... Боже, боже, никогда еще я не был так одинок!»

Жестокая боль время от времени еще впивалась в его тело, потом отпускала, но другая боль все сильнее сдавливала виски; мысли, словно твердые, острые, раскаленные кремни, нещадно жгли лоб. Только бы забыться теперь, ни о чем не думать! Старик расстегнул сюртук и жилет; неуклюже, бесформенно выпячивался большой живот под вздувшейся сорочкой. Он осторожно нажал рукой на больное место. «Только это — я,— подумал он,— только то, что болит там внутри, под

горячей кожей; и только это еще принадлежит мне; это моя болезнь, моя смерть.... только это — я... нет уже ни коммерции советника, ни жены, ни дочери, ни денег, ни дома, ни конторы... осталось только то, что я сейчас осязаю пальцами, — мой живот и жгучая боль внутри... Все остальное — вздор, не имеет больше никакого смысла... а эта боль — только моя боль, и эта забота — только моя забота... Они уже не понимают меня, и я не понимаю их... я совсем один, наедине с самим собой — никогда я этого не сознавал так ясно. Но теперь, когда смерть уже гнездится в моем теле, теперь я чувствую... слишком поздно, на шестьдесят пятом году, когда я скоро подохну, а они, бесстыжие, танцуют, гуляют, шлятся... теперь я знаю, что всю свою жизнь я отдал им, неблагодарным, и ни одного часа не жил для себя... Но какое мне дело, какое мне до них дело?.. зачем думать о тех, кто не думает обо мне? Лучше околеть, чем принять их жалость... какое мне до них дело?..»

Мало-помалу, шаг за шагом, оставляла его боль: уже не так цепко, не так жгуче впивались в него свирепые когти. Но что-то чувствовалось, — уже почти не боль, а что-то чуждое, инородное давило и теснило, проникая вглубь. Старик лежал с закрытыми глазами и напряженно прислушивался к тому, что происходило в нем: ему казалось, что какая-то чужая, неведомая сила сперва острым, а теперь тупым орудием что-то выгребала из него, нить за нитью обрывала что-то в его теле. Не было уже боли. Не было мучительных тисков. Но что-то тихо истлевало и разлагалось внутри, что-то начало отмирать в нем. Все, чем он жил, все, что любил, сгорало на этом медленном огне, обугливалось, покрывалось пеплом и падало в вязкую тину равнодушия. Он смутно ощущал: что-то свершалось, что-то свершалось в то время, как он лежал здесь, на диване, и с горечью думал о своей жизни. Что-то кончалось. Что? Он слушал и слушал.

Так начался закат его сердца.

Старик лежал с закрытыми глазами в полутемной комнате; мало-помалу он задремал, и его затуманенному сознанию представилось — не то сон, не то явь, — что откуда-то, из какой-то невидимой раны (которая не болит и о которой он не знает) сочится что-то влажное, горячее и вливается в его жилы, как будто он истекает кровью, но она течет не наружу, а внутрь. Ему не было больно, это происходило не быстро, очень спокойно. Медленно просачивались капли и, точно тихие, теплые слезы, падали в самое сердце. Но сердце не отзывалось ни единым звуком; безмолвно вбирало в себя чуждую влагу, всасывало ее, как губка, становилось все тяжелее, и вот оно уже набухло, ему уже тесно в грудной клетке. Собственная тяжесть тянет его вниз, раздвигает связки, дергает напряженные мышцы. Все нестерпимее давит и жмет истерзанное огромное сердце. И вдруг — ах, как это больно! Его безмерно тяжелое сердце трогается с места и начинает медленно опускаться. Не сразу, не рывком, а плавно, постепенно отделилось оно от мышечной ткани и двинулось вниз; не так, как падает брошенный с высоты камень или созревший плод; нет, как губ-

ка, насыщенная влагой, опускалось оно — глубже, все глубже уходя в пустоту, в небытие, куда-то за пределы его существа, в непроглядную безбрежную ночь. И внезапно воцарилась зловещая тишина — воцарилась там, где только что билось теплое, переполненное сердце: там стало пусто, холодно и жутко. Не слышно было стука, не просачивались капли: все утихло, умерло. И будто в черном гробу лежало это непостижимо немое ничто в содрогающейся груди.

Так ярко было это испытанное во сне чувство, так глубоко смятение, охватившее старика, что он, проснувшись, невольно схватился за левую сторону груди, чтобы проверить, есть ли у него сердце. Но — слава богу! — что-то билось глухо, размеренно под его пальцами, и все же казалось, что эти глухие удары раздаются в пустом пространстве, а сердца нет. У него было странное ощущение — как будто его собственное тело отделилось от него. Боль не тревожила, ничто уже не дергало истерзанных нервов; все безмолвствовало, все застыло, окаменело в нем. «Как же это так? — подумал он. — Ведь только сейчас я невыносимо страдал, что-то жгло меня, теснило, каждый нерв вздрагивал. Что же случилось со мной?» Он прислушивался к пустоте внутри своего тела: не шевельнется ли там что-нибудь? Но все ушло — не струилась кровь, не стучало сердце; он слушал, слушал: нет, ничего, угасли, замерли все звуки. Ничто уже не теснило, не сжимало, ничто не мучило: там, должно быть, было пусто и черно, как в сердцевине сгоревшего дерева. Вдруг ему почудилось, что он уже умер или что-то умерло в нем — так медленно, так неслышно обращалась кровь в его жилах. Холодным, как труп, ощущал он собственное тело, и ему было страшно прикоснуться к нему теплой рукой.

Старик напряженно вслушивался в себя; он не слышал боя часов, доносившегося с озера, не замечал, что сгущаются сумерки. Близилась ночь, вечерний мрак постепенно вычеркивал предметы из темнеющей комнаты; погас наконец и кусок неба, еще слабо светившийся в прямоугольнике окна. Старик не замечал окружавшей его темноты: он вглядывался только во мрак в нем самом, вслушивался только во внутреннюю пустоту, как в свою смерть.

Вдруг в соседнюю комнату ворвался задорный смех, луч света брызнул сквозь щель приоткрытой двери. Старик испуганно привскочил: жена, дочь! Сейчас они увидят, что он лежит на диване, начнут расспрашивать. Он торопливо застегнул жилет и сюртук; зачем им знать об его припадке, какое им до этого дело?

Но мать и дочь не искали его. Они явно торопились: нетерпеливые удары гонга в третий раз уже приглашали к обеду. По-видимому, они передевались, через дверь до него доносилось каждое движение. Вот они выдвинули ящики комода, вот звякнули кольца на мраморном умывальнике, стукнули брошенные ботинки; и, не умолкая ни на минуту, звучали их голоса: каждое слово, каждый слог с убийственной отчетливостью доносился до настороженного слуха старика. Сначала они говорили о своих кавалерах, посмеиваясь над ними, о забавном происшествии во время прогулки, перебрасываясь отрывочными замечаниями, поспешно умываясь, причесываясь, прихорашиваясь. Но вдруг разговор перешел на него.

— Где же папа? — спросила Эрна, видимо, сама удивляясь, что так поздно вспомнила о нем.

— Откуда я знаю? — ответил голос матери, раздраженной уже одним упоминанием о нем. — Вероятно, ждет внизу и в сотый раз перечитывает биржевой бюллетень во франкфуртской газете — больше ведь он ничем не интересуется. Ты думаешь, он хоть раз взглянул на озеро? Он сказал мне сегодня, что ему здесь не нравится. Он хотел, чтобы мы сегодня же уехали.

— Сегодня?.. Но почему же? — прозвучал голос Эрны.

— Не знаю. Кто его разберет? Здешнее общество его не устраивает, наши знакомства ему не подходят — вероятно, сам чувствует, что он не на месте среди них. Просто стыдно смотреть на него — всегда в измятом костюме, с расстегнутым воротничком... Ты бы сказала ему, чтобы он хоть вечером одевался приличнее — он тебя слушает. А сегодня утром... как он накинудся на лейтенанта, — я готова была сквозь землю провалиться...

— Да, да... что это было?.. Я все хотела тебя спросить... что это нашло на папу?.. Таким я его никогда не видала... я просто испугалась.

— Пустяки, просто был не в духе... наверное, цены на бирже упали... или оттого, что мы говорили по-французски... Он не выносит, когда другие веселятся... Ты не заметила? когда мы танцевали, он стоял у двери, точно убийца, спрятавшийся за деревом... Уехать! Сию минуту уехать! — и только потому, что ему так захотелось!.. Если ему здесь не нравится — это не причина мешать нам веселиться... Но я не обращаю внимания на его капризы, пусть говорит и делает, что ему угодно.

Разговор оборвался. По-видимому, они закончили свой вечерний туалет, потому что дверь в коридор стукнула, послышались шаги, щелкнул выключатель, погас свет.

Старик неподвижно сидел на диване. Он слышал каждое слово. Но удивительно: он больше не чувствовал боли, ни малейшей боли. Неугомонный часовой механизм, который еще недавно так невыносимо стучал и неистовствовал в груди, затих и успокоился — должно быть, он сломался. Ничто не дрогнуло в нем от этого грубого прикосновения. Не было ни гнева, ни ненависти... ничего... ничего... Старик не спеша оправил костюм, осторожно спустился с лестницы и подсел к жене и дочери, точно к чужим людям.

Он не разговаривал с ними за обедом, а они не обратили внимания на это ожесточенное, стиснутое, словно кулак, молчание. Не прощаясь, он поднялся в свою комнату, лег и потушил свет. Много позже пришла его жена после приятно проведенного вечера; предполагая, что он спит, она разделась в темноте. Скоро он услышал ее тяжелое, ровное дыхание.

Старик, наедине с самим собой, широко открытыми глазами смотрел в пустоту ночи. Рядом с ним что-то лежало и глубоко дышало в темноте; он силился вспомнить, что эту женщину, которая дышит

одним с ним воздухом, он когда-то знал молодой и страстной, что она родила ему ребенка и была связана с ним глубочайшим таинством крови; он настойчиво внушал себе, что это теплое и мягкое тело, лежащее так близко, что он мог коснуться его рукой, когда-то было жизнью в его жизни. Но странно: мысли о прошлом не вызывали в нем никаких чувств, и он слушал дыхание жены точно так же, как доносящийся в открытое окно плеск волн, набегających на прибрежную гальку. Все это ушло, давно миновало, осталось только случайное и чуждое соседство: кончено, все кончено навеки.

Еще один-единственный раз он вздрогнул — тихо, как бы крадучись, скрипнула дверь в комнате дочери. «Итак, сегодня опять», — подумал он и почувствовал легкий укол в уже омертвевшем, казалось, сердце. С минуту что-то дергалось в нем, словно умирающий нерв. Но и это прошло: «Пусть делает что хочет! Что мне до нее!»

И старик опять откинулся на подушку. Мягче обволакивал мрак горячий лоб, благотворная прохлада проникала в кровь. И вскоре неглубокий сон затуманил обессиленное сознание.

Проснувшись на другое утро, жена увидела, что он уже в пальто и в шляпе.

— Куда это ты? — спросила она сонным голосом.

Старик не обернулся; он невозмутимо засовывал ночную рубашку в чемодан.

— Ты ведь знаешь, я еду домой. Я беру с собой только самое необходимое, остальное можете выслать.

Жена испугалась. Что это? Такого голоса она никогда у него не слыхала: холодно, жестко прорывались слова сквозь стиснутые зубы. Она вскочила с постели.

— Неужели ты хочешь уехать?.. Подожди... мы тоже едем, я уже сказала Эрне...

Но он только нетерпеливо помотал головой.

— Нет... нет... оставайтесь... не надо... — и, не оглядываясь, зашагал к двери. Ему пришлось поставить чемодан на пол, чтобы нажать ручку.

И в этот краткий миг он вспомнил: тысячу раз он ставил чемодан с образцами перед чужой дверью, прежде чем уйти, почтительно откланявшись и предложив свои услуги для дальнейших поручений. Но здесь его дела кончились, поэтому он не считал нужным прощаться. Без единого слова, без прощального взгляда он поднял чемодан и захлопнул дверь между собой и своей прежней жизнью.

Ни мать, ни дочь не поняли, что произошло. Но этот внезапный и решительный отъезд обеспокоил их. Тотчас же они послали ему вслед, в родной город на юге Германии, письма с подробными объяснениями по поводу происшедшего недоразумения, почти нежные, заботливые письма; они спрашивали, благополучно ли он доехал, как его здоровье, и даже изъявляли готовность немедленно прервать

свое пребывание за границей. Он не ответил. Они опять писали, отправляли телеграммы, ответа не было. Только из конторы была получена сумма, упомянутая в одном из писем,— почтовый перевод со штемпелем фирмы, без письма, без привета.

Столь необъяснимое, тягостное положение вещей побудило их ускорить отъезд. Хотя они известили заранее о дне своего возвращения, никто не встретил их на вокзале и дома тоже ничего не было приготовлено: прислуга уверяла, что старик рассеянно бросил телеграмму на стол и ушел, не сделав никаких распоряжений. Вечером, когда они уже сидели за обедом, наконец хлопнула входная дверь; они вскочили и побежали ему навстречу; он посмотрел на них с изумлением — по-видимому, он забыл о телеграмме,— но никаких чувств не выразил, равнодушно дал дочери обнять себя, прошел с ними в столовую и с тем же безразличием слушал их рассказы. Он ни о чем не спрашивал, молча сосал сигарету, на вопросы отвечал односложно, но чаще пропускал их мимо ушей; казалось, он спит с открытыми глазами. Потом он грузно поднялся и ушел в свою комнату.

Так продолжалось и в последующие дни. Тщетно встревоженная жена пыталась поговорить с ним: чем настойчивее она добивалась объяснения, тем упрямее он уклонялся от него. Что-то в нем замкнулось, стало недоступным, отгородилось от домашних. Он еще обедал с ними за одним столом, выходил в гостиную, когда бывали гости, но сидел молча, погруженный в свои мысли. Он оставался ко всему безучастен, и тому, кому случилось во время разговора увидеть его глаза, становилось не по себе, ибо мертвый взгляд их, устремленный в пространство, не замечал ничего вокруг.

Странности старика вскоре стали обращать на себя всеобщее внимание. Знакомые, встречая его на улице, украдкой подталкивали друг друга локтем: почтенный старик, один из самых богатых людей в городе, жался, словно нищий, к стене, в измятой, криво надетой шляпе, в сюртуке, обсыпанном пеплом, как-то странно шатаясь на каждом шагу и почти всегда что-то бормоча себе под нос. Если с ним раскланивались, он испуганно вскидывал глаза; если заговаривали, он смотрел на говорящего пустым взглядом и забывал подать ему руку. Сначала многие думали, что старик оглох, и громче повторяли сказанное. Но это была не глухота: ему требовалось время, чтобы очнуться от сна наяву, и посреди разговора он снова впадал в странное забытие; глаза меркли, он обрывал разговор на полуслове и спешил дальше, не замечая удивления собеседника. Видно было, что он лишь с усилием отрывается от сонных грез, что он погружен в самого себя и что люди для него уже не существуют. Он ни о ком не спрашивал, в собственном доме не замечал немого отчаяния жены, растерянного недоумения дочери. Он не читал газет, не прислушивался к разговору; не было слова, вопроса, который мог бы хоть на мгновение пробить непроницаемую стену его равнодушия. Даже дело, которому он отдал столько лет жизни,— и оно стало ему чуждо. Изредка он еще заглядывал в контору, но, когда секретарь входил в кабинет, он заставал старика все в той же позе:

сидя в кресле у стола, он смотрел невидящим взглядом на непрочитанные письма. Наконец он сам понял, что он здесь лишний, и перестал приходить.

Но вот чему больше всего дивился весь город: старик, никогда не принадлежавший к числу верующих членов общины, вдруг стал религиозен. Равнодушный ко всему и прежде не приходивший вовремя ни к обеду, ни на деловые свидания, он не забывал в надлежащий час прийти в синагогу; там он стоял, в черной шелковой ермолке, накинув на плечи белый талес, всегда на одном и том же месте — где некогда стоял его отец, — и, раскачиваясь, нараспев читал молитвы. В полупустом храме, где вокруг него слова гудели чуждо и глухо, он больше чем где-либо чувствовал себя наедине с самим собой; мир и покой заглушали его смятение, меньше давил мрак в собственной груди; когда же читали заупокойные молитвы и он видел родных, детей, друзей умершего, истово и скорбно совершающих обряд и вновь и вновь призывающих милосердие божие на усопшего, глаза его увлажнялись: он знал, что он последыш. Никто за него не помолится. И он набожно бормотал молитвы и думал о себе как о покойнике.

Однажды, поздно вечером, когда он возвращался из своих скитаний по городу, его застиг дождь. Старик, по обыкновению, забыл захватить зонтик; извозчики предлагали свои услуги за небольшую плату, подъезды и стеклянные навесы гостеприимно приглашали укрыться от внезапно разразившейся грозы, но чудак невозмутимо шел и шел под ливнем. В помятой шляпе образовалась лужа, с рукавов стекали ручьи ему под ноги; он не обращал на это внимания и шагал дальше — почти единственный на опустевшей улице. Промокший до нитки, похожий скорее на бродягу, чем на владельца нарядного особняка, он подошел к своему дому. В ту же минуту у подъезда остановился автомобиль с зажженными фарами, обдав его жидкой грязью. Дверцы распахнулись, из ярко освещенной машины вышла его жена в сопровождении какого-то важного гостя; услужливо державшего над ней зонт, и еще одного господина; у самих дверей они столкнулись. Жена узнала его и ужаснулась, увидев мужа в таком состоянии: насквозь промокший, измятый, он напоминал вытасненный из воды узел; она невольно отвела глаза. Старик сразу понял: ей было стыдно за него перед гостями. И без горечи, без гнева — чтобы избавить ее от тягостной необходимости знакомить его — он сделал еще несколько шагов и смиренно вошел через черный ход.

С этого дня старик пользовался в собственном доме только черной лестницей: здесь он был уверен, что никого не встретит. Здесь он никому не мешал, и ему не мешали. Он перестал выходить к столу — старая служанка приносила ему еду в комнату; если жена или дочь пытались проникнуть к нему, он быстро выпроваживал их, несколько смущенный, но с непоколебимой решимостью. В конце концов они оставили его в покое, отвыкли справляться о нем, и он тоже ни о чем не спрашивал. Часто к нему доносились сквозь стены смех и музыка из других, теперь уже чуждых ему комнат; он до

поздней ночи слышал шум подъезжавших и отъезжавших экипажей. Но так безразлично ему было все это, что он даже не выглядывал из окна,— какое ему до них дело? Только собака приходила иногда и ложилась перед кроватью всеми забытого хозяина.

Он уже не испытывал боли в омертвевшем сердце, но черный крот продолжал свою работу и вгрызался в кровоточащие внутренности. Приступы учащались с каждой неделей, и, наконец, измученный старик уступил настоянию врача и подвергся тщательному осмотру. Профессор хмурился. Осторожно подготавливая больного, он сказал, что необходима операция. Но старик не испугался, он только грустно улыбнулся: слава богу, скоро конец! Конец умиранию, приближается благодатная смерть. Он запретил врачу сообщать об этом семье, велел назначить день и приготовился. В последний раз он пошел к себе в контору (где никто уже не ждал его и все смотрели на него, как на чужого), сел еще раз в черное кожаное кресло, в котором он за тридцать лет, за всю свою жизнь, просидел тысячи и тысячи часов, потребовал чековую книжку и заполнил один из листков; чек он передал ошеломленному размером вклада старшине общины. Эта сумма предназначалась для благотворительных целей и для ухода за его могилой; уклонясь от выражений благодарности, он торопливо ушел; при этом он потерял шляпу, но даже не захотел нагнуться, чтобы поднять ее. И так, с непокрытой головой, с мутными глазами на желтом, морщинистом лице, он побрел (прохожие изумленно смотрели ему вслед) на кладбище, к могиле родителей. Там тоже на него с удивлением глядели любопытные. Он долго говорил с замшелыми камнями, как говорят с живыми людьми. Извещал ли он о своем предстоящем приходе или просил благословения? Никто не слышал его слов, только губы шевелились, шепча молитвы, и все ниже опускалась голова. У выхода его обступили нищие. Он стал поспешно вытаскивать из карманов монеты и бумажки; когда он все уже роздал, притащилась древняя старуха, вся в морщинах, и протянула руку. Он растерянно пошарил в карманах и ничего не нашел. Только на пальце еще давило что-то тяжелое и ненужное — золотое обручальное кольцо. Какое-то смутное воспоминание шевельнулось в нем,— он поспешно снял кольцо и отдал его изумленной старухе.

И так, нищим, исчерпанным до дна и одиноким, старик лег под нож хирурга.

Когда старик пришел в себя после наркоза, врачи, ввиду тяжелого состояния больного, вызвали жену и дочь, уже осведомленных об операции. С трудом поднялись синеватые веки. «Где я?» — спрашивал взгляд, устремленный на белые стены чужой комнаты.

Ласково наклонилась дочь над бледным, осунувшимся лицом. И вдруг что-то вспыхнуло в потухших зрачках. Искорка света зажглась в них: вот же она, любимая дочь, вот она, Эрна, нежное, пре-

красное дитя! Медленно, медленно шевельнулись горько сжатые губы — улыбка, едва заметная, давно забытая улыбка тронула углы рта. И, потрясенная этим слабым, беспомощным выражением радости, она наклонилась, чтобы поцеловать обескровленную щеку отца.

Но вдруг — был ли то приторный запах духов, пробудивший смутные воспоминания, или в дремлющем мозгу ожили давние мысли, — лицо больного, только что сиявшее счастьем, страшно исказилось; синие губы гневно сомкнулись, рука под одеялом судорожно дергалась, пытаясь подняться, словно хотела оттолкнуть что-то отвратительное, все истерзанное тело дрожало от волнения.

— Прочь!.. Прочь!.. — едва слышно, но все же внятно лепетали помертвевшие губы. И такое непреодолимое отвращение и мучительное сознание невозможности бегства отразилось в чертах умирающего, что врач озабоченно отстранил женщин.

— Он бредит, — шепнул он, — лучше оставить его одного.

Как только жена и дочь ушли, на лице больного появилось прежнее выражение усталости и покоя. Он еще дышал — хриплое дыхание выше и выше приподнимало грудь, вбравшую в себя воздух, которым дышит все живое. Но скоро она пресытилась этой горькой пищей, и когда врач приложил ухо к сердцу старика, оно уже перестало причинять ему боль.

НЕЗРИМАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

(Эпизод из времен инфляции в Германии)

На второй остановке после Дрездена в наше купе вошел пожилой господин. Вежливо поздоровавшись со всеми, он пристально взглянул на меня и еще раз кивнул мне особо, как доброму знакомому. В первый момент я не узнал его, но едва он с легкой улыбкой произнес свое имя, я тотчас же вспомнил: то был один из крупнейших антикваров Берлина, у которого я в мирное время частенько рассматривал и покупал старые книги и автографы. Мы поболтали немного о том, о сем. И вдруг совершенно неожиданно он воскликнул:

— Я положительно должен рассказать вам, откуда я еду. За всю мою тридцатисемилетнюю деятельность мне, старому торговцу произведениями искусства, ни разу не привелось пережить ничего подобного. Вы знаете, конечно, что творится сейчас в антикварном деле; с тех пор как, подобно легким газам, стала улетучиваться ценность денег, новоиспеченные богачи воспылали страстью к готическим мадоннам, старинным изданиям, к картинам и гравюрам старых мастеров; удовлетворить их нет никакой возможности, того и гляди растащат весь домашний скарб. Дай им волю — они вынут у вас запонки из манжет и унесут лампу с письменного стола. Так что раздобывать товар становится все труднее и труднее. Простите, что я назвал товаром столь священные для нас с вами сокровища искусства, но ведь это злое племя до того довело, что гравюры древних венсцианских мастеров начинаешь рассматривать как эквивалент столько-то долларов, а рисунок Гверчино как некое воплощение нескольких сотен

тысяч франков. От этих одержимых манией приобретательства людей нет никакого спасения. Итак, в одно прекрасное утро я увидел, что моя лавка снова опустошена, и мне в пору было закрыть на окнах ставни, так стыдно и горько было видеть в старой лавке, доставшейся моему отцу в наследство от деда, жалкие остатки какого-то хлама, который в прежние времена даже старьевщик не положил бы на свою тележку.

Среди этих грустных размышлений мне пришло в голову просмотреть старые торговые книги в надежде отыскать кого-нибудь из наших прежних покупателей, у которых, быть может, удастся выманить парочку-другую дубликатов. Но списки старых клиентов представляют собой обычно, а особенно в наше время, что-то вроде кладбища, так что почерпнул я из них не очень-то много: большинство прежних покупателей умерли или вынуждены были пустить свое имущество с молотка, у тех же немногих, которые устояли, нельзя было и надеяться что-либо вытянуть. Вдруг мне попалась целая связка писем одного из старейших наших клиентов. Я совсем позабыл о нем, потому что с 1914 года, то есть с самого начала мировой войны, он ни разу не обратился к нам с заказом или запросом. Переписка его с нашей фирмой началась — я не преувеличиваю — лет шестьдесят тому назад! Он покупал еще у моего отца и деда; но с тех пор как я начал работать самостоятельно, он ни разу не побывал в нашей лавке. Все говорило о том, что это в высшей степени своеобразный, старомодный человек, один из тех, увековеченных кистью Менцеля и Шпицвега типов, редкие экземпляры которых и по сие время можно встретить в маленьких провинциальных городках Германии. Письма его были написаны каллиграфическим почерком и очень аккуратны, суммы подчеркнуты по линейке красными чернилами и во избежание каких бы то ни было недоразумений повторены дважды, причем он использовал для своих писем вывернутые наизнанку старые конверты и писал на оставшихся от чужих писем чистых листах. Все это вместе взятое свидетельствовало о крайней мелочности и прямо-таки фанатической скупости безнадёжного провинциала. Подпись на этих своеобразных документах содержала, кроме имени, полный его титул: «Советник лесного и экономического ведомства в отставке, лейтенант в отставке, кавалер ордена Железного креста первой степени». Отсюда можно было заключить, что если он еще жив, то ему, как ветерану франко-прусской войны, теперь по меньшей мере лет восемьдесят. Но этот до нелепости странный скряга проявлял подлинно незаурядный ум, превосходное знание предмета и тончайший вкус, когда дело касалось коллекционирования. Подсчитав одну за другой все его покупки почти за шестьдесят лет, причем первая из них была оплачена еще старинными зильбергрошами, я убедился, что этот маленький провинциал во времена, когда за талер можно было купить целую кипу гравюр лучших немецких мастеров, потихоньку составил себе собрание эстампов, которое заняло бы почетное место в ряду нашумевших коллекций наших новоиспеченных богачей. Ибо даже то, что он успел за полвека приобрести по дешевке только у нас, представляло ныне огромную ценность, а ведь надо полагать, он не

упускал случая поживиться и у других антикваров, и на аукционах. Правда, в 1914 года мы не получили от него ни одного заказа, но я слишком хорошо знаю, что происходит в нашем деле, чтобы от меня могла ускользнуть продажа такой крупной коллекции. Итак, либо этот странный человек еще жив, либо коллекция находится в руках его наследников, решил я.

Дело это настолько меня заинтересовало, что на другой же день, то есть вчера вечером, я, не долго думая, отправился в один из наименее известных провинциальных городков Саксонии, и, когда я плелся с маленькой станции по главной улице, мне казалось просто невероятным, чтобы где-то здесь, среди этих пошлых домишек с их мешанской рухлядью, мог жить человек, обладающий безупречно полной коллекцией прекраснейших офортов Рембрандта, гравюр Дюрера и Мантеньи.

На почте, куда я зашел сегодня утром узнать, проживает ли в этом городе советник в отставке такой-то, я, к удивлению своему, узнал, что старик еще жив, и тут же, если говорить откровенно, немного волнуясь, отправился к нему. Я легко нашел его квартиру; она помещалась на втором этаже одного из тех немудреных провинциальных домов, какие в шестидесятых годах наспех лепили архитекторы-спекулянты. Первый этаж занимал портной, на втором же, на двери слева, блестела металлическая дощечка с именем почтмейстера, а справа — фарфоровая с именем советника лесного и экономического ведомства. На мой робкий звонок дверь тотчас же открыла очень старая седая женщина в опрятном черном чепце. Я подал ей свою визитную карточку и спросил, можно ли видеть господина советника. Удивленно, с явным недоверием взглянула она сначала на меня, потом на карточку; в этом захолустье, в этом старомодном провинциальном доме приход постороннего человека был, как видно, целым событием. Тем не менее старушка любезно попросила меня подождать и пошла с карточкой в комнаты; сначала до меня донесся оттуда ее шепот, и вдруг раздался могучий, грохочущий бас: «А-а! Господин Р. из Берлина!.. из большой антикварной фирмы... Очень рад... прошу». И тотчас же старушка засеменила в прихожую и пригласила меня войти.

Я снял пальто и вошел. Посреди скромно обставленной комнаты стоял, выпрямившись во весь рост, старый, но еще довольно крепкого сложения мужчина, с густыми щетинистыми усами, в отделанной шнуром домашней куртке полувоенного образца, и радостно протягивал мне руки. Но этому широкому жесту самого искреннего радушия противоречила какая-то странная оцепенелость его позы. Он не сделал ни шагу мне навстречу, и, чтобы пожать его протянутую руку, я, несколько смущенный таким приемом, вынужден был подойти к нему вплотную. И вот, когда я уже собирался коснуться его руки, я вдруг заметил, что она неподвижно застыла в воздухе и не ищет моей, а лишь выжидает. И мне сразу все стало ясно: человек этот слеп.

Я с детства не могу отделаться от странного чувства неловкости, когда оказываюсь лицом к лицу со слепым; я испытываю стыд и сму-

щение при мысли, что вот передо мной живой человек, который воспринимает меня как-то совсем иначе, нежели я его. Так и теперь, глядя на устремленные в пустоту безжизненные зрачки под седыми косматыми бровями, я вынужден был сделать усилие, чтобы подавить охвативший было меня страх. Впрочем, слепой не дал мне времени предаваться этому чувству; едва моя рука коснулась его руки, он с силой потряс ее и возобновил свои громогласные, бурные приветствия.

— Вот уж поистине редкий* гость,— улыбаясь во весь рот, гротескно он,— в самом деле, разве не чудо, что в нашу берлогу забрел такой важный господин из Берлина... Однако, если кто-нибудь из господ антикваров пускается в путь, надо держать ухо востро. У нас говорят: «Пришли цыгане—запирай ворота...» Догадываюсь, зачем вы пожаловали... В нашей несчастной, нищей Германии совсем не стало покупателей, вот господа антиквары и вспомнили о своих старых клиентах и отправились на поиски заблудших овечек. Боюсь только, что у меня вам не посчастливится. Мы, бедные старики пенсионеры, рады теперь уж и тому, если имеем кусок хлеба. Нам не по карману нынешние безумные цены... Нет, наша песенка спета...

Я поспешил заверить старика, что он неправильно понял цель моего посещения и что я приехал вовсе не затем, чтобы предлагать ему мой товар, а просто-напросто оказался в этих местах и не хотел упустить случай засвидетельствовать свое почтение старому клиенту нашей фирмы и одному из крупнейших немецких коллекционеров.

Едва произнес я слова «одному из крупнейших немецких коллекционеров», как лицо старика чудесно преобразилось. Он все так же стоял, выпрямившись посреди комнаты, но весь как-то просветлел, и черты лица его выражали величайшую гордость; он обернулся в ту сторону, где, как он предполагал, стояла его жена, будто желая сказать ей: «Вот видишь!» — и мягко, почти с нежностью, голосом, в котором не осталось и следа от грубоватости старого вояки, только что звучавшей в нем, а слышалась лишь чистая радость, обратился ко мне:

— Право же, это очень, очень мило с вашей стороны... но вы не пожалеете, что зашли ко мне... Я покажу вам несколько таких вещей, какие не каждый-то день случается видеть даже в вашем спесивом Берлине... прекраснее нет ни в музее «Альбертине», ни в этом проклятом Париже... Да, сударь мой, если целых шестьдесят лет заниматься коллекционированием, уж непременно откопаешь такое, что не валяется под ногами. Луиза, дай-ка мне ключ от шкафа.

Но тут произошло нечто неожиданное: старушка, до сих пор молча стоявшая возле мужа, с дружелюбной улыбкой прислушиваясь к нашему разговору, вдруг умоляюще протянула ко мне руки и отрицательно затрясла головой; сперва я не понял, что бы это значило. Потом она подошла к мужу и, ласково взяв его за плечи, сказала:

— Герварт, ты даже не спросил гостя, есть ли у него сейчас время осматривать коллекцию, ведь уже скоро полдень. А после обеда тебе надо часок отдохнуть, доктор настаивает на этом. Не лучше ли

будет, если ты покажешь гравюры после обеда? А потом мы вместе выпьем кофе. Да и Анна-Мари придет к этому времени, а она гораздо лучше меня сумеет помочь тебе.

И снова, через голову ничего не подозревающего старика, она повторила свой настойчиво-просительный жест. Теперь я понял: старушка хотела, чтобы я уклонился от немедленного осмотра, и я тут же изобрел отговорку, сказав, что весьма польщен и буду рад осмотреть коллекцию, но меня ждут к обеду и я вряд ли освобожусь до трех часов.

Старик сердито отвернулся, как обиженный ребенок, у которого отняли любимую игрушку.

— Разумеется,— проворчал он,— господам берлинцам вечно некогда! Но как бы то ни было, а сегодня вам придется запастись терпением, речь-то ведь идет не о каких-нибудь трех или пяти, а о целых двадцати семи папках, и все полнехоньки. Итак, в три часа; да смотрите не опаздывайте, иначе не успеем.

Снова его рука вытянулась в пустоту в ожидании моей.

— И вот увидите,— добавил он,— вам будет чему порадоваться, а может быть, и позлиться; и чем больше вы будете злиться, тем больше буду радоваться я. Ничего не поделаешь, таковы уж мы, коллекционеры: все для себя — и ничего для других! — И он еще раз сильно тряхнул мою руку.

Старушка пошла проводить меня до двери; я уже раньше заметил, что ей не по себе; лицо ее выражало страх и смущение. И вот уже у самой двери она подавленно и чуть слышно пролепетала:

— Может быть... может быть, вы позволите, чтобы за вами зашла моя дочь, Анна-Мари?.. Так было бы лучше, потому что... Ведь вы, наверное, обедаете в гостинице?

— Пожалуйста, буду очень рад... — ответил я.

И действительно, час спустя, только я кончил обедать, в маленький ресторан при гостинице на Рыночной площади вошла, озираясь по сторонам, немолодая, просто одетая девушка. Я подошел к ней, представился и сказал, что готов идти осматривать коллекцию. Она вдруг покраснела и, точно так же смутившись, как ее мать, попросила меня сначала выслушать несколько слов. Сразу было видно, что ей очень тяжело. Когда, стараясь пересилить смущение, она делала попытку заговорить, краска еще ярче разливалась по ее лицу, а пальцы нервно теребили пуговицу на платье. Но вот наконец она все-таки начала, запинаясь на каждом слове и все больше и больше смущаясь:

— Меня послала к вам мать... Она мне все рассказала, и мы... мы... у нас к вам большая просьба... мы хотим вас предупредить раньше, чем вы пойдете к отцу... Отец, конечно, будет показывать вам свою коллекцию, а она... видите ли... она уже не совсем полна. Некоторых гравюр уже нет... и, к сожалению, очень многих...

Девушка перевела дух и вдруг, взглянув мне прямо в глаза, быстро проговорила:

— Я буду с вами вполне откровенна. Вы же знаете, какие сейчас времена, вы поймете. Когда началась война, отец ослеп. У него

и прежде не раз бывало плохо с глазами, а от тревог он совсем лишился зрения. Дело в том, что, несмотря на свои семьдесят шесть лет, он во что бы то ни стало желал участвовать в походе на Францию, а потом, когда оказалось, что армия движется далеко не так быстро, как в 1870 году, он просто из себя выходил и уже ослеп совсем... Он еще очень бодр и недавно мог целыми часами гулять и даже ходил на охоту. Но теперь он навсегда лишился этого удовольствия, и коллекция — единственная оставшаяся у него в жизни радость. Он ежедневно просматривает ее... то есть он ее не видит, конечно — он уже ничего не видит, — но каждый день после обеда достает все папки и один за другим ощупывает эстампы в одном и том же неизменном порядке, который он помнит наизусть... Ничто другое не интересует его; он заставляет меня читать ему вслух все газетные сообщения об аукционах, и чем выше указанные там цены, тем больше он радуется... потому что... видите ли... и в этом весь ужас... отец не понимает, какое сейчас время и что творится с деньгами. Он не знает, что мы всего лишились и что на его месячную пенсию не проживешь теперь и двух дней... а тут еще у моей сестры погиб на фронте муж и она осталась с четырьмя малышами... Он ничего, ничего не знает о наших материальных затруднениях. Сначала мы сэкономили на чем только можно, сэкономили еще больше, чем прежде, но это не помогло. Потом стали продавать вещи. Его коллекцию мы, разумеется, не трогали... Продавали свои драгоценности; но, боже мой, это были такие пустяки... ведь целых шестьдесят лет отец каждый сбереженный грош тратил только на гравюры. И вот настал день, когда нам уже нечего было продать... мы просто не знали, что делать... и тогда... тогда мы с матерью... мы решили продать одну гравюру... Сам он, разумеется, ни за что не позволил бы, но ведь он не знает, как тяжело жить, и он и понятия не имеет, как трудно сейчас достать из-под полы хоть немного провизии; не знает он и того, что мы проиграли войну и отдали французам Эльзас и Лотарингию; мы не читаем ему об этом, чтобы он не волновался.

Вещь, которую мы продали, оказалась очень ценной: то была гравюра на меди Рембрандта. Нам дали за нее много тысяч марок; мы думали, что этих денег нам хватит на несколько лет. Но вы же знаете, как тают теперь деньги... Мы положили их в банк, а через два месяца от них уже ничего не осталось. Пришлось продать еще одну гравюру, а потом и еще одну, и каждый раз торговец высылал нам деньги лишь тогда, когда они теряли свою ценность. Попробовали мы продавать с аукциона, но и тут, несмотря на миллионные цены, нас умудрялись провести... За время, пока эти миллионы доходили до нас, они превращались в ничего не стоящие бумажки. Так постепенно ушли за бесценок все лучшие гравюры, осталось всего несколько штук. И все ради того, чтобы не умереть с голоду; а отец ничего и не знает.

Потому-то мать сегодня так испугалась, когда вы были у нас... Стоило отцу показать вам папки — все тут же обнаружилось бы... В старые паспарту — он все их узнает на ощупь — мы вложили вместо проданных гравюр копии или похожие на них по форме листы

бумаги, так что, трогая их, отец ни о чем не догадывается. Это ошупывание и пересчитывание гравюр (он помнит их все: подряд) доставляет ему такую же радость, как бывало, когда он их видел зрячими глазами. К тому же в нашем городишке нет ни одного человека, которого отец считал бы достойным видеть его сокровища... Он так страстно любит каждую гравюру, что у него, наверное, сердце разорвалось бы от горя, если бы он узнал, что все они давным-давно уплыли из его рук. С тех пор как умер заведующий отделом гравюр на меди Дрезденской галереи, вы — первый, кому он пожелал показать свою коллекцию. И я прошу вас...

Она вдруг протянула ко мне руки, и глаза ее наполнились слезами:

— Мы очень... вас просим!.. очень!.. пожалейте его... пожалейте нас... не разрушайте его иллюзию... помогите нам поддержать его веру в то, что все гравюры, которые он вам будет описывать, существуют... одно подозрение, что их нет, убило бы его. Может быть, мы дурно с ним поступили, но ничего другого нам не оставалось. Надо же было как-то жить... и разве человеческие жизни, разве четверо сирот не дороже картинок... К тому же до сих пор мы ничем не омрачили его счастья. Ежедневно после обеда он целых три часа блаженствует, перебирая свои гравюры и разговаривая с ними, как с людьми. А сегодня... этот день мог бы стать счастливейшим в его жизни, ведь он так много лет ждет случая показать свои сокровища человеку, способному их оценить. Прошу вас... умоляю... не лишайте его этой радости!

Я просто не могу передать вам, с какой скорбью это было сказано. Господи, да сколько уже раз приходилось мне в качестве антиквара сталкиваться с самым бессовестным обманом, когда, подло пользуясь инфляцией, у несчастных буквально за кусок хлеба отбирались редчайшие фамильные ценности,— но здесь судьба сыграла особенно злую шутку, которая особенно сильно потрясла меня. Разумеется, я обещал молчать и сделать все от меня зависящее, чтобы скрыть истину.

Мы пошли; по дороге я с горечью слушал ее рассказ о том, при помощи каких уловок были одурачены несчастные женщины, и это еще более укрепило меня в намерении сдержать свое обещание. Не успели мы взойти по лестнице и взяться за ручку двери, как из комнаты послышался радостно грохочущий голос старика: — Входите, входите! — Должно быть, со свойственной слепым остротой слуха он уловил звук шагов, когда мы еще подымались по ступеням.

— Герварт даже не вздремнул сегодня, так ему не терпится показать вам свои сокровища,— с улыбкой сказала старушка. Единственного взгляда дочери оказалось достаточно, чтобы успокоить ее относительно моего поведения. На столе уже были разложены груды папок, и, едва почувствовав прикосновение моей руки, слепой без лишних церемоний схватил меня за локоть и усадил в кресло.

— Вот так. И начнем не мешкая — просмотреть надо очень много, а ведь господам берлинцам вечно некогда. В этой папке у меня Дюрер, довольно полный, как вы сейчас убедитесь, и одна гравюра

лучше другой. А впрочем, сами увидите; смотрите! — И он раскрыл первую папку: — Вот его «Большая лошадь».

Осторожно, едва касаясь кончиками пальцев, как берут обычно очень хрупкие предметы, он вынул из папки паспарту, в которое был вставлен пустой, пожелтевший от времени лист бумаги, и держал его перед глазами в вытянутой руке. С минуту он восторженно и молча глядел на него; разумеется, он ничего не видел, но, словно по волшебству, лицо старика приняло выражение зрячего. А глаза его, еще только что совершенно безжизненные, с неподвижными зрачками, вдруг просветлели, в них вспыхнула мысль. Был ли то просто отблеск бумаги, или свет шел изнутри?

— Ну, как? — с гордостью спросил он. — Случалось вам видеть что-либо прекраснее этого оттиска? Смотрите, как тонко и четко выделяется каждый штрих! Я сравнил свой экземпляр с дрезденским, и тот показался мне каким-то расплывчатым, тусклым. А какова родословная! Вот! — Он перевернул лист и ногтем указательного пальца так уверенно стал водить по пустой бумаге, отмечая места, где должны были находиться пометки, что я невольно взглянул, уж нет ли их там на самом деле. — Это печать коллекционера Наглера, а здесь Реми и Эсдайл; ну могли ли мои знаменитые предшественники предполагать, что их достояние когда-нибудь попадет в такую комнатушку!

Мороз пробежал у меня по коже, когда этот не ведающий о своей утрате старик изливался в пылких похвалах над совершенно пустым листом бумаги; невыразимо жутко было глядеть, как он со скрупулезной точностью кончиком пальца водил по невидимым, существующим лишь в его воображении знакам прежних владельцев гравюры. От волнения у меня перехватило горло, и я не мог произнести ни слова в ответ; но, взглянув случайно на женщин и увидев трепетно протянутые ко мне руки дрожащей от страха старушки, я собрался с силами и начал играть свою роль. — Замечательно! — пробормотал я. — Чудесный оттиск.

И тотчас же лицо старика просияло от гордости.

— Это еще что! — ликовал он. — А вы посмотрите на его «Меланхолию» или «Страсти» в красках — второго такого экземпляра на свете нет. Да вы поглядите только, какая свежесть, какие мягкие, сочные тона! — И снова его палец любовно забегал по воображаемому рисунку. — Весь Берлин, со всеми своими искусствоведами и антикварами перевернулся бы вверх тормашками от зависти, если бы они увидели эту гравюру!

Бурные, торжествующие потоки его слов изливались целых два часа. Нет! Я не берусь описать тот поистине мистический ужас, который я пережил, пока просмотрел вместе с ним сотню или две пустых бумажек и жалких репродукций. Незримая, давным-давно разлетевшаяся на все четыре стороны коллекция продолжала с такой поразительной реальностью жить в воображении старика, что он, ни секунды не колеблясь в строгой последовательности и в мельчайших подробностях описывал и восхвалял одну за другой все гравюры; для этого слепого, обманутого и такого трогательного в своем неведении

человека она оставалась неизменной, и страстная сила его видения была так велика, что даже я начал невольно поддаваться этой иллюзии. Один только раз страшная опасность пробуждения нарушила сомнамбулический покой его вдохновенного созерцания. Превознося рельефность оттиска рембрандтовской «Антиопы» (речь шла о действительно бесценном пробном оттиске) и любовно водя своим нервным, ясновидящим пальцем по воображаемым линиям, он не обнаружил на гладком листе бумаги столь знакомых ему углублений. Лицо старика внезапно омрачилось, голос стал глухим и неуверенным. — Да «Антиопа» ли это? — пробормотал он смущенно. Я тотчас же взялся за дело и, выхватив у него из рук паспарту с пустым листом, принялся с жаром и возможно подробнее описывать мнимую гравюру, которую и сам отлично помнил. Черты слепого снова разгладились, смягчились. И по мере того, как я говорил, лицо этого грубоватого старого вояки все ярче и ярче озарялось простодушной, искренней радостью.

— Наконец-то встретился мне понимающий человек! — торжествуя обернувшись в сторону женщин, ликовал он. — И наконец-то, наконец-то вы можете убедиться, как ценны мои гравюры. Вы не верили, ворчали на меня, что я ухлопывал на свою коллекцию все деньги: правда, шестьдесят лет я не знал ни вина, ни пива, ни табака, ни театра, ни путешествий, ни книг, а только все копил и копил на покупку этих гравюр. Но погодите, вы еще будете богаты; когда меня не станет, вы будете так богаты, как самые большие богачи в Дрездене, богаче всех в нашем городе, и тогда-то вы помянете добрым словом мое чудачество. Но пока я жив, ни одна гравюра не выйдет из этого дома: сначала вынесут меня, а уж потом мою коллекцию.

И он нежно, словно живое существо, погладил опустошенные папки; мне было жутко глядеть на него, но вместе с тем и отраднo, потому что за все годы войны я ни разу не видел на лице немца выражения столь полного, столь чистого блаженства. Возле него стояли жена и дочь, и было таинственное сходство между ними и фигурами женщин на гравюре великого немецкого мастера, которые, придя ко гробу спасителя и увидев, что камень отвален и гроб опустел, замерли у входа в радостном экстазе перед совершившимся чудом с выражением благочестивого ужаса на лицах. И подобно тому как на гравюре последовательницы Христа улыбаются сквозь слезы, пораженные предчувствием явления спасителя, так же и эта несчастная, раздавленная жизнью старуха и ее стареющая дочь улыбались, озаренные светлой детской радостью слепого старца, — то была потрясающая картина, подобной мне не привелось видеть за всю свою жизнь.

Старый коллекционер упивался моими похвалами, он с жадностью ловил каждое слово, вновь и вновь открывая и закрывая папки, так что я с облегчением вздохнул, когда наконец ему все же пришлось очистить стол для кофе и лжеколлекция была убрана. Но как ничтожен был мой виноватый вздох облегчения по сравнению с бьющей через край радостью и веселым задором этого словно на тридцать лет помолодевшего старика! Он захмелел будто от вина: сыпал

анекдотами о своих покупках и удачных находках и поминутно высказывал из-за стола и плелся на ощупь, отказываясь от помощи, к своим папкам, чтобы еще и еще раз вынуть оттуда какую-нибудь гравюру. А когда я сказал, что мне пора уходить, он прямо-таки испугался; надувшись и топнув, как упрямый ребенок, ногой, он заявил, что это не дело, что я не просмотрел и половины всех гравюр. Немалого труда стоило женщинам убедить его не задерживать меня, говоря, что я могу опоздать на поезд.

Но когда, после отчаянных пререканий, старик вынужден был согласиться и наступили минуты прощания, он совсем растрогался. Взяв меня за руки, он нежно, со всем красноречием, на какое способны пальцы слепого, провел ими до самого запястья, как бы пытаясь таким образом узнать обо мне больше и выразить мне свою любовь сильнее, чем могли бы сделать любые слова.

— Вы доставили мне своим приходом огромную радость, огромную! — сказал он с глубоким, вырвавшимся из самых недр его существа волнением, которое тронуло меня до глубины души. — Ведь это для меня настоящее блаженство, что наконец-то, после такого долгого; долгого ожидания, я снова смог просмотреть со знатоком мои любимые гравюры. Но знайте, что вы не зря навестили слепого старика. Даю вам слово, жена в том свидетельница, что добавлю к своему завещанию еще один пункт, согласно которому право на распродажу моей коллекции будет принадлежать вашей почтенной фирме. На вашу долю выпадет честь быть хранителем этого никому не ведомого сокровища, — старик любовно погладил свои опустошенные папки, — до тех пор, пока оно не рассеется по белу свету. Обещайте мне только составить для этой коллекции хороший каталог: пусть он будет моим надгробным памятником — лучшего мне не надо.

Я взглянул на женщин: они стояли; тесно прижавшись друг к другу, и по временам нервно вздрагивали, причем дрожь передавалась от одной к другой, словно обе они были единым, потрясаемым одними и теми же чувствами существом. Да и у меня самого было как-то необычайно торжественно на душе, когда этот трогательный в своем неведении человек вручал моему попечению, как огромную ценность, свою незримую и давным-давно уже рассеявшуюся коллекцию. Я взволнованно обещал ему то, что выполнить был не в силах, и снова в мертвых зрачках его блеснула жизнь, и я почувствовал, как страстно желает он зримо представить себе мой облик: почувствовал по нежному, почти любовному пожатию его пальцев, когда рука его стиснула мою в знак прощания и признательности.

Обе женщины проводили меня до двери. Опасаясь чуткого слуха слепого, они не решались произнести ни слова; но зато какой горячей благодарностью сияли их полные слез глаза! Как во сне спустился я вниз по лестнице. По правде говоря, мне было стыдно. Я оказался вдруг чем-то вроде ангела из сказки и, войдя в убогое жилище бедняка, вернул на час зрение слепому, вернул только тем, что, способствуя спасительному обману, все это время беззастенчиво лгал, тогда как на самом деле я, жалкий торгаш, пришел в этот дом, чтобы выманить несколько ценных гравюр. Но я уносил оттуда нечто

гораздо более ценное: в наше смутное, безотрадное время мне вновь блеснула живая искра чистого вдохновения, того светлого духовного экстаза навеки преданной искусству души, к которому современники мои давно уже утратили способность. Я испытывал благоговение — иначе не назовешь это чувство, — и в то же время мне было чего-то стыдно, чего именно, я и сам не знал.

Когда я был уже на улице, наверху скрипнуло окно и кто-то окликнул меня по имени: то был старик; своим невидящим взором он смотрел туда, где, как ему казалось, я должен был находиться. Так далеко высунувшись из окна, что женщинам пришлось заботливо подхватить его с обеих сторон, он помахал мне платком и бодрым, юношески-звонким голосом крикнул: «Счастливого пути!»

Никогда не забыть мне этой картины: там, высоко в окне, радостное лицо седовласого старца, словно парящее над угрюмыми, вечно суетящимися и озабоченными пешеходами; лицо человека, вознесшегося на светлом облаке своей прекрасной иллюзии над нашей печальной действительностью. И мне припомнилось мудрое старое изречение — кажется, это сказал Гете: «Собиратели — счастливейшие из людей».

ЛЕПОРЕЛЛА

Имя ее было Кресченца Анна Алоиза Финкенгубер, возраст — тридцать девять лет, рождена вне брака в горной деревушке Циллертала. В графе «особые приметы» ее книжки домашней прислуги стояла черта, означающая «не имеется»; но если бы чиновникам вменялось в обязанность указывать характерные особенности внешнего облика, им достаточно было бы одного взгляда, чтобы записать: сильное сходство с ширококостой, худой, загнанной лошастью. Ибо, несомненно, было что-то лошадиное в этом смуглом, удлинённом и в то же время скуластом лице с отвислой нижней губой, в тусклых глазах, почти лишенных ресниц, и прежде всего в жестких, точно войлок, волосах, жирными прядями прилипших ко лбу. И походкой она напоминала выносливых упрямых лошадей, которые зиму и лето угрюмо волокут деревянные повозки вверх и вниз по тряским горным дорогам. Отдыхая после работы, Кресченца дремала, слегка отставив локти и сложив на коленях узловатые руки, безучастная ко всему, словно усталая кляча, которую только что распрягли и отвели в конюшню. Все в ней было жестко, топорно, тяжеловесно. Думала она медленно, понимала туго; все новое лишь с трудом, как сквозь густое сито, просачивалось в ее сознание. Но если какое-нибудь новое впечатление наконец проникало в ее мозг, она держалась за него цепко и жадно. Она никогда не читала — ни газет, ни молитвенника, — едва умела писать, и неуклюжие каракули в тетради расходов по кухне чем-то напоминали ее неповоротливую, угловатую фигуру, лишенную даже намека на женскую округлость форм. Таким же жестким, как лоб, бедра, руки, весь костяк, был и голос; невзирая на сочный тирольский говор, он скрипел, точно ржавое железо, что, впрочем, казалось вполне

естественным,— так редко Кресченца, никогда не произносившая лишнего слова, пользовалась им. И никто никогда не слышал ее смеха; это тоже сближало ее с животными, ибо неразумным божьим тварям, вместе с даром речи, безжалостно отказано в величайшем благе — в способности выражать свои чувства вольным и неудержимым смехом

Как незаконнорожденный ребенок, она была воспитана на средства общины, с двенадцати лет жила в людях, работала судомойкой на извозничьем заезжем дворе, где вызывала всеобщее удивление своим поистине яростным усердием, и наконец возвысилась до ранга поварахи в солидной гостинице для туристов. Изю дня в день Кресченца подымалась в пять утра и до поздней ночи скребла, чистила, мела, вытрясала, выколачивала, топила, стряпала, месила, катала, гладила, перемывала и гремела кастрюлями. Никогда не уходила со двора, нигде не бывала, кроме как в церкви; солнце заменял ей огненный круг конфорки, а лес — тысячи и тысячи поленьев, наколотых ею за долгие годы.

Потому ли, что четверть века ожесточенного тяжелого труда вытравили из нее все женственное, потому ли, что она сама круто и односложно пресекала все поползновения, мужчины не докучали ей. Единственной ее радостью были деньги, наличные деньги, которые она копила с упорством крестьянки и фанатизмом отверженной, не желавшей под старость снова давиться горьким хлебом общественного призрения в какой-нибудь богадельне. Только ради денег это темное существо в тридцать семь лет решилось впервые покинуть тирольские горы. Профессиональная посредница по найму прислуги, проводившая свой летний отдых в тех краях и видевшая, как Кресченца с утра до вечера надрывается на работе, сманила ее в Вену, посулив двойное жалованье. Всю дорогу Кресченца ничего не ела и не произнесла ни слова; тяжелую корзину со своим добром она держала на коленях и, хотя ноги сильно ныли, отклоняла все предложения соседей по купе пристроить корзину в багажную сетку, ибо воровство и обман были единственными понятиями, которые в ее неповоротливом уме связывались с мыслью о столичном городе. В Вене, в первые дни, ее приходилось провожать на рынок, потому что она боялась экипажей, как корова боится автомобиля. Но когда она привыкла к четырем улицам, по которым пролегал путь к рынку, она стала отлично обходиться без посторонней помощи; упорно глядя в землю, трусилась со своей хозяйственной сумкой туда и обратно и опять убирала, мыла, топила, возилась у новой плиты, не ощущая никакой перемены. В девять часов вечера, по деревенской привычке, она ложилась спать, крепко спала до утра, ровно дыша открытым ртом, и просыпалась только от звона будильника. Никто не знал, довольна ли Кресченца своим новым местом, а может быть, она и сама этого не знала; она ни к кому не ходила, в ответ на распоряжения хозяйки только бурчала «ладно, ладно» или, в случае несогласия, норовисто вскидывала плечи. Соседей и других служанок в доме она просто не замечала; насмешливые взгляды ее более легкомысленных товарок скатывались с нее, словно вода с дубленой кожи. Только однажды,

когда горничная стала передразнивать ее тирольский говор и, несмотря на упорное молчание Кресценцы, долго не отставала, та вдруг выхватила из топки горящую головешку и кинулась на завизжавшую от страха девушку. С тех пор все остерегались ее гнева и никто уже не осмеливался насмехаться над нею.

Каждое воскресенье Кресценца надевала широкую, в сборках, колом торчащую юбку, плоский деревенский чепец и отправлялась в церковь. И один-единственный раз, в свой первый свободный день в Вене, она совершила прогулку. Но в трамвай она не села, а шла пешком сквозь сутолоку оживленных улиц; не видя вокруг себя ничего, кроме каменных стен, она добралась до Дунайского канала; тут она постояла немного, поглядела, как на нечто давно знакомое, на стремительное течение, потом повернулась и зашагала обратно, держась поближе к домам и опасливо минуя мостовые. Эта первая и единственная прогулка, видимо, разочаровала ее, ибо с тех пор она проводила воскресные дни дома; сидя у окна, она либо шила, либо, сложив руки, просто смотрела на улицу. И так она привычно тянула лямку, и переезд в столицу не принес ей никаких перемен; давно заведенное колесо ее жизни вращалось по-прежнему, с той только разницей, что теперь к концу месяца вместо двух бумажек в ее красных, огрубелых, потрескавшихся руках оказывалось четыре. Бережно развернув кредитки, она долго и недоверчиво разглядывала их, потом почти с нежностью разглаживала и наконец убирала в желтую резную шкапулку, привезенную из деревни. Этот деревянный немудреный ящичек был ее самой сокровенной тайной, смыслом всей ее жизни. Ключ от шкапулки она клала на ночь под подушку; куда она прятала его днем — ни одна душа в доме не знала.

Таково было это странное человеческое существо (назовем ее так, хотя именно человеческие черты лишь смутно и приглушенно проступали в ее поведении), но, вероятно, только оградив себя шорами и плотно закупорив все пять чувств, и можно было вынести пребывание в не менее странном доме барона фон Ф. Обычно прислуга выдерживала царившую там накаленную атмосферу ровно столько, сколько полагалось по закону, и уходила, как только истекал установленный испытательный срок. Раздраженный, взвинченный до истерики тон задавала хозяйка. Эта перерзлая дочь богатого эссенского фабриканта, познакомившись на курорте с красивым молодым бароном (не слишком высокого рода и без гроша за душой), спешно женила на себе годившегося ей в сыновья обаятельного лощеного шалопая. Но едва миновал медовый месяц, как новобрачной, увы, пришлось сознаться, что правы были ее родители, которые предпочли бы более солидного и дельного зятя и потому энергично возражали против этого скоропалительного брака. Ибо, не говоря уже о многочисленных утаенных долгах, очень скоро обнаружилось, что быстро охладевший супруг уделяет несравненно больше внимания своим холостяцким развлечениям, чем супружеским обязанностям. Отнюдь не злой, даже добродушный, подобно всем легкомысленным людям, барон, однако, не обременял себя правилами морали, а всякое благоразумное помещение капитала этот полуаристократ презирал как свидетельство плебейской

узости и скопидомства. Он искал легкой, веселой жизни, жена — прочного домашнего уюта, добропорядочного мещанского благополучия. Это коробило барона, а когда выяснилось, что любую сколько-нибудь крупную сумму нужно выклянчивать и в довершение всего бережливая супруга отказалась исполнить его самое страстное желание — завести скаковую конюшню, он уже не видел никаких оснований считать себя мужем этой нескладной, костлявой провинциалки с севера Германии, чей громкий, повелительный голос неприятно резал слух. Не долго думая, он, как говорится, дал ей отставку и без грубости, но очень решительно оттолкнул уязвленную женщину. Когда она начала жаловаться, он вежливо и, казалось, даже сочувственно выслушивал ее, но стоило ей умолкнуть, как он отмахивался от ее горьких упреков, точно от дыма своей сигареты, и продолжал делать, что ему вздумается. Никакое открытое сопротивление не могло бы так ожесточить отвергнутую жену, как эта безукоризненная, почти официальная учтивость. Против его неизменно предупредительной, прямо-таки изысканной любезности она была бессильна и поэтому срывала накопившийся гнев на других; всю свою — впрочем, вполне понятную — ярость она обрушивала на ни в чем не повинную прислугу. Последствия не замедлили сказаться: за два года у нее сменилось шестнадцать служанок, причем уходу одной из них предшествовало оскорбление действием, и только с помощью весьма значительной компенсации удалось уладить это неприятное дело.

Среди всех домашних бурь только одна Кресченца, точно извозчицья лошадь под проливным дождем, сохраняла несокрушимое спокойствие. Она никогда не становилась на чью-нибудь сторону, ни во что не вмешивалась и, видимо, не замечала, что у девушек, с которыми она делила комнату для прислуги, то и дело менялись имена, цвет волос, запах и повадки. Сама она ни с кем не заговаривала и не обращала ни малейшего внимания на сердитое хлопанье дверью, прерванные трапезы, истерические припадки и обмороки. Она деловито и бесстрастно совершала путь из кухни на рынок и с рынка обратно на кухню; то, что происходило вне этого прочно огороженного круга, не занимало ее. Точно мерные взмахи неутомимого цепа, один за другим нескончаемой чередой проходили ее дни; так прожила она два года, и ничто не изменилось в ее узком внутреннем мирке, только пачка банок в деревянной шкатулке стала толще на целый дюйм, и когда Кресченца к концу года, помусолив палец, пересчитывала бумажки, она убеждалась, что уже недалеко до заветной суммы в тысячу крон.

Но случай работает алмазным буравом, а судьба знает сотни уловок и нередко с самой неожиданной стороны открывает себе доступ к твердокаменным, казалось бы, натурам и потрясает их до основания. Внешним поводом для этого в жизни Кресченцы послужило обстоятельство, почти столь же мало примечательное, как она сама: после десятилетнего промежутка правительство рассудило, что пора произвести перепись населения, и по всем домам и квартирам были разосланы чрезвычайно длинные и сложные анкеты. Не надеясь на разборчивость почерка и знание грамматических правил своей прислуги, барон предпочел самолично заполнить все рубрики и с этой

целью велел позвать в свой кабинет и Кресценцу. И вот когда она, отвечая на вопросы барона, сообщила свое имя, возраст и место рождения, оказалось, что он, страстный охотник и друг тамошнего крупного помещика, часто бил косуль в этом глухом альпийском уголке, и однажды с ним охотился — целых две недели — проводник из ее родной деревни. И так как вдобавок выяснилось, что этот самый проводник приходится Кресценце дядей, а барон был в благодушном настроении, то между ними, слово за слово, завязалась беседа, в ходе которой они сделали еще одно поразительное открытие, а именно: в той самой гостинице, где Кресценца служила кухаркой, барону как-то подали необыкновенно вкусную оленину; все это, конечно, были пустяки, мелочи, но Кресценце, впервые увидевшей в городе человека, который что-то знал о ее родине, эти случайные совпадения показались просто чудом. Она стояла перед бароном вся красная, взволнованная, жеманно и неуклюже отворачивалась, когда он шутил с ней — подражал тирольскому говору, спрашивал, умеет ли она петь, как поют у нее на родине, и тому подобное. Наконец, развеселившись от собственных дурачеств, он, следуя деревенскому обычаю, хлопнул ее по жесткому задку и, смеясь, сказал на прощанье:

— Ну, ступай, Кресценца, и вот тебе две кроны за то, что ты из Циллертала.

Разумеется, это происшествие само по себе не было ни романтичным, ни сколько-нибудь знаменательным. Но на Кресценцу, на ее приглушенные, словно дремлющие на дне души чувства пятиминутный разговор с бароном действовал точно камень, брошенный в болото: лишь постепенно, лениво образовывались круги на поверхности, медленно, очень медленно и тяжело расходились они, пока не коснулись края сознания. Впервые после почти трехлетнего молчания Кресценца разговорила о себе, да еще с кем? С человеком, который, живя здесь, в каменном хаосе, знает горы ее родины и даже однажды отведал зажаренной ею оленины! Она видела в этом чуть ли не волю providения. К тому же — развязное хлопанье по задку, которое, согласно правилам сельской галантности, означает молчаливый призыв и выражение нежных чувств. И хотя дерзкая мысль о том, что этот нарядный, выхоленный господин в самом деле имел на нее виды, и не приходила ей на ум, все же вольность его жеста разбудила в ней какие-то смутные мечтания.

И вот пустой, ничтожный случай явился толчком к тому, что в душе Кресценцы, в недрах ее существа, началось движение, которое мало-помалу, пласт за пластом, захватило ее всю и наконец породило совсем новое, неизведанное чувство; так бездомный пес, по внезапному наитию, из всех двуногих созданий, мелькающих вокруг него, выбирает одно и признает его своим господином; отныне он неотступно бежит за тем, кого над ним поставила судьба, встречает его громким лаем, радостно виляя хвостом, добровольно подчиняется ему и послушно следует по пятам. То же произошло и с Кресценцей: в ее внутренний мир, ограниченный до этого дня пятью простейшими понятиями — деньги, рынок, кухонная плита, церковь и сон, — внезапно вторглось нечто новое, что властно потребовало своего места, а все

старое отодвинуло в сторону. И как все крестьяне, никогда не расстающиеся с добром, однажды попавшим в их жесткие руки, так и Кресченца жадно ухватила за пробудившееся в ней чувство и грубо схоронила его на дне своего дремлющего сознания. Впрочем, это превращение далеко не сразу стало явным, да и первые признаки его были весьма обыденными; например, она чистила платье и обувь барона с каким-то неистовым усердием, по-прежнему предоставляя платье и обувь баронессы заботам горничной. Часто заглядывала в коридор и в господские комнаты, а услышав шелканье замка у входной двери, бежала в прихожую — принять у барона пальто и трость; с удвоенным старанием стряпала обед и даже с превеликим трудом, расспрашивая прохожих, добралась до главного рынка, чтобы раздобыть на жаркое кусок оленины. Кроме того, она стала более тщательно следить за своей наружностью.

Прошло недели две, прежде чем показались эти первые ростки, которые пустило в ее внутреннем мире новое чувство. И потребовалось много недель на то, чтобы наряду с ним выросло еще одно чувство, вскоре, однако, принявшее вполне определенную форму и окраску. Этим вторым чувством, служившим как бы дополнением к первому, была сначала безотчетная, неосознанная, а затем неприкрытая, жгучая ненависть к жене барона, к женщине, которая имела право жить в его доме, спать с ним, разговаривать и все же не платила за это такой благоговейной преданностью, какую питала к нему сама Кресченца. Потому ли, что она невольно стала приглядываться к своим хозяевам и оказалась свидетельницей семейной сцены, во время которой ее кумир подвергся самым унижительным обидам со стороны своей супруги, потому ли, что высокомерно-холодное обращение с прислугой чопорной северянки было вдвойне несносно Кресченце по сравнению с шутливой фамильярностью барона, — так или иначе, но ничего не подозревавшая хозяйка постоянно натывалась на упрямое противодействие своей кухарки, на ее плохо скрытую враждебность. Это проявлялось в тысяче мелочей; так, например, баронессе приходилось по меньшей мере дважды звонить, прежде чем Кресченца с нарочитой медлительностью и явной неохотой выходила на зов, причем ее воинственно приподнятые плечи недвусмысленно выражали готовность к решительному отпору. Распоряжения хозяйки она выслушивала в угрюмом молчании, так что баронесса никогда не знала, поняла ли ее Кресченца; если же она, для верности, обращалась к Кресченце с вопросом, та в ответ только сердито кивала головой или презрительно бросала: «Да уж слышала!» Или во время сборов в театр, когда баронесса в лихорадочной спешке заканчивала туалет, вдруг оказывалось, что пропал совершенно необходимый ключ, а через полчаса его неожиданно находили в каком-нибудь углу. Если баронессе просили что-нибудь передать или звонили по телефону, Кресченца никогда об этом не сообщала; на упреки хозяйки она, не выражая ни малейшего сожаления, отвечала с досадой: «А я забыла!» В глаза хозяйке Кресченца не смотрела — быть может, боялась выдать свою ненависть.

Между тем семейные ссоры не прекращались и между супругами разыгрывались все более тягостные сцены; очень вероятно, что непонятное озлобление Кресценцы отчасти было причиной раздражительности баронессы, усилившейся день ото дня. Слишком долгое девичество, расшатавшее ее нервы, холодность к ней барона и вызывающее враждебное поведение прислуги — все это привело к тому, что изнервничавшаяся женщина потеряла всякую власть над собой. Тщетно пичкали ее бромом и вероналом; искусственно сдерживаемое возбуждение с удвоенной силой прорывалось во время стычек, и дело кончалось истерическим припадком или обмороком, причем никто не проявлял ни малейшего участия и даже не пытался показать, будто искренне хочет ей помочь. Когда же врач, к которому все-таки обратились за советом, порекомендовал двухмесячное пребывание в санатории, обычно весьма невнимательный супруг столь рьяно одобрил это предложение, что баронесса, чуя недоброе, сперва наотрез отказалась ехать. Однако в конце концов она дала согласие; решено было, что горничная будет сопровождать свою хозяйку в санаторий, а Кресценца останется одна на всю большую квартиру обслуживать барона.

Весть о том, что благополучие хозяина будет вверено всецело ее заботам, подействовала на неповоротливый ум Кресценцы как сильно возбуждающее средство. Словно все жизненные соки этой женщины были заключены в волшебный сосуд и теперь, когда его сильно встряхнули, со дна его, из самых недр ее существа, поднялась скопившаяся затаенная страсть и совершенно преобразила ее. Казалось, ледяной покров, скрывавший Кресценцу, внезапно растаял; от прежней неуклюжей медлительности не осталось и следа; движения, походка стали легкими, гибкими. Назлектризованная радостной вестью, она носилась по комнатам, бегала вверх и вниз по лестнице; не дожидаясь распоряжений, помогала готовиться к отъезду, собственноручно уложила все чемоданы и сама отнесла их в карету. А вечером, когда барон вернулся с вокзала и, отдавая подбежавшей Кресценце трость и пальто, со вздохом облегчения сказал: «Благополучно выпроводил!» — произошло нечто небывалое: вокруг плотно сжатого рта Кресценцы, никогда доселе не смеявшейся, началось какое-то странное подергивание, губы скривились, растянулись — и вдруг на ее лице появилась такая беззастенчивая, радостная ухмылка, что барона покорило, и он молча, стыдясь своей неуместной откровенности, ушел к себе в комнату.

Но эта мимолетная неловкость быстро исчезла, и уже в ближайшие дни оба они, господин и служанка, с полным единодушием наслаждались упоительным ощущением неограниченной свободы. Отъезд баронессы разогнал нависшие над всем домом грозные тучи; счастливый супруг, избавленный от тяжелой обязанности давать отчет в своих поступках, в первый же вечер пришел домой очень поздно, и молчаливая услужливость Кресценцы явилась благодатным отдыхом после слишком многоречивого приема, который обычно оказывала ему жена. Кресценца в свою очередь с неистовым рвением хлопотала по хозяйству: вставала на рассвете, до блеска начищала дверные и оконные ручки, как одержимая скребла и мыла, изобретала необыкновенно

лакомые блюда, и уже в первый день, за обедом, барон с удивлением увидел, что для него одного выложено самое массивное столовое серебро, которое вынималось из буфета только в особенно торжественных случаях. Вообще говоря, барон не отличался внимательным отношением к окружающим, но и он не мог не заметить заботливой, почти чуткой предупредительности этого странного создания; и так как по натуре он был человек добродушный, то и не скупился на похвалы. Он с видимым удовольствием отдавал должное ее искусной стряпне, время от времени обращался к ней с приветливым словом, а когда однажды утром, в день именин барона, на столе появился торт с его инициалами и обсахаренным гербом, он весело засмеялся и сказал:

— Да ты меня совсем избалуешь, Ченци! А что же со мной будет, если, упаси бог, прикатит моя жена?

Однако барон все же выдерживал характер и не сразу дал себе полную волю. Но затем, угадав по многим признакам, что Кресченца его не выдаст, он завел в своем доме прежние холостяцкие порядки. На четвертый день своего соломенного вдовства он позвал к себе Кресченцу и без долгих объяснений невозмутимым тоном распорядился, чтобы она вечером подала холодный ужин, поставила два прибора, а сама ложилась спать,—остальное он все сделает без нее. Кресченца выслушала его молча, не моргнув глазом; ничто не указывало на то, что она поняла истинный смысл его слов. Но очень скоро барон убедился, что Кресченца отлично знала, что имел в виду ее хозяин, ибо, когда он поздно вечером вернулся из театра в обществе молоденькой ученицы оперной студии, не только стол был изысканно сервирован и украшен цветами, но и в спальне обе кровати оказались приготовленными на ночь, и юную посетительницу ждали домашние туфли и шелковый халат баронессы. Вырвавшийся на свободу супруг невольно расхохотался, увидев столь ревностное усердие своей кухарки; всякое стеснение перед этой преданной соучастницей отпало само собой, и уже на другое утро он вызвал ее звонком, чтобы она помогла одеться даме его сердца, чем окончательно скрепил их молчаливое соглашение.

Тогда же Кресченца получила новое имя. Веселая подруга барона, которая как раз в те дни разучивала партию донны Эльвиры и в шутку величала возлюбленного Дон Жуаном, однажды сказала ему: — Позови-ка свою Лепореллу! — Это рассмешило барона — испанское имя никак не подходило к сухопарой тирольке, — и отныне он иначе не называл ее, как Лепорелла. Кресченца, впервые услышав непривычное имя, с недоумением подняла глаза, но, пленившись его благозвучием, приняла прозвище, которым ее наделили, с гордостью, словно ей пожаловали почетное звание: каждый раз, когда барон весело кричал ей: «Лепорелла!» — ее узкие губы раздвигались, открывая ряд желтых лошадиных зубов, и она подобострастно, словно виляющая хвостом собака, подходила к своему повелителю, чтобы выслушать его волю.

Имя было дано в шутку; но будущая примадонна и не подозревала, как безошибочно метко она окрестила служанку барона и как

поразительно точно имя «Лепорелла» определяло это странное создание, ибо не знаящая любви, высохшая старая дева, подобно наперснику Дон Жуана, находила какую-то непонятную прелесть в похождениях своего господина. Радовалась ли она тому, что каждое утро видела постель ненавистной хозяйки опозоренной то одной, то другой случайной гостьей, или в ней самой просыпались тайные желания, но эта набожная, неприступная девственница с какой-то неистово пламенной готовностью помогала барону в его любовных проказах. Сама она, измотанная десятилетиями тяжелого труда, давно стала существом бесполом и теперь грелась у чужого огня, с вожделением сводни провожая взглядом до дверей спальни часто сменявшихся посетительниц: точно едкая протрава, действовала на ее дремлющее сознание эта пряная атмосфера, это приобщение к любовным интригам барона. Кресценца поистине превратилась в Лепореллу и стала такой же расторопной, бойкой и сметливой, как ее жизнерадостный тезка; в ней появились совсем новые, неожиданные черты — словно они выросли в жаркой теплице ревностного соучастия, — какая-то хитрость, лукавство, находчивость, что-то пронырливое, настороженное и бесшабашное. Она подслушивала у дверей, подглядывала в замочную скважину, шныряла по комнатам, шарила в кроватях; почуяв новую дичь, вихрем носилась вверх и вниз по лестнице, и мало-помалу острое любопытство, неусыпное, жадное внимание преобразили бесчувственный истукан, каким она казалась, в подобие живого человека. К величайшему удивлению соседей, Кресценца вдруг стала общительной; она болтала с горничными, неуклюже заигрывала с почтальоном, на рынке вступала в разговор с торговками, и однажды вечером, когда во дворе уже погасли фонари, прислуга в доме напротив услышала странное мурлыканье, доносившееся из обычно безмолвного окна: неумело, скрипучим голосом Кресценца напевала одну из тех песенок, которые вечерами поют тирольки на альпийских пастбищах; нестройно, тяжело, точно спотыкаясь, вырывалась бесхитростная мелодия из непривычных уст, и все же в ней чувствовалось что-то далекое и трогательное. Впервые со времени своего детства Кресценца пыталась петь, и эти корявые звуки, с трудом пробивавшиеся к свету из мрака загубленных лет, невольно хватали за душу.

Барон — нечаянный виновник этого чудесного превращения — меньше всех замечал перемену в Кресценце, ибо кто же оглядывается на свою тень? Знаешь, что она неизменно и бесшумно идет за тобой по пятам, иногда забегают вперед, будто твое еще не осознанное желание, но как редко присматриваешься к ней, пытаешься узнать самого себя в этом нелепо искаженном облике! Барон ничего не видел в Кресценце, кроме того, что она всегда готова услужить, немногословна, исполнительна и предана ему до самозабвения. Он особенно ценил невозмутимую, молчаливую почтительность, которую она выказывала в самых рискованных положениях; иногда снисходительно, словно гладил собаку, ронял приветливое слово, иногда милостиво шутил с нею, даже игриво дергал за ухо; а то дарил кредитку или билет в театр — для него сущие пустяки, которые он небрежным движением вытаскивал

из жилетного кармана, а для нее — набожно хранимые священные реликвии.

Постепенно он привык думать вслух при Кресценце, давал ей все более сложные поручения, и чем больше доверия он ей оказывал, тем усерднее и подобострастнее она служила ему. В ней все сильнее развивался какой-то странный инстинкт, что-то похожее на чутье гончей: она без устали вынюхивала, выслеживала малейшие желания барона и не только тут же исполняла их, но даже предупреждала; вся ее жизнь, собственные ее помыслы и надежды словно переселились в барона; она смотрела его глазами, слышала его ушами, делила его приключения и победы в каком-то почти извращенном упоении. Она вся сияла, когда барон приводил еще одну новую женщину, и с явным разочарованием, почти с обидой встречала его, если он возвращался домой без спутницы; ее некогда сонная мысль работала теперь так же проворно и стремительно, как прежде работала только руки, а в тусклых глазах зажегся живой, пылкий огонек. В загнанной, измотанной тяжелым трудом кляче пробудился человек, но человек темный, замкнутый, хитрый и опасный, полный коварных замыслов и готовый на любые козни.

Однажды барон, вернувшись домой раньше обычного, с удивлением остановился посреди прихожей: не ослышался ли он? Из кухни, где неизменно царила мертвая тишина, доносились голоса и смех. И вот в дверях уже показалась Лепорелла, смущенно и вместе с тем как-то вызывающе теребя передник.

— Простите, сударь, — сказала она, глядя в пол, — у меня тут сидит девушка — хозяйская дочка из пекарни напротив, красивенькая... уж так ей охота с вами познакомиться.

Барон с недоумением посмотрел на Кресценцу, не зная, выругать ли ее за такое назойливое сводничество или посмеяться над чрезмерным усердием своей Лепореллы. Но мужское любопытство взяло верх, и он сказал:

— Ну что ж, дай-ка я погляжу на нее.

Девушка — свеженькая шестнадцатилетняя блондинка, которую Кресценца давно уже приманивала лстивыми словами и уговорами, — в самом деле часто заглядывалась с полудетским восхищением на изящного щеголя; вся красная от смущения, подталкиваемая сзади Кресценцей, она вышла в прихожую и, глупо хихикая, вертеться во все стороны, остановилась перед бароном. Тот нашел ее прехорошенькой и предложил вместе выпить чаю в его комнате. Девушка, не решаясь сразу принять приглашение, оглянулась на Кресценцу, но та уже успела скрыться на кухню, и птичка попала в силки: взволнованная, сгорая от любопытства, она последовала за гостеприимным хозяином.

Но природа не делает скачков: хотя под влиянием нелепо извращенного чувства в этом застеночном, отупевшем создании и пробудилось нечто похожее на духовную жизнь, все же не приученная к работе мысль не умела заглядывать в будущее и, подобно недальновидному инстинкту животных, откликалась только на непосредственные раздражители. Замурованная в своей страсти, одержимая одним желанием — всячески угождать обожаемому господину, Кресценца и ду-

мать забыла о баронессе. Тем ужаснее было пробуждение: как гром среди ясного неба прозвучали слова барона, когда однажды утром, хмурый и злой, держа в руках письмо, он мрачно объявил ей, чтобы она прибрала квартиру, потому что завтра его жена приезжает из санатория. Кресценца поблдедела и застыла на месте с открытым ртом; страшное известие как ножом резануло ее по сердцу. Она не могла вымолвить ни слова и только бессмысленно таращила глаза, словно не поняла барона. И такой смертельный испуг, такое безмерное отчаяние было написано на ее лице, что барон счел нужным приободрить ее.

— Ты, я вижу, тоже не очень-то рада, Ченци,— дружески сказал он. — Но тут уже ничем не поможешь.

Окаменевшие черты Кресценцы ожили. Мертвенно бледные щеки багрово покраснели. Что-то поднималось из самых глубин ее существа, с неимоверным усилием пробивалось наружу, медленно, словно выталкиваемое мучительным сжатием сердца, подступало к горлу; наконец кадык судорожно задвигался, и сквозь стиснутые зубы глухо вырвалось:

— А можно бы... можно бы... и помочь...

Точно смертоносный выстрел отдались эти слова в ушах барона. И такой злобой, такой угрюмой решимостью дышало искаженное лицо Кресценцы, что он вздрогнул и невольно отступил на шаг. Но она уже повернулась к нему спиной и начала столь яростно начищать медную ступку, словно хотела переломать себе все пальцы.

С приездом баронессы в доме опять поднялась буря — хлопали двери, по комнатам словно гулял свирепый ветер, изгоняя царивший здесь в отсутствие хозяйки дух мирного уюта и любовных утех. Быть может, обманутая супруга узнала от соседей или из анонимных писем, как бесстыдно барон злоупотребил своим правом хозяина дома, или ее оскорбила нескрываемая досада и раздражительность, с какой он ее встретил, — так или иначе, но двухмесячное лечение в санатории, видимо, мало ей помогло, ибо по-прежнему истерические припадки сменялись угрозами и безобразными сценами. День ото дня отношения между супругами ухудшались. С месяц барон еще стойко выдерживал ожесточенный натиск упреков, отражая его испытанным оружием: как только жена начинала грозить разводом или сулила написать обо всем своим родителям, он становился изысканно вежлив и давал туманные, уклончивые обещания. Но его бездушное, невозмутимое спокойствие только усугубляло болезненную нервозность одинокой женщины, постоянно чувствовавшей затаенную враждебность домашних.

Кресценца опять замкнулась в каменном молчании. Но теперь это молчание было заносчивым и дерзким. В день приезда баронессы она упрямо не выходила из кухни, а когда та сама вызвала ее, Кресценца даже не поздоровалась со своей хозяйкой. Втянув голову в приподнятые плечи, она угрюмо выслушала вопросы и так сердито отвечала на них, что баронесса наконец потеряла терпение и отвернулась: она не видела, как Кресценца метнула ей в спину бешеный взгляд, горящий лютой ненавистью. Возвращение хозяйки лишило ее всех приобретенных прав, она чувствовала себя обворованной, несправедливо униженной; после радостного, пылкого служения своему господину ее опять

столкнули в кухню, к плите, отняли дружественное прозвище «Лепорелла». Барон предусмотрительно остерегался выказывать при жене свое доброжелательное отношение к Кресценце. Но иногда, утомленный очередной семейной сценой, испытывая потребность отвести душу, он в поисках участия украдкой пробирался к ней на кухню, садился на деревянный табурет и со стоном говорил:

— Я больше не могу.

Эти мгновения, когда боготворимый ею хозяин искал у нее прибежища от своих бед, были наивысшим счастьем для Лепореллы. Она не решалась произнести ни слова в ответ или в утешение; молча, вся уйдя в себя, она сидела против него, только время от времени поднимала глаза и устремляла горестный, жалостливый взгляд на своего порабощенного бога, и это немое сочувствие утешало барона. Но стоило ему уйти из кухни, как лицо ее опять искажалось от гнева и тяжелые руки с остервенением колотили по мясу или терли кастрюли и серебро.

Атмосфера в доме становилась все душливее, и наконец разразилась гроза: барон, долго и терпеливо, с притворным смирением провинившегося школьника слушавший горькие упреки жены, вдруг взорвался и выбежал вон, изо всей мочи хлопнув дверь.

— Хватит с меня! — крикнул он таким громовым голосом, что в доме зазвенели все стекла. Побагровев от бешенства, не владея собой, он влетел на кухню и приказал трепетавшей, как натянутая тетива, Кресценце: — Сейчас же уложи мой чемодан и достань ружье! Я уезжаю на охоту. Вернусь через неделю. В этом аду сам черт не выдержит! Пора положить этому конец.

Кресценца с восторгом смотрела на него: теперь опять он хозяин! Хриплый смехок вырвался из ее гортани:

— Верно, сударь, пора положить конец.

И с лихорадочным рвением, носясь как угорелая по комнатам, она вытаскивала из шкафа, снимала со столов нужные вещи, вся дрожа от неистового волнения. Потом она сама снесла вниз чемодан и ружье. Барон хотел на прощанье поблагодарить ее за усердие, но, взглянув ей в лицо, испуганно отвел глаза: на ее узких губах опять играла та самая коварная ухмылка, которая так ужаснула его при отъезде баронессы. Невольно ему представился хищный зверь, подобравшийся для прыжка. Но лицо Кресценцы уже опять было бесстрастно, и она только шепнула ему с необычной, почти оскорбительной фамильярностью:

— Езжайте, сударь, с богом, а я уж все сделаю.

Три дня спустя барона срочной телеграммой вызвали домой. На вокзале его встретил двоюродный брат. И с первого взгляда на взволнованное, растерянное лицо своего родственника встревоженный барон понял, что стряслась беда. После нескольких осторожных подготовительных слов тот сообщил, что жену барона нашли утром мертвой в постели, а вся комната была пропитана запахом газа. К сожалению, продолжал двоюродный брат, возможность несчастного случая исключается, ибо сейчас, в мае, газовой печкой незачем пользоваться; факт самоубийства подтверждает еще и то обстоятельство,

что бедная женщина приняла на ночь веронал. К тому же Кресченца, кухарка, которая одна была дома в тот вечер, показала, что она слышала, как хозяйка ночью выходила в прихожую, видимо для того, чтобы открыть тщательно завернутый газовый кран. Основываясь на этом показании, врач полицейского управления исключил возможность несчастного случая, и в протоколе так и записано, что причина смерти — самоубийство.

Барона бросило в дрожь. Когда двоюродный брат сообщил о показании Кресченцы, у него похолодели руки: тягостное, мерзкое ощущение, словно тошнота, подступило к горлу. Но он усилием воли подавил мучительную догадку и вместе с двоюродным братом поехал домой. Тело уже было увезено, в гостиной с мрачными, враждебными лицами сидели родственники; их соболезнования были холодны, как лезвие ножа. Они сочли своим долгом тоном осуждения указать ему на то, что «скандала», как это ни прискорбно, замять не удалось, потому что горничная утром выбежала на лестницу с истошным криком: «Убила себя! Хозяйка моя убила себя!» Похороны будут самые тихие — опять блеснуло холодное лезвие ножа, — ибо, к сожалению, всевозможные слухи уже раньше успели возбудить в обществе нежелательное любопытство.

Угрюмый, молчаливый барон рассеянно слушал, не подымая глаз: только один раз он невольно посмотрел на закрытую дверь в спальню, но тотчас трусливо отвел взгляд. Ему хотелось додумать до конца какую-то неотступно терзавшую его мысль, но пустые и злобные речи родных не давали сосредоточиться. Еще с полчася он видел вокруг себя черные фигуры, слышал бессмысленные слова; потом родственники друг за другом попрощались и ушли. Он остался один в опустевшей полутемной комнате, точно оглушенный ударом, чувствуя глухую боль в висках и слабость во всем теле.

В дверь постучали. Он испуганно вздрогнул и крикнул: «Войдите!» И вот за его спиной послышались нерешительные шаги, тяжелые, шаркающие, хорошо знакомые шаги. Барону вдруг стало жутко; шею точно зажали тиски, а по коже, от лица до колен, поползли мурашки; он хотел обернуться, но мышцы не повиновались ему. Так он и остался стоять посреди комнаты, дрожа как в ознобе, опустив негнущиеся, словно окаменевшие руки, не в силах произнести ни слова и в то же время отчетливо понимая, какое явное признание вины в этой малодушной неподвижности.

Но тщетно пытался он встряхнуться — он и пальцем пошевелить не мог. И тут он услышал голос, который произнес самым ровным, самым сухим, бесстрастным и деловитым тоном:

— Я только спросить — дома будете обедать или пойдете куда?

Барона все сильнее била дрожь, от внутреннего холода спирало дыхание; трижды открывал он рот, чтобы ответить, и наконец едва выдавил из себя:

— Нет, обеда не нужно.

Шаги, шаркая, удалились; он так и не обернулся.

Внезапно оцепенение покинуло его; он дернулся всем телом, словно по нему прошла судорога, кинулся к двери и дрожащей рукой

повернул ключ: лишь бы только эти шаги, эти ненавистные, зловещие шаги больше не приближались к нему! Потом он упал в кресло, безуспешно пытаясь подавить мысль, которую не хотел додумать и которая, вопреки всем усилиям, холодная и липкая, как улитка, снова и снова вползала в сознание. И эта назойливая мысль, внушавшая ему отвращение, противная, скользкая, полностью завладела им и не оставляла его всю долгую, бессонную ночь и следовавшие за ней дневные часы,— даже во время похорон, когда он, весь в черном, стоял в головах гроба.

На другой день после похорон барон спешно уехал из города: слишком невыносимы были ему лица знакомых, на которых среди изъятий сочувствия он ловил (или ему это только мерещилось?) какое-то странное, испытующе-подозрительное выражение. И даже мертвые предметы глядели гневно и укоризненно; каждая вещь в квартире, и особенно в спальне, где еще не выдохся сладковатый запах газа, казалось, гнала его прочь, едва он открывал дверь. Но самым мучительным кошмаром, во сне и наяву, было для него холодное, невозмутимое бесстрашие его бывшей доверенной, которая ходила по опустевшему дому, как будто решительно ничего не произошло. С того мгновения, когда двоюродный брат на вокзале упомянул ее имя, барон страшился встречи с ней. Стоило ему услышать ее шаги, как его охватывало смятение; он не выносил ее вялой, шаркающей походки, ее холодного, немого спокойствия. Его мучило от одной мысли о ней, о ее скрипучем голосе, жирных волосах, о ее тупом, скотском бесчувствии; и, злобясь на нее, он злился и на самого себя за то, что у него не хватает сил разорвать эти узы, сбросить душившую его петлю. Он видел только один выход: бегство. Тайком, не сказав Кресценце ни слова, он собрался в дорогу, а ей оставил наспех нацарапанную записку с сообщением, о том, что он уехал к друзьям в Каринтию.

Барон пробыл в отлучке все лето. Только один раз ему пришлось вернуться на несколько дней в Вену, куда его вызвали по делам наследства; но он предпочел остановиться в гостинице и даже не уведомил о своем приезде ожидавшую его Кресценцу. Она так и не узнала, что он в городе, потому что ни с кем не разговаривала. Ничем не занятая, угрюмая, она, как сыч, целыми днями неподвижно сидела на кухне, ходила в церковь не только в воскресенье, но и в будни, получала через поверенного барона распоряжения и деньги; о нем самом не было ни слуху ни духу. Он не писал ей, ничего не просил ей передать. И она молча ждала; лицо у нее осунулось, черты заострились, движения опять стали угловатыми; и так она ждала и ждала, неделями, в каком-то странном окостенении.

Осенью накопившиеся неотложные дела заставили барона прервать свой отпуск — пришлось вернуться к себе. На пороге дома барон остановился в нерешительности. За два месяца, проведенных в кругу близких друзей, многое почти забылось; но сейчас, когда ему предстояло снова соприкоснуться со своим кошмаром, быть может со своей сообщницей, он опять испытывал то же тошнотворное, судорожное

стеснение в груди. Медленно подымался он по ступеням лестницы, и с каждым шагом ледяная рука ближе и ближе подбиралась к горлу. А когда он дошел до своей двери, ему понадобилась вся его воля, чтобы заставить онемевшие пальцы повернуть ключ в замке.

Крещенца услышала щелканье замка и выбежала из кухни. Увидев барона, она побледнела и замерла на месте, но в ту же минуту, словно хотела поскорее спрятать лицо, нагнулась за чемоданом. Поздороваться с ним она забыла. Он тоже не произнес ни слова. Молча внесла она чемодан в его комнату, молча последовал он за ней. Молча ждал, глядя в окно. Как только она вышла, он запер дверь на ключ.

Так они встретились после двухмесячной отлучки барона.

Крещенца ждала. Ждал и барон — пройдет ли ощущение ледящего кровь ужаса, которое охватывало его при ее появлении. Но оно не проходило. Еще не видя ее, только слышав ее шаги, он уже чувствовал приступ тошноты. Утром, не дотронувшись до завтрака, не сказав ей ни слова, он поспешно убежал из дому и возвращался поздно вечером — лишь бы не видеть ее. Самые необходимые поручения, с которыми волей-неволей приходилось к ней обращаться, он давал отвернувшись, не глядя на нее. Он не мог дышать одним воздухом с этим зловещим призраком.

Крещенца молча сидела весь день на кухне, не сходя с деревянного табурета. Для себя она больше не стряпала. Есть она не могла, людей сторонилась. Она только сидела и покорно ждала, как побитая собака, которая знает, что провинилась, и ждет, когда хозяин опять свистнет, подзывая ее. Она плохо понимала, что произошло; терзалась она только убийственным сознанием, что ее господин, ее бог отвернулся от нее, прогнал от себя.

На третий день после возвращения барона у дверей позвонили. На пороге стоял седой благообразный мужчина, гладко выбритый, с чемоданом в руке. Крещенца хотела выпроводить его. Но незнакомец настойчиво потребовал, чтобы она доложила о нем, объяснив, что он новый слуга и господин барон велел ему прийти к десяти часам. Крещенца побелела как мел и так и замерла на месте, подняв руку с растопыренными пальцами. Потом рука ее упала, словно подстреленная птица.

— Идите сами, — буркнула она изумленному камердинеру и ушла на кухню, с треском захлопнув за собой дверь.

Новый слуга остался. Отныне барон мог не говорить Крещенце ни слова, все распоряжения отдавались ей через солидного, пожилого камердинера. О том, что делалось в доме, она не знала, все катилось поверх нее, как холодная волна, заливающая камень.

Так продолжалось две недели. За это время Крещенца зачахла, как от тяжелой болезни; щеки ввалились, волосы на висках сразу поседели. И раньше медлительная, она теперь словно окаменела. Часами сидела она как истукан на своем табурете, уставясь пустым взглядом в пустое окно; когда же бралась за работу, то делала все с таким ожесточением, точно вымещала на ком-то свою злобу.

Но вот однажды утром камердинер вошел в комнату барона, и тот, по скромно выжидательной позе своего слуги, сразу понял, что он имеет сообщить нечто важное. Камердинер уже и раньше жаловался на неуживчивый нрав «тирольской деревенщины», как он презрительно называл Кресценцу, и предлагал дать ей расчет. Тогда эти слова почему-то неприятно задели барона, он пропустил их мимо ушей, и камердинер с поклоном удалился. Но в этот раз он упрямо настаивал на своем и наконец, покраснев от смущения и запинаясь, признался: пусть господин барон не сочтет его дураком... но он не знает, как иначе сказать... только он боится ее. Эта злющая ведьма просто невыносима, и господин барон даже не подозревает, какого опасного человека держит в своем доме.

Барон невольно вздрогнул. На вопрос — что он хочет этим сказать? — камердинер ответил уклончиво: ничего определенного он сообщить не может, однако убежден, что это бешеный зверь, от которого всего можно ждать. Вот, к примеру... вчера, уже отдав распоряжение, он случайно обернулся и тут перехватил такой взгляд... конечно, про взгляд многого не скажешь, но ему показалось, что она сейчас вцепится ему в горло. И теперь он боится ее, боится дотронуться до еды, которую она готовит.

— Вы сударь, не знаете, какой это страшный человек, — заключил он. — Она молчит и молчит, ни гугу, но, верно вам говорю, такая убить может.

Барон, похолодев, испуганно посмотрел на обличителя. Что он знает? Кто внушил ему подозрение? У него задрожали руки, и он तोпливо отложил сигару, чтобы трепещущая струйка дыма не выдала его волнения. Но на лице старого слуги он не прочел никакой задней мысли, — нет, ему ничего не известно. Барон медлил с ответом. Наконец, собравшись с духом и уступая собственному тайному желанию, он сказал:

— Подождем еще немного. Но если она опять будет злиться на тебя, ты просто откажи ей от моего имени.

Камердинер, поклонившись, вышел из комнаты, и барон со вздохом облегчения откинулся на спинку кресла. Всякое напоминание об этом загадочном существе портило ему весь день. Лучше всего, соображал он, отделаться от нее, когда его не будет дома, может быть во время рождественских праздников; одна мысль о желанном избавлении доставляла ему истинную радость. «Да, да, лучше всего на рождестве, когда меня не будет», — говорил он себе.

Но уже на другой день, как только он встал из-за стола и вернулся в свою комнату, в дверь постучали. Рассеянно подняв глаза от газеты, он пробурчал: «Войдите!». И вот послышались тяжелые, шаркающие шаги, ненавистные шаги, которые постоянно мерещились ему во сне. Когда Кресценца, худая, как скелет, вся в черном, вошла в комнату, барон ужаснулся: на него глянуло обтянутое кожей бледное лицо, похожее на гипсовую маску мертвеца. Увидев, что она смиренно остановилась у края ковра, барон почувствовал что-то вроде жалости к этому внутренне растоптанному созданию. И чтобы скрыть невольное замешательство, он прикинулся ничего не знающим.

— Ну, что тебе, Кресченца? — спросил он. Но, вопреки его намерению, ободряющего, сердечного тона не получилось, вопрос прозвучал холодно и зло.

Кресченца стояла, не шевелясь, упорно глядя в пол. Наконец она проговорила отрывисто, словно с силой отталкивая что-то от себя:

— Антон мне отказал. Он говорит, что вы велели дать мне расчет.

Барон, нахмурившись, встал с кресла. Он не ожидал, что это произойдет так скоро. Не зная, что ответить, он начал, заикаясь, говорить наугад первое, что ему пришло на ум: что Антон, вероятно, просто погорячился, а ей следует получше ладить с другими слугами, и тому подобные пустяки.

Но Кресченца неподвижно стояла перед ним, не отрывая глаз от ковра. С ожесточенным упорством, приподняв плечи и низко опустив голову, словно выставивший рога бык; она, будто не слыша примирительных речей барона, ждала одного-единственного слова — но этого слова не было. И когда он, утомившись, умолк, досадуя на то, что ему приходится разыгрывать неприглядную роль обманщика перед своей кухаркой, Кресченца продолжала строптиво молчать. Наконец она выговорила с усилием:

— Я только хочу знать: господин барон сам велел Антону рассчитывать меня?

Вопрос прозвучал жестко, настойчиво, колюче. Барон, и так уже расстроенный неприятным разговором, отшатнулся, словно его толкнули в грудь. Что это — угроза? Она бросает ему вызов? И сразу все его малодушие, всю жалость как рукой сняло. Долго копившаяся гадливая ненависть прорвалась в жгучем желании раз и навсегда положить конец. Круто переменив тон, с той деловитой холодностью, к которой его приучила служба в министерстве, он сухо подтвердил: да, да, совершенно верно, он действительно предоставил камердинеру самостоятельно решать все хозяйственные дела. Он лично, разумеется, желает ей добра и даже постарается отменить увольнение. Но если она упорствует и не хочет жить в мире с Антоном, то он да, он вынужден отказаться от ее услуг.

Барон умолк и, собрав всю свою волю, с твердым намерением не дать себя запугать каким-нибудь скрытым намеком или слишком фамильярным словом, вперил в Кресченцу строгий, решительный взгляд.

Но в глазах Кресченцы, которые она робко подняла на барона, не было и тени угрозы: так смотрит смертельно раненный зверь, когда на него из-за кустов кидается свора гончих.

— Спасибо... — проговорила она чуть слышно. — Уйду уж... не буду больше докучать господину барону...

И медленно, ссутулившись, не оглядываясь и тяжело волоча негнущиеся ноги, она вышла из комнаты.

Вечером, вернувшись из театра, барон подошел к письменному столу, чтобы взять полученную почту, и вдруг заметил какой-то незнакомый четырехугольный предмет. Он зажег настольную лампу и при свете ее разглядел деревянную резную шкатулку, какие делают сельские мастера. Она не была заперта на ключ, и барон открыл ее: там, в безукоризненном порядке, лежали скудные дары, которые

Кресценца получила от него за все время: несколько открыток, присланных с охоты, два театральные билета, серебряное колечко, аккуратно перевязанная пачка банкнот и моментальная фотография, снятая в Тироле двадцать лет тому назад; Кресценцу, видимо, испугала вспышка магии, и на снимке взгляд у нее был такой же затравленный и горестный, как при сегодняшнем прощанье.

Несколько озадаченный, барон отодвинул шкатулку и, выйдя в коридор, спросил Антона, с какой стати вещи Кресценцы очутились у него на столе. Камердинер с готовностью отправился за своим врагом, чтобы призвать его к ответу. Но Кресценцы не оказалось ни на кухне, ни в комнатах. И только назавтра, когда в отделе происшествий утренней газеты появилось сообщение о том, что женщина лет сорока покончила с собой, бросившись в воду с моста через Дунайский канал, они оба поняли, что незачем спрашивать, куда скрылась Лепорелла.

МЕНДЕЛЬ-БУКИНИСТ

Я снова жил в Вене, и однажды вечером, возвращаясь домой с окраины города, неожиданно попал под проливной дождь, своим мокрым бичом проворно загнавший людей в подъезды и под навесы; я и сам бросился отыскивать спасительный кров. К счастью, в Вене на каждом углу вас поджидает кафе, и я в промокшей шляпе и насквозь мокрым платье вбежал в одно из ближайших. Это оказалось самым обыкновенным, шаблонным кафе старовенского, патриархального типа, без оркестра и прочих заимствованных в Германии модных приманок, которыми щеголяли кафе на главных улицах; посетителей было много — мелкий люд, поглощавший больше газет, чем пирожных. Несмотря на табачный дым, который сизыми спиралями пронизывал и без того удушливый воздух, в кафе было уютно и чисто благодаря новой плюшевой обивке на сиденьях и блестящей алюминиевой кассе; второпях я даже не потрудился взглянуть на вывеску — да и к чему? Я сел за столик и, быстро согревшись в теплой комнате, стал нетерпеливо поглядывать на окна, затянутые голубой сеткой дождя, — скоро ли благорассудится несносному ливню продвинуться на несколько километров дальше.

Итак, я сидел в полной праздности, и мало-помалу мной овладела та расслабляющая лень, которую, подобно наркозу, незримо источает каждое истинно венское кафе. Рассеянно разглядывал я лица посетителей, казавшиеся землистыми в искусственном свете наполненного табачным дымом помещения, наблюдал за кассиршей, словно автомат отпускавшей кельнерам сахар и ложечку к каждой чашке кофе, бессознательно, в полудремоте, читал скучнейшие плакаты на стенах и почти наслаждался этим отупением. Но вдруг, по какой-то непонятной причине, я очнулся; какое-то внутреннее беспокойство заставило меня насторожиться, словно глухая зубная боль, когда еще не можешь определить, какой зуб ноет — сверху или внизу, слева или справа; я только ощущал смутное волнение, род душевной тревоги. Ибо —

сам не зная почему — я внезапно проникся уверенностью, что не в первый раз очутился в этом кафе: я был здесь много лет тому назад и связан какими-то воспоминаниями с этими стенами, стульями, столами, с этим чуждым мне, прокуренным помещением.

Однако чем больше старался я овладеть этим воспоминанием, тем коварнее оно от меня ускользало; словно морская звезда, мелькал его неверный свет в самых глубинах сознания — не выудить и не схватить. Тщетно впивался я взглядом в каждый предмет обстановки; многое, разумеется, было мне незнакомо, например, касса с дребезжащим автоматическим счетчиком, коричневая, под красное дерево, панель вдоль стен — все это появилось, вероятно, позже. И все-таки, все-таки я был здесь лет двадцать тому назад, а то и больше; здесь незримо присутствовала, притаившись, как гвоздь, вколоченный в дерево, частица моего собственного, давно изжитого «я». Напряженно вглядывался я в то, что было вокруг меня, и в то, что было во мне, но, черт возьми, я не мог уловить этого забытого, потонувшего во мне самом воспоминания.

Я злился, как злишься каждый раз, когда какая-нибудь неудача обнаруживает несостоятельность и несовершенство наших духовных сил. Однако я не терял надежды овладеть все же в конце концов этим воспоминанием. Я знал, что достаточно ничтожной зацепки, ибо память моя обладает странным свойством, одновременно и хорошим, и дурным: она упряма и своенравна и вместе с тем необычайно надежна. Она увлекает на дно важнейшие события и лица, прочитанное и пережитое, и ничего не возвращает из этой темной пучины без принуждения, но одному лишь требованию воли. Но стоит мне натолкнуться на самый ничтожный намек, на открытку с видом, знакомый почерк на конверте или пожелтевшую газету, и тотчас же забытое вынырнет из сумрачных глубин живо и отчетливо, словно рыба, пойманная на удочку. Я припоминаю малейшие подробности, вижу рот знакомого мне человека, нехватку зуба с левой стороны, что особенно заметно, когда он смеется, слышу его отрывистый смех — при этом вздрагивают кончики усов и сквозь смех проступает другое, новое лицо; в ушах моих внятно звучит каждое слово, произнесенное им много лет назад. Но для того, чтобы с полной ясностью увидеть и ощутить прошлое, мне необходим внешний толчок, необходима некоторая, хотя бы ничтожная, помощь из реального мира. Я закрыл глаза, стараясь сосредоточиться и сделать осязаемой эту неуловимую зацепку, чтобы ухватиться за нее. Но тщетно! Ничего, решительно ничего не подсказывала мне память. Я так рассердился на скверный своевольный аппарат, заключенный в моей черепной коробке, что готов был колотить себя кулаками по лбу, как встряхивают испорченный автомат, когда он упрямо не выбрасывает требуемого. Нет, я не мог больше спокойно сидеть на месте; меня так возмущала эта осечка памяти, что я встал и вышел из-за столика. Но странно — не успел я сделать и двух шагов, как внезапно какой-то свет, еще слабый и мерцающий, забрезжил в моем сознании. Справа от кассы, вспомнилось мне, должен быть вход в помещение без окон, освещаемое лишь искусственным светом. И в самом деле, так и оказалось. Вот она, эта

комната; правда, обои другие, но в остальном все та же — почти квадратная, с чуть перекошенными углами. Радостно возбужденный (я уже чувствовал: сейчас вспомню все), я оглядел помещение: два бильярда томилась без дела, словно зеленые, заросшие тиной пруды; по углам торчали ломберные столы, за одним из них два не то надворных советника, не то профессора играли в шахматы. А вон там, около железной печки, у самого прохода к телефонной будке, стоял небольшой четырехугольный стол. И тут меня осенило — точно молния, в один-единственный, блаженно-радостный миг вспыхнуло воспоминание: боже мой, да ведь это столик Менделя, Якоба Менделя, Менделя-буканиста, и я через двадцать лет снова очутился в его главной квартире, в кафе Глюк, на Альзерштрассе. Как я мог забыть его, Якоба Менделя, как мог так долго, так непростительно долго не вспоминать об этом удивительном человеке, этой живой легенде, чуде из чудес, прославленном в университете и в узком кругу почитателей, как мог я предать забвению этого мага и маклера книжного дела, который изо дня в день несокрушимо сидел здесь с утра до вечера, — символ человеческого знания, краса и гордость кафе Глюк!

Мне нужно было только на одно мгновение закрыть глаза, чтобы передо мной возник его подлинный, живой, неповторимый образ. Я вновь увидел его за этим четырехугольным столом с серовато-грязной мраморной доской, заваленной книгами и бумагами. Увидел, как он сидит, упорно и невозмутимо устремив сквозь очки пристальный, словно замороженный взор в книгу, сидит и читает, что-то бормоча и мурлыча себе под нос, раскачиваясь взад и вперед туловищем и головой, украшенной тусклой, пятнистой лысиной, — привычка, приобретенная в хедере, в еврейской начальной школе на Востоке. Здесь, за этим столом, и только за ним, читал он каталоги и книги так, как учили его читать Талмуд, — нараспев и раскачиваясь, словно черная колыбель. Ибо подобно тому как дитя погружается в сон и уже не ощущает мира, убаюканное плавным, усыпляющим ритмом, так, по мнению благочестивых людей, и дух благодаря мерному движению праздного тела легче погружается в блаженную отрешенность от мира. И в самом деле, Якоб Мендель не видел и не слышал, что бы ни происходило вокруг. Рядом с ним шумели и ссорились игроки на бильярде, сновали взад и вперед маркеры, трещал телефон, мыли полы, топили печку — он ничего не замечал. Однажды из толпы выпал раскаленный уголек; в двух шагах от него уже тлел и дымился паркет. Тогда кто-то из посетителей, почуяв адскую вонь, вбежал в комнату и предотвратил беду, он же, Якоб Мендель, сидя на расстоянии двух дюймов от начавшегося пожара и уже окуранный едким дымом, ничего не заметил. Ибо он читал так, как другие молятся, как играют азартные игроки, как пьяные безотчетно глядят в пространство; он читал так трогательно и самозабвенно, что с тех пор всякое иное отношение к чтению казалось мне профанацией. В лице Якоба Менделя, этого маленького галицийского буканиста, я впервые столкнулся с великой тайной безраздельной сосредоточенности, создающей художника и ученого, истинного мудреца и подлинного безумца, — с трагедией и счастьем одержимых.

Привел меня к нему старший товарищ по университету. Я в ту пору интересовался еще и ныне мало известным последователем Парацельса, врачом и магнетизером Месмером, но без особого успеха; основные труды, посвященные его деятельности, оказались недостаточными, а библиотекарь, к которому я по неопытности обратился, сердито пробормотал, что указывать литературу надлежит мне, а не ему. Тогда-то мой товарищ в первый раз упомянул имя букиниста.

— Я сведу тебя к Менделю,— пообещал он.— Этот человек все знает и все достанет, он раздобудет тебе редчайшую книгу из любой антикварной лавчонки в Германии. Это самый толковый человек в Вене и к тому же большой оригинал, допотопный книжный червь вымирающей породы.

Мы вместе отправились в кафе Глюк, и вот — там он сидел, Мендель-букинист, в очках, с всклокоченной бородой, весь в черном, раскачиваясь, точно темный куст на ветру. Мы подошли к нему — он нас не заметил. Он сидел и читал, раскачиваясь над столом верхней частью туловища, точно поклонник Будды; за его спиной болталось на крючке поношенное черное пальтишко, из всех карманов которого торчали журналы и записки. Чтобы привлечь его внимание, мой приятель громко кашлянул. Но Мендель продолжал читать, уткнувшись носом в книгу; он нас упорно не замечал. Наконец мой товарищ постучал о мраморную доску стола, громко и сильно, как стучат обычно в дверь; тогда лишь Мендель поднял голову, машинально сдвинул на лоб громоздкие очки в стальной оправе, и из-под взъерошенных пепельно-серых бровей уставилась на нас пара удивительных глаз, — маленькие, черные, живые глазки, острые и верткие, как змеиное жало. Мой приятель представил меня, и я изложил свою просьбу, причем — к этой хитрости я прибегнул по настоятельному совету приятеля — прежде всего излил свой гнев на библиотекаря, не пожелавшего мне помочь. Мендель откинулся на спинку стула и не спеша сплюнул. Потом отрывисто засмеялся и заговорил с сильным восточным акцентом:

— Не пожелал? Нет, не сумел! Это же паршивец, это же несчастный старый осел. Я знаю его вот уже двадцать лет. Вы думаете, он чему-нибудь научился? Жалованье класть в карман — только это они и умеют! Им бы кирпичи таскать, господам ученым, а не над книгами сидеть.

После того как Мендель таким образом отвел душу, лед был сломан, и он приветливым жестом пригласил меня к своему испещренному заметками мраморному столу, к этому еще неведомому мне алтарю библиофильских откровений. Я коротко изложил свои пожелания: труды современников Месмера о магнетизме, а также более поздние книги и работы за и против месмеризма; когда я кончил, Мендель прищурил на мгновение левый глаз, в точности так, как стрелок перед выстрелом. Но только на одно-единственное мгновение; и тотчас же, словно читая незримый каталог, Мендель перечислил два-три десятка книг, называя издателя, год издания и приблизительную цену. Я оторопел. Хотя я и был предупрежден, ничего подобного я не ожидал,

Мое изумление, видимо, обрадовало его, ибо он продолжал разыгрывать на клавиатуре своей памяти самые удивительные библиографические вариации на ту же тему. Не угодно ли мне кое-что узнать и о сомнамбулистах и первых опытах гипноза, о Гаспере, о заклинании беса, о Христианской науке и о Блаватской? Снова посыпались имена, названия, сведения; только теперь я понял, на какое несбыточное чудо памяти я наткнулся в лице Якоба Менделя; это был подлинный ходячий универсальный каталог. Потрясенный, смотрел я на этот библиографический феномен, втиснутый в невзрачную, даже неопрятную обложку галицийского букиниста. С легкостью выпалив около восьмидесяти названий, он с наигранным равнодушием, но явно довольный тем, что так хорошо удалось козырнуть, стал протирать очки носовым платком, который, вероятно, когда-то был белый. Чтобы хоть немного оправиться от изумления, я робко спросил, какие из этих книг он берет для меня достать.

— Посмотрим, посмотрим, — пробормотал он. — Приходите завтра, Мендель к тому времени уже кое-что достанет вам; чего нет в одном месте, найдется в другом; у кого голова на плечах, тому и счастье.

Я вежливо поблагодарил и от избытка вежливости совершил грубейшую ошибку, предложив записать названия нужных мне книг на клочке бумаги. В ту же минуту мой приятель предостерегающе толкнул меня локтем. Но, увы, слишком поздно! Мендель окинул меня взглядом — и каким взглядом! То был взгляд одновременно торжествующий и оскорбленный, насмешливый и высокомерный, по-шекспировски царственный взгляд, которым Макбет окинул Макдуфа, когда тот предложил непобедимому герою сдаться без боя. Он снова отрывисто рассмеялся, и большой выступающий кадык задвинулся — очевидно, он с трудом проглотил крепкое словцо. Да я и заслужил любую, самую грубую брань из уст доброго, честного Менделя-букиниста; ведь только чужой человек, невежда («амхорец», как он выражался) мог сделать оскорбительное предложение — записать названия книг, и кому? Якобу Менделю! Словно он мальчик из книжного магазина или служитель в букинистической библиотеке; как будто этот несравненный ум когда-либо нуждался в столь грубом вспомогательном средстве. Лишь много позже я понял, как сильно должна была моя предупредительность уязвить его; ибо этот маленький, невзрачный, утонувший в своей бороде и вдобавок горбатый галицийский еврей Якоб Мендель был титаном памяти. За этим грязновато-бледным лбом, обросшим серым мхом, запечатлены были незримиыми письмена, словно отлитые из стали, титульные листы всех когда-либо вышедших книг. Он мгновенно, не колеблясь, называл место выхода любого сочинения, появилось ли оно вчера или двести лет тому назад, его автора, первоначальную цену и букинистическую; помнил отчетливо и ясно и переплет, и иллюстрации, и факсимиле; каждую книгу, побывавшую у него в руках или только высмотренную в витрине или в библиотеке, он мысленно видел с той же фотографической точностью, с какой художник внутренним оком видит еще скрытые от мира создаваемые им образы. Если в каталоге какого-нибудь регенбургского букиниста книга была оценена в шесть марок, он тотчас

припоминал, что два года тому назад другой экземпляр этой книги на распродаже в Вене пошел за четыре кроны и кем она была куплена. Нет, Якоб Мендель не забывал ни одного названия, ни одной цифры, он знал каждое растение, каждую инфузорию, каждую звезду в изменчивом, зыбком космосе книжного мира. По каждой специальности он знал больше, чем специалисты, знал библиотски лучше, чем библиотекари, наличие книг большинства фирм он знал лучше, чем их владельцы, вопреки всем спискам и картотекам, опираясь единственно на свой магический дар, на свою несравненную память, всю силу которой можно показать, только приведя сотни примеров. Правда, эта память могла получить такое поистине сверхъестественное развитие только благодаря вечной тайне всякого совершенства: тайне сосредоточенности. Этот удивительный человек не знал в мире ничего, кроме книг, ибо все явления бытия обретали для него реальность лишь претворенные в буквы, собранные в книгу и как бы выхоленные. Но и книги он читал не ради их содержания, не ради заключенных в них мыслей или фактов; только название, цена, формат, титульный лист увлекали его. Всего лишь необъятным перечнем имен и названий, запечатленным не на страницах каталога, а на мягкой коре мозга млекопитающего,—перечнем, в конечном счете бесполезным, не оживленным творческой мыслью,—вот чем была специфически-букинистическая память Якоба Менделя; но в своем неповторимом совершенстве она оказалась не менее феноменальной, чем память Наполеона на лица, Меццофанти — на языки, Ласкера — на шахматные дебюты, Бузони — на музыкальные опусы. Используемый в учебном или другом общественном учреждении, этот мозг мог бы удивить и наставить тысячи, сотни тысяч студентов и ученых; он был бы плодотворен для науки, явился бы бесценным приобретением для тех общедоступных сокровищниц, которые мы называем библиотеками. Но этот мир был навеки закрыт для необразованного галицийского маклера, который знал немногим больше того, чему научился в хедере; и эти поразительные способности могли проявляться лишь в тайных откровениях за мраморным столом кафе Глюк. Но если когда-нибудь появится великий психолог (наш духовный мир все еще ждет его трудов) и, подобно Бюффону, упорно и терпеливо классифицировавшему породы животных, опишет все разновидности, особенности, первобытные формы и отклонения от них той волшебной силы, которую мы именуем памятью,—ему следовало бы вспомнить о Якобе Менделе, об этом гении библиографии, об этом безвестном корифее букинистической науки.

По профессии и для непосвященных Якоб Мендель был лишь мелким перекупщиком книг. Каждое воскресенье в газетах «Нейе фрейе прессе» и в «Нейер винер тагеблат» появлялись одни и те же стереотипные объявления: «Покупаю старые книги, даю хорошую цену, прихожу на дом по первому вызову. Мендель. Альзерштрассе», и затем номер телефона — телефона, разумеется, кафе Глюк. Он рылся в книжных складах, еженедельно с помощью старика посыльного, носившего бороду, как у австрийского императора, перетаскивал добычу в свою главную квартиру и опять уносил оттуда, ибо надлежащего

разрешения на книжную торговлю у него не было. Приходилось довольствоваться мелким, грошовым промыслом. Студенты сбывали ему свои учебники, через его руки они совершали путь от старшего курса к младшему; кроме того, он отыскивал книги по заказам и продавал их с незначительной надбавкой: советы свои он ценил дешево. Деньги не играли роли в его мире; всегда его видели в одном и том же потертом сюртуке; утром, днем и вечером он выпивал стакан молока с двумя булочками, скудный обед ему приносили из ближайшего ресторана. Он не курил, не играл, можно сказать даже не жил — жили лишь глаза за толстыми стеклами очков, без устали питавшие этот своеобразный мозг словами, заглавиями, именами. И мягкое, плодородное вещество этого мозга жадно впитывало поток сведений, как впитывает луг тысячи и тысячи капель дождя. Люди его не интересовали, и из всех человеческих страстей он, быть может, знал только одну — правда, самую человеческую — тщеславие. Если к нему приходил за справкой человек, оставший от бесплодных поисков в сотне разных мест и Мендель мог сразу же ответить на вопрос, то это одно давало ему удовлетворение и радость, да еще, быть может, сознание, что в Вене и за ее пределами живут несколько десятков человек, которые уважают его знания и нуждаются в них. В каждом из многолюдных хаотических конгломератов, которые мы именуем столицами, кое-где вкраплены мельчайшие грани, которые отражают один и тот же мир на крошечной плоскости; они скрыты для большинства и дороги только знатоку, только собрату по страсти. И все без исключения любители книг знали Якоба Менделя. Так же как за советом относительно какого-нибудь музыкального произведения отправлялись к Еузебиусу Мандишевскому, в Общество друзей музыки, где он сидел в серой ермолке, с приветливой улыбкой на устах, среди папок и нот и с первого же взгляда легко разрешал труднейшие загадки, так же как и по сей день каждый, кто хочет получить сведения о театральной жизни старой Вены, о ее культуре, неизбежно обратится к всеведущему старику Глосси, так и немногие правоверные венские библиофилы, когда им попадался особенно твердый орешек, не задумываясь, совершали паломничество в кафе Глюк, к Якобу Менделю. Наблюдать за Менделем во время такой консультации доставляло мне, молодому, любопытному человеку, величайшее наслаждение. Обычно, когда ему приносили заурядную книгу, он презрительно захлопывал ее и цедил сквозь зубы: «Две кроны»; но, увидев редкий экземпляр или уникум, он почтительно отодвигался, подкладывал лист бумаги, и видно было, что он стыдится своих грязных, измазанных чернилами пальцев с черными ногтями. Потом с нежностью, благоговейно перелистывал страницы одну за другой. Никто не мог помешать ему в эти минуты, как нельзя помешать молитве истинно верующего, и в самом деле, это разглядыванье, перелистыванье, обнюхиванье — в отдельности и в совокупности напоминали строгий ритуал религиозного обряда. Горбатая спина двигалась из стороны в сторону, он ворчал, кричал, почесывал голову, произносил непонятные звуки, протяжные «а...» или «о», выражавшие трепет восторга, за которыми следовали испуганные «ой» или «ойвей», если он наталкивался на **вырванную** или **источенную**

жучком страницу. В заключение он почтительно взвешивал в руке древнюю, переплетенную в кожу книгу и, полузакрыв глаза, вдыхал запах увесистого квадратного тома, словно чувствительная барышня — аромат туберозы. На время этой довольно длительной процедуры владелец книги должен был, конечно, вооружиться терпением. Но, закончив осмотр, Мендель охотно, можно сказать вдохновенно давал всевозможные справки, к которым неминуемо присоединялись пространные рассказы о забавных, а то и драматических случаях купли-продажи аналогичных экземпляров. В такие мгновения он становился как будто бодрее, моложе, живее, и только одно могло его страшно разгневать — предложение денег за оценку, на что иногда решался какой-нибудь новичок. Тогда он обиженно отстранялся, подобно директору картинной галереи, которому путешественник-американец хочет сунуть в руку чаевые за объяснения; ибо поддержать в руках драгоценную книгу значило для Менделя то же, что для другого — свидание с женщиной. Эти мгновения были для него платоническими ночами любви. Только книга имела власть над ним, а не деньги. Поэтому крупные коллекционеры, между ними и основатель Принстаунского университета, тщетно пытались привлечь его в свои библиотеки в качестве советчика и скупщика — Якоб Мендель отказывался; его нельзя было представить себе иначе, как только в кафе Глюк. Тридцать три года тому назад, с еще мягкой черной бородкой и кудрявыми пейсами, он, невзрачный еврейский паренек, прибыл с востока в Вену, чтобы подготовиться к должности раввина, но вскоре покинул единого сурового бога Йегову и отдался сверкающему и тысячекислому многобожию книг. В те времена он впервые набрел на кафе Глюк, и постепенно оно стало его мастерской, его главной квартирой, его почтовым отделением, его миром. Как астроном, который еженочно в своей обсерватории одиноко наблюдает сквозь крохотное круглое отверстие телескопа мириады звезд, их таинственное движение, их перекрещивающиеся пути, их угасание и возгорание, так Якоб Мендель сквозь свои очки, сидя за четырехугольным столом в кафе Глюк, глядел в другой мир — в мир книг, тоже вечно движущийся и перевоплощающийся, в этот мир над нашим миром.

Его, конечно, очень высоко ценили в кафе Глюк, слава которого для нас больше связывалась с этой безвестной кафедрой, чем с именем патрона кафе, великого музыканта, творца «Альцесты» и «Ифигении», — Кристофа Виллибальда Глюка. Мендель был там такой же частью инвентаря, как старая касса из вишневого дерева, два латаных и перелатаных бильярда и медный кофейник; его стол охранялся как святыня, ибо персонал кафе всегда радушно приглашал его многочисленных клиентов заказать что-нибудь, и таким образом львиная доля прибыли от его знаний попадала в широкую кожаную сумку, болтавшуюся на бедре обер-кельнера Дейблера. За это Мендель-букинист пользовался различными привилегиями: он свободно распоряжался телефоном, здесь сохраняли его корреспонденцию, выполняли его поручения; старая сердобольная уборщица чистила ему пальто, пришивала пуговицы и относила еженедельно маленький сверток белья в прачечную. Ему одному разрешалось брать обеды в соседнем ресто-

ране, и каждое утро господин Штандгартнер, владелец кафе, подходил к столу Менделя и самолично приветствовал его (правда, большей частью Якоб Мендель, углубленный в свои книги, не замечал этого). Ровно в половине восьмого утра он входил в кафе, и только когда тушили свет, оставлял помещение. Он никогда не разговаривал с посетителями, не читал газет, не замечал никаких перемен, и когда господин Штандгартнер однажды вежливо спросил, не лучше ли читать при электрическом свете, чем раньше, при мигающих газовых горелках, он удивленно посмотрел на грушевидные лампочки: он решительно ничего не заметил, хотя шум, стукотня и беспорядок, вызванные проводкой, длились немало дней. Только сквозь круглые отверстия очков, сквозь эти два блестящих, всасывающих стекла, проникали в его мозг миллиарды черных инфузорий-букв; все остальное проносилось мимо потоком бессмысленных звуков. Больше тридцати лет — другими словами, всю свою сознательную жизнь — он провел за этим четырехугольным столом, читая, сравнивая, вычисляя, и только ночь прерывала на несколько часов этот нескончаемый сон наяву.

Поэтому меня неприятно поразило, когда я увидел этот оракуллоподобный мраморный стол опустелым, как могильная плита. Только теперь, в более зрелые годы, я понял, как много исчезает с уходом каждого такого человека, — прежде всего потому, что все неповторимое день ото дня становится все драгоценнее в нашем обреченном на однообразие мире. К тому же я очень полюбил Якоба Менделя — хотя, по молодости лет и недостатку опыта, и безотчетно. В его лице я впервые приблизился к великой тайне — что все исключительное и мощное в нашем бытии создается лишь внутренней сосредоточенностью, лишь благородной мономанией, священной одержимостью безумцев. Он показал мне, что непорочная жизнь в духе, самозабвенное служение одной идее, столь же страстное, как у индийских йогов или средневековых монахов, возможно и в наши дни и притом в освещенном электричеством кафе, рядом с телефонной будкой; в лице безвестного, ничтожного букиниста я нашел пример такого служения гораздо более яркий, чем у наших современных поэтов. И все же я умудрился забыть его; правда, то были годы войны, а я, подобно ему, с головой ушел в свою работу. Но сейчас, увидев опустевший стол, я почувствовал стыд и вместе с тем любопытство.

Куда он исчез, что с ним случилось? Я позвал кельнера и спросил у него. Нет, к сожалению, он такого не знает. Среди завсегдатаев кафе никакого господина Менделя нет. Но, может быть, обер-кельнер знает. Обер-кельнер лениво подошел, выставив вперед солидное брюшко, с минуту подумал — нет, он тоже не припоминает господина Менделя. Но, может быть, я имею в виду господина Манделя, владельца галантерейного магазина на улице Флорианц? Я ощутил горький привкус на губах, привкус тлена: для чего мы живем, если ветер, чуть ступила наша нога, тут же замечает ее след? Тридцать, быть может, даже сорок лет здесь, на пространстве в несколько квадратных метров, говорил, дышал, работал, думал человек; прошло всего три-четыре года, воцарился новый фараон, и уже никто не помнит о Иосифе, — никто в кафе Глюк не помнит о Якобе Менделе, Менделе-буки-

нисте. Почти с гневом спросил я обер-кельнера, не могу ли я видеть господина Штандгартнера и не остался ли кто-нибудь из старого персонала. Штандгартнер? Бог ты мой, он давным-давно продал кафе и уже умер, а старый обер-кельнер живет в своем имении под Кремсом. Нет, никого не осталось... впрочем... стойте! Ну, конечно, фрау Споршилль, уборщица, еще здесь. Но вряд ли она помнит отдельных посетителей. Однако я решил, что человека, подобного Якобу Менделю, не так-то легко забыть, и попросил вызвать эту женщину.

Она пришла, фрау Споршилль, из своих укромных покоев, седая, растрепанная, тяжело ступая отекавшими ногами; на ходу она поспешно вытирала платком красные руки: должно быть, она только что подметала пол или протираала окна. Я сразу заметил, что этот неожиданный вызов был ей неприятен. В нарядном зале, под ярким электрическим светом она чувствовала себя неловко; к тому же простые люди в Вене всегда опасаются подосланных полицией сыщиков, когда к ним обращаются с расспросами. Сперва она бросила на меня взгляд исподлобья, недоверчиво и настороженно. Зачем ее позвали? К добру ли это? Но как только я спросил о Якобе Менделе, она встрепенулась и посмотрела на меня открыто, с радостным изумлением.

— Боже мой, бедный господин Мендель, неужели еще кто-нибудь помнит о нем? Ах, бедный господин Мендель!

Она была растрогана до слез, как все старые люди, когда им напоминают об их юности, о давних забытых друзьях. Я спросил ее, жив ли он.

— Ах, боже мой, вот уже пять или шесть лет, нет, пожалуй, все семь прошло с тех пор, как умер бедный господин Мендель. Такой славный, хороший человек, и как подумаю, сколько лет я его знала, — больше двадцати пяти, ведь он уже был тут, когда я поступила. А что ему дали так умереть — это просто стыд и срам. — Она совсем разволновалась и спросила меня, не прихожусь ли я ему родственником? Ведь никто никогда не заботился о нем, никто о нем не справлялся — и неужели я не знаю, что с ним приключилось?

Нет, мне ничего не известно, заверил я, и прошу рассказать мне, рассказать все подробно. Но старушка робко и смущенно поглядывала на меня и все вытирала свои мокрые руки. Я понял: ей, уборщице, неловко было стоять посреди кафе с растрепанными седыми волосами, в грязном переднике; к тому же она боязливо озиралась по сторонам, не подслушивает ли кто из кельнеров. Поэтому я предложил ей пройти в бильярдную, на старое место Менделя, и там рассказать мне все, что она знала о нем. Она дружелюбно кивнула головой, словно благодаря меня за то, что я понял ее, и пошла вперед неуверенным, старушечьим шагом, я — за ней. Оба кельнера изумленно посмотрели нам вслед, они угадывали какое-то сообщество между нами; да и кое-кто из посетителей не без удивления проводил глазами столь неподходящую пару. И там, за его столом (некоторые подробности я узнал впоследствии из другого источника), она рассказала мне о Якобе Менделе, о гибели Менделя-буккиниста.

Так вот, Мендель, когда началась война, по-прежнему приходил каждый день в половине восьмого и сидел здесь, как всегда. И все

так же с утра до вечера занимался; все в кафе считали и даже часто между собой говорили, что ему и невдомек, что идет война. Конечно, он ведь никогда не заглядывал в газеты, ни с кем не говорил, а когда газетчики подымали крик и все хватали экстренные выпуски, он никогда не вставал с места и не обращал на них внимания. Он и не заметил, что нет кельнера Франца (его убили под Горлицей) и что сын господина Штандгартнера попал в плен в Перемышле; он никогда не жаловался на то, что хлеб становится все хуже и что вместо молока он получает бурду из фигового кофе. Только раз как-то он сказал, что удивительно мало приходит студентов — и все. Бог ты мой, бедняга ни о чем никогда не думал, одна радость у него была — книги.

Но вот пришел день, когда случилось несчастье. В одиннадцать часов утра явился жандарм, а с ним агент тайной полиции; он показал значок под отворотом пиджака и спросил, бывает ли здесь Якоб Мендель. И они сразу подошли к столу Менделя, а тот, в простоте своей, сначала подумал, что они хотят продать ему книги или о чем-то справиться. Но они сразу сказали, чтобы он шел за ними, и увели его. Для кафе это был просто скандал, — все посетители окружили бедного господина Менделя, а он стоял между теми двумя, сдвинув очки на лоб, и смотрел то на одного, то на другого и не понимал, чего они, собственно, от него хотят. Она же сразу сказала жандарму, что это ошибка, такой человек, как господин Мендель, и мухи не обидит, но агент полиции накричал на нее, чтобы она не смела вмешиваться в его служебные обязанности. Потом его увели, и он долго не приходил, целых два года. Еще и по сегодняшний день она точно не знает, чего они от него хотели.

— Но я присягнуть готова, — взволнованно сказала старушка, — господин Мендель не мог сделать ничего дурного. Они ошиблись, головой ручаюсь. Так поступить с бедным, ни в чем не повинным человеком, это просто преступление!

И она была права, добрая, отзывчивая фрау Споршилль. Наш друг Якоб Мендель ничего дурного не совершил (я позже узнал все подробности), он только совершил умопомрачительную, трогательную, даже в то безумное время баснословную глупость, понятную только тому, кто знал этого удивительного человека. Случилось следующее: военная цензура, обязанная проверять переписку, направляемую за границу, обнаружила открытку, написанную и подписанную неким Якобом Менделем; все правила были соблюдены, и марка — надлежащей стоимости; но — случай совершенно невероятный — она была адресована во вражескую страну; она была адресована Жану Лубурдену, владельцу книжного магазина на набережной Гренель в Париже; некий Якоб Мендель жаловался, что не получил последних восьми номеров ежемесячника «Bulletin bibliographique de la France»¹, несмотря на то, что за него уплачено за год вперед. Чиновник военного ведомства, бывший преподаватель гимназии, по внутренней склонности беллетрист, на которого напялили синий мундир ополченца, при-

¹ «Библиографический бюллетень Франции» (фр.).

шел в изумление, когда в его руки попал этот документ. Глупая шутка, подумал он. Среди двух тысяч писем, которые он еженедельно перлюстрировал, прочитывал, выискивая в них подозрительные обороты и шпионские сведения, он еще ни разу не наталкивался на такую нелепость: чтобы человек преспокойно написал письмо из Австрии во Францию и просто-напросто опустил в почтовый ящик открытку, адресованную во вражескую страну, точно с 1914 года границы не обнесены колючей проволокой и Франция, Германия, Австрия и Россия каждый божий день не сокращают численность своего мужского населения на несколько тысяч человек. Поэтому он сперва положил открытку как курьез в ящик стола; не считая нужным докладывать о такой чепухе. Но несколько недель спустя пришла еще одна открытка, адресованная в книжный магазин Джона Олдриджа, Лондон, Холборн-сквер, с запросом, нельзя ли получить последние номера «Antiquarian»¹, и опять на ней стояла подпись того же чудака, Якоба Менделя, который с трогательным простодушием сообщал свой полный адрес. Тут уж преподаватель гимназии вспомнил, что на нем военный мундир. Быть может, за этой дурацкой шуткой кроется какой-нибудь зашифрованный смысл? Чиновник встал, вытянулся в струнку и положил обе открытки на стол майору. Тот пожал плечами: странный случай! Прежде всего он дал знать в полицию и велел удостовериться, существует ли в действительности такой Якоб Мендель, и через час Якоб Мендель был арестован и, еще не опомнившимся от неожиданности, приведен к майору. Майор предъявил ему таинственные открытки и спросил, признает ли он, что является их отправителем. Рассерженный строгим тоном допроса и особенно тем, что его оторвали от чтения нужного каталога, Мендель почти грубо заявил, что, конечно, эти открытки он написал. Надо полагать, что человек имеет право требовать номера журнала, за которые уплачены деньги. Майор вернулся к лейтенанту, сидевшему за соседним столом. Они переглянулись — оба подумали одно и то же: набитый дурак! Потом майор стал раздумывать — прогнать ли простофилю, предварительно выругав, или отнестись к делу серьезно. При наличии таких колебаний любое ведомство прежде всего прибегает к протоколу. Протокол — это всегда хорошо. Если он и не принесет пользы, то и повредить не может, и к миллионам бессмысленно исписанных листов бумаги прибавится еще один.

В этом случае, однако, он повредил бедному, ничего не подозревающему человеку, ибо уже при третьем вопросе обнаружилось роковое обстоятельство. Прежде всего спросили его имя: Якоб, правильное Янкель, Мендель. Профессия: торговец вразнос (так было сказано в его документе, разрешения на торговлю книгами он не имел). Третий вопрос повлек за собой катастрофу: место рождения. Якоб Мендель назвал местечко около Петрикова. Майор поднял брови. Петриков? Разве это не в русской Польше, близ границы? Подозрительно! Очень подозрительно! И уже более строгим тоном майор спросил, когда Мендель принял австрийское подданство. Очки Менделя с недоуме-

¹ «Антиквар» (англ.).

нием усталились на майора: он не понимал, чего от него хотят. Где, черт возьми, его бумаги, документы? У него нет никаких документов, кроме удостоверения, что он торговец вразнос. Брови майора поднялись еще выше. Пусть он, наконец, объяснит толком, какого он подданства? Отец его — австриец или русский? Мендель, не сморгнув, ответил: конечно, русский. А он? О, он уже тридцать три года тому назад перебрался через границу, чтобы не отбывать воинскую повинность, и с тех пор живет в Вене. Майор еще больше насторожился. А когда он стал австрийским подданным? Зачем? — спросил Мендель. Он никогда не интересовался такими вещами. Значит, он и сейчас еще русский подданный? И Мендель, которому эти пустые расспросы уже давно надоели, равнодушно ответил:

— Собственно говоря, да.

Майор с испугу так резко откинулся на спинку кресла, что оно затрещало. И это возможно? В Вене, в столице Австрии, в разгар войны, в конце 1915 года, после Тарнова и большого наступления, как ни в чем не бывало разгуливает русский, пишет письма во Францию и Англию, а полиции и дела нет. И после этого газеты выражают удивление, что Конрад фон Гетцендорф не добрался сразу до Варшавы, а в генеральном штабе изумляются, что каждое передвижение войск становится известно в России. Лейтенант тоже встал и подошел к столу; разговор быстро превратился в допрос. Почему он сразу не заявил о себе как об иностранце? Мендель, все еще ничего не подозревая, ответил нараспев с еврейским акцентом: «И зачем мне было вдруг заявлять о себе?» В этом ответе вопросом на вопрос майор усмотрел вызов и угрожающе спросил, читал ли он предписания об этом. Нет! Может быть, он и газет не читает? Нет!

Оба чиновника усталились на слегка встревоженного Якоба Менделя, словно луна свалилась с неба прямо в их канцелярию. И вот затрещал телефон, застучали пишущие машинки, забежали ординарцы, и Якоб Мендель был передан в гарнизонную тюрьму, с тем чтобы со следующей партией отправиться в концентрационный лагерь. Когда ему приказали следовать за двумя солдатами, он растерянно оглянулся. Он не понимал, чего от него требуют, но особенно не беспокоился. Что дурного мог замыслить против него этот человек в шитом золотом воротнике, с грубым голосом? В его высшем мире, мире книг, не было войны, не было недоразумений, лишь вечное познание и стремление ко все большему и большему познанию чисел и слов, имен и заглавий. И он безропотно поплелся между двумя солдатами вниз по лестнице. Только когда в полицейском участке вытащили все книги из карманов его пальто и потребовали бумажник, набитый сотней нужных записок и адресами клиентов, он начал яростно обороняться. Пришлось его усмирить. Но, увы! при этом упали на пол очки, и магический телескоп, открывавший ему духовный мир, разбился вдребезги. Два дня спустя его отправили в легком летнем пальтишке в концентрационный лагерь для русских гражданских лиц близ Коморна.

Какие нравственные мытарства претерпел за эти два года, проведенные в концентрационном лагере, Якоб Мендель, лишенный своих

возлюбленных книг, среди равнодушной, грубой, большей частью неграмотной толпы, в этом огромном человеческом загоне, какие страдания он вынес, вырванный из высшего и единственного для него мира книг, как орел с подрезанными крыльями из своей стихии,— об этом нет никаких свидетельств. Но мир, отрезвишись от безумия, постепенно начинает понимать, что из всех жестокостей и преступлений этой войны самым бессмысленным, ненужным и потому морально ничем не оправданным было содержание за колючей проволокой ни в чем не повинных людей, давно вышедших из призывного возраста, живших много лет в чужой стране и слепо веривших в священный закон гостеприимства, соблюдаемый даже тунгусами и арауканами, и потому своевременно не бежавших; это преступление против цивилизации с равной бессмысленностью совершалось во Франции, Германии и Англии — на каждом клочке земли потерявшей рассудок Европы. И, может быть, Якоб Мендель в числе многих сотен невинных жертв сошел бы с ума, погиб от дизентерии, упадка сил или душевных потрясений, если бы в последнюю минуту чистая случайность, весьма характерная для Австрии, не вернула Менделя в его мир. Дело в том, что после его исчезновения приходили адресованные ему письма от знатных кланов: граф Шенберг, бывший наместник Штейермарка, страстный коллекционер геральдической литературы, бывший декан богословского факультета Зигенфельд, трудившийся над комментариями к Августину, восьмидесятилетний адмирал в отставке Эдлер фон Пизек, все еще дорабатывающий свои мемуары,— все они, его верные клиенты, писали к нему в кафе Глюк; некоторые из этих писем были пересланы исчезнувшему букинисту в концентрационный лагерь. Там они попали в руки полковника, случайно пребывавшего в хорошем настроении; он удивился знакомству столь знатных людей с этим маленьким полуслепым, грязным евреем, который, с тех пор как лишился очков (у него не было денег на покупку новых), словно крот, молча сидел в своем углу. Тот, у кого такие связи, вероятно, не совсем обыкновенный человек! Полковник разрешил Менделю ответить на письма и обратиться к своим покровителям за помощью. Они не замедлили оказать ее. С обычной для коллекционеров горячей солидарностью их превосходительства и декан использовали свои связи и совместной порукой добились того, что Мендель-букинист в 1917 году, после двухлетнего с лишним заключения, вернулся в Вену, правда под условием ежедневной явки в полицию. Но все же он был на свободе, в своей прежней тесной, ветхой мансарде, мог любоваться выставленными в витринах книгами и, главное, мог вернуться в кафе Глюк.

О возвращении Менделя из преисподней в кафе фрау Споршилль рассказала мне по собственным воспоминаниям.

— В один прекрасный день — Иисус Мария, я глазам своим не поверила — отворяется дверь, только на щелочку — лишь бы просунуться, он ведь всегда так делал,— и входит наш бедный господин Мендель. На нем была солдатская шинель, вся в заплатках, а на голове и не поймешь что, может, когда-то это была шляпа, да валялась на помойке. Без воротничка, сам точно мертвец, лицо серое, весь

седой и такой худющий — глядеть жалко. Но он входит, будто ничего не случилось, ни о чем не спрашивает, ничего не говорит, идет прямо к столу, снимает пальто, но уж не так легко и проворно, как раньше, а трудно этак дышит. И ни одной книги он не принес с собой, как бывало прежде, а просто садится и сидит, ни слова не говоря, только смотрит перед собой совсем пустыми, потухшими глазами. Уж потом, когда мы ему принесли целый ворох бумаг, пришедших для него из Германии, он стал опять читать. Но он был уже не тот, не прежний.

Нет, он был не прежний, не был тем *Miraculum mundi*, волшебным всесветным механизмом, регистрирующим книги: все видевшие его в то время с грустью это подтвердили. Казалось, что-то навеки изменилось в его обычно тихом, словно дремлющем взоре, устремленном в книгу; что-то было разрушено: видимо, страшная кровавая комета в своем бешеном беге не пощадила и скромного мирного светила его книжной вселенной. Глаза, десятки лет взиравшие на нежные, безмолвные, похожие на лапки насекомых печатные буквы, увидели, должно быть, много ужасного в обнесенном колючей проволокой человеческом загоне, ибо веки тяжело нависли над ними; некогда насмешливые, а теперь тусклые, воспаленные, они прятались за плохо связанными тонким шпагатом очками. И что хуже всего: в совершенном здании его памяти рухнул, очевидно, один из контрфорсов, и все строение пошатнулось; ибо наш мозг, этот созданный из нежнейшего вещества механизм, этот тончайший точный прибор нашего познания, так хрупок, так сложен, что достаточно задетого сосуда, одного потревоженного нерва, переутомленной клетки, малейшего изменения какой-нибудь молекулы, чтобы нарушить высшую всеобъемлющую гармонию человеческого ума. И в памяти Менделя, в этой единственной в своем роде клавиатуре знаний, теперь, после его возвращения, западали клавиши. Если время от времени кто-нибудь приходил за справкой, он усталым взором всматривался в посетителя и не сразу понимал; он плохо слушал, забывал, о чем его спрашивают. Мендель уже не был прежним Менделем, как мир — прежним миром. Исчезла былая сосредоточенность; он больше не раскачивался, читая, а сидел неподвижно, машинально уткнувшись в книгу очками. Голова его, рассказывала фрау Споршилль, тяжело опускалась на книгу, и он засыпал среди бела дня; иногда часами глядел на непривычный свет воюющей ацетиленовой лампы, которую ставили ему на стол, — из-за нехватки угля электростанция не работала. Нет, Мендель не был уже прежним Менделем, чудом из чудес, а всего лишь никому не нужным комом бороды и платья, застрявшим на столе, некогда бывшем треножником пифии. Он уже был не красой и гордостью кафе Глюк,^{*} а его позором, грязным пятном, обузой, дурно пахнущим, всем мешающим нахлебником.

Таким считал его и новый владелец кафе, Флориан Гуртнер из Ретца, разбогатевший в голодный, 1919 год на спекуляциях мукой и маслом и уговоривший добродушного Штандгартнера продать ему кафе Глюк за восемьдесят тысяч быстро обесценивающихся бумажных крон. Он взялся за дело крепкими руками крестьянина, поспешно переделал старинное почтенное кафе на более модный лад, в удачно

выбранный момент приобрел за обесцененные бумажки новые кресла, отделал мрамором вход и начал переговоры о найме соседнего помещения, чтобы соорудить эстраду для оркестра. При этом спешном переустройстве ему, конечно, сильно мешал выходец из Галиции, один занимавший с раннего утра до позднего вечера целый стол и за все время выпивавший только две чашки кофе с пятью булочками. Штандгартнер, правда, обратил особое внимание нового владельца на этого завсегдатая кафе и пытался объяснить, какой замечательный человек Якоб Мендель,— он его передал, так сказать, вместе с инвентарем, как некое обязательство, лежащее на заведении. Однако Флориан Гуртнер заодно с новой мебелью и блестящей алюминиевой кассой обзавелся и крепкой совестью времен легкой наживы; он ждал только предлога, чтобы вымести этот последний остаток провинциального убожества из своего столичного кафе. Подходящий случай вскоре подвернулся, ибо Якобу Менделю жилось плохо. Его последние сбережения перемолола бумажная мельница инфляции, своих клиентов он растерял. Таскаться по лестницам, скупать и перепродавать книги было уже не по силам старому Менделю. Туго ему приходилось, об этом говорила сотня признаков. Лишь изредка посылал он за обедом в ресторан и даже небольшую сумму за кофе и хлеб оставался должен,— однажды он задержал плату на три недели. Уже тогда обер-кельнер собирался его выставить, но сердобольная фрау Споршилль пожалела Менделя и поручилась за него.

А в следующем месяце разразилась катастрофа. Уже несколько раз новый обер-кельнер замечал, что при подсчете булок цифры не сходятся. Каждый раз булок оказывалось меньше, чем было заказано и оплачено. Разумеется, подозрение пало на Менделя, ибо уже не раз приходил старик посыльный и жаловался, что Мендель должен ему деньги за полгода и не платит ни одного хеллера. Обер-кельнер стал зорко следить за ним, и спустя два дня ему удалось, спрятавшись за каминный экран, подглядеть, как Якоб Мендель встал со своего места, крадучись перешел в первую комнату, быстро выхватил из корзины две булочки и начал жадно поглощать их. Расплачиваясь за кофе, он уверял, что булок не ел. Все было ясно. Кельнер сейчас же доложил о происшествии господину Гуртнеру, и тот, обрадовавшись случаю, накричал на Менделя в присутствии всех посетителей, обвинил его в краже и еще хвалился тем, что не посылает за полицией. Но он велел Менделю сейчас же убраться к черту и больше не появляться здесь. Якоб Мендель выслушал это молча, дрожа всем телом, поднялся со своего места и ушел.

— Просто страх! — говорила фрау Споршилль, описывая его изгнание. — Никогда не забуду, как он встал, сдвинул очки на лоб, а сам бледный как полотно. И пальто даже не надел, а на дворе январь, — вы помните небось, какие холода стояли. И книгу свою он забыл на столе с перепугу. Я как увидела, хотела бежать за ним, но он уже вышел. Пойти за ним на улицу я не посмела, потому что в дверях стоял господин Гуртнер и так ругался, что люди останавливались. Стыд и срам! Я прямо со стыда сгорела! Никогда бы того не было при старом хозяине; господин Штандгартнер ни за что бы не выгнал

человека из-за каких-то булок, у него Мендель мог бы даром кормиться до самой смерти. Но у нынешних людей нет сердца. Прогнать беднягу с места, где он просидел тридцать с лишком лет изо дня в день,— это уж такой срам, такой грех! Не хотела бы я за это отвечать перед господом богом, нет, не хотела бы.

Добрая старушка разгорячилась и со свойственным старости многословием все твердила о том, какой это грех и что никогда бы господин Штандгартнер так не сделал. В конце концов я прервал ее вопросом, что же случилось с нашим Менделем и довелось ли ей еще увидеть его. Тут она встрепенулась и продолжала свой рассказ.

— Верите ли, как иду мимо его стола, так меня словно по сердцу полоснет. Все думаю, где же он теперь, бедный господин Мендель, и если бы я только знала, где он живет, я бы снесла ему поесть чего-нибудь горячего; откуда было ему взять денег на топку и на еду? Родных у него, должно быть, никого не было. Ну, время-то идет, а о нем ни слуху ни духу, я и стала думать, что, видно, его нет уже в живых и не увижу я его больше. И даже подумываю, не надо ли отслужить панихиду по нему; ведь такой он был хороший человек, и знала я его больше двадцати пяти лет.

Но вот как-то в феврале месяце, в половине восьмого утра, я только взялась чистить медные затворы на окнах — вдруг (я думала, меня хватит удар) открывается дверь и входит Мендель. Вы ведь знаете, он всегда боком протискивался в дверь, робко эдак, но уж тут — и не поймешь как. Я замечаю, что-то с ним неладно, глаза у него горят, а сам-то, господи боже мой — одни кости да борода! Гляжу я на него, вижу, что он вроде не в себе, и вдруг поняла: да он ничего не чувствует, бродит среди бела дня как во сне, он все забыл — и про булки, и про господина Гуртнера, и как выгоняли, — он себя не помнит. Господина Гуртнера, слава богу, еще не было, а обер-кельнер пил кофе. Я побежала к Менделю, хочу ему сказать, чтобы он не оставался здесь, не то этот грубиян опять выгонит его, — (тут она, опасливо оглянувшись, поправилась), — я хотела сказать — господин Гуртнер. «Господин Мендель!» — окликнула я его. Он взглянул на меня и тут — боже мой, если б вы видели, — тут он, должно быть, сразу все припомнил; он вздрогнул и затрясся; не только руки дрожали, он трясся весь, всем телом; повернулся и пошел прочь, а у дверей и свалился. Мы вызвали по телефону «скорую помощь», и его увезли. Он был в лихорадке, а вечером кончился: доктор сказал, от воспаления легких, и еще он сказал, что, может, он уже был в беспамятстве, когда приходил к нам. Он пришел и сам не зная как, словно во сне. Не шутка тридцать шесть лет изо дня в день сидеть за одним и тем же столом: этот стол и был ему домом.

Мы долго еще говорили о нем, мы, последние из знавших этого странного человека; несмотря на свое микроскопически мелкое существование, он дал мне, неопытному юнцу, первое понятие о жизни, всецело замкнувшейся в душе, а для нее, бедной, задавленной тяжелым трудом уборщицы, не прочитавшей на своем веку ни одной книги, он был только товарищем по несчастью, таким же, как она, бедняком, которому она двадцать пять лет чистила пальто и пришивала

пуговицы. И все же мы отлично понимали друг друга здесь, за его старым покинутым столом, сообщая вызывая в нашей памяти его облик; ибо воспоминания всегда объединяют, и вдвойне — воспоминания, проникнутые любовью. Но вдруг старушка спохватилась:

— Господи, что же это я! Книга-то, что он тогда оставил на столе, ведь она и сейчас у меня. Я же не знала, куда ему отнести ее. А после, как за ней никто не приходил, я и подумала: оставлю я ее себе на память. Дурного в этом нет, правда? — Она торопливо вышла и принесла мне книгу. Я с трудом подавил улыбку; как охотно вечно играя, нередко насмешливая судьба не без злости примешивает к жизненным драмам комический элемент. То был второй том «*Bibliotheca Germanorum erotica et curiosa*»¹ Гайна, хорошо известный каждому библиофилу справочник по галантной литературе. Как раз этот скабрёзный перечень — *habent sua fata libelli*² — оказался последним заветом, переданным покойным магом и волшебником в натруженные, красные, неискушенные руки, никогда, вероятно, не державшие ни одной книги, кроме молитвенника. Я плотно сжимал губы, силясь подавить невольную улыбку, и мое минутное молчание смутило честную женщину. Может быть, это что-нибудь очень дорогое, или все-таки можно оставить себе?

Я крепко пожал ей руку.

— Оставьте ее себе, наш старый друг Мендель порадовался бы, если бы узнал, что среди тысяч людей, обязанных ему нужной книгой, есть хоть один, сохранивший о нем память.

Я ушел из кафе, и мне было стыдно перед этой доброй старой женщиной, которая в простоте души, но с истинной человечностью сохранила верность покойному. Ибо она, неграмотная, хоть сберегла книгу, чтобы чаще вспоминать о нем, я же годами не помнил о Менделе-букинисте, я, который должен бы знать, что книги пишутся только ради того, чтобы и за пределами своей жизни остаться близким людям и тем оградить себя от неумолимого врага всего живущего — тлена и забвения.

ШАХМАТНАЯ НОВЕЛЛА

На большом океанском пароходе, отплывавшем в полночь из Нью-Йорка в Буэнос-Айрес, царила, как всегда в последние минуты отправления, деловитая суета. Через толпу во всех направлениях проталкивались провожающие; рассыльные телеграфа в лихо сдвинутых набок каскетках выкрикивали фамилии пассажиров; пронесли багаж и цветы; по лестницам бегали любопытные дети, а на верхней палубе, не умолкая, играл судовой оркестр...

Я стоял со своим приятелем на палубе вдали от этой суеты. Вдруг совсем близко от нас два или три раза ярко вспыхнул магний: должно быть, среди пассажиров была какая-то знаменитость и для

¹ «Библиотека немецкой эротической и занимательной литературы» (лат.).

² Книги имеют свою судьбу (лат.).

взятого в последний миг интервью понадобился портрет. Мой друг, взглянув в ту сторону, усмехнулся:

— С вами на пароходе едет чудо природы — Чентович.

Увидев по моему лицу, что это имя ничего мне не говорит, он пояснил:

— Мирко Чентович — чемпион мира по шахматам. Он только что разгромил всех шахматистов Америки и сейчас едет пожинать лавры в Аргентину.

Тут я вспомнил не только имя молодого чемпиона мира, но и кое-какие подробности его молниеносной карьеры. Мой друг, следивший за мировой прессой более внимательно, чем я, пополнил мои сведения, рассказав по этому поводу несколько анекдотов.

Около года тому назад Чентовичу удалось сразу стать в ряды таких шахматных светил, как Алехин, Капабланка, Тартаковер, Ласкер, Боголюбов. С момента появления в Нью-Йорке на турнире 1922 года семилетнего вундеркинда Решевского великолепная плеяда шахматистов не знала ни одного новичка, который вторгся бы в их среду с таким шумом и вызвал бы к себе столь острый интерес. Умственные способности Чентовича отнюдь не предвещали ему столь блистательную карьеру. Вскоре обнаружилась тайна: чемпион мира ни на одном языке не мог написать без ошибок даже нескольких слов, и, как саркастически заметил один из его желчных соперников, «невежество его было всеобъемлющим».

Крошечное суденышко, принадлежавшее его отцу — нищему югославскому лодочнику, — было потоплено однажды ночью дунайским грузовым пароходом. Сердобольный пастор из их глухой деревушки взял на попечение осиротевшего мальчишку, которому было в то время двенадцать лет. Добрый человек выбивался из сил, стараясь вдолбить в мозги туповатого, косноязычного, с низким лбом мальчишки не дававшуюся ему школьную премудрость.

Но все старания пастора оказались тщетными. В сотый раз бессмысленно всматривался Мирко в буквы, но не мог их запомнить. Его неповоротливый мозг не схватывал простейших вещей. В четырнадцать лет он все еще считал по пальцам, и ему стоило великого труда прочитать небольшой отрывок из книги или газеты. Однако нельзя сказать, чтобы Мирко был нерадив или непослушен. Он исполнял все, что ему приказывали: таскал воду, колол дрова, работал в поле, убирал кухню. На него можно было положиться; любое поручение он в конце концов выполнял, хотя медлительность его выводила из терпения. Но больше всего огорчало доброго пастора в упрямом подростке его безразличие ко всему на свете. Он никогда ничего не делал, не получив приказа, никогда не играл с другими подростками и никогда не искал себе какого-нибудь дела, пока ему не говорили, что надо сделать. Закончив домашнюю работу, Мирко усаживался в комнате, да так и сидел, устремив вдаль бессмысленный, как у пасущейся овцы, взгляд, не проявляя ни малейшего интереса к тому, что творилось вокруг. По вечерам, когда пастор, посасывая длинную деревенскую трубку, играл три неизменные партии в шахматы с жандармским вахмистром, светловолосый недоросль молча пристраивался воз-

ле игроков и, опустив тяжелые веки, с сонным и безразличным видом смотрел на расчерченную доску.

Однажды зимним вечером, когда два приятеля уже углубились в свою обычную игру, за окном послышался звон бубенцов. К дому быстро приближались сани. В комнату вбежал крестьянин в заснеженной шапке и стал умолять пастора как можно скорее поехать к его умирающей матери, чтобы успеть дать ей последнее напутствие. Священник тут же отправился с ним. Вахмистр, не допивший своей кружки пива, раскурил на прощание трубку и уж собрался было натянуть высокие меховые сапоги, как вдруг заметил, что Мирко, не отрываясь, смотрит на шахматную доску с неоконченной партией.

— Может быть, хочешь закончить партию? — шутливо спросил его вахмистр, совершенно убежденный, что придурковатый парень не знает даже, как передвигаются по доске фигуры. Мальчик неуверенно взглянул на него, но утвердительно кивнул головой и сел на место пастора. На четырнадцатом ходу вахмистр был побежден и должен был признаться, что его поражение вовсе не было результатом какого-либо случайного зевка. Вторая партия закончилась так же.

— Балаамова ослица! — вскричал, вернувшись, пораженный пастор и объяснил вахмистру, не слишком хорошо знакомому с Библией, что две тысячи лет тому назад произошло подобное чудо, когда бессловесное до тех пор животное заговорило, и к тому же очень мудро. Несмотря на поздний час, добрый пастор не мог удержаться от искушения сразиться со своим полуграмотным воспитанником. Мирко с такой же легкостью обыграл и его. Играл он медленно, упорно, ни разу не подняв от доски широколобой головы, но в игре его была непоколебимая уверенность. В последующие дни ни пастор, ни вахмистр не смогли одержать над ним ни одной победы.

Священник, лучше других знавший о безнадежной умственной отсталости своего воспитанника, задался вопросом: сможет ли этот односторонний, необычайный талант выдержать более серьезное испытание. С помощью сельского парикмахера Мирко привели в более приличный вид, и пастор отвез его в саних в соседний городок, где в кафе на главной площади собирались местные любители шахмат, игроки, как он убедился на горьком опыте, гораздо более искусные, чем он.

Появление пастора в сопровождении русого, краснощекого подростка вызвало всеобщий интерес. Пока его не позвали к шахматному столику, Мирко стоял поодаль, уставившись в пол, так и не сняв нагольного тулупа и высоких пастушьих сапог. Он проиграл первую партию, потому что добряк пастор никогда не применял сицилианскую защиту. Следующая партия с лучшим шахматистом города закончилась вничью. Однако третью, четвертую и все последующие партии Мирко выиграл одну за другой.

Провинциальные городки Югославии не часто бывают ареной волнующих событий. Поэтому первое выступление деревенского чемпиона произвело в кругу достойных граждан форменную сенсацию. Было единодушно решено, что вундеркинд должен остаться в городе до

утра, когда будет созвано специальное собрание шахматного клуба; в особенности же для того, чтобы с ним смог сыграть одержимый страстью к шахматам владеец близлежащего замка старый граф Зимчиц. В душе священника боролись два чувства — гордость за своего питомца и чувство долга, призывавшее его обратно в село, к воскресной службе. Чувство долга восторжествовало, однако пастор согласился оставить Мирко в городе для дальнейших испытаний. Шахматисты поместили молодого Чентовича в гостиницу, где он впервые в жизни увидел современную уборную.

В воскресенье после обеда шахматная комната заполнилась до отказа. В течение четырех часов Мирко неподвижно сидел перед шахматной доской, не произнося ни слова, не поднимая глаз, и разбивал одного противника за другим. Наконец ему предложили сеанс одновременной игры. Понадобилось некоторое время, чтобы растолковать Мирко, что он должен будет играть сразу против нескольких противников. Но как только он уяснил себе, чего от него хотят, он невозмутимо принялся за дело и стал ходить от стола к столу, медленно ступая тяжелыми, несмазанными сапогами. В конце концов он выиграл семь партий из восьми.

После этого начались серьезные совещания. Строго говоря, новый чемпион не являлся уроженцем городка, тем не менее местный патриотизм был задет за живое. Наконец-то у крошечного, вряд ли даже отмеченного на карте городишка появился шанс назваться родиной знаменитости.

Импресарио по имени Коллер, поставлявший шансонеток и балетов местному офицерскому казино, заявил, что берется устроить юноше уроки у своего знакомого в Вене — знатока шахматной игры — и будет содержать молодого Мирко в течение года с тем, чтобы расходы были ему впоследствии возмещены. Обязательство подписал граф Зимчиц, — за все шестьдесят лет, что он ежедневно играл в шахматы, ему ни разу не доводилось сразиться с таким замечательным противником. С этого дня началась поразительная карьера сына дунайского лодочника.

Мирко понадобилось всего шесть месяцев, чтобы постичь все секреты шахматной техники; правда, одним он не владел — это впоследствии было замечено любителями шахматной игры и вызывало с их стороны насмешки. Ни одной сыгранной партии Чентович не мог запомнить, — выражаясь языком профессионалов, не мог играть вслепую. Он был абсолютно не способен воссоздать в своем воображении шахматную доску. Ему было совершенно необходимо иметь перед глазами настоящую, в шестьдесят четыре черных и белых квадрата доску и тридцать две фигуры. Даже став всемирной знаменитостью, он неизменно носил с собой карманные шахматы, чтобы иметь возможность в любой момент наглядно воспроизвести нужную ему классическую партию и решить заинтересовавшую его задачу.

Хотя сам по себе этот дефект и не представлял особой важности, он тем не менее указывал на недостаток воображения и вызывал

оживленные толки в кругу любителей шахмат — такие толки возникают, например, в музыкальных кругах, когда выясняется, что выдающийся виртуоз или дирижер не может играть или дирижировать на память, без нот. Впрочем, этот недостаток не помешал замечательным успехам Мирко. В семнадцать лет он уже имел с десяток различных призов, в восемнадцать — стал чемпионом Венгрии и, наконец, в двадцать — чемпионом мира. Лучшие игроки, несомненно превосходившие его умом, силой воображения и смелостью, не смогли противостоять его железной, холодной логике, как не мог Наполеон противостоять осторожному Кутузову и Ганнибал — Фабию Кунктатору, у которого, по свидетельству Ливия, черты апатии и слабоумия проявлялись уже в раннем детстве. Таким образом, оказалось, что в блистательном обществе выдающихся шахматистов, среди которых были видные представители самых разнообразных отраслей интеллектуального труда — философы, математики, люди, обладающие художественным чутьем, изобретательскими способностями и нередко творческим талантом, — затесался совершенный чужак — хмурый, молчаливый, неразвитой деревенский парень. Самые ловкие журналисты не могли вытянуть из него ни единого слова, из которого можно было бы сострять сенсацию. Газеты были лишены такой возможности, но это восполнялось обилием циркулировавших о нем анекдотов: едва поднявшись из-за шахматного стола, где он не знал себе равных, Чентович неизбежно становился забавной, почти комической фигурой. Несмотря на безукоризненный костюм, модный галстук и булавку с чрезмерно большой жемчужиной и тщательно наmaniкуренные ногти, он оставался тем, кем был прежде, — ограниченным, нсотесанным парнем, еще недавно подметавшим кухню пастора. Используя свой талант и славу, он старался заработать как можно больше денег, проявляя при этом мелочную и нередко грубую жадность. Делал он это с беззастенчивой откровенностью, возбуждавшей раздражение и непрерывные насмешки его коллег. Путешествуя из города в город, он останавливался в самых дешевых отелях, соглашался играть за любой шахматный клуб, готовый уплатить ему гонорар, продал фабриканту мыла право помещать свой портрет на рекламных объявлениях и, не обращая внимания на презрительные насмешки своих соперников, которым было известно, что он с трудом может написать связно два слова, выпустил под своим именем книгу «Философия шахматной игры», написанную бедным галицийским студентом по заказу какого-то предприимчивого издателя.

Как обычно случается с людьми такого склада, Чентович был на чисто лишен чувства юмора и, сделавшись чемпионом, стал считать себя самым важным человеком в мире. Сознание того, что он сумел одержать победу над всеми этими умными и культурными людьми, блестящими ораторами и писателями, и к тому же зарабатывает больше их, обратило его прежнюю неуверенность в холодную надменность.

— Разумеется, как и следовало ожидать, легко добытая слава вскружила такую пустую голову, — заключил мой друг и привел несколько классических примеров того, как Чентович с чисто детским

тщеславием стремился занять положение в обществе. — Почему бы парню в двадцать один год не стать невероятно тщеславным, если, двигая на доске фигурки, он может за одну неделю заработать больше, чем вся его деревня за целый год на рубке леса в ужасных условиях. И потом, весьма легко считать себя великим человеком, если ваш мозг не отягощен ни малейшим подозрением, что на свете жили когда-то Рембрандт, Бетховен, Данте и Наполеон. В его ограниченном уме гнездится только одна мысль: уже в течение многих месяцев он не проиграл ни одной партии. И так как он не имеет ни малейшего представления о том, что в мире существуют другие ценности, кроме шахмат и денег, у него есть все основания быть в восторге от собственной персоны.

Рассказ приятеля, разумеется, возбудил мое любопытство. Меня всю жизнь интересовали различные виды мономанов — людей, которыми владеет одна-единственная идея, потому что, чем теснее рамки, которыми ограничивает себя человек, тем больше он в известном смысле приближается к бесконечному. Как раз такие, по видимости равнодушные ко всему на свете, люди упорно, как муравьи, строят из какого-то особого материала свой собственный, ни на что не похожий мирок, представляющий для них уменьшенное подобие вселенной. Поэтому я не скрыл от приятеля своего намерения — постараться за время двенадцатидневного путешествия до Рио поближе познакомиться с этой личностью, наделенной крайне односторонними способностями.

— Вряд ли это вам удастся, — предупредил меня мой собеседник. — Насколько я знаю, еще никому не удалось выудить из Чентовича хоть какую-либо малость, годную для психологических суждений. При всей своей невероятной ограниченности этот хитрый крестьянин достаточно умен, чтобы скрывать свои слабые места. Способ у него простой: за исключением земляков, и притом людей своего круга, с которыми он встречается в дешевеньких гостиницах, Чентович избегает вступать с кем-либо в разговоры. Почувствовав, что перед ним человек культурный, он сразу же, как улитка, прячется в свою раковину; поэтому никто не может похвастаться, что слышал от него какую-нибудь глупость и сумел оценить всю бездну его невежества.

Должно быть, мой приятель был прав. Завязать знакомство с Чентовичем в течение первых дней нашего путешествия оказалось невозможным — разве что проявить известное нахальство, — но я не сторонник таких приемов. Иногда он появлялся на верхней палубе и гулял там, заложив руки за спину, погруженный в сосредоточенное раздумье, совсем как Наполеон на известном портрете. Но, гуляя по палубе, он всегда так торопился, что мне, чтобы добиться своей цели, пришлось бы бегать за ним рысью. Он никогда не появлялся в гостиных, в баре или в курительном салоне. Стюард, у которого я доверительно навел справки, сказал мне, что большую часть дня он проводит у себя в каюте за большой шахматной доской, разбирая сыгранные партии или решая задачи.

Через три дня меня стало злить, что оборонительная тактика Чентовича оказалась сильнее моего желания как-нибудь до него добраться. До сих пор мне не приходилось встречаться с выдающимися шахматистами. Чем больше я старался понять этот тип людей, тем непостижимее казалась мне эта работа человеческого мозга, полностью сосредоточенная на небольшом пространстве, разделенном на шестьдесят четыре черных и белых квадрата. По личному опыту мне было знакомо таинственное очарование «королевской игры», единственной из игр, изобретенных человеком, которая не зависит от прихоти случая и венчает лаврами только разум, или, вернее, особенную форму умственной одаренности. Но разве узкое определение «игра» не оскорбительно для шахмат? Однако это и не наука, и не искусство, вернее, нечто среднее, витающее между двумя этими понятиями, подобно тому как витает между небом и землей гроб Магомета. В этой игре сочетаются самые противоречивые понятия: она и древняя, и вечно новая; механическая в своей основе, но приносящая победу только тому, кто обладает фантазией; ограниченная тесным геометрическим пространством — и в то же время безграничная в своих комбинациях; непрерывно развивающаяся — и совершенно бесплодная; мысль без вывода, математика без результатов, искусство без произведений, архитектура без камня. И, однако, эта игра выдержала испытание временем лучше, чем все книги и творения людей, это единственная игра, которая принадлежит всем народам и всем эпохам, и никому не известно имя божества, принесшего ее на землю, чтобы рассеивать скуку, изощрять ум, ободрять душу. Где начало ее и где конец? Ее простые правила может выучить любой ребенок, в ней пробует свои силы каждый любитель, и в то же время в ее неизменно тесных квадратах рождаются совсем особенные, ни с кем не сравнимые мастера — люди, одаренные исключительно способностями шахматистов. Это особые гении, которым полет фантазии, настойчивость и мастерство точности свойственны не меньше, чем математикам, поэтам и композиторам, только в ином сочетании и с иной направленностью. В дни увлечения физиогномическими исследованиями какой-нибудь Галль¹ должен был бы в первую очередь исследовать головной мозг одного из гениальных шахматистов, чтобы установить, нет ли в сером веществе его мозга особой извилины, нет ли там какого-то особого шахматного нерва или шахматной шишки. И какой интерес пробудил бы у физиогномиста такой индивидуум, как Чентович, у которого эта особая гениальность угнездилась в мозгу, совершенно нетронутом и вялом, подобно тому как в глыбе горной породы прячется единственная золотая жилка. В принципе я понимал, что такая единственная в своем роде, гениальная игра должна порождать и достойных служителей, и все-таки мне было всегда трудно, почти невозможно представить себе жизнь человека, обладающего деятельным умом и в то же время ограничившего свой мир

¹ Галль Франц Иосиф (1758—1828), немецкий врач, создатель френологии — лженауки, якобы позволявшей определять способности и склонности человека по форме и выпуклости его черепа.

небольшим бело-черным пространством и способного находить радость бытия в передвижении туда и сюда тридцати двух фигур. Я не мог понять психологии человека, который верит в то, что ход конем, а не пешкой может принести ему славу и обеспечить местечко среди бессмертных, выражающееся в коротеньком примечании к руководству по шахматной игре, разумного, мыслящего человека, который, не будучи сумасшедшим, в течение десяти, двадцати, тридцати, сорока лет снова и снова посвящает всю силу своего ума нелепому занятию. — во что бы то ни стало загнать в угол деревянной доски деревянного короля.

И вот наконец, впервые в жизни, совсем близко от меня, на одном корабле, всего через шесть кают, оказался один из таких феноменов — исключительный гений или, быть может, загадочный глупец, а я, несчастный человек, у которого страсть разгадывать психологические загадки переросла в манию, не мог найти способа познакомиться с ним. Я изобретал всевозможные хитрые маневры: то собирался сыграть на его тщеславии, попросив интервью для влиятельной газеты, то рассчитывал пробудить в нем жадность, предложив выгодное турне по Шотландии. Наконец мне пришел на ум прием охотников, которые подманивают глухарей, имитируя их любовный зов. Может быть, удастся привлечь к себе внимание шахматного маэстро, выдав себя за шахматного игрока?

Я никогда не играл в шахматы серьезно, для меня это — развлечение, не больше. Если я и провожу иногда часок за шахматной доской, то вовсе не для того, чтобы утомлять свой мозг, а, напротив, для того, чтобы рассеяться после напряженной умственной работы. Я в полном смысле этого слова «играю» в шахматы, в то время как настоящие шахматисты священнодействуют, если позволительно употребить такое выражение. Шахматы, так же как любовь, требуют партнера, а я еще не сумел выяснить, есть ли на пароходе любители этой игры. Чтобы выманить их из нор, я расставил в курительном салоне примитивную ловушку. В качестве приманки за шахматный столик уселась вместе со мной и моя жена, которая играет еще хуже меня. И, конечно, едва мы сделали несколько ходов, как возле нас уже остановился один из пассажиров, затем еще один попросил разрешения посмотреть на игру, а скоро отыскался и желанный партнер, предложивший мне сыграть с ним партию.

Это был некто Мак Коннор, шотландец, горный инженер. Я узнал, что он бурил нефтяные скважины в Калифорнии и сколотил там крупное состояние. Мак Коннор был цветущим здоровяком, обладавшим квадратными челюстями и крепкими зубами. Яркий цвет лица, без сомнения, указывал на неумеренное потребление виски, а широкие плечи этого атлета довольно неприятно действовали на вас во время игры. Ибо Мак Коннор принадлежал к той категории самоуверенных, преуспевающих людей, которые любое поражение, даже в самом безобидном состязании, воспринимают не иначе, как удар по своему самолюбию. Этого громадного человека, всем обязанного только самому себе, привыкшего напролом пробиваться к цели, настолько переполняло чувство собственного превосходства, что любое

препятствие он считал непозволительным вызовом себе, если не оскорблением. Проиграв первые две партии, он помрачнел и начал обстоятельно, диктаторским тоном объяснять, что этого бы не произошло, если бы не случайная его невнимательность. Третий проигрыш он отнес за счет шума в соседней гостиной. Ни одной проигранной партии он не желал оставлять без реванша. Сначала его обидчивость забавляла меня, но потом я смирился, сообразив, что это наверняка поможет мне добиться цели — подманить к столу чемпиона мира.

На третий день мой замысел осуществился, хотя и не полностью. Может быть, Чентович увидел нас за шахматами через иллюминатор, выходявший на верхнюю палубу, может быть, он просто решил почтить своим присутствием курительный салон, во всяком случае, как только чемпион заметил, что в сферу его искусства осмелились вторгнуться непосвященные, он невольно подошел поближе и, держась на приличном расстоянии, бросил испытующий взгляд на доску. Был ход Мак Коннора. Одного его хода оказалось достаточно, чтобы Чентович сразу понял, как мало интереса представляют для него наши любительские потуги. С небрежным жестом, каким обычно отмахиваются от предложенного в книжном магазине плохого детективного романа, даже не перелистав его, чемпион отвернулся и вышел из салона.

«Сразу увидел, что игра не стоит свеч», — подумал я. Меня уязвил его высокомерный, холодный взгляд. Захотелось выместить на ком-нибудь свое раздражение, и я обратился к Мак Коннору:

— Кажется, ваш ход не произвел большого впечатления на чемпиона?

— Какого чемпиона?

Я объяснил ему, что человек, который заходил в салон и столь презрительно отнесся к нашей игре, был Чентович, чемпион мира по шахматам. Я добавил, что не следует расстраиваться из-за его надменности: для бедняков гордость — непозволительная роскошь. К моему удивлению, эти случайно сказанные слова оказали на Мак Коннора совершенно неожиданное действие. Он сразу невероятно разволновался и, полный честолюбивых замыслов, забыл о нашей игре. Он и не подозревал, что Чентович находится в числе пассажиров, — чемпион обязательно должен сыграть с ним. Ему только один раз удалось сыграть с чемпионом, и то когда шел сеанс одновременной игры на сорока досках, но даже это было очень увлекательно, он чуть-чуть не выиграл. Знаком ли я с чемпионом? Нет, не знаком. Не могу ли я попросить его сыграть с нами? Я отказался, сославшись на то, что Чентович, насколько мне известно, избегает новых знакомств. Кроме того, какой интерес может представлять для чемпиона мира игра с нами, третьеразрядными игроками?

Замечание о третьеразрядных игроках в адрес такого самолюбивого человека, как Мак Коннор, было, пожалуй, излишним. Он сердито откинулся в кресле и запальчиво заявил, что просто не представляет себе, чтобы Чентович мог отклонить вызов джентльмена.

Об этом позаботится он сам. По его просьбе я в нескольких словах обрисовал ему своеобразный характер чемпиона, и Мак Коннор, бросив на произвол судьбы неоконченную партию, кинулся разыскивать Чентовича на верхней палубе. Тут я снова почувствовал, что удирать человека с такими мощными плечами, если он вбил себе что-либо в голову, дело совершенно безнадежное.

Я напряженно ждал. Прошло десять минут, и Мак Коннор вернулся, как мне показалось, не в очень хорошем расположении духа...

— Ну как? — спросил я.

— Вы были правы, — ответил с досадой Мак Коннор, — не очень-то приятный господин. Я поздоровался и назвал себя, но он даже руки не протянул. Я попытался объяснить ему, что все мы, пассажиры, будем горды и счастливы, если он согласится удостоить нас сеансом одновременной игры. Но он был со мной страшно официален и ответил, что, к сожалению, контракт с импресарио, организовавшим его турне, обязывает его играть во время поездки только за вознаграждение и что минимальный его гонорар — двести пятьдесят долларов за партию.

Я рассмеялся.

— Вот уж никогда не думал, что передвигать фигуры с белых квадратов на черные — такое доходное дело. Надеюсь, вы столь же любезно отклонялись.

Однако Мак Коннор остался совершенно серьезен.

— Матч состоится завтра в три часа дня здесь, в курительном салоне. Надеюсь, ему не так-то легко удастся разбить нас.

— Как? Вы дали ему двести пятьдесят долларов?! — вскричал я в совершенном изумлении.

— Почему же нет? *C'est son métier*¹. Если бы у меня разболелся зуб, а на борту парохода оказался дантист, ведь не стал бы он рвать его даром. Его право — заломить, сколько он хочет. Так везде. В любой профессии лучшие специалисты всегда бывают прекрасными коммерсантами. Что же до меня, то я за чистые сделки. Я с гораздо большим удовольствием заплачу вашему Чентовичу звонкой монетой, чем стану просить его об одолжении да еще буду чувствовать себя обязанным рассыпаться потом в благодарностях. Мне случилось проигрывать за вечер в нашем клубе и побольше двухсот пятидесяти долларов, но ведь мне не доводилось играть с чемпионом мира. «Третьеразрядному» игроку не стыдно проиграть Чентовичу.

Меня забавляло, как сильно невинное выражение «третьеразрядные игроки» ранило самолюбие Мак Коннора. Поскольку, однако, дорогое развлечение, предоставившее мне возможность познакомиться с интересовавшим меня субъектом, оплачивалось Мак Коннором, я предпочел промолчать.

Мы поспешили известить о предстоящем событии еще нескольких человек, обнаруживших пристрастие к шахматам, и потребовали оставить за ними для матча не только наш стол, но и все соседние, чтобы избежать возможных помех со стороны остальных пассажиров.

¹ Это его профессия (фр.).

На другой день точно в назначенный час наша компания собралась в полном составе. Центральное место, напротив чемпиона, было, разумеется, предоставлено Мак Коннору. Он волновался, курил одну за другой крепкие сигары и нервно поглядывал на часы.

Чемпион заставил себя ждать добрых десять минут (помня рассказы своего приятеля, я предвидел что-нибудь в этом роде), и это еще больше подчеркнуло торжественность его появления. Он подошел к столу с невозмутимым и спокойным видом, не поздоровался. По-видимому, его неучтивость должна была означать: «Вам известно, кто я, а мне совсем не интересно знать, кто вы», — и сразу же сухим, деловым тоном начал излагать свои условия. Так как на пароходе не было достаточного количества шахматных досок для проведения сеанса одновременной игры, он предлагает, чтобы все мы играли против него сообща. Сделав ход, он будет отходить в другой конец комнаты, чтобы не мешать нам советовать. Мы же, сделав ответный ход, должны будем, за неимением колокольчика, стучать по столу чайной ложечкой. Если не будет возражений, он предлагает дать на обдумывание каждого хода максимум десять минут. Мы, как робкие ученики, приняли все его условия. Чентовичу достались черные; он стоя сделал первый ответный ход, сразу повернулся, отошел в условленное место и там, лениво развалившись в кресле, принялся перелистывать иллюстрированный журнал.

Вряд ли стоит описывать эту партию. Кончилась она, как и следовало ожидать, полным нашим поражением, и к тому же на двадцать четвертом ходу. Не было ничего удивительного в том, что чемпион мира, играя, что называется, левой рукой, наголову разбил с полдюжины посредственных и совсем слабых игроков; но всем нам было противно надменное поведение Чентовича, который ясно давал почувствовать, что разделался с нами без малейшего труда. Каждый раз, подойдя к столу, он бросал на доску беглый и нарочито небрежный взгляд, а на нас и вовсе не обращал внимания, словно мы тоже были деревянными фигурами. Так, не потрудившись даже взглянуть на нее, кидают кость бродячей собаке. Мне казалось, что, обладая он хоть какой-то чуткостью и тактом, ему бы следовало указать нам на наши ошибки или подбодрить нас дружеским словом. Даже закончив игру, этот шахматный робот не произнес ни звука. Сказав «мат», он остался неподвижно стоять у стола, очевидно, желая узнать, не хотим ли мы сыграть еще одну партию. Я уже поднялся было с места и, как всегда, пасуя перед бесцеремонной грубостью, приготовился дать понять жестом, что лично я с удовольствием буду считать наше знакомство законченным, едва только окончатся финансовые расчеты. Но, к моей досаде, в это самое мгновение Мак Коннор, сидевший рядом со мной, хрипло произнес: «Реванш».

Меня испугал вызов, прозвучавший в голосе Мак Коннора. Он скорее напоминал боксера, готового нанести решающий удар, нежели корректного джентльмена. Может быть, его возмутило оскорбительное поведение Чентовича или причиной тому было его собственное уязвленное самолюбие, но, как бы то ни было, даже внешне Мак Коннор совершенно изменился. Он покраснел до корней волос, ноздри

раздулись, на лбу выступили капли пота, от закушенной губы к воинственно выставленному вперед подбородку пролегли резкие складки. Я с беспокойством заметил в его глазах огонек неукротимой страсти, которая охватывает обычно игроков в рулетку, когда нужный им цвет не выпадает шесть-семь раз подряд после непрерывно удваиваемых ставок. Я уже знал, что этот одержимый готов поставить против Чентовича все свое состояние и играть, играть, играть по простым или удвоенным ставкам, пока не выиграет хотя бы одну партию. Если бы Чентович взялся за это дело, Мак Коннор мог бы оказаться для него сущим золотым дном, и прежде чем на горизонте возник бы Буэнос-Айрес, в кармане чемпиона очутилось бы несколько тысяч долларов.

Чентович остался недвижим.

— Извольте,— вежливо проговорил он.— Теперь, господа, вы будете играть черными.

Вторая партия мало чем отличалась от первой, только наша компания несколько увеличилась за счет подошедших зрителей и игра стала оживленней. Мак Коннор пристально смотрел на доску, словно хотел загипнотизировать шахматные фигуры и подчинить их своей воле. Я чувствовал, что он с восторгом пожертвовал бы тысячей долларов за удовольствие крикнуть «мат» в лицо нашему невозмутимому противнику. И странно, его угрюмое волнение непостижимым образом передалось всем нам. Теперь каждый ход обсуждался с гораздо большей страстностью, и мы спорили до последней секунды, прежде чем соглашались дать сигнал Чентовичу. Дойдя до семнадцатого хода, мы с изумлением обнаружили, что у нас создалась позиция, казавшаяся поразительно выгодной: мы сумели продвинуть пешку «с» на предпоследнюю линию, и все, что нам нужно было теперь сделать,— это продвинуть ее вперед на «с1». Мы получали второго ферзя. Однако мы не были вполне спокойны: нам не верилось, что у нас действительно появился такой очевидный шанс на выигрыш. Все мы подозревали, что преимущество, которое мы, казалось, вырвали, было не чем иным, как ловушкой, расставленной Чентовичем, предвидевшим развитие игры на много ходов вперед. И все же, как мы ни обсуждали и ни рассматривали положение со всех сторон, мы не могли разгадать, в чем заключается подвох. Наконец, когда десять минут уже почти истекли, мы решили рискнуть сделать этот ход. Мак Коннор уже взялся за пешку, чтобы передвинуть ее на последний квадрат, как вдруг чья-то рука остановила его и тихий, но настойчивый голос произнес:

— Ради бога, не надо.

Мы все невольно обернулись. За нами стоял человек лет сорока пяти,— узкое, с резкими чертами лицо его уже раньше, на прогулках, привлекло мое внимание своей необычайной, мертвенной бледностью. Видимо, он только что присоединился к нашей компании, и, погруженные в обсуждение очередного хода, мы не заметили его появления. Увидев, что мы смотрим на него, он торопливо продолжал:

— Если вы сделаете ферзя, он немедленно возьмет его слоном, которого вы снимете конем. Он же в это время продвинет свою про-

ходную пешку на «d7» и будет угрожать вашей ладье. Если даже вы объявите шах конем, все равно партия для вас будет потеряна — через девять или десять ходов вы получите мат. Почти ту же комбинацию применил в 1922 году Алехин, играя против Боголюбова на шахматном турнире в Пестене.

Пораженный Мак Коннор выпустил из рук пешку и, как и все мы, с немым удивлением уставился на ангела-хранителя, свалившегося к нам с неба. Ведь предугадать мат за девять ходов мог только игрок высшего класса, участник международных состязаний, — может быть, он направлялся на тот же турнир, что и Чентович, и будет оспаривать мировое первенство? Как бы то ни было, его внезапное появление, его вмешательство в игру в самый критический момент показалось нам чем-то сверхъестественным.

Первым пришел в себя Мак Коннор.

— Что же вы посоветуете? — прошептал он возбужденно.

— Пока что не продвигайте пешки вперед. Пока уклоняйтесь. Прежде всего выведите короля из опасной зоны — с «g8» на «h7». Тогда ваш противник, по всей вероятности, перенесет атаку на другой фланг. Но эту атаку вы можете парировать ходом ладьи «с8 — с4». Это ему будет стоить потери двух темпов и одной пешки и, таким образом, всего преимущества. В таком случае у вас обоих окажутся проходные пешки, и если вы будете правильно защищаться, то сможете свести партию к ничьей. Это лучшее, что вы можете сделать.

Мы снова ошелопились. Точность и быстрота его расчетов ошелопили нас. Похоже было, что он читает ходы по книжке. Благодаря его вмешательству игра принимала неожиданный оборот. Возможность сыграть вничью с чемпионом мира — это было так заманчиво! Как сговорившись, мы все отодвинулись в сторону, чтобы не мешать ему смотреть на доску.

Мак Коннор переспросил:

— Значит, короля с «g8» на «h7»?

— Конечно. Сейчас самое главное — уклониться.

Мак Коннор повиновался, и мы постучали по стакану.

Чентович подошел своей обычной ленивой походкой и посмотрел, какой ход мы сделали. Потом он передвинул пешку с «h2» на «h4» на королевском фланге, точно так, как предсказывал наш таинственный помощник.

А тот уже шептал взволнованно:

— Ладью вперед, ладью с «с8» на «с4», тогда ему придется сначала защитить пешку. Но это ему не поможет. Не обращая внимания на его проходную пешку, берите конем «с3 — d5», и тогда равновесие восстановится. Атакуйте, вместо того чтобы защищаться.

Мы не понимали, о чем он говорит. Он с таким же успехом мог говорить с нами по-китайски. Мак Коннор, как зачарованный, не размышляя, делал то, что ему приказывали. Мы снова застучали по стакану, призывая Чентовича. И тут он, внимательно вглядываясь в доску, впервые помедлил, перед тем как пойти. Ход он сделал как раз тот, который предугадал незнакомец. Он уже повернулся, чтобы

идти, но тут произошло нечто новое и непредвиденное: Чентович поднял глаза и оглядел наши ряды. Вне всякого сомнения, он хотел выяснить, кто же это из нас вдруг оказал ему такое энергичное содействие.

Наше волнение возрастало с каждой минутой. Раньше мы играли без серьезной надежды на выигрыш, но теперь мысль о том, что мы можем сломить холодную надменность Чентовича, воодушевляла всех. Не теряя ни минуты, наш новый друг указал следующий ход. Можно было приглашать Чентовича продолжать игру. Дрожащей рукой я ударил ложкой по стакану, и тут настал наш черед торжествовать: Чентович, до тех пор игравший стоя, помедлил и в конце концов сел за стол. Опустился он на стул медленно и тяжело, но этого было вполне достаточно для того, чтобы мы наконец оказались игроками «одного уровня», пусть даже только в прямом смысле этого слова. Мы заставили его обращаться с нами, как с равными, по крайней мере внешне. Он сидел неподвижно, пристально глядя на доску и обдумывая ход; его тяжелые веки почти совсем прикрыли глаза. От напряженного раздумья рот его слегка приоткрылся, это придавало ему глуповатый вид. Чентович думал несколько минут, потом сделал ход и встал.

И сразу же наш друг зашептал:

— Пат. Хорошо задумано. Но не идите на это. Форсируйте размен. Обязательно размен! После этого будет ничья, он ничего не сможет сделать.

Мак Коннор повиновался. Последующие маневры обоих игроков (мы-то все уже давно превратились в простых статистов) состояли в непонятных для нас передвижениях фигур. Ходов через семь Чентович, подумав немного, поднял на нас глаза и сказал: «Ничья».

На мгновение воцарилась полная тишина. Вдруг сразу стали слышны и шум моря, и радио в соседней гостиной, и каждый шаг гуляющих на верхней палубе, и тонкий свист ветра в оконных рамах. Мы не смели пошевелиться. Все произошло так внезапно, мы просто были напуганы: неизвестно откуда взявшийся человек заставил подчиниться своей воле чемпиона мира, и к тому же в наполовину проигранной партии. Только Мак Коннор шумно перевел дыхание, откинулся назад, и с его губ сорвалось удовлетворенное «ага!». Я снова внимательно посмотрел на Чентовича. Мне еще раньше показалось, что к концу игры он побледнел. Но чемпион мира умел держать себя в руках. По-прежнему сохраняя равнодушный вид, он сгреб твердой рукой фигуры с доски и спросил:

— Желаете сыграть третью партию, господа?

Вопрос был задан спокойным, чисто деловым тоном, но удивительно было то, что чемпион, как бы совершенно не замечая Мак Коннора, пристально смотрел в глаза нашему избавителю. Как лошадь по уверенной посадке узнает нового, опытного всадника, так и Чентович раздал, что, собственно, был его настоящим и единственным противником. Вслед за ним и мы невольно уставились на незнакомца. Но не успел тот ответить, как, охваченный честолюбивым азартом, Мак Коннор торжествующе воскликнул:

— Конечно, без всякого сомнения! Но только на этот раз играть будет этот господин. Он один против Чентовича.

И тут произошло нечто совсем непредвиденное. Незнакомец, который все еще с непонятным напряжением смотрел на пустую доску, вздрогнул, услышав это энергичное заявление. Видя, что все взгляды устремлены на него, он смутился.

— Ни в коем случае, господа,— сказал он, запинаясь, в явном замешательстве,— это невозможно... Вам придется обойтись без меня... Ведь прошло уже двадцать лет, нет, даже двадцать пять лет с тех пор, как я сидел за шахматной доской. Я только сейчас понял, как невежливо поступил, вмешавшись без разрешения в вашу игру. Прошу вас извинить меня за дерзость. Больше я не буду вам мешать.

И прежде чем мы успели прийти в себя от изумления, он повернулся и вышел из салона.

— Но это невозможно! — грохотал пылкий Мак Коннор, барабанив кулаком по столу. — Совершенно исключено, чтобы он двадцать пять лет не играл в шахматы! Да ведь он предвидел каждую комбинацию, каждый встречный маневр по крайней мере за пять-шесть ходов вперед. Из пальца этого не высосешь. Это просто невероятно, не так ли?

С последним вопросом Мак Коннор невольно обратился к Чентовичу, но чемпион не утратил ледяного спокойствия.

— Не могу ничего сказать на этот счет. Во всяком случае, в игре этого господина было что-то не совсем обычное и интересное; потому-то я намеренно дал ему возможность разыграть партию, как ему хотелось.

Он тут же лениво поднялся и деловито закончил:

— Может быть, этот господин или вы, господа, пожелаете завтра сыграть еще партию — с трех часов я буду в вашем распоряжении.

Мы не могли подавить легких улыбок. Каждый из нас прекрасно понимал, что отнюдь не великодушие заставило Чентовича уступить победу нашему неизвестному помощнику. Замечание его было не чем иным, как наивной попыткой скрыть свое поражение, и нам только еще больше захотелось стать свидетелями окончательного посрамления этого высокомерного гордеца. Всех нас, праздных путешественников, вдруг охватил дикий, честолюбивый азарт. Нас пленяла мысль, что здесь, на нашем пароходе, в открытом море, пальма первенства будет вырвана из рук чемпиона и телеграфные агентства разнесут весть об этом событии по всему миру. К этому нужно добавить, что нас заинтриговали таинственное появление нашего спасителя, его вмешательство в игру в самый критический момент, контраст между его болезненной застенчивостью и непоколебимой самоуверенностью профессионала. Кто же этот незнакомец? Может быть, на наших глазах случайно открылся миру доселе неизвестный шахматный гений? Или это знаменитый маэстро, по какой-либо причине не пожелавший открыть свое имя? Мы горячились, на все лады обсуждая каждую из этих возможностей. Самые немыслимые предположения уже не казались нам невероятными, когда мы вспоминали его непонятную

робость, его неожиданное заявление, что он не играл уже много лет, и сопоставляли все это с очевидным мастерством его игры. В одном, однако, мы сходились все: надо сделать так, чтобы турнир продолжался. Мы решили приложить все усилия и уговорить незнакомца играть на другой день против Чентовича. Мак Коннор брался оплатить расходы, а меня в качестве соотечественника — мы тем временем узнали у стюарда, что незнакомец был австрийцем, — уполномочили передать ему нашу общую просьбу.

Мне не понадобилось много времени, чтобы найти его. Он читал, растянувшись в шезлонге на верхней палубе. Я воспользовался этим, чтобы хорошенько рассмотреть его. Он лежал, откинувшись на подушку, и вид у него был очень утомленный. Меня поразило полное отсутствие красок в его сравнительно молодом, с резкими чертами лице. Виски у него были совершенно белые. Не знаю почему, но у меня создалось впечатление, что постарел он внезапно. Как только я подошел к нему, он вежливо встал и представился. Имя, которое он назвал, принадлежало семье, пользовавшейся большим уважением в старой Австрии. Я вспомнил, что один из членов этой семьи был близким другом Шуберта, другой — придворным врачом старого императора. Доктор Б. был потрясен, когда я повторил ему нашу просьбу сыграть с Чентовичем. Оказалось, что он и не подозревал, что играл, да еще с таким успехом, против прославленного чемпиона мира. Почему-то эта подробность произвела на него особенно сильное впечатление. Он снова и снова переспрашивал, уверен ли я, что его противником действительно был знаменитый обладатель международных призов. Скоро я понял, что это обстоятельство сильно облегчает мою миссию. Однако, чувствуя, что имею дело с очень деликатным и воспитанным человеком, я решил не упоминать, что в случае его поражения Мак Коннор понесет материальный ущерб. Поколебавшись немного, доктор Б. согласился принять участие в матче, но просил предупредить моих приятелей, чтобы они не возлагали слишком больших надежд на его способности.

— Потому что, — добавил он со странной улыбкой, — я, право, не знаю, смогу ли играть по всем правилам. Уверяю вас, когда я упомянул, что не притрагивался к шахматам с гимназических времен, то есть больше двадцати лет, я сказал это не из ложной скромности. И даже в те времена я ничего не представлял собой как шахматист.

Это было сказано так просто, что я ни на минуту не усомнился в искренности его слов. Но все же я не мог не возразить ему, что меня поразила точность, с какой он ссылаясь на мельчайшие подробности партий, сыгранных разными чемпионами. По всей вероятности, он много времени посвятил изучению теории шахматной игры.

Доктор Б. снова улыбнулся своей непонятной улыбкой:

— Много времени? Видит бог, это правда. Шахматам я посвятил очень много времени. Но это произошло при особых, я бы сказал, исключительных обстоятельствах. Это довольно запутанная история и может сойти за иллюстрацию к повести о нашей прелестной эпохе. Может быть, вы запасетесь терпением на полчаса?..

Он указал на соседний шезлонг. Я с удовольствием принял приглашение. Поблизости никого не было. Доктор Б. снял очки, положил их рядом и начал:

— Вы любезно заметили, что моя фамилия вам, уроженцу Вены, знакома. Полагаю, однако, что вы вряд ли слышали о юридической конторе, которую возглавляли сначала мы с отцом, а потом я один. Мы не брались за дела, которые вызывали шум в газетах, и принципиально избегали новых клиентов. Собственно говоря, мы вообще не занимались обычной юридической практикой, а ограничивались тем, что давали юридические советы и управляли имуществом богатых монастырей, с которыми был близко связан мой отец, в прошлом депутат клерикальной партии. Кроме того — теперь, когда монархия уже стала достоянием истории, об этом можно говорить открыто, — нам было доверено и управление капиталами некоторых членов императорского дома.

Связи нашей семьи с двором и церковью (один мой дядя был лейб-медиком императора, а другой — аббатом в Зайтенштеттене) восходят еще к предыдущим поколениям; нам оставалось только сохранять и поддерживать эти связи. Доверие клиентов перешло к нам по наследству, и вместе с доверием перешли и несложные, спокойные обязанности. От нас требовались главным образом скромность и преданность — качества, которыми в полной мере обладал мой отец. Только благодаря его осмотрительности наши клиенты сохранили значительные ценности в годы инфляции и после переворота. Потом, когда власть в Германии захватил Гитлер и началась конфискация имущества церквей и монастырей, из-за границы были предприняты некоторые шаги для спасения хотя бы движимого имущества. Переговоры велись через нас, и сделки между императорским домом и Ватиканом, которые никогда не станут достоянием гласности, были известны лишь нам двоим. Контора наша была совершенно незаметна, у нас не было даже вывески на двери, мы нарочито держались вдали от монархических кругов, и это ограждало нас от навязчивых расспросов. Австрийские власти и не подозревали, что в течение всех этих лет тайные курьеры императорской семьи доставляли в нашу скромную контору на четвертом этаже чрезвычайной важности письма и увозили ответы на них.

Известно, что еще задолго до того, как нацисты двинули свои армии против всего света, они начали создавать во всех соседних с Германией странах столь же хорошо вышколенные и не менее опасные военизированные легионы из людей обойденных, отверженных и обиженных. В каждой конторе, на каждом предприятии существовали их так называемые ячейки, у них были шпионы и соглядатаи повсюду, включая личные резиденции Дольфуса и Шушница. Имелся их агент и в нашей невзрачной конторе, о чем я, увы, узнал слишком поздно. Это был жалкий и бездарный чинуша, которого я взял по рекомендации одного священника, чтобы придать нашей конторе вид настоящего делового учреждения. Давали мы ему только самые невинные поручения: он отвечал на телефонные звонки и подшивал бумаги — разумеется, бумаги, не имевшие сколько-нибудь серьезного

значения. Ему не разрешалось вскрывать корреспонденцию. Самые важные письма печатал я сам и только в одном экземпляре. Все основные документы я держал у себя дома, а тайные переговоры вел только в монастырской обители или во врачебном кабинете своего дяди. Благодаря этим мерам предосторожности шпион, приставленный к нам, не мог узнать ничего существенного. Но, по-видимому, несчастная случайность открыла глаза этому тщеславному человечку, и он понял, что мы ему не доверяем, что за его спиной творятся интересные вещи. Возможно, в мое отсутствие один из курьеров по небрежности сказал «его величество» вместо условного «барон Берн». Не исключено также, что негодяй вскрывал тайком письма. Как бы то ни было, еще до того, как я начал подозревать что-нибудь, он уже получил приказ из Мюнхена или Берлина вести за нами слежку. Уже гораздо позже, после своего ареста, я вспомнил, как он, поначалу ленивый и бездеятельный, стал проявлять вдруг в последние месяцы необычайное рвение: он все время настойчиво предлагал мне отправлять мои письма. Признаюсь, я допустил известную неосторожность, но разве не сумел Гитлер обойти и перехитрить крупнейших дипломатов и генералов нашего времени?

Гестапо следило за мной неотступно,—это наглядно подтверждает тот факт, что эссовцы арестовали меня вечером в тот самый день, когда отрекся Шушниг, и за день до того, как Гитлер вошел в Вену. К счастью, услышав по радио прощальную речь Шушнига, я успел сжечь все наиболее важные документы, а другие, включая расписки на ценные бумаги, находившиеся за границей и принадлежавшие монастырям и двум эрцгерцогам, спрятал в корзину с грязным бельем, которую моя верная экономка отнесла в дом дяди. Все это было сделано буквально в последнюю минуту, когда гитлеровцы уже ломились ко мне в дом.

Доктор Б. прервал свой рассказ, чтобы зажечь сигару. Вспыхнула спичка, и я увидел, что правый уголок рта у доктора нервно подергивается. Я уже раньше заметил это мимолетное, еле уловимое подергивание, оно повторялось каждые две-три минуты и придавало его лицу чрезвычайно беспокойное выражение.

— Вы, наверное, ждете, что я расскажу о концентрационном лагере, в который были брошены все приверженцы старой Австрии и которые подвергались там мучениям, пыткам и унижениям. Ничего подобного со мной не случилось. Я был отнесен к особой категории. Меня не поместили с теми несчастными, на которых гитлеровцы всеми способами — терзая их душу и тело — вымещали накопившуюся злобу; я был включен в небольшую группу людей, из которых нацисты рассчитывали выжать деньги или важные сведения. Моя скромная персона сама по себе, конечно, не представляла для гестапо никакого интереса, но они догадывались, что мы с отцом были подставными лицами, опекунами имущества и доверенными их злейших врагов. Они хотели заставить меня передать им в руки документы, уличающие монастыри, чтобы выдвинуть против них обвинение в сокрытии капитала; они хотели получить материалы против императорского дома и всех приверженцев монархии. Они подозревали, и не

без основания, что значительная часть фондов, которые проходили через наши руки, была хорошо припрятана и недоступна для их посягательств. Потому-то они и арестовали меня в первый же день, они рассчитывали, применив испытанные методы, добиться от меня нужных сведений.

По этой причине люди моей категории, из которых надо было выжать деньги или важные документы, не были сосланы в концентрационные лагеря. Вы, вероятно, помните, что наш канцлер, а также барон Ротшильд, от родственников которого они надеялись получить миллионы, не были брошены в лагерь за колючую проволоку; напротив, им создали особые условия: они были помещены в отдельные комнаты в отеле «Метрополь», где находился штаб гестапо. Той же чести удостоился и я, хотя ничего собой не представлял.

Отдельная комната в отеле — звучит необычайно гуманно, не правда ли? Но поверьте, они вовсе не собирались создавать нам человеческие условия. Вместо того чтобы загнать нас, «видных людей», в ледяные бараки по двадцать человек в комнатухе, они предоставили нам сравнительно теплые номера в отеле, но при этом они руководствовались тонким расчетом. Получить от нас нужные сведения они намеревались, не прибегая к обычным избиениям и истязаниям, а применив более утонченную пытку — пытку полной изоляцией. Они ничего с нами не делали. Они просто поместили нас в вакуум, в пустоту, хорошо зная, что сильнее всего действует на душу человека одиночество. Полностью изолировав нас от внешнего мира, они ожидали, что внутреннее напряжение скорее, чем холод и плети, заставит нас заговорить.

На первый взгляд комната, в которую меня поместили, не производила неприятного впечатления: в ней были дверь, стол, кровать, кресло, умывальник, зарешеченное окно. Но дверь была заперта днем и ночью; на столе — ни книг, ни газет, ни карандашей, ни бумаги; перед окном — кирпичная стена; мое «я» и мое тело находилось в пустоте. У меня отобрали все: часы — чтобы я не знал времени; карандаш — чтобы я не мог писать; перочинный нож — чтобы я не мог вскрыть вены; даже невинное утешение — сигареты были отняты у меня. Единственным человеческим существом, которое я мог видеть, был тюремный надзиратель, но ему запрещалось разговаривать со мной и отвечать на мои вопросы. Я не видел человеческих лиц, не слышал человеческих голосов, с утра и до ночи и с ночи до утра я не имел никакой пищи для глаз, для слуха и для остальных моих чувств. Я был наедине с самим собой и с немногими неодушевленными предметами — столом, кроватью, окном, умывальником. Я был один, как водолаз в батисфере, погруженный в черный океан безмолвия и притом смутно сознающий, что спасительный канат оборван и что его никогда не извлекут из этой безмолвной глубины...

Я ничего не делал, ничего не слышал, ничего не видел. Особенно по ночам. Это была пустота без времени и пространства. Можно было ходить из угла в угол, и за тобой все время следовали твои мысли. Туда и обратно, туда и обратно... Но даже мыслям нужна какая-то точка опоры, иначе они начнут бессмысленно кружиться вокруг

самих себя: они тоже не выносят пустоты. С утра и до вечера ты все ждал чего-то, но ничего не случалось. Ты ждал, ждал — и ничего не происходило. И так все ждешь, ждешь, все думаешь, думаешь, думаешь, пока не начинается ломить в висках. Ничего. Ты по-прежнему один. Один...

Так продолжалось две недели. Я жил вне времени, вне жизни. Если б началась война, я б никогда не узнал об этом: мой мир ограничивался столом, дверью, кроватью, умывальником, креслом, окном, стенами. Каждый раз, когда я смотрел на обои, мне казалось, что кто-то повторяет их зигзагообразный рисунок стальным резцом у меня в мозгу.

Наконец начались допросы. Вызывали внезапно — я не знал, днем то было или ночью. Идти приходилось неизвестно куда, через несколько коридоров. Потом нужно было ждать неизвестно где. Наконец вы оказывались перед столом, за которым сидели двое в форме. На столе лежали кипы бумаг — документы, содержания которых вы не знали; потом начинались вопросы: нужные и ненужные, прямые и наводящие, вопросы-ширмы и вопросы-ловушки. Пока вы отвечали на них, чужие недобрые пальцы перелистывали бумаги, и вы не знали, что в них было написано, и чужая недобрая рука записывала ваши показания, и вы не знали, что, собственно, она записывает. Но самым страшным в этих допросах было для меня то, что я не знал и не мог узнать, что именно уже известно гестапо об операциях, производившихся в моей конторе, и что они еще только стараются выпытать у меня. Я уже говорил вам, что в последнюю минуту вручил своей эконолке для передачи дяде самые важные документы. Получил ли он эти документы? Что именно знал мой служащий? Какие письма он перехватил? Что могли они выведать у какого-нибудь туповатого священника в одном из монастырей, делами которых мы занимались?

А они все спрашивали и спрашивали. Какие ценные бумаги покупал я для такого-то монастыря? С какими банками имел деловые сношения? Знал ли я такого-то или нет? Переписывался ли я со Швейцарией и еще бог знает с каким местом? Я не мог предвидеть, до чего они уже докопались, и каждый мой ответ был чреват для меня грозной опасностью. Признавшись в чем-нибудь, чего они еще не знали, я мог без нужды подвести кого-нибудь под удар; продолжая все отрицать, я врет себе.

Но допросы были еще не самым худшим. Хуже всего было возвращаться после допроса в пустоту — в ту же комнату, с тем же столом, с той же кроватью, тем же умывальником, теми же обоями. Оставшись один, я сразу начинал перебирать в памяти все, что происходило на допросе, размышлять, как бы я мог поумнее ответить, прикидывать, что я скажу в следующий раз, чтобы рассеять подозрение, вызванное моим необдуманным замечанием.

Я все это перебирал в уме, проверял, взвешивал каждое слово, сказанное следователю, восстанавливал в памяти его вопросы и свои ответы. Я старался разобраться, какая же часть моих показаний заносится в протокол, хотя прекрасно сознавал, что рассчитать и уста-

новить все это просто невозможно. Как только я оставался один в пустоте, мысли начинали безостановочно вертеться в моей голове, рождая все новые предположения, отравляя даже сон. Каждый раз вслед за допросом в гестапо за работу безжалостно принимались мои собственные мысли; они вновь воспроизводили муки и терзания допроса; и это было, пожалуй, еще более ужасно, потому что у следователя все по крайней мере кончалось через некоторое время, а повторение только что пережитого в моем сознании, скованном коварным одиночеством, не имело конца. Со мной по-прежнему были стол, умывальник, кровать, обои, окно. Внимание не отвлекалось ничем, не было ни книги, ни журнала, ни нового лица, ни карандаша, которым можно было бы что-то записать, ни спички, чтобы повертеть в пальцах, ничего, совсем ничего.

Тут только я полностью осознал, с какой дьявольской изобретательностью, с каким убийственным знанием человеческой психологии была продумана эта система тюремной одиночки в отеле. В концентрационном лагере, наверно, пришлось бы возить на тачке камни, стирая руки до кровавых мозолей, пока не закохенют ноги, жить в воюющей и холодной камере с двумя десятками таких же несчастных. Но ведь там вокруг были бы человеческие лица, пространство, тачка, деревья, звезды, там было бы на чем остановить взгляд... Здесь же вокруг никогда ничего не менялось, все оставалось до умопомрачения неизменным. Ничего не менялось в моих мыслях, в моих навязчивых идеях и болезненных расчетах. Этого они и добивались: они хотели, чтобы мысли душили меня, душили до тех пор, пока я не начну задыхаться. Тогда у меня не будет иного выхода, как сдаться и наконец признать, признать все, что им было нужно, и выдать людей и документы.

Постепенно я стал чувствовать, что под страшным давлением пустоты нервы мои начинают сдавать. Понимая, как это опасно, я изо всех сил напрягал волю и, чтобы окончательно не потерять контроль над собой, старался хоть чем-нибудь заняться. Я декламировал стихи, пытался восстановить в памяти все, что когда-то знал наизусть, — народные песни, стишки детских лет, Гомера, которого мы учили в гимназии, параграфы Гражданского уложения. Потом я стал решать арифметические задачки, складывал и делил в уме всевозможные числа, но в пустоте моему сознанию не за что было уцепиться. Я уже не мог ни на чем сосредоточиться. В мозгу возникала одна и та же мысль и стремительно начинала работать. Что они знают? Что я сказал вчера, что я должен сказать в следующий раз!

Это состояние, передать которое невозможно, длилось четыре месяца. Четыре месяца — это легко написать, всего двенадцать букв; легко и сказать — всего несколько слогов; губы вымолвят в четверть секунды эти звуки: четыре месяца! Но кто сможет охватить и измерить, как бесконечно долго тянулось это время вне времени и пространства? Этого не расскажешь, и не опишешь, и никому не объяснишь, как губит и разрушает человека одиночество, когда вокруг одна пустота, пустота и все тот же стол, и кровать, и умывальник, и обои, и молчание, и все тот же служитель, который, не поднимая глаз,

просовывает в дверь еду, все те же мысли, которые по ночам преследуют тебя до тех пор, пока не начинаешь терять рассудок.

По некоторым мелким признакам я с ужасом понял, что мозг мой перестает действовать нормально. Вначале я приходил на допросы с совершенно ясной головой. Я давал показания спокойно и осторожно и отчетливо сознавал, что я должен говорить и чего не должен. Теперь же все, что я мог, — это, заинаясь, связывать простейшие фразы, потому что глаза мои неотступно следили за пером, которое летело по бумаге, записывая показания, и мне самому хотелось нестись вдогонку за моими собственными словами. Я чувствовал, что перестаю владеть собой. Я понимал, что приближается момент, когда для своего спасения я расскажу все, что знаю, а может быть, и больше. Для того чтобы вырваться из этой удушающей пустоты, я предам двенадцать человек, выдам их тайны, выдам без всякой выгоды для себя, получив, может быть, только короткую передышку.

Однажды дошло до того, что, когда тюремный надзиратель принес мне еду, меня охватил такой приступ отчаяния, что я вдруг закричал ему вслед:

— Отведите меня к следователю! Я хочу во всем признаться! Я скажу им, где находятся бумаги и деньги! Я все скажу им! Все!

Но, к счастью, он уже не слышал меня или не хотел слышать.

И вот в этот момент крайней безнадёжности случилось нечто непредвиденное. Произошло событие, которое обещало избавление, пускай временное, но все же избавление. Был конец июля, день был темный, зловещий, дождливый. Все эти подробности я отчетливо помню, потому что в окна коридора, через который меня вели на допрос, барабанил дождь. Мне пришлось дожидаться в прихожей перед кабинетом следователя. Перед допросом всегда заставляли подолгу ждать, это входило в их систему. Сперва взвинчивали нервы внезапным вызовом среди ночи, потом, когда вы брали себя в руки и подготавливались к испытанию, когда ваша воля и ум были напряжены и готовы к сопротивлению, вас заставляли ждать, стоять перед закрытой дверью час, два, три часа. Эта бессмысленная пауза была рассчитана на то, чтобы утомить вас физически и сломить морально. В тот четверг, 27 июля — есть особые причины, почему я так хорошо запомнил это число, — они продержали меня особенно долго; часы пробили дважды, а я все ждал, стоя в прихожей. Само собой разумеется, мне никогда не разрешали садиться, и за два часа ноги мои совершенно одеревенели. В комнате, где я ждал, висел календарь. Мне трудно объяснить вам, до чего мне хотелось увидеть что-то напечатанное, что-то написанное, поэтому-то я как зачарованный уставился на эти цифры и буквы: «27 июля». Я просто пожирал их глазами. Потом я снова ждал и еще ждал, глядя на дверь, соображая: когда же она наконец откроется? Я прикидывал в уме, какие вопросы зададут мне на этот раз мои инквизиторы, но прекрасно понимал, что спросят они что-то совершенно противоположное тому, к чему я подготовился. И все-таки, несмотря ни на что, я благословлял и эту мучительную неизвестность, и физическую усталость: ведь я находился в другой, не своей комнате! Эта комната была чуть боль-

ше моей, с двумя окнами вместо одного, без кровати, без умывальника и без миллион раз виденной трещины на подоконнике. Дверь была окрашена в другой цвет, у стены стояло другое кресло, а налево шкафчик для бумаг и вешалка, на которой висели три или четыре мокрые шинели, шинели моих мучителей. Передо мной было что-то новое — свежее зрелище для истосковавшихся глаз, и я жадно впитывал все подробности.

Я рассматривал каждую складку на шинелях; я заметил, например, что на одном из мокрых воротников повисла капля, и — вам это, наверное, покажется смешным — я с бессмысленным волнением ждал, оторвется ли в конце концов эта капля и скатится вниз или сумеет преодолеть земное притяжение и удержится на месте. Честное слово, в течение нескольких минут я, затаив дыхание, наблюдал за этой каплей, словно от нее зависела моя жизнь. Когда капля наконец скатилась, я принялся пересчитывать пуговицы на шинелях, — на одной было восемь, на другой — столько же, на третьей — десять. Потом я сравнивал знаки отличия. Даже не стану пытаться рассказать вам, как развлекали меня эти идиотские, ненужные мелочи, как они дразнили и насыщали мои изголодавшиеся глаза. И вдруг совершенно неожиданно я увидел нечто такое, что окончательно заворожило мой взгляд. Я заметил, что боковой карман одной из шинелей слегка оттопыривается. Я придвинулся ближе. По прямоугольным очертаниям того, что лежало в кармане, я догадался, что это книга. Колени мои задрожали. КНИГА! Вот уже четыре месяца, как я не держал в руках книги, так что самая мысль о том, что слова могут складываться в строчки, а строчки — составлять страницы, печатные листы и, наконец, книгу — книгу, в которой можно найти и запомнить новые, неизвестные мне доселе, интересные мысли, — все это одновременно возбуждало и одурманивало меня.

Я, как загипнотизированный, глядел на оттопыренный карман, в котором лежала книга, глядел с такой страстью, будто хотел прожечь своим взглядом дыру в шинели. И наконец я уже не мог совладать со своим нетерпением. Руки мои дрожали при мысли о том, что я могу дотронуться до книги, хотя бы через материю шинели. Не отдавая себе отчета в том, что я делаю, я придвинулся еще ближе.

К счастью, надзиратель не обращал внимания на мое не совсем обычное поведение; по всей вероятности, он находил естественным, что человеку, простоявшему на ногах два часа, хочется опереться о стену. И вот я уже стоял совсем близко от шинели. Чтобы иметь возможность незаметно дотронуться до нее, я заложил руки за спину. Я потрогал карман и убедился, что внутри действительно было что-то прямоугольное, гнущееся, мягко похрустывающее, — книга, книга! И вдруг меня ужалила мысль: «Украти эту книгу. Если тебе удастся это сделать, ты сможешь спрятать ее в своей камере и читать, читать, читать, наконец-то снова читать!» Едва эта мысль возникла у меня в голове, как яд ее начал молниеносно действовать. У меня зазвенело в ушах, заколотилось сердце, похолодевшие пальцы отказались повиноваться. Но когда первоначальное оцепенение миновало, я незаметно прижался к шинели и, ни на мгновение не сводя

глаз с надзирателя, принялся спрятанными за спину руками вытаскивать книгу из кармана. Выше, выше, еще выше, потом рывок — я осторожно и легко потянул, и в руках у меня очутилась небольшая книжонка.

Только тут я испугался того, что наделал. Отступить было нельзя. Что мне оставалось делать? Я засунул книгу сзади под брюки так, чтобы ее придерживал пояс, потом постепенно передвинул на бедро. Теперь я мог удержать книгу на месте, прижав по-военному руки по швам. Нужно было попробовать. Я шагнул от вешалки, два шага, три шага. Прекрасно! Если только я буду крепко прижимать пояс, книгу можно не выронить и унести с собой.

Потом начался допрос. Он потребовал от меня большего напряжения; чем обычно: отвечая на вопросы, я не думал над своими ответами, сосредоточив все усилия на том, чтобы не дать выскользнуть книге. К счастью, допрос на этот раз продолжался недолго, и мне удалось благополучно доставить книгу в свою комнату. Не буду утомлять вас подробностями; скажу только, что на обратном пути в коридоре был очень опасный момент: книга выскользнула из-под пояса в брюки, и мне пришлось симулировать бурный припадок кашля, чтобы согнуться в три погибели и снова затолкать ее под пояс. Но каково же было мое счастье, когда я принес ее в свою преисподнюю и наконец остался один, но я уже больше не был один.

Вы, наверное, думаете, что первым моим побуждением было схватить книгу, просмотреть ее, начать читать? Ничего подобного. Прежде всего я принялся смаковать радость обладания ею; мне хотелось долго-долго щекотать свои нервы, размышляя, что за книга украдена мною, хотелось, чтобы она была с очень мелким, убогим шрифтом, чтобы в ней было много-премного букв и много-премного тоненьких страничек, чтобы я мог читать ее как можно дольше. Мне хотелось, чтобы чтение этой книги требовало от меня умственного напряжения, — мне не надо было ничего легкого, пошлого. Хорошо, если бы из нее можно было выучить что-нибудь наизусть, скажем, стихи. Хорошо, если бы это оказался — дерзкая мечта! — Гомер или Гете. Наконец я больше не мог совладать со своим жадным любопытством. Растянувшись на кровати, чтобы не вызвать подозрений у надзирателя — на случай, если бы он неожиданно открыл дверь, — я вытащил из-за пояса книгу.

Первый взгляд, брошенный на нее, не просто разочаровал меня; я ужасно рассердился: моя добыча, похищая которую, я подвергался такой чудовищной опасности и которая породила такие пылкие надежды, оказалась всего лишь пособием по шахматной игре, сборником ста пятидесяти шахматных партий, сыгранных крупнейшими мастерами. Если бы я не был окружен со всех сторон стенами и решетками, я бы выбросил книгу в припадке ярости в окно. Какая польза, ну какая польза была мне от подобной ерунды? Как большинство гимназистов, я изредка для препровождения времени играл в шахматы. Но для чего нужна была мне эта теоретическая абракадабра?

В шахматы нельзя играть в одиночку, тем более без фигур и без доски. Я перелистывал в раздражении книгу, думая найти хоть что-либо для чтения — какое-нибудь введение или пояснение, — но не нашел ничего, кроме ровных квадратных таблиц, воспроизводящих партии мастеров с их непонятными для меня обозначениями: «a2 — a3», «k1 — g3» и так далее. Все это было для меня чем-то вроде алгебраических формул, к которым я не имел ключа. Только постепенно догадался я, что буквы «a», «b», «c» обозначали вертикальные ряды, а цифры «1» — «8» — горизонтальные и что они указывали на положение в данный момент каждой отдельной фигуры. Значит, эти чисто графические диаграммы все-таки что-то говорили.

«Кто знает, — думал я, — если мне удастся смастерить подобие шахматной доски, может быть, я смогу разыграть эти партии». Клетчатая простыня оказалась мне даром божьим. Я сложил ее определенным образом, и у меня оказалось поле, расчерченное на шестьдесят четыре квадрата. Я вырвал из книжки первый лист и спрятал ее под матрац. Потом принялся лепить из хлебного мякиша короля, ферзя и остальные фигуры (результаты, конечно, были смехотворны) и наконец, преодолев несчетные трудности, смог воспроизвести на простыне одну из позиций, приведенных в книге. Но когда я попытался разыграть всю партию, выяснилось, что несчастные фигурки, половину которых в отличие от «белых» я замазал пылью, совершенно не годились для моей цели. В первые дни вместо игры получалась сплошная неразбериха, я начинал партию снова и снова — пять, десять, двадцать раз. Но у кого еще было столько лишнего свободного времени, как у меня, пленника окружавшей меня пустоты? У кого еще могло быть такое упорное желание добиться своего и такое терпение?

Мне потребовалось шесть дней, чтобы без ошибки довести до конца одну партию. Через восемь дней я только один раз использовал простыню, чтобы закрепить в памяти расстановку шахматных фигур, а еще через восемь дней она не нужна была. Абстрактные понятия «a1», «a2», «c3», «c8» автоматически принимали в моем воображении четкие пластические образы. Переход этот совершился без всякого затруднения; силой своего воображения я мог воспроизвести в уме шахматную доску и фигуры и благодаря строгой определенности правил сразу же мысленно схватывал любую комбинацию. Так опытный музыкант, едва взглянув на ноты, слышит партию каждого инструмента в отдельности и все голоса вместе.

Еще через две недели я без всякого труда мог сыграть любую партию из книги по памяти или, говоря языком шахматистов, вслепую. И только тогда я полностью осознал, какой замечательный дар принесла мне моя дерзкая кража. Ведь у меня появилось занятие, пускай бессмысленное и бесцельное, но все же занятие, заполнявшее окружающую пустоту. Сто пятьдесят партий, разыгранных мастерами, явились оружием, при помощи которого я мог бороться против угнетающего однообразия времени и пространства.

С тех пор, стремясь сохранить очарование новизны, я начал точно делить свой день: две партии утром, две партии после обеда и краткий

разбор партий вечером. Так мой день, до этого бесформенный, как студень, оказался заполненным. Мое новое занятие не утомляло меня; замечательная особенность шахмат состоит в том, что ум, строго ограничив поле своей деятельности, не устает даже при очень сильном напряжении, напротив, его энергия обостряется, он становится более живым и гибким.

Сначала я разыгрывал партии механически, но постепенно, снова и снова повторяя мастерски разыгранные комбинации и атаки, я начал находить в этом эстетическое удовольствие. Я научился различать тонкости, уловки, хитрости нападения и защиты, уразумел, как можно предвидеть развитие игры за несколько ходов вперед, как намечается и осуществляется атака и контратака, и скоро мог распознавать индивидуальную манеру игры каждого чемпиона, распознать так же безошибочно, как по нескольким строчкам стихотворения можно назвать поэта.

И то, что вначале служило только средством коротать время, стало наслаждением, и непревзойденные стратеги шахматного искусства — Алехин, Ласкер, Боголюбов, Тартаковер, — как дорогие друзья, разделяли со мной одиночество заключения.

Да, теперь уже я не был одинок в своей безмолвной камере. Регулярные занятия шахматами способствовали тому, что мои начавшие было сдавать умственные способности начали восстанавливаться. Освеженный мозг снова работал, как прежде, и даже стал еще более гибким и острым. Прежде всего восстановленная способность ясно и логично мыслить сказалась на допросах. За шахматной доской я бессознательно выработал в себе умение защищаться против ложных угроз и замаскированных выпадов, и с тех пор следователи уже не могли захватить меня врасплох. Мне даже казалось, что гестаповцы начали относиться ко мне с известным уважением. Их, возможно, удивляло, из какого неведомого источника черпаю я силы для дальнейшего сопротивления, когда уже столько людей было сломлено у них на глазах.

Счастливое время, когда я систематически, день за днем, разыгрывал эти сто пятьдесят партий, длилось два с половиной — три месяца. А потом я неожиданно опять очутился на мертвой точке. Передо мной снова была пустота. К этому моменту я уже по двадцать — тридцать раз проштудировал каждую партию. Прелесть новизны была утрачена, комбинации больше не озадачивали меня, не заражали энергией. Было бесцельно повторять без конца партии, в которых я давно уже знал наизусть каждый ход. Стоило мне начать, и вся игра разворачивалась передо мной, как на ладони, в ней не было ничего неожиданного, напряженного, неразгаданного. Вот если бы достать новую книгу, с новыми партиями, и опять заставить работать свой мозг! Но это было невозможно, и у меня оставался только один выход: вместо старых, хорошо знакомых партий самому изобретать новые. Я должен был попытаться играть сам с собой, или, вернее, против себя.

Не знаю, задумывались ли вы когда-нибудь над тем, как действует на интеллект человека эта замечательнейшая из игр. Доста-

точно, однако, немного поразмыслить, чтобы стало ясно, что в шахматах, как чисто мыслительной игре, где исключена случайность, игра против себя самого является абсурдной. Главная прелесть шахмат и заключается, по существу, прежде всего в том, что стратегия игры развивается одновременно в умах двух разных людей, причем каждый из них избирает свой собственный путь. В этой битве умов черные, не зная, какой маневр предпримут сейчас белые, стараются его разгадать и помешать им, тогда как белые, со своей стороны, делают все, чтобы догадаться о тайных намерениях черных и дать им отпор. Если бы один и тот же человек пожелал одновременно быть и черными, и белыми, создалось бы бессмысленное положение, при котором один и тот же мозг в одно и то же время знает что-то и не знает; делая ход в качестве белых, он должен был бы как по команде забыть о том, какой хитрый план задумал перед этим, будучи черными. Подобное раздвоение потребовало бы, помимо расщепления сознания и его попеременного включения и выключения, как в каком-то автоматически действующем аппарате; короче говоря, играть против самого себя столь же парадоксально, как пытаться перепрыгнуть через собственную тень. И тем не менее я в течение долгих месяцев отчаянно пытался совершить невозможное, абсурдное. У меня не было выбора, иначе я рисковал окончательно потерять рассудок и впасть в полный душевный маразм. В своем отчаянном положении, чтобы не быть окончательно раздавленным страшной пустотой, которая вновь смыкалась вокруг меня, я вынужден был хотя бы попробовать добиться этого раздвоения между черным и белым «я».

Доктор Б. откинулся в шезлонге и на минуту закрыл глаза. Кажется, он силился рассеять ожившие воспоминания. Уголок его рта снова непроизвольно дернулся. Потом он опять выпрямился.

— Так вот, мне думается, что пока все должно быть вам понятно. Но, к сожалению, не уверен, что так же ясно будет для вас и то, что произошло в дальнейшем. Дело в том, что это новое занятие потребовало такого всеобъемлющего напряжения ума, что какой бы то ни было контроль над остальной его деятельностью стал совершенно невозможен. По моему мнению, игра в шахматы с самим собой — бессмыслица, но все же какая-то минимальная возможность для такой игры существовала бы, если б передо мной была шахматная доска, потому что доска, будучи осязаемой вещью, вызывала бы чувство пространства, создавая некую материальную границу между «противниками». Играя за настоящей шахматной доской настоящими шахматными фигурами, можно установить определенное время для обдумывания каждого хода, можно сесть сначала с одной стороны и представить себе, как выглядит вся позиция для черных, а потом — как она представляется белым. Но так как игру против себя, или, если угодно, с самим собой, я должен был вести на воображаемой доске, то мне приходилось непрерывно удерживать в уме положение всех фигур на шестидесяти четырех квадратах, и притом не только положение в сию минуту, но и рассчитывать наперед все возможные ходы обоих противников. Я прекрасно понимаю, что все это звучит как совершеннейшее безумие; для каждого из своих «я»

мне приходилось представлять себе каждую позицию дважды, трижды, да нет, больше — шесть раз, двенадцать раз, да еще на четыре или пять ходов вперед.

Простите, пожалуйста, что я заставляю вас разбираться во всей этой безумной путанице. Разыгрывая в абстрактном пространстве эти фантастические партии, я должен был рассчитывать несколько ходов вперед за белых и столько же ходов за черных, должен был взвешивать все возникающие комбинации то с точки зрения черных, то с точки зрения белых, иначе говоря, сочетать в одном своем уме и ум черных, и ум белых. Но самая серьезная опасность этого жуткого эксперимента заключалась не в раздвоении моего «я». Она заключалась в том, что я должен был самостоятельно разыгрывать мною же придуманные партии и то и дело терял всякую почву и словно падал в какую-то пропасть. Пока я разыгрывал партии чемпионов, все было хорошо: я просто повторял имевшую место игру, воспроизводил уже данное. Это требовало не больше напряжения, чем, скажем, запоминание стихов или статей какого-либо закона. То было систематическое, дисциплинирующее занятие и потому прекрасное упражнение для мозга. Две партии до и две после обеда представляли собой определенное задание, которое я исполнял совершенно спокойно; оно как бы заменяло мне прежние повседневные занятия. И, кроме того, если в процессе игры я ошибался или забывал следующий ход, я всегда мог заглянуть в книгу. Именно потому, что изучение чужих партий никак не затрагивало моего «я», оно так благотворно и успокаивающе действовало на мои расшатанные нервы. Мне было совершенно все равно, кто выиграет, черные или белые, потому что за пальму первенства сражались Алехин или Боголюбов, тогда как я сам, мой разум, мое сознание только смаковали тонкости поединка. Но как только я начал играть против себя, я бессознательно стал соперничать сам с собой. Мои «я» — белое и черное — должны были состязаться друг с другом, и каждое из этих «я» было одновременно охвачено нетерпеливым и честолюбивым желанием выиграть, одержать победу. Сделав ход в качестве черного «я», я лихорадочно ждал, что сделает мое белое «я». Оба «я» попеременно торжествовали, когда другое «я» делало неправильный ход, и раздражались, когда сами допускали подобную оплошность.

Все это выглядит совершенно дико, и, конечно, эта искусственно созданная шизофрения, это намеренное раздвоение сознания со всеми его опасными последствиями были бы немыслимы у человека, находящегося в нормальной обстановке. Не забудьте, однако, что из нормальных условий я был грубо вырван, без всякой вины брошен за решетку, многие месяцы подвергался утонченной пытке — пытке одиночеством. Накопившаяся во мне ярость должна была рано или поздно на что-то излиться. Но так как моим единственным занятием была эта бессмысленная игра против себя самого, то мой гнев, моя жажда мести фанатически изливалась именно в эту игру. Я хотел мстить, но для этого у меня было только мое второе «я», с которым я должен был вести непрестанную борьбу. Вот почему во время игры меня охватывало бешеное возбуждение. Первое время я еще мог

проводить эти игры спокойно и рассудительно, делал перерывы между партиями, чтобы отдохнуть. Но мало-помалу мои больные нервы перестали выносить эти передышки. Стоило только белому «я» сделать ход, как черное «я» уже лихорадочно передвигало фигуру, и, как только заканчивалась одна партия, я тут же требовал от себя следующей, вернее, каждый раз, как одно мое шахматное «я» терпело поражение, оно немедленно требовало у другого «я» реванша.

Я даже приблизительно не могу сказать, сколько партий против себя самого я сыграл, охваченный этой ненасытной жадностью, за долгие месяцы своего заключения,— может быть, тысячу, а может быть, и больше. То было наваждение, против которого я не мог бороться. С рассвета и до ночи я не думал ни о чем другом, кроме как о конях и пешках, ладьях и королях. В мозгу у меня непрерывно вертелись «а», «b» и «с», мат и рокировка, и все мое существо, все мои помыслы рвались к расчерченной на квадраты доске. Удовольствие от игры превратилось в страсть, страсть превратилась в бешенство, манию; она заполняла не только часы бодрствования, но потом уже и время сна. Я мог думать только о шахматах, о шахматных ходах, шахматных задачах. Иногда я просыпался в холодном поту и чувствовал, что игра бессознательно продолжается и во сне. Даже если я видел во сне людей, они передвигались, как конь или ладья, наступали и отступали, подобно шахматным фигурам.

На допросах я уже забывал, что отвечаю за свои слова и поступки. Наверное, я выражался сбивчиво и туманно: следователи как-то странно переглядывались между собой. На самом же деле, пока они задавали мне вопросы и размышляли над моими ответами, я просто с нетерпением ждал, чтобы меня отвели назад в мою камеру, где я смог бы снова заняться своим безумным делом: начать новую игру, еще одну и еще одну. Перерывы в игре все больше раздражали меня. Даже те пятнадцать минут, пока надзиратель прибирал мою камеру, те две минуты, пока он передавал мне еду, меня терзало лихорадочное нетерпение. Иногда завтрак оставался нетронутым до вечера, потому что, увлекшись игрой, я забывал о нем. Единственное физическое чувство, которое я испытывал, была страшная жажда. Я в два глотка осушал бутылку воды и умолял надзирателя принести мне еще, но через минуту во рту у меня совершенно пересыхало.

Мало-помалу я стал приходить во время игры в такое возбужденное состояние — к тому времени я уже с утра до ночи не думал ни о чем другом,— что больше не мог ни на минуту оставаться спокойным. Обдумывая ход, я непрерывно ходил по камере — туда и обратно, туда и обратно, все быстрее и быстрее, вперед и назад, вперед и назад. И чем больше приближалась развязка, тем быстрее метался я из угла в угол. Жажда победы, победы над самим собой, доводила меня до иступления, потому что одно из моих шахматных «я» всегда отставало от другого. Одно «я» подхлестывало другое, и — я понимаю, что вам это должно казаться идиотством,— когда одно из моих «я» недостаточно быстро реагировало на ход, сделанный другим «я», то я злобно выкрикивал «скорее, скорее!» или «дальше, дальше!». Разумеется, сейчас я полностью отдаю себе отчет

в том, что мое тогдашнее состояние было не чем иным, как психическим заболеванием, для которого я не могу подыскать другого названия, кроме неизвестного еще в медицине термина «отравление шахматами».

Пришло время, когда эта мономания, это наваждение стало оказывать разрушительное действие не только на мой мозг, но и на мое тело. Я сильно исхудал, сон мой стал тревожен; проснувшись, я с трудом подымал отяжелевшие веки. Я чувствовал себя, как после перепоя, и руки у меня так дрожали, что я не мог поднести ко рту стакан. Но как только начиналась игра, меня охватывала бешеная энергия. Я носился по комнате, сжав кулаки, и время от времени сквозь красноватый туман ко мне доносился мой собственный голос, злобно, хрипло вопивший «шах» или «мат».

Не знаю, когда разрешилось кризисом это ужасное, неопишное состояние. Знаю только, что однажды утром я проснулся, и пробуждение мое было совсем необычно. Я больше не ощущал тяжести во всем теле. Мне было легко и покойно. Благотворная усталость, какой я не испытывал уже много месяцев, лежала на веках, и мне было так уютно и приятно, что я просто не мог заставить себя открыть глаза. Некоторое время я лежал и наслаждался чувством истомы, приятным оцепенением.

Внезапно мне показалось, что я слышу рядом живые человеческие голоса, слова, сказанные тихо и осторожно. Вы не можете себе представить мой восторг! Ведь прошло уже много месяцев, может быть, год, как я не слышал ничего, кроме резких, жестких, злых слов моих мучителей.

«Ты спишь,— сказал я себе,— ты спишь. Ни за что не открывая глаз, пусть этот сон длится как можно дольше, не то ты опять увидишь ту же проклятую камеру, с тем же стулом, умывальником, столом, обои с тем же неизменным рисунком. Ты спишь, продолжай спать».

Но любопытство одержало верх. Медленно, осторожно приоткрыл я глаза. Свершилось чудо. Я был в другой комнате, более просторной, чем моя камера в отеле; на окне не было решетки, в него свободно вливался свет, за окном вместо кирпичной стены виднелись деревья, зеленые деревья, и ветер играл их ветками, стены в комнате были белые и блестящие, и потолок белый и высокий. Я лежал в новой, непривычной постели, и — нет, это был не сон — возле меня слышался тот же шепот.

Пораженный, сам того не желая, я сделал резкое движение и сразу же услышал, как кто-то направился к моей кровати. Легкой походкой ко мне подошла женщина в белой наколке — сиделка, сестра. Я не мог прийти в себя от счастья. Целый год я не видел женщины. Не отрываясь, смотрел я на это дивное видение, и, наверное, в моем взгляде было такое безумное волнение, что она остановила меня: «Спокойно, лежите спокойно».

Я слушал только ее голос: неужели со мной разговаривал человек? Неужели на земле еще есть люди, которые не собираются меня допрашивать и мучить? И потом — непостижимое чудо! — то был го-

лос женщины, мягкий, сердечный, я бы сказал, даже нежный. Я, не отрываясь, жадно смотрел на ее губы — после года в аду мне казалось невероятным, что один человек может ласково говорить с другим. Она улыбнулась мне, да, она улыбнулась! Значит, на свете еще есть люди, которые могут приветливо улыбаться. Потом она приложила палец к губам и бесшумно отошла. Но повиноваться ей я не мог. Я еще не насытился созерцанием чуда. Я хотел сесть и проводить глазами это дивное, ласковое создание. Но когда я хотел облокотиться о спинку кровати, я не смог этого сделать. Вместо правой руки я увидел что-то постороннее — большой, тяжелый белый предмет. Должно быть, вся рука у меня была забинтована. С удивлением взирая на этот предмет, я начал мучительно соображать: где я и что со мной стряслось? Ранили меня каким-то образом они, или я сам повредил себе руку? Я понял, что лежу в больнице.

В полдень пришел врач, приятный пожилой человек. Он знал мою семью и, видимо, желая дать почувствовать свое расположение, уважительно отозвался о моем дяде — лейб-медике. Он задал мне несколько вопросов, один из них особенно удивил меня: кто я — математик или химик?

«Ни то, ни другое», — ответил я.

«Странно, — пробормотал он, — в бреду вы все время выкрикивали какие-то неизвестные формулы «с3», «с4». Мы ничего не могли понять».

Я спросил его, что случилось со мной. Он загадочно усмехнулся.

«Ничего серьезного. Острое расстройство нервной системы. — Оглянувшись по сторонам, он негромко добавил: — Это вполне понятно. Вы ведь... с тринадцатого марта?..»

Я кивнул.

«Ничего удивительного при их методах. Не вы первый. Но не беспокойтесь».

Его доброжелательный тон и сочувственная улыбка убедили меня, что я в безопасности.

Через два дня доктор сам рассказал мне, что произошло. Тюремный надзиратель услышал в моей камере крики и подумал, что я, должно быть, спорю с кем-то проникшим ко мне; но едва он показался на пороге, я бросился к нему с кулаками и заорал: «Делай ход, негодяй, трус!» Потом я схватил его за горло и с такой яростью стал душить, что ему пришлось звать на помощь. Я продолжал бушевать и, когда меня тащили на медицинское освидетельствование, в коридоре вырвался и пытался выброситься в окно, разбил стекло и сильно порезал руку — вот тут еще остался глубокий шрам. В первые дни, когда я попал в госпиталь, у меня было что-то вроде воспаления мозга, но сейчас, по мнению врачей, мой рассудок и центры восприятия в полном порядке. «Скажу прямо, — тихо добавил он, — я не довожу об этом до сведения власть имущих, не то они могут явиться и забрать вас обратно. Положитесь на меня, я сделаю все от меня зависящее».

Что сказал моим преследователям добрый доктор, я так и не знаю. Во всяком случае, он добился своего: меня освободили. Мо-

жет быть, он заявил, что я не отвечаю за свои поступки. Возможно и другое: гестапо могло потерять ко мне интерес, поскольку к тому времени Гитлер занял уже всю Богемию и тем самым с Австрией было покончено. Мне пришлось только подписать обязательство в течение двух недель покинуть страну. Все это время ушло на выполнение формальностей, так усложняющих в наши дни выезд за границу: надо было получить разрешение военных властей и полиции, уплатить налоги, выправить свидетельство о здоровье, паспорт, визу и прочее, так что размышлять о пережитом мне было некогда. По-видимому, какие-то таинственные силы регулируют деятельность человеческого мозга и автоматически выключают опасные для его психики воспоминания. Как бы то ни было, стоило мне вспомнить о моем заточении, как в сознании наступало затмение, и только много недель спустя, собственно говоря, только сейчас, на пароходе, я нашел в себе мужество осознать то, что пережил.

Теперь вам должно быть понятно мое странное, не совсем обычное поведение тогда, во время игры ваших друзей. Я случайно проходил через курительный салон и вдруг увидел у шахматного стола ваших друзей. От удивления и испуга я просто ошеломлен. Ведь я начисто забыл, что можно играть в шахматы за настоящей доской и настоящими фигурами, забыл, что в этой игре участвуют два совершенно разных человека, что они сидят друг против друга. По правде говоря, прошло несколько минут, прежде чем я сообразил, что эти люди играют в ту самую игру, в которую я сам столько времени играл, не в силах вырваться на волю. Значит, шифр, при помощи которого я вел свои игры на память, был не чем иным, как эрзацем, символом вот этих увесистых фигур. Я был поражен, увидев, что фигуры на доске и их передвижение полностью соответствуют тем выработанным мною представлениям, которые жили в моем воображении. Так, наверное, бывает поражен астроном, когда, теоретически доказав, путем сложных математических вычислений, существование новой планеты, он вдруг видит ее воочию, на небе, видит ясно, во всей ее реальности. Я смотрел на доску как зачарованный и видел там мою диаграмму — конь, тура, король, королева, пешки — все реальные, вырезанные из дерева фигуры; чтобы понять позицию, мне невольно пришлось сначала перенестись из моего абстрактно-математического шахматного поля к доске, на которой передвигались фигуры.

Понемногу меня охватило любопытство, мне захотелось проследить настоящую игру двух партнеров. И вот это-то и послужило причиной моего крайне прискорбного, бестактного вмешательства в вашу игру. Неверный ход вашего друга был для меня как удар в сердце. Я остановил его инстинктивно, как останавливают ребенка, перегнувшегося через перила. Я только потом осознал всю грубую неуместность своего вмешательства.

Я поспешил заверить доктора Б., что все мы были очень рады случившемуся, тем более что благодаря этому инциденту познакомимся с ним. Я добавил, что после всего услышанного мне будет

вдвойне интересно присутствовать на завтрашнем импровизированном турнире.

Доктор Б. сделал беспокойное движение.

— Право, вы не должны ожидать слишком многого. Это будет просто испытанием для меня, могу ли я... могу ли я играть в шахматы нормально, сидя за шахматной доской, против настоящего, живого противника, передвигая настоящие фигуры. Потому что я начинаю все больше и больше сомневаться, играл ли я эти сотни или даже тысячи партий по правилам. А может быть, они просто плод моего больного воображения? Не был ли то просто бред, шахматная лихорадка, когда человек, как во сне, непрерывно движется вперед скачками? Ведь не думаете же вы серьезно, что я могу померяться силами с чемпионом мира, сыграть с ним, как равный с равным? На эту игру меня толкает только любопытство. Мне хочется выяснить задним числом, что же действительно происходило со мной в заключении: был ли я близок к безумию или уже перешагнул эту опасную грань. Вот и все, ничего больше.

В этот момент прозвучал гонг, сзывавший пассажиров к обеду. Беседа наша продолжалась почти два часа: доктор Б. рассказывал мне свою историю гораздо более подробно, чем я изложил ее. Я сердечно поблагодарил его и распрощался, но не успел еще пройти палубу, как он догнал меня. Он был явно взволнован и говорил, слегка заикаясь:

— Еще одно. Я не хочу быть невежливым по отношению к вашим друзьям, поэтому, пожалуйста, предупредите их заранее, что я сыграю только одну партию. Главное для меня — это раз и навсегда разрешить для себя этот вопрос, так сказать, подвести окончательный итог. Я вовсе не собираюсь начинать все снова. Я не могу позволить себе вторично заболеть этой шахматной горячкой, которую я и теперь вспоминаю с содроганием. Кроме того... кроме того, меня предупреждал врач, он настойчиво предупреждал меня. Для человека, который был подвержен мании, навсегда остается опасность рецидива, поэтому мне, страдавшему «отравлением шахматами», даже если меня считают совершенно излечившимся, надо держаться от шахматной доски подальше. Так что вы понимаете: только одна пробная игра и ни одной больше.

На следующий день точно в назначенное время, в три часа, мы собрались в курительном салоне. Наш кружок пополнился еще двумя любителями королевской игры — это были офицеры, которые специально попросили капитана перенести им часы вахты, чтобы иметь возможность посмотреть игру. Чентович на сей раз тоже не заставил себя ждать, и после жеребьевки началась необычная игра: «Ното obscurissimus»¹ против прославленного чемпиона мира по шахматам.

Очень жаль, что единственными свидетелями этой партии были такие мало смыслящие в шахматах люди, как мы, и что она безвозвратно утеряна для анналов шахматного искусства, как были

¹ Неизвестный человек (лат.).

утеряны для истории музыки фортепьянные импровизации Бетховена. Правда, на другой день мы сообща пытались восстановить ее по памяти, но тщетно. Очевидно, это произошло потому, что в азарте игры наше внимание было сосредоточено не на самой партии, а на играках, разница в интеллектуальном уровне которых становилась все более зримой по мере того, как развивалась игра.

Опытный Чентович сидел совершенно неподвижно, словно каменное изваяние. Взор его был прикован к доске, умственное напряжение, казалось, стоило ему почти физических усилий. Доктор Б., напротив, держался свободно и непринужденно. Как настоящий дилетант, в лучшем смысле этого слова, как любитель, для которого весь смысл и удовольствие игры заключались в самой игре, он, казалось, отдыхал. В начале игры он разговаривал, весело объяснял нам свои ходы, небрежно закуривал сигарету за сигаретой и, когда наступала его очередь делать ход, бросал быстрый взгляд на доску и передвигал фигуру. Казалось, он каждый раз точно предвидел ход своего противника.

Дебют был разыгран быстро. Определенный план начал намечаться только после седьмого или восьмого хода. Чентович стал дольше обдумывать ходы, из этого мы заключили, что теперь началась настоящая борьба за инициативу.

Но, откровенно говоря, постепенное развитие партии, нередкое в серьезных турнирах, нас, непрофессионалов, пожалуй, даже разочаровало. Чем больше усложнялся рисунок игры, тем все непонятнее становились для нас позиции противников. Нам было не под силу разобрать, кто же получил преимущество. Мы только видели, что отдельные фигуры, пробиваясь вперед, действуют, как тараны, стремясь прорвать фронт противника, но поскольку каждый ход этих выдающихся игроков составлял только часть комбинации, а каждая комбинация — только часть плана, который, в свою очередь, осуществлялся только через несколько ходов, то стратегический замысел, согласно которому игроки двигали свои фигуры то вперед, то назад, был для нас совершенно непонятен.

Потом нами овладела давящая усталость, вызванная главным образом тем, что Чентович бесконечно долго обдумывал каждый свой ход. Это постепенно начало нервировать и нашего друга. С тревогой заметил я, что чем дольше затягивалась игра, тем беспокойнее он становился: двигался на стуле, нервно зажигал сигарету за сигаретой, время от времени хватал карандаш и что-то записывал, заказывал минеральную воду и жадно глотал стакан за стаканом. Было очевидно, что мозг его конструировал комбинации в сто раз быстрее, чем мозг Чентовича. Каждый раз, когда тот после бесконечного раздумья неловко брал фигуру и решался передвинуть ее, наш друг, улыбнувшись, как улыбается человек, давно ожидавший чего-то и наконец дождавшийся, сразу же делал ответный ход. Видимо, он со своим живым, подвижным умом успевал заранее исследовать все возможности, открывавшиеся противнику. Чем дольше обдумывал каждый ход Чентович, тем нетерпеливее становился доктор Б., злобно, почти враждебно сжимавший губы. Чентович, однако, не желал

торопиться. Он сидел, упорный и молчаливый, размышляя над ходами, и, по мере того как число фигур на доске уменьшалось, увеличивались паузы. К сорок второму ходу, после битых двух часов, все мы сидели в изнеможении, почти равнодушные к тому, что происходило перед нами. Один из офицеров уже ушел, другой читал книгу и бросал взгляд на доску только тогда, когда кто-то из игроков делал ход. Но вдруг после очередного хода Чентовича произошло нечто неожиданное. Доктор Б., заметив, что Чентович, собираясь сделать ход, взялся за коня, сжался, как кошка перед прыжком. Он весь дрожал, и не успел Чентович исполнить свое намерение, как доктор Б. быстро продвинул вперед своего ферзя и громко, торжественно сказал:

— Так, теперь с этим покончено.

Потом он откинулся в кресле, скрестил руки на груди и вызывающе посмотрел на Чентовича. В глазах его сверкнул огонек.

Мы все невольно склонились над доской, стараясь сообразить, что означал этот торжествующий возглас, но прямая угроза королю мы не увидели. Восклицание нашего друга относилось, по-видимому, к развитию игры, которого мы, близорукие дилетанты, понять не могли. Один только Чентович не шелохнулся. Он оставался совершенно спокоен, как будто не слышал оскорбительного замечания «с этим покончено». Ничего не произошло. Однако все мы затаили дыхание, и сразу же стало слышно тиканье контрольных часов. Прошло три минуты, семь минут, восемь — Чентович продолжал сидеть без движения, и только по тому, как раздувались его широкие ноздри, было видно, какая буря бушевала у него в груди.

Казалось, наш друг, как и мы, с трудом переносил это томительное безмолвное ожидание. Он внезапно встал, оттолкнул стул и принялся ходить из угла в угол, вначале медленно, а затем все ускоряя и ускоряя шаг. Все присутствующие смотрели на него с удивлением, но никто не был так обеспокоен его поведением, как я: несмотря на охватившее его волнение, он ходил по совершенно точно ограниченному пространству, словно бы в своем воображении он каждый раз наткнулся на невидимую стену, заставлявшую его поворачивать назад. С содроганием понял я, что он бессознательно шагает по своей прежней камере. Во время заточения он, наверное, так же метался, как зверь в клетке, взад и вперед, сгорбившись, с судорожно сжатыми кулаками, точь-в-точь как сейчас. Так, именно так, с остановившимся взглядом тысячи раз бегал он из угла в угол там, и в лихорадочно блестящих глазах его сверкали красные огоньки безумия.

Но рассудок его был, по-видимому, еще в полном порядке, потому что время от времени он нетерпеливо поворачивался к столу, чтобы посмотреть, решил ли на какой-нибудь ход Чентович. Время продолжало тянуться — девять минут... десять... Затем произошло то, чего никто из нас не ждал. Чентович медленно поднял тяжелую руку, до этого неподвижно лежавшую на столе. Вздволнованные, с натянутыми до предела нервами, ждали мы развязки. Но Чентович не сделал хода. Неторопливо, но решительно он сбросил тыльной

стороной ладони с доски все фигуры. Мы не сразу поняли, что Чентович сдался. Он капитулировал, он не желал, чтобы мы стали свидетелями его окончательного поражения. Случилось неожиданное: чемпион мира, победитель бесчисленных турниров, опустил флаг перед незнакомцем, перед человеком, двадцать или двадцать пять лет не касавшимся шахмат. Наш друг, никому не известный, безымянный, в честном бою одержал победу над сильнейшим игроком мира.

Сами того не замечая, все мы в волнении повскакали с мест. У всех было чувство, что мы должны как-то выразить охватившее нас радостное изумление, должны что-то сказать или сделать. Один только человек остался неподвижен и спокоен — это был Чентович. Выждав немного, он поднял голову и, устремив на нашего друга каменный взгляд, спросил:

— Еще одну партию?

— Конечно! — воскликнул доктор Б. с неприятно резанувшим меня оживлением. Затем он сел и, прежде чем я успел напомнить ему о его условии — сыграть только одну партию, начал с лихорадочной поспешностью расставлять фигуры. Он так нервничал, устанавливая их по местам, что пешка дважды выскальзывала из его дрожащих пальцев и падала на пол. Этот прежде спокойный и тихий человек был явно в каком-то экстазе, все чаще подергивался уголком его рта, он весь дрожал, как от озноба.

— Не надо, — прошептал я ему, — не надо! На сегодня достаточно. Для вас это слишком большое напряжение.

— Напряженье? Ха-ха-ха! — громко, презрительно рассмеялся он. — За время, что мы тянули эту волюнку, я мог бы сыграть семнадцать партий. Единственное, что мне трудно, это стараться не заснуть при таких темпах. Ну что же, начнете вы когда-нибудь?

Последние слова, сказанные резким, почти грубым тоном, относились к Чентовичу. Тот посмотрел на противника спокойно и невозмутимо, но его угрюмый, каменный взгляд был как удар кулаком. Меж игроками возникло сразу что-то новое — опасная напряженность, жгучая ненависть. То не были больше игроки, желавшие испытать искусство противника, а враги, поклявшиеся уничтожить друг друга. Чентович долго медлил, прежде чем сделать первый ход, и у меня создалось твердое впечатление, что медлил он умышленно, нарочно.

Без сомнения, этот испытанный в боях стратег уже давно сообразил, что его медлительность утомляет и раздражает противника. Не менее четырех минут понадобилось ему для того, чтобы сделать самое обычное начало — ход королевской пешкой. Наш друг моментально продвинул королевскую пешку со своей стороны, и снова Чентович невыносимо долго медлил с ответным ходом. Так бывает, когда с бьющимся сердцем ждешь удара грома после ярко полыхнувшей молнии, а грома все нет и нет. Чентович, казалось, совсем окаменел. Он обдумывал ходы спокойно и неторопливо, и во мне все росла уверенность, что он делает это нарочно. Его медлительность позволяла мне неотступно наблюдать за доктором Б. Он только

что осушил третий стакан воды, и я невольно вспомнил, как он рассказывал о неутолимой жажде, мучившей его в камере. Налицо были все признаки ненормального состояния: лоб его покрылся испариной, шрам на руке покраснел и стал гораздо заметнее. Но все же он держал себя в руках. Только после четвертого хода, когда Чентович снова погрузился в изнурительное размышление, самообладание покинуло доктора Б., и, вспыхнув, он воскликнул:

— Пойдете ли вы, наконец?

Чентович холодно посмотрел на него.

— Насколько мне помнится, мы условились обдумывать каждый ход не более десяти минут. Я принципиально буду придерживаться этого условия.

Доктор Б. прикусил губу. Заметив, что он со все возрастающим нетерпением постукивает ногой по полу, я уже не мог совладать с охватившей меня тревогой: меня томило предчувствие, что он снова окажется во власти безумия. На восьмом ходу снова произошла стычка. Доктор Б., самообладание которого явно улетучивалось, не мог скрыть своего нервного раздражения. Он ни минуты не сидел спокойно и теперь принялся бессознательно барабанить по столу пальцами. Чентович снова поднял свою тяжелую мужицкую голову.

— Могу я просить вас перестать барабанить по столу? Мне это мешает. Я так не могу играть.

— Ха... — ответил доктор Б. с усмешкой. — Оно и видно!

Чентович покраснел.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил он резко, со злобой.

Доктор Б. снова коротко, презрительно рассмеялся:

— Ничего, кроме того, что, по всей видимости, вы очень волнуетесь.

Чентович промолчал и снова склонился над доской. Только через семь минут сделал он ответный ход. Игра продолжалась все в том же похоронном темпе. Чентович словно превратился в каменного истукана. Теперь, прежде чем передвинуть фигуру, он уже полностью выдерживал установленный максимум, а поведение нашего друга от хода к ходу становилось все более странным. Казалось, он потерял всякий интерес к игре и был занят чем-то посторонним. Он перестал взволнованно расхаживать, сидел неподвижно и, устремив в пространство отсутствующий, почти безумный взгляд, бормотал себе что-то под нос. Либо он был погружен в обдумывание каких-то бесконечных комбинаций, либо — и я подозревал, что именно так, — разыгрывал в уме какие-то совсем другие партии. Как бы то ни было, каждый раз, когда Чентович делал ход, его нужно было возвращать к действительности. И теперь уже ему требовалась одна или две минуты, чтобы снова разобраться в положении.

Во мне росло убеждение, что у доктора Б. начался припадок тихого помешательства, который в любой момент мог перейти в буйный. Он словно забыл и о нас, и о Чентовиче. И действительно, на девятнадцатом ходу разразился кризис. Едва только Чентович сделал ход, как доктор Б., бросив мимолетный взгляд на доску, вдруг

продвинул своего офицера на три клетки вперед и громко, так что мы все вздрогнули, закричал:

— Шах, шах королю!

В ожидании чего-то необычайного все впились глазами в доску. Но прошла минута, и дело приняло неожиданный оборот. Очень медленно Чентович поднял голову, чего не делал еще ни разу, и обвел нас глазами. Что-то, казалось, доставило ему чрезвычайное удовольствие, губы его мало-помалу растянулись в довольную и высокомерную усмешку. Только до конца насладившись своим триумфом, причина которого была нам непонятна, он с притворной вежливостью обратился к присутствующим:

— Простите, но я не вижу шаха. Может быть, кто-нибудь из вас, господа, подскажет мне, в чем заключается шах моему королю?

Мы посмотрели на доску, а затем с тревогой на доктора Б. Король Чентовича был защищен от офицера пешкой — это заметил бы и ребенок, — так что ни о каком шахе не могло быть и речи. Мы забеспокоились. Может быть, наш друг в волнении продвинул фигуру на квадрат дальше или ближе, чем следовало? Наше молчание привлекло внимание доктора Б., он пристально посмотрел на доску и, запинаясь, сказал:

— Но король ведь должен быть на «f7». Он стоит неправильно, совершенно неправильно. Вы сделали неправильный ход!.. Все фигуры стоят не на своих местах: эта пешка должна быть на «d5», а не на «d4». Это совсем другая партия. Это...

Он внезапно осекся. Я крепко схватил его за руку, вернее, просто ущипнул с такой силой, что даже он в своем безумном смятении почувствовал это. Он обернулся и, как сомнамбула, посмотрел на меня:

— Что... вам угодно?

— Вспомните! — сказал я только одно слово и легко провел пальцем по шраму на его руке.

Он механически повторил мой жест и стеклянными глазами уставился на кроваво-красную полосу. Вдруг он задрожал всем телом, на лбу выступила испарина.

— Ради бога, — прошептал он бледными губами, — неужели я сказал или сделал какую-нибудь глупость? Неужели возможно, что я опять?..

— Нет, — тихим голосом ответил я, — но вы должны прекратить игру сейчас же. Пора! Вспомните, что сказал врач.

Доктор Б. резко вскочил со стула.

— Прошу прощения за свою дурацкую ошибку, — сказал он своим вежливым голосом и склонился перед Чентовичем. — Я, конечно, сказал совершеннейшую чепуху. Само собой разумеется, эту партию выиграли вы.

Потом повернулся к нам:

— И вас, господа, я тоже прошу извинить меня. Но я предупреждал заранее, что не нужно возлагать на меня больших надежд. Простите, что я так позорно закончил игру. Это последний раз, что я поддался искушению сыграть в шахматы.

Он поклонился и удалился с тем же скромным и загадочным видом, с каким впервые появился среди нас. Я один знал, почему этот человек никогда больше не прикоснется к шахматам, остальные же в замешательстве стояли вокруг, смутно догадываясь, что нечто темное и грозное пронеслось мимо, едва не задев их.

— Черт бы побрал этого дурака! — разочарованно проворчал Мак Коннор.

Последним поднялся со своего стула Чентович и бросил еще один взгляд на неоконченную партию.

— Очень жаль, — великодушно сказал он. — Атака была совсем неплоха задумана. Для любителя этот человек играет на редкость талантливо.

ПРИМЕЧАНИЯ

Помещенные в настоящем томе произведения Стефана Цвейга расположены в хронологическом порядке. Переводы осуществлены с подготовленных автором книжных изданий, вышедших в свет как при его жизни, так и посмертно.

ЛЕТНЯЯ НОВЕЛЛА

С. 28. *Баумбах* Рудольф (1840—1905) — второстепенный немецкий поэт, произведения которого отличались слащавой сентиментальностью.

С. 30. *Ариэль* — добрый дух.

АМОК

С. 73. *Вы живете, точно йог*. Йоги — приверженцы одного из индийских философских учений, согласно которым человек может путем самосозерцания и аскетического образа жизни познать бога.

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ НОЧЬ

С. 119. *Чудо Тангейзера*. Тангейзер — немецкий миннезингер XIII века. В одной из легенд рассказывается, что Тангейзер был завлечен богиней Венерой в ее грот, где пробыл семь лет. Получив свободу, он во имя спасения души совершил паломничество в Рим. Папа отказал ему в отпущении грехов, заявив, что скорее его папский посох даст побегу, нежели Тангейзер получит прощение. Опечаленный миннезингер вернулся к Венере. Между тем посох папы дал побегу, и папа, узрев в этом знамение свыше, велел вернуть Тангейзера. Однако все поиски были тщетны: миннезингер остался в гроте Венеры до страшного суда.

ПИСЬМО НЕЗНАКОМКИ

С. 156. *Градо* — курорт на Адриатическом море.

Терезианум — учебное заведение для детей австрийской аристократии, основанное императрицей Марией Терезией в 1746 году.

УЛИЦА В ЛУННОМ СВЕТЕ

С. 166. ...мелодию из «Вольного стрелка». «Вольный стрелок» — популярная опера выдающегося немецкого композитора Карла Мариа Вебера (1786—1826), написанная им в 1820 году. Выразительные, легко запоминающиеся мелодии оперы получили широкое распространение и стали народными песнями.

НЕЗРИМАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

С. 233. *Гверчино* (Франческо Барбьери; 1591—1666) — итальянский живописец, график и гравер.

С. 234. *Менцель* Адольф (1815—1905) — выдающийся немецкий живописец и график.

Шпицвег Карл (1808—1885) — немецкий художник; замечательны его полные юмора картины, изображающие жизнь и быт немецкого бюргерства.

Зильбергрош — старинная прусская серебряная монета.

С. 235. *Мантенья* Андреа (1431—1506) — выдающийся итальянский живописец и гравер эпохи Возрождения.

С. 236. *Музей «Альбертина»* — известное венское частное собрание, основанное в начале XIX века герцогом Альбертом и содержащее более двухсот тысяч редких рисунков и гравюр на меди.

МЕНДЕЛЬ-БУКИНИСТ

С. 263. *Парацельс* Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм (1493—1541) — немецкий врач, естествоиспытатель и философ, один из видных предшественников научной медицины.

Месмер Франц Антон (1734—1815) — австрийский врач, основоположник учения о так называемом «животном магнетизме» и его применении в лечебных целях («месмеризм»).

С. 264. *Гаснер* Иоганн Йозеф (1727—1779) — швейцарский гипнотизер и «заклинатель бесов».

Блаватская Елена Петровна, урожденная Ган (1831—1891) — путешественница и писательница. Основала и возглавила ряд теософских обществ в Нью-Йорке, Лондоне и других городах.

С. 265. *Меццофанти* Джузеппе (1774—1849) — итальянский лингвист, первый кустос (хранитель) Ватиканской библиотеки, впоследствии кардинал. Владел пятьюдесятью семью иностранными языками.

Бузони Ферруччо Бенвенуто (1866—1924) — итальянский пианист и композитор, в 1890—1891 годах — профессор Московской консерватории. Обладал исключительной музыкальной памятью.

Бюффон Жорж-Луи-Леклерк (1707—1788) — французский естествоиспытатель, автор многотомного труда «Естественная история».

С. 272. *Тарнов* — город в Южной Польше, входивший в состав Австро-Венгрии. Место битвы в 1915 году.

Конрад фон Гетцендорф Франц (1852—1925) — австрийский фельдмаршал. Во время первой мировой войны был начальником генерального штаба австро-венгерской армии.

Ю. Шейнин

СОДЕРЖАНИЕ

А. Русакова. Новеллы Стефана Цвейга	3
--	----------

НОВЕЛЛЫ

Гувернантка. Перевод П. Бернштейн	16
Летняя новелла. Перевод С. Фридлянд	26
Страх. Перевод Н. Касаткиной	33
Амок. Перевод Д. Горфинкеля	63
Фантастическая ночь. Перевод И. Мандельштама	99
Письмо незнакомки. Перевод Д. Горфинкеля	138
Улица в лунном свете. Перевод И. Мандельштама	164
Двадцать четыре часа из жизни женщины. Перевод Л. Вольфсон	175
Закат одного сердца. Перевод П. Бернштейн	213
Незримая коллекция. Перевод Г. Еременко	233
Лепорелла. Перевод В. Топер	243
Мендель-букиннист. Перевод П. Бернштейн	260
Шахматная новелла. Перевод В. Ефановой	277
Примечания	316

Цвейг Стефан

Ц 26 Новеллы: Пер. с нем. /Сост., вступ. статья
А. Русаковой; Худож. А. Слепков. — Л.: Худож.
лит., 1981. — 320 с. (Классики и современники.
Зарубежная литература)

В сборник вошли избранные новеллы известного австрийского
писателя Стефана Цвейга (1881—1942): «Гувернантка», «Письмо
незнакомки», «Незримая коллекция», «Шахматная новелла» и др.

Ц 70304-073
20-81 4703000000
028(01)-81

ББК 84.34 А

КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННОКИ

Зарубежная литература

СТЕФАН ЦВЕЙГ

Новеллы

Редактор

А. Славинская

Художественный редактор

В. Куприянов

Технический редактор

Н. Литвина

Корректор

И. Каган

ИБ № 1953

Сдано в набор 07.04.81. Подписано в печать 10.07.81. Формат 60×90^{1/16}. Бумага тип. № 3. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. 20 усл. печ. л. 20,75 усл. кр.-отт. 24,977 уч.-изд. л. Изд. № LVI-3. Тираж 500 000 экз. Заказ № 1870. Цена 2 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Д-186, Невский пр., 28

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

5.50
2 р.



Зарубежная литература

